
В.Ф.
ОДОЕВСКИЙ
Сочинения



В.Ф.

ОДОЕВСКИЙ

Сочинения

в двух томах



В. Ф. ОДОЕВСКИЙ

Сочинения в двух томах



Москва
«Художественная литература»
1981

В. Ф. ОДОЕВСКИЙ

Сочинения в двух томах

том первый

РУССКИЕ НОЧИ

СТАТЬИ



Москва
«Художественная литература»
1981

Вступительная статья, составление
и комментарии
В. И. Сахарова

Оформление художника
А. В. Лепятского

О $\frac{70301-273}{028(01)-81}$ Без объявл. 4702010100

О ЖИЗНИ И ТВОРЕНИЯХ В. Ф. ОДОЕВСКОГО

«Библиотека — великолепное кладбище человеческих мыслей... На иной могиле люди приходят в беснование; из других исходит свет, днем для глаза нестерпимый; но сколько забытых могил, сколько истин под спудом...» [1] Эти печальные слова своеобычнейшего русского писателя и философа Владимира Федоровича Одоевского (1803—1869) невольно вспоминаются при размышлениях о его собственной литературной и жизненной судьбе, слишком долго пребывавшей в забвении.

В 1834 году молодой Белинский писал об Одоевском: «Этот писатель еще не оценен у нас по достоинству» [2]. В конце жизни сам Одоевский оглянулся на пройденный путь и не без горечи заметил: «Моя история еще не написана» [3]. Несмотря на немалые успехи современных историков литературы, эти слова и по сей день остаются справедливыми. Полной истории жизни и творчества Одоевского пока нет, хотя публикации последних лет приближают нас к ней.

Жизнь и творчество Владимира Одоевского заставляют нас задуматься о литературной судьбе тех талантливых писателей, которые вместе с признанными гениями успешно совершенствовали русскую литературу и в немалой мере способствовали ее расцвету и мировой славе. Очевидно, что без этих даровитых людей наша литература была бы несравненно беднее. Пушкин, постоянно искавший союзников и единомышленников, сознавал это особенно отчетливо. В 1831 году А. И. Кошелев сообщил его отзыв Одоевскому: «Пушкин весьма доволен твоим «Квартетом Бетговена»... Он находил, что ты в этой пьесе доказал истину весьма для России радостную; а именно, что возникают у

---

[1] Отдел рукописей Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде (далее ОР ГПБ), ф. 539, оп. 1, пер. 30, л. 242.

[2] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. I. М., Изд-во АН СССР, 1953, с. 97.

[3] «Литературное наследство», т. 22-24. М., 1935, с. 238.

нас писатели, которые обещают стать наряду с прочими европейцами, выражающими мысли нашего века»[1].

В свою очередь, Одоевский мыслил русскую литературу как уникальный художественный организм, как галерею живых лиц, «замечательнейших организаций», участвующих в общей культурной работе. «Судьба лучших людей—корень Русского просвещения и литературной славы»[2],—говорил Одоевский, и это верно и в отношении его собственной судьбы, его роли в истории отечественной литературы. Самобытная личность Одоевского—одна из наиболее примечательных в галерее русских деятелей тех лет.

В портретной галерее деятелей пушкинской поры лицо Одоевского привлекает внимание спокойной энергией, ясным, твердым взглядом серо-голубых глаз, отразившейся в них напряженной работой глубокой самобытной мысли. Он не был бурным романтическим «гением», тонким мечтателем-лириком или же ироническим скептиком. Это именно русский мыслитель, деятельный всеобъемлющий ум, упрямо стремящийся к «воссоединению всех раздробленных частей знания». Таким пришел молодой Одоевский в отечественную литературу пушкинской поры, таким навсегда запечатлен он в ее истории.

Конечно, духовная биография этого мыслителя была сложна и долга, включала в себя почти полвека русской жизни, и Одоевский мог сказать о себе то же, что говорил он об одном из своих героев: «Три поколения прошли мимо него, и он понимал язык каждого». И надо отметить, что эпоха далеко не всегда была благодарна и внимательна к этому писателю, ученому и философу и проходила иногда мимо его книг и мыслей. Сам Одоевский это очень хорошо видел и следующим образом объяснил: «Обыкновенно думают, что от книг переходят мысли в общество. Так! Но только те, которые нравятся обществу; не нравящиеся обществу мысли падают незамеченными. Большею частию книги (кроме книг гениальных, весьма редко появляющихся) суть лишь термометр идей, уже находящихся в обществе»[3].

Значит ли это, что «несвоевременные», не понравившиеся тогда обществу мысли Одоевского канули в бездонный колодец прошлого, стали историей? Сам писатель думал иначе: «Мысль, которую я посеял сегодня, взойдет завтра, через год, через тысячу лет»[4]. Одоевскому было известно, что в сфере духа ничто устойчивое и жизнеспособное не исчезает бесследно. Книги и мысли, как известно, имеют свою судьбу, и потому можно сказать, что они появляются и воспринимаются во время, когда становятся нужны. Именно сейчас стало ясно, что за знаменитыми «Русскими ночами» и другими сочинениями Владимира Одоевского стоит достаточно много живых идей и весомых проблем, отнюдь не ставших историей.

---

[1] «Русская старина», 1904, № 4, с. 206.
[2] «Русская литература», 1969, № 4, с. 187.
[3] «Русский архив», 1874, кн. II, стлб. 25.
[4] В. Ф. Одоевский. Недовольно. М., 1867, с. 3.

Сегодня мы обращаемся к В. Ф. Одоевскому не только как к даровитому русскому прозаику первой трети прошлого столетия. Выясняется, что и в сфере точных наук, эстетики, педагогики, музыки, социальной мысли этот удивительный человек начинал задумываться над проблемами, тогда лишь еле брезжившими, едва намеченными, а сегодня подступившими к нам вплотную. Перечитайте «Русские ночи» Одоевского, и вы обнаружите там целый сонм живых, нестареющих мыслей, услышите любопытнейшую перекличку веков, увидите движение трезвой, цепкой и целеустремленной мысли, столь легко и смело отбрасывающей все привычные оговорки и наивный академизм и прорывающейся к подлинному знанию о мире.

Естественно, сегодня в центре нашего внимания — Одоевский-художник, один из лучших русских прозаиков. Но обаяние этой классической русской прозы не должно заслонять от нас все богатство духовной жизни Одоевского, то гармоничное целое, частью которого являются эти прекрасные повести. Автор «Русских ночей» так писал о рождении этой главной своей книги из первоначального замысла «Дома сумасшедших»: «Инстинктуальная поэтическая деятельность духа отлична от разумной в образе своих действий, но в существе своем одинакова. Так бессознательно развивались во мне одна за другою повести «Дома сумасшедших», и, уже окончивши их, я заметил, что они имеют между собой стройную философскую связь»[1]. Стройная философская связь существует между всеми мыслями, книгами и начинаниями Владимира Одоевского, и приступающему к ним современному читателю надо об этой связи помнить и уметь видеть целое за отдельными, может быть, кажущимися разрозненными частями.

* * *

Жизненная судьба Владимира Одоевского в немалой мере определялась его происхождением, аристократической средой, навязавшей ему множество обязанностей, должностей, занятий и сковавшей жизнь писателя суровыми правилами этикета. Сам Одоевский не роптал: «Мое убеждение: все мы в жизни люди законтрактованные; контракт может быть прескверный, пренелепый, но мы его приняли, родясь, женясь, вступая в службу и т. д., следственно, должны исполнять его, что не мешает стараться о его изменении и о том, чтобы впредь таковых контрактов не было»[2]. «Контракт» Одоевского был достаточно непрост. Его мать Екатерина Алексеевна, женщина весьма живого и самобытного ума, была из крепостных, зато отец, князь Федор Сергеевич, вел свою родословную от легендарного варяга Рюрика. По знатности своей князья Одоевские стояли во главе российского дворянства, что с неизбежностью влекло за собой чины и придворные должности, орденские ленты, скуку светского салона и рутину канцелярий и департаментов. Служить надо было, ибо древний княжеский род заметно оскудел.

---

[1] В. Ф. Одоевский. Русские ночи. Л., «Наука», 1975, с. 203.
[2] «Русская старина», 1892, апрель, с. 137.

К этой жизни готовили с младенческих лет, но домашнего воспитания было явно недостаточно, и в 1816 году юный Одоевский стал учеником Московского университетского благородного пансиона. Это привилегированное учебное заведение, основанное поэтом М. М. Херасковым, являлось, в сущности, подготовительным факультетом старейшего университета России и отличалось многообразием изучаемых здесь наук и высоким уровнем преподавания. Лекции читались лучшими университетскими преподавателями. Воспитанники имели право выбирать предметы, что и позволило Одоевскому сосредоточить внимание на словесности, русском языке и основных началах философии. В пансионе поощрялись занятия литературой, переводы, диспуты; воспитанники посещали проходившие в зале пансиона заседания Общества любителей российской словесности. На этих заседаниях историк Погодин и увидал впервые юного Одоевского, «стройненького, тонкого юношу, красивого собою, в узеньком фрачке темно-вишневого цвета», который с сенаторской важностью разводил по местам дам и во время чтений наблюдал за порядком в зале. Здесь, в пансионе, встретились многие будущие деятели русской культуры, и для них это было хорошей школой в начале жизни.

Годы учения в пансионе были для Одоевского порой напряженной, плодотворной работы, непрерывных ученых и литературных занятий, и именно тогда он впервые начал печататься, в том числе и во «взрослом» журнале «Вестник Европы». Две встречи той поры особо важны для понимания духовной жизни молодого Владимира Одоевского. Первая — это знакомство с мечтательной, возвышающей душу поэзией Василия Жуковского: «... В трепете, едва переводя дыхание, мы ловили каждое слово, заставляли повторять целые строфы, целые страницы, и новые ощущения нового мира возникали в юных душах и гордо вносились во мрак тогдашнего классицизма, который проповедовал нам Хераскова и еще не понимал Жуковского»[1]. Это была встреча с новой литературой, с возникавшим тогда русским романтизмом. Одновременно юный Одоевский увлекся философией, учением немецкого мыслителя Ф. В. Шеллинга, открывавшего тогда новые пути пытливой молодой мысли и потому позднее названного в «Русских ночах» Колумбом XIX столетия.

Вторая встреча для Одоевского оказалась важнее, и это многое определило в его дальнейшей судьбе. Когда в 1822 году он окончил пансион с золотой медалью, выбор уже был сделан: Одоевский присоединился к лагерю русских романтиков. Но с самого начала он вместе с несколькими друзьями избрал особый путь в литературе русского романтизма. Путь этот вел к художественному творчеству через теорию, через создание национальной философии. В сфере интересов Одоевского литература на время была заслонена философией, отошла на второй план.

---

[1] П. Н. Сакулин. Из истории русского идеализма. Князь В. Ф. Одоевский, т. 1, ч. I. М., 1913, с. 90. В дальнейшем ссылки на это издание будут даваться в тексте с указанием части и страницы.

В 1823 году Владимир Одоевский и его друг, поэт Дмитрий Веневитинов создают знаменитое Общество любомудрия, объединившее в своих рядах представителей передовой дворянской молодежи Москвы. Это новое поколение активных деятелей было преисполнено больших надежд, считало, что будущее принадлежит именно им — «русским молодым людям, получившим европейскую образованность, опередившим, так сказать, свой народ и, по-видимому, стоящим мыслями наравне с веком и просвещенным миром»[1]. Цель общества определена была в его названии — любовь к мудрости, прилежное изучение античных и немецких философов и работа над созданием оригинальной отечественной философии, из которой и должна была возникнуть новая русская литература.

Примечательны эти молодые люди с их поистине титаническими замыслами, это удивительное собрание русских натур, так много обещавших и немало сделавших. Поэт Дмитрий Веневитинов, строгий юноша с профилем Наполеона, блестящий оратор и теоретик, достигший в своих статьях и письмах чаадаевской глубины и беспощадности суждений и как-то посоветовавший вообще приостановить ход развития тогдашней российской словесности, с тем чтобы «заставить ее более думать, нежели производить». Глубокомысленный и замкнутый Иван Киреевский, один из лучших критиков той поры, ценимый Жуковским и Пушкиным. Энциклопедически образованный эстетик и теоретик литературы Владимир Титов, тот самый, о котором Тютчев говорил, наполовину шутя, наполовину серьезно, что Титову как будто назначено провидением составить опись всего мира, и который, оставив литературу, стал всего лишь послом в Константинополе и членом Государственного совета. Юный поэт и конногвардеец Алексей Хомяков, чей необыкновенно живой ум и вдохновенное, гибкое слово прирожденного оратора обратили на себя внимание в собраниях у Рылеева. К кругу любомудров были близки молодые поэты Федор Тютчев и Степан Шевырев, историк и собиратель русских древностей Михаил Погодин, способный журналист и издатель Николай Полевой.

Каждое имя тут — заметная веха в истории русской культуры. Не следует забывать, что все эти одаренные люди были молоды, объединены дружбой и сходными мнениями, не страшились препятствий и более всего опасались односторонности, узких путей и бескрылых стремлений. В этом высоком и благородном простодушии — сила и обаяние романтического любомудрия.

Владимир Одоевский был в этом уникальном культурном организме своего рода центром, верховным судьей и примирителем. И когда позднее он поступил на службу и переехал в Петербург, один из любомудров очень точно определил его роль в кружке: «Вы как солнышко, — держали нас в повиновении; не успели рвануться из центра, как вдруг по какому-то волшебному мановению всех нас отбросило от

---

[1] «Русские эстетические трактаты первой трети XIX в.», т. II. М., «Искусство», 1974, с. 610.

оного... Словно сигнал подали, от которого товарищество наше рассыпалось по всем концам земли» (*Сакулин*, I, 318).

Личное обаяние, незаурядный ум и познания, талант прозаика и полемиста привлекали к Одоевскому многих. Достаточно сказать, что среди его ближайших друзей был Грибоедов, заметивший в «Вестнике Европы» «остроумные памфлеты» юного любомудра и пожелавший познакомиться с автором. Александр Одоевский, блестящий корнет конной гвардии, декабрист, двоюродный брат Владимира, очень много значил в его судьбе, и Одоевский писал: «Александр был эпохою в моей жизни» (*Сакулин*, I, 95). Порывистый и многознающий Вильгельм Кюхельбекер издавал вместе с Одоевским альманах «Мнемозина», сыгравший важную роль в становлении русского философского романтизма. Друг Пушкина Дельвиг писал Кюхельбекеру об Одоевском: «Познакомь меня, как знаешь и как можешь, с твоим товарищем. Литературно я знаю и люблю его. Уговори его и себя что-нибудь прислать в новый альманах «Северные цветы», мною издаваемый»[1]. Так началось сближение Одоевского с пушкинским кругом писателей, столь важное для его дальнейшей литературной судьбы.

Любомудры свою центральную дорогу усматривали в просветительстве, в постепенных культурных преобразованиях и тем отличались от деятельных умов декабризма. Им чужда была декабристская идея революционного преобразования русской жизни. Тщетно Александр Одоевский и Кюхельбекер пытались приобщить Владимира к своему кругу идей, к деятельности тайного общества — юный философ предпочитал отвлеченные умствования и чистую науку: «Я никуда не езжу и почти никого к себе не пускаю: живу на Пресне в загородном доме, и весь круг физической моей деятельности ограничивается забором домашнего сада. Зато духовная горит и пылает»[2].

Тем не менее после грозы 14 декабря, расколовшей русское общество и русскую историю и начавшей принципиально новую культурную эпоху, Владимир Одоевский был среди смельчаков, помогавших заключенным и ссыльным декабристам. Он хлопотал за Александра Одоевского и способствовал его переводу из Сибири на Кавказ, поддерживал в ссылке Вильгельма Кюхельбекера. Самому Одоевскому одно время угрожал арест, ибо известны были его тесные связи со многими участниками восстания.

Иные времена наступили и для самого Одоевского и его друзей. Прежнее простодушие было уже невозможно в новых суровых условиях, и любомудры как-то сразу повзрослели, остепенились и обратились к практической деятельности. Пришло своего рода «трезвение» романтической мысли, это неизбежное следствие крушения юношеских иллюзий. «Время фантазии прошло; дорого заплатили мы ей за нашу к ней доверенность»[3], — вспоминал Одоевский об этой поре разброда в стане любомудров.

---

[1] «Русская старина», 1875, № 7, с. 377.

[2] «Русская старина», 1888, № 12, с. 595.

[3] В. Ф. Одоевский. Русские ночи. Л., «Наука», 1975, с. 237.

После поражения декабристов многие духовные ценности мыслящего дворянства подверглись последовательному переосмыслению в мучительных поисках новой дороги и реального дела. И Одоевский принимает несколько важных решений, существенно изменивших его жизнь. Как бы подводя черту под романтической эпохой первых радостей, он распускает Общество любомудрия и собственноручно сжигает в камине его архив. Далее последовали поступление на государственную службу, женитьба и переезд из либеральной Москвы в служилый Петербург. Вдохновенный юноша-философ вдруг преобразился в исполнительного чиновника, занимающегося на досуге сочинительством и музицированием.

И все же именно 1830-е годы — пора расцвета литературного таланта Владимира Одоевского. Творческая мысль молодого писателя, преодолевая препятствия, обрела тогда собственную дорогу. За полтора десятилетия (с 1830-го по 1844 год) были опубликованы основные его произведения. Но все это время Одоевский испытывает мучительные сомнения в действенности литературной профессии: слишком узок круг русской читающей публики, слишком слаб голос писателя, говорящего о вечных истинах: «... Есть нечто почтенное в наших литературных занятиях. Они требуют какого-то особенного героизма, ибо у нас можно просидеть несколько лет над книгою и напечатать ее в полной уверенности, что ее прочтут человек десять, из которых поймут только трое» (*Сакулин*, II, 408). Есть, конечно, и исключения, ставшие вехами, примерами для последующих писательских поколений, и одно такое знаменательное имя Одоевский называет: «Карамзин был счастливец, умевший заинтересовать нашу публику, сделавшийся писателем народным, *всеклассным*, если можно так выразиться»[1].

Но подобная роль писателя в современной Одоевскому литературе была уникальна, почти недоступна, и не случайно автор «Русских ночей» в конце жизни весьма прозорливо указал на необходимость и неизбежность подлинно демократической, народной русской культуры: «Толпе еще нужен не Рафаэль, а размалеванная картинка, не Бах, не Бетховен, а Верди или Варламов, не Дант, а ходячая пошлость. Но одна ли толпа в том виновата? Нет ли в самом искусстве чего-то неполного, недосказанного? Не требует ли оно новой, нам даже еще непонятной разработки?»[2] В этих знаменательных вопросах содержался великолепный ответ высокомерным эстетам, презиравшим «толпу».

Собственную же деятельность на поприще литературы Владимир Одоевский рассматривал именно как подготовительную, как приближение к будущей демократической культуре. В его замечательной, почаадаевски горькой и в то же время бодрой статье «Записки для моего праправнука о русской литературе» сказано: «Нет ни одной литературы интереснее русской... Она любопытна как приготовление к какой-то

---

[1] Рукописный отдел Государственной библиотеки им. В. И. Ленина (далее РО ГБЛ), ф. 231 (Пог/II), к. 47, ед. хр. 74, л. 4.
[2] См. наст. изд., с. 324.

русской, до сих пор нам непонятной литературе,— непонятной тем более, что Россия юна, свежа, когда все вокруг ее устарело и одряхло». Причем Одоевскому ясно, что работа в литературной сфере взаимосвязана с параллельно идущей деятельностью в науке, промышленности и т. д., и потому русский писатель никак не может быть только писателем-профессионалом: «В одной руке шпага, под другой — соха, за плечами портфель с гербовою бумагою, под мышкою книга — вот вам русский литератор» (*Сакулин*, II, 408).

Деятельность Владимира Одоевского была настолько многогранна, что и сам он не мог уследить за всеми ее неожиданными изгибами и сетовал: «Как люди успевают рассказывать в автобиографии, что они делают? Моя деятельность дробится на тысячи лиц и действий, и некогда заметить ее!»[1]

В начале своей деятельности Одоевский видел в этой многогранности стеснительное неудобство и с грустью вспоминал о той невозвратной поре, когда он все свое время посвящал искусствам. Но постепенно писатель уловил свой жизненный ритм: «Даровитая организация — эластична; она не имеет права вкопать свой талант в землю,— она должна пустить его в куплю, где бы ни привелось»[2]. Его литературным и музыкальным опытам уже не мешали две должности, им занимаемые.

Свою жизнь Одоевский с полным правом именовал чернорабочей. В Петербурге писателя ожидали в высшей степени непоэтические занятия: ему пришлось, например, наблюдать за изготовлением сомовьего клея и проверять действие усовершенствованных кухонных очагов. «Я теперь почти уже не литератор, а химик и механик»[3],— жаловался Одоевский Шевыреву. И все же литературных занятий не оставил. Причем Одоевский способствовал развитию литературы не только как писатель, но и как юрист: он был одним из авторов либерального цензурного устава 1828 года, чье влияние на развитие отечественной словесности, сильно стесненной прежним «чугунным» уставом, было настолько благотворно, что друг писателя Иван Киреевский поставил это детище Одоевского выше тогдашних побед русского оружия над турками. Перу Одоевского принадлежат и первые законы об авторском праве. И это далеко не полный перечень профессий и занятий этого человека, обладавшего поистине уникальными познаниями и работоспособностью.

Над этим энциклопедизмом и многоликостью иногда посмеивались люди деловые, практические, но Одоевский спокойно шел своим уединенным путем. «Это движение по разным путям, невозможное для тела, весьма возможно для духа»[4],— пояснял он и указывал на гигантов Возрождения и в особенности на всеобъемлющий гений нашего Ломоносова: «Этот человек — мой идеал; он тип славянского всеобъемлющего

---

[1] Б. А. Лезин. Из жизни и литературной деятельности кн. В. Ф. Одоевского. Харьков, 1907, с. 2.

[2] См. наст. изд., с. 317.

[3] «Русский архив», 1878, кн. II, № 5, с. 56.

[4] «Русский архив», 1897, № 2, с. 327.

духа, которому, может быть, суждено внести гармонию, потерявшуюся в западном ученом мире. Этот человек знал все, что знали в его веке: об истории, грамматике, химии, физике, металлургии, навигации, живописи, и пр. и пр., и в каждой сделал новое открытие, может, именно потому, что все обнимал своим духом»[1].

В Петербурге вокруг Одоевского снова начали собираться любомудры, и вскоре в Третье отделение поступил очередной донос на молодых философов: «Образ мыслей их, речи и суждения отзываются самым явным карбонаризмом... Собираются они у князя Владимира Одоевского, который слывет между ими философом»[2]. Но любомудры были уже не те, и разговоры в их кружке велись теперь не о возвышенном философствовании, а о службе, издании журнала «Московский вестник», где и Пушкин принимал участие, и т. д. Эти перемены в мировоззрении любомудров описаны Одоевским в повести «Новый год», являющейся ценным документом для истории русского общественного сознания тех лет.

Одоевский оказался в центре культурной жизни, и в эту пору начинается его дружба с Жуковским, Вяземским, Крыловым, Пушкиным, Михаилом Глинкой. Писатель становится непременным участником «суббот» Жуковского, встречается с собратьями по литературному цеху у Дельвига и в оппозиционном салоне близкой к декабристам графини Лаваль. Этому оживленному творческому общению в немалой мере способствовало достаточно заметное положение Одоевского в светском обществе и при дворе. Светские приличия требовали от Одоевского соответствующего его титулу и положению образа жизни. Этого же требовала и его супруга, княгиня Ольга Степановна, урожденная Ланская, женщина властная и честолюбивая. Княгиня желала царить в собственном великосветском салоне, а Одоевский жаждал постоянно видеться с друзьями — музыкантами и литераторами. Так родился знаменитый литературный салон, прозванный академией, где вся русская литература, по меткому слову Шевырева, очутилась на диване у Одоевского.

В доме Одоевского собирался цвет российской словесности: «Здесь сходились веселый Пушкин и отец Иакинф с китайскими, сузившимися глазками, толстый путешественник, тяжелый немец — барон Шиллинг, возвратившийся из Сибири, и живая, миловидная графиня Ростопчина, Глинка и профессор химии Гесс, Лермонтов и неуклюжий, но многознающий археолог Сахаров. Крылов, Жуковский и Вяземский были постоянными посетителями. Здесь впервые явился на сцену большого света и Гоголь»[3]. Добавим, что гостеприимством и дружеской помощью Одоевского пользовались Баратынский, Кольцов и молодой Достоевский, критик Аполлон Григорьев. В позднейшие времена у Одоевского бывали

---

[1] Я. К. Грот. Переписка с П. А. Плетневым, т. III. СПб., 1896, с. 775.

[2] «Русская старина», 1902, № 1, с. 34.

[3] «В память о князе Владимире Федоровиче Одоевском». М., 1869, с. 57.

Тютчев, Фет, Григорович, Гончаров, Иван Тургенев, славянофилы и западники. Здесь играл знаменитый венгерский композитор и пианист Ференц Лист, читал стихи веселый Мятлев. Лев Толстой, работая над «Войной и миром», бывал у Одоевского постоянно и пользовался советами писателя и воспоминаниями его жены и великосветских знакомых. И всех этих разно думающих людей умело объединял и примирял спокойный и благожелательный хозяин салона.

В этом изысканно одетом молодом вельможе было немало подлинного демократизма, и один из посетителей позднее верно сказал об Одоевском: «Несмотря на то, что он был первый аристократ в России, он, может быть, был величайший демократ»[1]. В уединенном кабинете хозяина, уставленном замысловатыми столиками и этажерками, химическими ретортами и музыкальными инструментами, ценились только талант и подлинные знания. Здесь собирался класс литераторов. «Одоевский желал все обобщать, всех сближать и радушно открыл двери свои для всех литераторов... Один из всех литераторов-аристократов, он не стыдился звания литератора, не боялся открыто смешиваться с литературною толпою и за свою донкихотскую страсть к литературе терпеливо сносил насмешки своих светских приятелей»[2],— вспоминал писатель И. И. Панаев.

Салон Одоевского просуществовал до самой смерти хозяина. Люди здесь менялись, менялся и сам писатель. В 40-е годы он уже принимал гостей в воздетых на лоб больших очках, черном шелковом колпаке и длинном, до пят сюртуке черного бархата, напоминавших одеяние средневекового алхимика. Среди книжных завалов, роялей и пыльных папок с рукописями и нотами задумчивый хозяин дома выглядел рассеянным чудаком и уединенным мечтателем, удалившимся от деятельной жизни. Светские приятели посмеивались над странностями автора «Русских ночей», молодежь не понимала его слишком своеобразных увлечений астрологией, магией и «животным магнетизмом». Но писатели знали Одоевского как доброжелательного ценителя с безукоризненным вкусом, и потому молодой Достоевский принес ему рукопись «Бедных людей», Тургенев читал ему «Накануне», бедствующий Аполлон Григорьев показывал свои критические статьи. Музыканты ценили в Одоевском дар отличного пианиста и критика, и Глинка пользовался его советами во время работы над «Иваном Сусаниным», композиторы Даргомыжский и Серов были ему благодарны за поддержку и тонкую оценку их опер. Французу Гектору Берлиозу Одоевский открыл мир русской национальной музыки, и он же научил русскую публику ценить непривычное дарование немецкого композитора Рихарда Вагнера. Одоевский был не только живой энциклопедией, но и живой консерваторией, и имя его навсегда останется в истории отечественной музыки. И именно талант музыкального критика позволил писателю создать знаменитые повести о великих композиторах Бахе и Бетховене.

---

[1] «Русская старина», 1890, № 9, с. 632.

[2] И. И. Панаев. Литературные воспоминания. М., Гослитиздат, 1950, с. 89.

Литературные занятия в сфере интересов Владимира Одоевского играли особенную роль: именно здесь его заветные мысли обретали плоть, сливались с героями, становились живыми и зримыми. Поэтому так стремительно его становление как писателя. Напряженные поиски собственной манеры в прозе очень быстро приводят Одоевского от юношеского увлечения дидактикой и аллегорией к подлинно художественному повествованию, к творческой зрелости и своеобычности, сразу отмеченной Пушкиным. В начале 30-х годов писатель находит свою дорогу в литературе, и, как показал его «Последний квартет Бетховена» (1830), это была дорога к главной книге — к «Русским ночам» (1844).

Но как всегда у Одоевского, его мысль в литературе, помня о центральной дороге, разветвляется, проникает в разные сферы, осваивает неожиданные, новые для того времени темы. Собирающиеся вокруг этих тем мысли рождают группы произведений, и потому Одоевского по праву считают мастером цикла повестей, где каждое произведение оттеняет и объясняет другие вещи и, в свою очередь, обретает новый смысл. Первым таким циклом были «Пестрые сказки» (1833).

Эта книга Одоевского неоднородна, ибо вместе со сказочными аллегориями в нее включены два произведения, которые никак не могут быть причислены к сказкам. Это «Сказка о том, по какому случаю коллежскому советнику Ивану Богдановичу Отношенью не удалося в светлое воскресенье поздравить своих начальников с праздником» и «Сказка о мертвом теле, неизвестно кому принадлежащем». Вопреки названиям это не сказки, не аллегории, а повести, в которых реальнейший русский быт выявлен и осужден с помощью шутливой, комической фантастики. Одоевский здесь обратился к изображению чиновничьей жизни и показал весь ее канцелярский идиотизм, механичность и пустоту, саркастически именуемые им «безмятежным счастием».

В повести о коллежском советнике происходит бунт вещей. Карты, составлявшие существеннейшую часть домашнего быта чиновников и заполнявшие их жизнь, вдруг ожили и втянули игроков в безумный картеж, в непрерывную, изматывающую игру. Чиновники попытались было задуть свечи, но «карты выскочили у них из рук: дамы столкнули игроков со стульев, сели на их место, схватили их, перетасовали,— и составилась целая масть Иванов Богдановичей, целая масть начальников отделения, целая масть столоначальников, и началась игра, игра адская». Карты не только заняли место людей, но и стали им подражать, переняли чиновничью психологию и иерархию госдепартаментов и министерств: «Короли уселись на креслах, тузы на диванах, валеты снимали со свечей, десятки, словно толстые откупщики, гордо расхаживали по комнате, двойки и тройки почтительно прижимались к стенкам». Все перевернулось, встало с ног на голову. И тем не менее ничто не изменилось. Невероятное, фантастическое не в состоянии преобразить неподлинную жизнь, превращенную в картеж. И потому безразлично, сами ли чиновники играют в карты или карты играют чиновниками. В обоих случаях чиновничья жизнь чудовищно нелепа, уродлива и тяготеет к абсурду.

Столь же нелепа, лишена духовности и здравого смысла жизнь приказного Севастьяныча, которого посетил вдруг дух человека, имевший «несчастную слабость» выходить на время из собственного тела. На просьбу призрака вернуть ему случайно утерянное тело опытный чиновник невозмутимо отвечает привычным «та-ак-с». Куда бо́льшее впечатление производит на него предложенная привидением взятка. Дух оказался платежеспособным и посулил приказному пятьдесят рублей. Характерно, что очевидная нелепость и фантасмагоричность происходящего Севастьяныча нисколько не смущают, ему важна правильность канцелярского оформления этой нелепицы. На традиционный вопрос об имени и фамилии дух произносит нечто несообразное: «Меня зовут Цвеерлей-Джои-Луи». Приказный так же спокойно спрашивает: «Чин ваш, сударь?» И в ответ слышит еще одну нелепость: «Иностранец». Тем не менее все невероятные ответы духа Севастьяныч аккуратно записал на своем особом чиновничьем языке: «В Реженский земский суд от иностранного недоросля из дворян Савелия Жалуева, объяснение». Бытие Севастьяныча настолько бездуховно, автоматично, что любая несообразность находит здесь свое место, не вступая с этой жизнью в противоречие.

Очевидно, что это сатира, и сатира социальная. Давно замечено и то, что эти повести Владимира Одоевского как бы предваряют в нашей прозе «Петербургские повести» Гоголя, и в особенности «Нос», указывая на сложную взаимосвязь между творчеством обоих писателей. Замечательный русский критик Аполлон Григорьев писал: «Еще до Гоголя глубокомысленный и уединенно замкнутый Одоевский поражался явлениями миражной жизни — и иногда, как в «Насмешке мертвеца»,— относился к ним с истинным поэтическим пафосом»[1]. И сам Одоевский с полным правом причислял себя к линии русской сатиры, идущей от Кантемира к Гоголю, и говорил, что сатира — это «выражение нашего суда над самими собою, часто грустное, исполненное негодования, большею частию ироническое»[2]. Суда сатирика не избежало и высшее общество, чьи бездуховность, жестокость и эгоизм бичуются Одоевским в «Бале», «Бригадире», «Насмешке мертвеца», «Княжне Мими».

Особое место занимают в творчестве Одоевского так называемые «таинственные» повести — «Сильфида», «Саламандра», «Косморама», «Орлахская крестьянка». Именно эти произведения способствовали тому, что дореволюционные исследователи и современные зарубежные толкователи творчества Одоевского создали ему довольно устойчивую репутацию мистика и идеалиста. Причудливый фантастизм «таинственных» повестей и всем известный интерес их автора к алхимии и сочинениям средневековых мистиков иногда заставляли забыть о весьма трезвом, реалистическом мышлении Владимира Одоевского, о его всегдашней приверженности к науке, к точному знанию о мире.

---

[1] Аполлон Григорьев. Ф. Достоевский и школа сентиментального натурализма.— В кн.: «Н. В. Гоголь. Исследования и материалы», т. I. М.— Л., 1936, с. 253.

[2] В. Ф. Одоевский. Сочинения, ч. III. СПб., 1844, с. 45.

Между тем именно в фантастических повестях, создававшихся параллельно с «Русскими ночами», отчетливо виден чисто научный интерес Одоевского к тайнам человеческой психики. Его духовидцы и призраки, вообще характерные для романтической литературы, в немалой мере обязаны своим появлением обширным познаниям писателя в медицине и психологии, его постоянному интересу к так называемому «животному магнетизму», к гипнотизму и особого рода одержимости. «Я хочу объяснить все эти страшные явления, подвести их под общие законы природы, содействовать истреблению суеверных страхов»,— писал Одоевский[1]. И потому в его «таинственных» повестях фантастика всегда объяснена, мотивирована, ее реальность постоянно ставится под сомнение. Эта особенность романтической прозы Владимира Одоевского порождена его научным мышлением.

Разумеется, «таинственные» повести Владимира Одоевского не сводимы к научным изысканиям. Это шедевры романтической прозы, теснейшим образом связанные с общим движением русской литературы пушкинской поры. Герой «Сильфиды» Михаил Платонович, этот столичный денди, уставший от светских забав и удалившийся в дядюшкину деревеньку, явственно напоминает Онегина. Модный сплин, насмешки над провинциалами—все это могло появиться лишь после пушкинского романа. Но в отличие от Пушкина, Одоевский сделал главной движущей силой своей повести жажду познания. Его герой говорит: «Любознательность, или, просто сказать, любопытство есть основная моя стихия, которая мешается во все мои дела, их перемешивает и мне жить мешает; мне от нее ввек не отделаться; все что-то манит, все что-то ждет вдали, душа рвется, страждет...» Одоевский потому и дает в начале повести столь подробную и вполне реалистическую картину провинциальной жизни, чтобы отчетливее показать чисто романтический конфликт героя-искателя с косной, не одухотворенной высоким пафосом и подлинными знаниями средой.

Сильфида, это таинственное существо, явившееся герою повести, несет в себе новое всеобъемлющее знание о мире. Она предлагает Михаилу Платоновичу подлинный мир сущностей, понимание самодвижения жизни, основных законов мира, учит его видеть всеобщую связь явлений. И познавший эту высшую мудрость герой говорит в конце повести: «Ваши стихи тоже ящик; вы разобрали поэзию по частям: вот тебе проза, вот тебе стихи, вот тебе музыка, вот живопись—куда угодно? А может быть, я художник такого искусства, которое еще не существует, которое не есть ни поэзия, ни музыка, ни живопись,— искусство, которое я должен был открыть и которое, может быть, теперь замрет на тысячу веков: найди мне его!» Здесь утверждаются романтические идеалы всеобъемлющей науки и целостного искусства.

---

[1] В. Ф. Одоевский. Сочинения, ч. III, с. 308. Ср. следующую запись из архива Одоевского: «Нет ни одного из этих видений, которое бы не могло быть объяснено известными естественными законами, изложенными в любом учебнике физики или физиологии» («Русский архив», 1874, кн. I, стб. 293).

Но суровая действительность все время теснит романтику и налагает жесткие ограничения на сферу фантастического. Мысль Одоевского о мелочах как цели бытия множества людей заставляет вспомнить знаменитые слова из «Мертвых душ» о «страшной, потрясающей тине мелочей, опутавших нашу жизнь». В этой-то тине быта и вязнет постепенно герой «Сильфиды». Подобно Гоголю, Одоевский показал страшную власть быта, бездуховной материальности, разрушающую личность и выталкивающую ее либо в житейскую пошлость, либо в безумие. На это сходство указывал еще Аполлон Григорьев: «... Одна сторона всеобщей болезни, отмеченная Гоголем и Одоевским — это власть творимой силы множества над всяким и каждым, несмотря на демоническую силу личности; но в каждой личности отдельно таится еще злой и страшный недуг безволия или, точнее сказать, рассеяния сил, потерявших в человеке центр, точку опоры»[1].

В герое «Сильфиды» медленно гибнет человеческое начало, высокоразвитая духовность, и он становится «живым мертвецом», двойником бригадира из одноименной повести Одоевского. И потому «Сильфида», как и другие «таинственные» повести писателя, не противостоит «Бригадиру», «Балу», «Княжне Мими», «Насмешке мертвеца», а, напротив, служит вместе с ними одной цели — беспощадной социальной сатире, критике неидеальной действительности, «пошлой прозы жизни» и утверждению высоких идеалов и всеобъемлющих духовных исканий.

В повести «Саламандра» видно стремление писателя соединить историю, философию и художественную прозу. В сущности, это составное произведение, романтическая дилогия о трех эпохах — петровской, послепетровской и современной Одоевскому поре 1830-х годов. В пределах обычного исторического романа в духе Вальтера Скотта такое соединение было невозможно.

Одоевский, как всегда, нашел особый путь: он соединил в рамках одного произведения историческую прозу и философско-фантастическую повесть «Эльса». Историческую повесть «Южный берег Финляндии в начале XVIII столетия» можно было бы назвать иначе — «Финн Петра Великого», ибо здесь явственно ощутимо воздействие незавершенного пушкинского романа «Арап Петра Великого», судя по всему известного Одоевскому еще в рукописи. Это история юного финна Якко, отправленного Петром Первым на учение в заморские страны. Подобно пушкинскому арапу Ибрагиму, Якко становится свидетелем, а затем и участником великих свершений царя-труженика.

Но постепенно Якко из «естественного», выросшего в органичном единении с родной природой и народом человека превратился в типичного исполнителя, одержимого мыслью о продвижении по службе и покровительстве царя. После смерти Петра Первого ученый типограф и переводчик «цифирных книг» стал алхимиком, жаждущим золота, власти над миром и людьми. И во второй части «Саламандры» показано

[1] Аполлон Григорьев. Собр. соч., вып. 8. М., 1916, с. 13.

постоянное снижение, профанация высокой науки и духовных идеалов петровской эпохи, начавшаяся после смерти Петра.

Как и пушкинский Германн, Якко приходит к мысли, что ради золота все дозволено. Это уже сознательный демонизм, злая сила, которой рабски прислуживает лишенная этического начала наука. Саламандра, дух огня, возвещает алхимику, что любое желание его исполнится — стоит только пожелать. Но желания Якко — злобные и антигуманные. Каждое из них, исполняясь, уносит чужую жизнь.

Главная страсть алхимика — золото. Он каждую ночь превращает свинец в золотые слитки и пляшет над золотом, объятый безумной и упоительной радостью. И этот его танец становится страшным символом недолжного существования, основанного на последовательном отказе от всего человеческого. В довершение всего Одоевский придает Якко весьма многозначительную черту: его герой в конце концов отказывается ради золота и от своего человеческого облика и переселяется в тело убитого им старого графа. Таков итог этой жизни, которая не нашла опоры в своей эпохе и была вынуждена опираться лишь на себя, что неизбежно привело к известной формуле «все дозволено». Рассказ о поучительной судьбе Якко, размышления о судьбах науки, о переменах в российской действительности — вот главное в «Саламандре», а фантастика при всей ее сложности и многозначности лишь помогает реализовать этот замысел Одоевского.

Своими литературными успехами Одоевский в немалой мере был обязан постоянному творческому общению с Пушкиным, заметившим молодого писателя еще в пору издания журнала «Московский вестник» и затем привлекшим его к сотрудничеству в «Современнике». Советы Пушкина, пример его собственной прозы, и прежде всего «Повестей Белкина», «Капитанской дочки» и «Арапа Петра Великого», помогли Одоевскому найти свою манеру повествования. «Форма — дело второстепенное; она изменилась у меня по упреку Пушкина о том, что в моих прежних произведениях слишком видна моя личность; я стараюсь быть более пластическим — вот и все»[1], — писал Одоевский в 1844 году, отвечая своим критикам.

С классической русской прозой пушкинской школы мы встречаемся и в главной книге Владимира Одоевского — «Русских ночах». Книга эта одинока в истории нашей литературы; ее просто не с чем сравнить. Судьба этой книги была особенно трудной: при своем появлении «Русские ночи» были встречены недоуменными рецензиями, и трезво мыслившие люди 40-х годов, обнаружив в этой «странной» (Белинский) книге весьма серьезный, доказательный и нелицеприятный спор со многими своими любимыми идеями, единодушно признали ее несовременной и несвоевременной. Лишь из Сибири прозвучал одобряющий голос старого друга Вильгельма Кюхельбекера: «Книга Одоевского «Русские ночи» — одна из умнейших книг на русском языке... Сколько поднимает он вопросов! Конечно, ни один почти не разрешен, но спасибо и за то,

---

[1] См. наст. изд., с. 302.

что они подняты — и в русской книге!»[1] И затем для «Русских ночей» настала долгая пора забвения, хотя книга оставалась в литературе и ждала своего часа, нового глубокого понимания.

«Русские ночи» — своеобразный памятник тому времени, ценнейший документ, последнее слово, сказанное целой эпохой русской жизни о самой себе. Без этой книги неполным будет наше представление о времени, когда возникали, оформлялись многие жизненно важные для развития нашей культуры мысли и проблемы. «Эта эпоха имела свое значение; кипели тысячи вопросов, сомнений, догадок — которые снова, но с большею определенностию возбудились в настоящее время; вопросы чисто философские, экономические, житейские, народные, ныне нас занимающие, занимали людей и тогда, и много, много выговоренного ныне, и прямо, и вкривь, и вкось, даже недавний славянофилизм, — все это уже шевелилось в ту эпоху, как развивающийся зародыш»[2], — писал позднее Одоевский о 20—30-х годах прошлого века.

Глубина философской мысли Одоевского отнюдь не превращает «Русские ночи» в скучную ученую книгу. Пластичной, четкой, скупой на словесные украшения и фигуры прозой написаны повести, составившие основу книги и воплотившие в «историко-символических лицах» своих персонажей мысли автора о судьбах людей и цивилизаций.

Выпуская в свет столь уникальную, сложную по форме и мыслям книгу, Одоевский не без оснований опасался, что критика и читатели не все в ней поймут и оценят: «Более всего я ожидаю нападений на форму, мною избранную... Соединение частей моей книги будет ли для них представляться в виде того живого организма, в котором мне оно представлялось?»[3].

Но он не мог и не хотел дожидаться всеобщего понимания, ибо с полным правом считал эту книгу одним из главных дел своей жизни. В молодости любомудр Одоевский смело задал вопрос: «Мы, русские, последние пришли на поприще словесности. Не нам ли определено заменить эпопею, теперь невозможную, драмою, соединяющею в себе все роды словесности и все искусства?»[4]. Такой универсальной романтической «драмой в прозе», соединившей в себе повествовательный эпос, лиризм и драматические элементы, даже музыкальный принцип (идея контрапункта в прозе), и стали «Русские ночи», одна из самых оригинальных книг мировой литературы.

В романтических повестях, вошедших в книгу В. Ф. Одоевского, происходит целеустремленное переосмысление индивидуальных судеб (к

---

[1] В. К. Кюхельбекер. Дневник. Л., «Прибой», 1929, с. 297.

[2] В. Ф. Одоевский. Русские ночи, с. 192.

[3] ОР ГПБ, ф. 539, оп. 1, пер. 13, л. 11.

[4] В. Ф. Одоевский. Теория изящных искусств. Парадоксы.— «Московский вестник», 1827, ч. II, № 6, с. 168. На это суждение молодого писателя мы можем смотреть и как на своего рода прозрение, предсказание появления русского классического романа, действительно соединившего в себе напряженный драматизм трагедии, психологизм лирики и величие эпоса.

примеру, жизней великих композиторов Баха и Бетховена). Здесь преодолеваются границы, в которых замкнулась уединенная личность, и обнаруживается ее генетическая связь с общим, с миром и людьми, с вечно обновляющимся организмом жизни. Личная судьба в «Русских ночах» чаще всего рассматривается как следствие неправильного развития, как недолжное проявление, искажение общей идеи жизни. Одоевский в повестях о великих творцах показывает именно неидеальные судьбы. Судьбы эти тщательно отобраны, особым образом выстроены и сопоставлены, и потому все повести стремятся к одному центру, к единому идейному фокусу. И на этом пути происходит преобразование жанровой природы романтической повести.

Романтическая повесть в «Русских ночах» перенасыщена философией, реалиями культуры. В повесть вмещается уже не анекдот, не случай из жизни, а целая жизнь. «Себастиян Бах» — это и повесть, и музыкальный трактат, и основательная биография композитора. Но биография эта — особого рода. Персонажи Одоевского не равны их прототипам. Белинский сказал об этой повести Одоевского: «Это скорее биография таланта, чем биография человека»[1]. «Последний квартет Бетховена» — тоже биография, но здесь судьбу таланта определяет движение внутреннего мира, а не внешние жизненные обстоятельства.

Причем «биографии таланта» философски осмысливаются и комментируются в обрамляющих повествование диалогах и эпилоге «Русских ночей». Содержание тут постепенно преодолевает жанровые рамки малой прозаической формы. А антиутопии «Город без имени» и «Последнее самоубийство», где показаны целые общества, живущие по теориям И. Бентама и Мальтуса, еще более раздвинули границы внутреннего пространства книги. Возникает единый уровень, на котором романтические повести Одоевского начинают срастаться в большую прозаическую форму, в уникальный художественный организм. При этом внутреннее пространство «Русских ночей» не едино, разделено жанровыми рамками повестей, меняющих свою природу и значение, но не растворяющихся внутри книги и явственно различимых.

В свое время В. В. Гиппиус назвал «Русские ночи» «романтическим романом»[2], и в этом есть своя правда. Сам Одоевский хорошо понимал, что сопоставление изображенных в повестях судеб неизбежно приведет к роману: «Одна из труднейших задач в экономии романа — соединить лица, которых взаимное соприкосновение было бы интересно»[3].

Но все дело в том, что Одоевский мыслил русский роман совершенно иначе, чем большинство его коллег-прозаиков. Он прошел мимо предложенной Пушкиным «онегинской формулы» романа и создал принципиально иную модель жанра. И назвать его книгу романом можно лишь с существенными оговорками.

---

[1] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. VIII, с. 312.
[2] В. В. Гиппиус. Узкий путь.— «Русская мысль», 1914, кн. XII, с. 16.
[3] «Русские писатели о литературе», т. I, Л., 1939, с. 266.

«Русские ночи» — плод творческой полемики с традиционной для западных литератур и нарождающейся уже и у нас романной формой. В сущности, Одоевского не устраивала именно художественная «экономия» современного ему романа, в центре которого стоял главный герой, окруженный объясняющими и оттеняющими его второстепенными персонажами. Писатель стремился к универсальному, «свободному» роману без героя, к объективному повествованию, вобравшему в себя элементы драмы.

Вот что писал Одоевский о замысле «Русских ночей»: «Романисты схватывают жизнь одного человека и разделяют ее на самые мелкие оттенки. Отдельная страсть одного человека сделалась предметом художника... Эти наблюдения привели меня к мысли, что роман отдельно от драмы и драма отдельно от романа суть издания неполные, что тот и другой могут соединяться в одном высшем синтезе, что формы романической драмы могут быть обширнее форм обыкновенной драмы и обыкновенного романа; что главным героем может быть не один человек, но мысль, естественно развивающаяся в бесчисленных разнообразных лицах»[1]. И потому его книга стала «романом идей», вобравшим в себя целую культурную эпоху. Здесь идеи сливаются с лицами, с персонажами романтических повестей. И каждый персонаж, подчиняясь идее, в свою очередь соединенной с основной концепцией книги, тем не менее свободен в рамках повести, не заслоняется другими персонажами.

В сущности, «Русские ночи» — это прообраз романтической культуры, энциклопедия миросозерцания наших романтиков. Здесь запечатлена духовная атмосфера 30-х годов прошлого столетия. Художественное мышление Одоевского — это прежде всего мышление романтическое. А романтизму была присуща бескомпромиссная критика прошлого и настоящего, органически соединяющаяся со стремлением в ничем не скомпрометированное будущее, с верой в скрывающиеся в туманном завтра необозримые возможности. В прошлом же и настоящем русским романтикам чаще всего виделись разобщение и обособление людей, распад целостного знания о мире на отдельные науки, сухой и поверхностный рационализм.

У Одоевского все время повторяется мысль о дисгармоничности бытия, о трагической разорванности человеческого сознания, порождающей неблагополучные судьбы. Любая литература, некритически принимающая и отражающая этот хаотичный, несовершенный мир и забывающая об идеальном будущем, вступает, по его мнению, на неплодотворный путь художественного распыления бытия. Одна из целей «Русских ночей» — художественное выявление, подчеркивание и разоблачение недолжного бытия. В примыкающих к этой книге «Психологических заметках» Одоевский развивает мысль Платона° о гармонии («Пир»), перенося ее из области чистой эстетики в поэтику «Русских ночей»: «Тогда, когда каждый индивидуум будет знать звук, который он должен издавать в общей гармонии, тогда только будет гармония»[2]. В книге

[1] ОР ГПБ, ф. 539, оп. 1, пер. 13, лл. 14—15.
[2] См. наст. изд., с. 271.

В. Ф. Одоевского показана дисгармоничность отдельных личностей и целых социальных систем. В то же время здесь настойчиво проводится мысль о возможности и необходимости социальной и нравственной гармонии.

В повестях «Русских ночей» воплощены разные типы духовной глухоты, роковой неспособности уловить жизненный ритм, губящие не только героев, но и целые цивилизации. И потому перед читателем возникает отчетливая, объективная картина социальной и философской дисгармонии. Здесь содержится пророческая критика буржуазной индивидуалистической культуры. И эта критика была одним из основных достижений Одоевского. Другим его достижением стала романтическая «диалектика души». Недаром Гоголь, внимательно следивший за работой Одоевского над «Русскими ночами», отметил именно точность и глубину анализа движений человеческой души: «Это ряд психологических явлений, непостижимых в человеке!»[1].

Писатель делает героями повестей самых разных людей, от Баха и Бетховена до несчастного импровизатора Киприяно. И у всех персонажей — одна черта: неполнота жизни, дисгармоничность духовного развития. На нескольких страницах Одоевский сумел показать трагедию великого Бетховена, не могущего более выражать свои колоссальные замыслы на языке музыки. «Себастиян Бах» — печальное повествование о трудной, скорбной судьбе гения, знавшего только одно свое высокое искусство и постепенно превратившегося в «церковный орган, возведенный на степень человека».

Повести «Русских ночей» о замечательных музыкантах и художниках и сегодня поражают глубиной проникновения в духовный мир этих изнемогающих в борении с собственным гением людей. Тут Одоевскому пригодились и знания и талант музыковеда, и немалый опыт сочинения и исполнения музыки, и постоянный интерес к тайнам человеческой души. В его черновиках сохранилась любопытная запись: «Была минута, когда Шекспир был Макбетом, Гете Мефистофелем, Пушкин Пугачевым, Гоголь — Тарасом Бульбою; из этого не следует, что они такими и остались; но чтобы сделать живыми своих героев, поэты должны были отыскивать их чувства, их мысли, даже их движения, их поступки в самих себе»[2]. И этот редкий дар понимания, проникновения в сложнейший характер и духовное сродство со своими героями позволили Одоевскому создать своего рода «биографии талантов» (Белинский), интереснейшие портреты мятущихся, ищущих художников.

Владимир Одоевский был одним из образованнейших людей своего времени, и сам Шеллинг, беседуя с ним, удивлялся глубине и разнообразию познаний русского философа. Но именно уникальные познания и высокая культура мысли и чувства давали Одоевскому право на сомнение. Именно на сомнение, а не на скептицизм, ибо автору «Русских ночей» слишком ясна была вся необходимость решительных утвержде-

---

[1] Н. В. Гоголь. Полн. собр. соч., т. X. Л., 1940, с. 243.
[2] ОР ГПБ, ф. 539, оп. 1, пер. 24, л. 226.

ний, испытанных в горниле отрицания. И поэтому «Русские ночи» не только элегическое воспоминание русского философа о светлой эпохе юношеской веры и исканий, но и книга итогов и великих сомнений. Прав был Кюхельбекер: это именно книга вопросов и точного, прозорливого называния проблем, многие из которых не решены по сей день.

Некоторые предвидения самого Одоевского ныне сбылись, и важнейшие открытия часто делаются сейчас именно на стыке нескольких наук, подтверждая мысль писателя об объединении различных областей знания. Поэтому современному читателю, и прежде всего ученым, интересно следить за целеустремленной работой этого сильного, чрезвычайно самостоятельного ума.

Собрание сочинений 1844 года, первый том которого составили «Русские ночи», стало вершиной писательского пути В. Ф. Одоевского. Вокруг рождалась новая литература, и молодые литераторы 40-х годов начинали смотреть на Одоевского как на писателя пушкинской эпохи, пережившего свое время. Писательская судьба Одоевского действительно была связана с пушкинской эпохой, и об этом очень хорошо сказал в 1845 году Кюхельбекер в письме к автору «Русских ночей»: «Ты, напротив, *наш:* тебе и Грибоедов, и Пушкин, и я завещали все наше лучшее; ты перед потомством и отечеством представитель нашего времени, нашего *бескорыстного* стремления к художественной красоте и к истине безусловной. Будь счастливее нас!»[1]. И Одоевский всю жизнь пребывал верен идеалам пушкинской эпохи, и это неизменно вызывало уважение людей самых разных поколений и взглядов. Он был признанным литературным авторитетом, а собрание сочинений 1844 года еще раз подтвердило, что Владимир Одоевский — один из лучших русских прозаиков.

Именно поэтому уход Одоевского из литературы, произошедший вскоре после появления его сочинений, многими был воспринят как неожиданный и ничем не оправданный. Между тем к этому решению Одоевский пришел после многолетних размышлений над судьбой писателя в России. О 40—50-х годах он резко сказал: «Время это вовсе не литературно, а более ростбифно». В 1861 году в письме Одоевского композитору В. Кашперову говорилось: «В России еще нет ни отдельного пространства, ни отдельного времени для искусств... В такие эпохи отказываться от скучного, сухого дела для труда более привлекательного было бы при известной личной обстановке до некоторой степени эгоизмом, особливо теперь, когда Россия зажила новою жизнию, когда кипит в ней сильное, благодетельное движение, когда все отрасли общественной жизни, словно раскрытые рты, требуют здоровой разумной пищи — а между тем безлюдье большое, одними идеями не накормишь...»[2] Конкретное дело, практические начинания становятся для Одоевского центральной задачей. И потому он упорно именовал себя не литератором, а химиком и механиком.

---

[1] «Отчет имп. Публичной библиотеки за 1893 год». СПб., 1896, с. 71.

[2] В. Ф. Одоевский. Музыкально-литературное наследие. М., Музгиз, 1956, с. 517.

В 1846 году в знаменитом «Петербургском сборнике» Некрасова появилась повесть Одоевского «Мартингал», его последнее заметное литературное выступление. В этом же году писатель становится директором Румянцевского музея (на его основе создана Государственная библиотека имени В. И. Ленина) и заместителем директора императорской Публичной библиотеки (ныне Государственная публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина). Так четко обозначилась граница между литературной деятельностью и службой. Одоевский много сделал для расширения и улучшения работы этих крупнейших отечественных книгохранилищ. После его смерти сюда поступили его обширный и по сей день недостаточно изученный и разобранный архив и собрание редких книг, рукописей и старинных нот.

Верный своей идее практического служения отечественной культуре, Одоевский все силы отдавал теперь работе. Конечно, ежедневная канцелярщина, вечная забота о средствах для бедствовавшего музея и библиотеки были изнурительным трудом. Свои страдания благонамеренного чиновника Одоевский описал в незавершенной бюрократической мистерии «Сегелиель. Дон Кихот XIX столетия. Сказка для старых детей», где глубокий ум честного чиновника-духа теряется в лабиринте мышиных ходов канцелярской сметки и мелких обманов. Не случайно желчный Филипп Вигель намекнул, что «добрый дьявол» Сегелиель слишком похож на своего создателя.

Внешняя жизнь Одоевского в 40—60-е годы казалась скудной и монотонной. На протяжении десятилетий в ней не происходило ничего значительного и яркого, бросающегося в глаза стороннему наблюдателю. Затянутый в вицмундир чиновник аккуратно являлся на службу, бывал у великой княгини Елены Павловны, исполнял свои обязанности при дворе. Столь же аккуратно отпускались Одоевскому анненские и владимирские кресты, чины и придворные звания. Он стал камергером, а затем и гофмейстером двора, действительным статским советником (от чина тайного советника писатель отказался, удивив этим сановных бюрократов). Это была обычная карьера светского человека, немногим отличавшаяся от карьеры князя Петра Вяземского, Владимира Титова, Тютчева, Соллогуба и других друзей Одоевского.

Между тем внутренняя, духовная биография Одоевского 40—60-х годов поразительно ярка и богата. «Русские ночи» потрясли многих читателей почти экзотической уникальностью обширных и глубоких познаний. Действительно, многие имена и факты, встречающиеся здесь, и по сей день остались за пределами интересов науки. Некоторых упоминаемых в книге имен нет и в крупнейших энциклопедиях наших дней, не говоря уже об отсутствии научных исследований на эти темы. Углубляясь в малоисследованные области науки и искусства, Одоевский непрерывно расширял круг своих исканий и интересов. Уроки химии у академика Гесса, опыты с электричеством, идея управляемого аэростата — вот обрывки этих размышлений и занятий, рядом с которыми существовали сотни иных дел и тем.

Насколько далеко смотрел Одоевский, свидетельствует его незавершенный научно-фантастический роман «4338-й год», где люди будущего освоили Луну, летают на управляемых электрических аэростатах, проносятся под землей и морями в электровозах, выращивают урожай при свете искусственного электрического солнца и т. д. Писатель задумывался и о том, что теперь именуется теорией информации.

Мысли о будущем соединялись у Одоевского с постоянными размышлениями о настоящем, о судьбе русской науки, о распространении знаний в народной среде. А за этими размышлениями следовали практические дела. Конечно, Одоевский всегда оставался на позициях умеренного дворянского либерализма, наивно верил в действенность весьма ограниченных реформ 60-х годов и потому резко отрицательно отзывался о революционных демократах, в частности о Чернышевском. Его филантропизм был половинчат и неэффективен. Однако многие деяния Одоевского — общественного деятеля — заслуживают благодарного воспоминания.

Велик вклад Одоевского в новое тогда дело популяризации науки для народа: он написал несколько учебников и издавал сборники для крестьян «Сельское чтение», вышедшие несколькими изданиями и содержавшие сведения из разных областей знания. Сборники эти произвели большое впечатление на Белинского и предвосхитили толстовские народные издания. Одоевский был одним из организаторов Общества посещения бедных, занимавшегося устройством детских приютов, школ и больниц. С работой Общества связано было его увлечение педагогикой и детской литературой. О своих филантропических действиях писатель говорил: «В существе всякая милостыня есть коммунизм, ибо всякая милостыня имеет целию равнять богатого с бедным»[1]. Одоевскому и его соратникам удалось помочь многим тысячам униженных и оскорбленных. И все же он понимал всю ограниченность своей филантропической деятельности, ибо, по его словам, «крепостная барщина лежала как чурбан между самыми благими мерами и действительностию»[2].

Социальная дисгармония русской жизни заставляла Одоевского задумываться о ближайшем будущем, которое угрожало России великими потрясениями. Крымская катастрофа 1855 года вызвала гнев писателя: «Ложь, многословие и взятки — вот те три пиявицы, которые сосут Россию; взятки и воровство покрываются этой ложью, а ложь многословием»[3]. Одоевский отлично разбирался в технике и знал, что избежать взрыва паровой машины можно, открыв предохранительный клапан. Такой «клапан» писатель стремился отыскать в разладившейся машине русского общества. Он взвесил все возможности и сделал вывод: единственным спасением от общественных потрясений для России является освобождение крестьян.

---

[1] ОР ГПБ, ф. 539, оп. 1, пер. 95, л. 12.
[2] «Русский архив», 1874, кн. II, стб. 41.
[3] «Русский архив», 1874, кн. I, стб. 308.

И потому в 50—60-е годы Владимир Одоевский становится активнейшим сторонником освобождения крестьян и других либеральных реформ, что, естественно, вызвало ярость в лагере крепостников, не ожидавших такого свободомыслия от князя Рюрикова рода. Тем не менее Одоевский принял участие в разработке проектов крестьянской и судебной реформ и не раз открыто выступал против реакционеров со статьями и блестящими памфлетами, среди которых выделяются «Перехваченные письма», продолжившие грибоедовскую традицию и предвосхитившие социальную сатиру Щедрина. Когда крепостное право было отменено, писатель приветствовал освобождение крестьян и с тех пор каждый год отмечал день 19 февраля как национальный праздник: «Этим днем заканчивается древняя история России и начинается новая»[1].

В 1862 году Одоевский был назначен сенатором в Москву. В родном городе он поселился в доме князя Волконского на Смоленском бульваре, где разместил свою библиотеку и коллекцию музыкальных инструментов. Вскоре здесь начались привычные литературно-музыкальные собрания, и салон Одоевского как бы обрел вторую жизнь в более радушной, душевной и нечиновной атмосфере московского гостеприимства. Одоевский по-прежнему интересовался старинной русской музыкой и иконописью и потому в его собраниях рядом с графом Львом Толстым оказывался вдруг бородатый раскольник, знаток северных икон и древнего пения «по крюкам». Продолжались и занятия в библиотеке. Посетитель салона Одоевского свидетельствовал: «В большой библиотеке его, с редкими сочинениями, едва ли был один том без его отметки карандашом»[2]. Одоевский в своих разысканиях пользовался и уникальной библиотекой своего друга, остроумца и библиофила Сергея Соболевского, жившего в том же доме.

Многолетние труды не принесли Одоевскому богатства, и жизнь его была настолько скромна, что британский посол лорд Непир поразился скудости существования русского князя и воскликнул: «Не таким бы он был у нас в Лондоне!»[3]. Но Одоевский никогда не стремился к материальному благополучию. Зато богатство, бодрость и сила духа, ясность мысли были им сохранены до конца. Князь Голицын, видевший писателя в последние годы его жизни, вспоминал: «Одоевский был небольшого роста, худощавый, с очень тонкими чертами лица, чрезвычайно подвижный и веселый»[4]. Столь же энергичны были и его статьи тех лет, и в особенности знаменитая статья «Недовольно», порицавшая общественный пессимизм тургеневского этюда «Довольно» и звавшая русских деятелей к активной работе. Эти статьи Одоевского — заметное явление в русской демократической публицистике.

Статьи по педагогике, детские и народные книжки, основание Русского музыкального общества и Московской консерватории, деятельная дружба с А. Н. Островским, А. Серовым и П. Чайковским, статьи и

---

[1] «Русский архив», 1895, т. V, с. 53.
[2] «Русская старина», 1890, т. 9, с. 632.
[3] ЦГАЛИ, ф. 472, оп. 1, ед. хр. 29, л. 3.
[4] ОР ГБЛ, ф. 261, к. 18, ед. хр. 5, л. 53.

брошюры о музыке, заседания Общества любителей российской словесности и московского артистического кружка, слушание дел в сенате, беседы с композиторами Рихардом Вагнером и Гектором Берлиозом, изучение русских древностей в хранилищах подмосковных монастырей и сотни иных дел — вот чем были наполнены последние два десятилетия жизни Владимира Федоровича Одоевского. В одном его письме к историку М. Погодину есть очень точная характеристика собственной деятельности: «Во вкусах мы сходны,— ты любишь старое, и я люблю старое, только всегда обновляющееся, и следственно, *нестареющее*» [1].

Одоевского часто называли русским Фаустом, и сам он признавал автобиографичность главного героя «Русских ночей» и так объяснял свое понимание этого образа: «Говорят, что Гете в «Фаусте» изобразил страдание человека всезнающего, постигнувшего все силы природы. Но знание природы, которое, сказать мимоходом, никогда не может достигнуть крайних пределов, никогда не производит чувства страдания; грусть лишь о том, что пределы не достигнуты» [2]. И его собственная жизнь ученого и писателя — интереснейший пример вечного стремления самобытного ума к пределам живого знания. Исследования и публикации последних лет постепенно извлекают из забвения мысли и творения Владимира Одоевского, этого русского Фауста, талантливого писателя и философа, выдающегося деятеля отечественной культуры. К этому искреннему, взволнованному голосу писателя прошлого столетия, сообщающему нам живые, нестареющие истины, современный читатель, бесспорно, прислушается с должным вниманием и интересом.

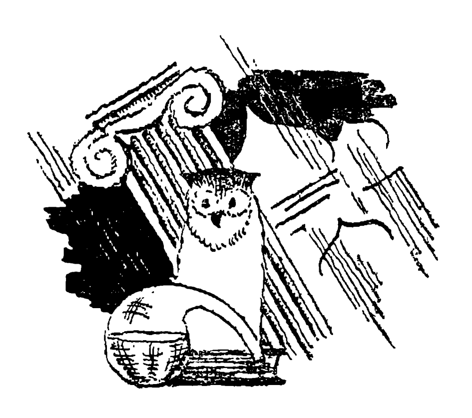
В. И. Сахаров

---

[1] ОР ГБЛ, ф. Пог/II, к. 22, ед. хр. 79, л. 6.
[2] ОР ГПБ, ф. 539, оп. 1, пер. 80, л. 254.



РУССКИЕ НОЧИ



Nel mezzo del cammin di nostra vita
Mi ritrovai per una selva oscura
Ché la diritta via era smarritta.

Dante. Inferno [1]

Lassen sie mich nun zuvörderst gleichnissweise reden! Bei schwer begreiflichen Dingen thut man wohl sich auf diese Weise zu helfen.

Goethes. Wilhelm Meisters Wanderjahre [2]

<ВВЕДЕНИЕ>

Во все эпохи душа человека стремлением необоримой силы, невольно, как магнит к северу, обращается к задачам, коих разрешение скрывается во глубине таинственных стихий, образующих и связующих жизнь духовную и жизнь вещественную; ничто не останавливает сего стремления, ни житейские печали и радости, ни мятежная деятельность, ни смиренное созерцание; это стремление столь постоянно, что иногда, кажется, оно происходит независимо от воли человека, подобно физическим отправлениям; проходят столетия, все поглощается временем: понятия, нравы, привычки, направление, образ действования; вся прошедшая жизнь тонет в недосягаемой глубине, а чудная задача всплывает над утопшим миром; после долгой борьбы, сомнений, насмешек — новое поколение, подобно прежнему, им осмеянному, испытует глубину тех же таинственных стихий; течение веков разнообразит имена их, изменяет и понятие об оных, но не изменяет ни их существа, ни их образа действия; вечно юные, вечно мощные, они постоянно пребывают в первозданной своей девственности, и их неразгаданная гармония внятно слышится посреди бурь, столь часто возмущающих сердце человека. Для объяснения великого смысла сих великих деятелей естествоиспытатель вопрошает произведения вещественного мира, эти символы веществен-

---

[1] Земную жизнь пройдя до половины, Я очутился в сумрачном лесу. Утратив правый путь во тьме долины. *Данте. Ад (ит.;* перевод М. Л. Лозинского). *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

[2] Позвольте же мне сперва говорить притчей. При трудно понимаемых вещах, пожалуй, только таким образом и можно помочь делу. *Гёте.* Годы странствий Вильгельма Мейстера *(нем.). (Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

ной жизни, историк — живые символы, внесенные в летописи народов, поэт — живые символы души своей.

Во всех случаях способы исследования, точка зрения, приемы могут быть разнообразны до бесконечности: в естествознании одни принимают всю природу, во всей ее общности, за предмет своих исследований, другие — гармоническое построение одного отдельного организма; так и в поэзии.

В истории встречаются лица вполне символические, которых жизнь есть внутренняя история данной эпохи всего человечества; встречаются происшествия, разгадка которых может означить, при известной точке зрения, путь, пройденный человечеством по тому или другому направлению; не все досказывается мертвою буквою летописца; не всякая мысль, не всякая жизнь достигает полного развития, как не всякое растение достигает до степени цвета и плода; но возможность сего развития тем не уничтожается; умирая в истории, оно воскресает в поэзии.

В глубине внутренней жизни поэту встречаются свои символические лица и происшествия; иногда сими символами, при магическом свете вдохновения, дополняются исторические символы, иногда первые совершенно совпадают со вторыми; тогда обыкновенно думают, что поэт возлагает на исторические лица, как на очистительную жертву, свои собственные прозрения, свои надежды, свои страдания; напрасно! поэт лишь покорялся законам и условиям своего мира; такая встреча есть случайность, могущая быть и не быть, ибо для души, в ее естественном, т. е. вдохновенном состоянии, находятся указания вернейшие, нежели в пыльных хартиях всего мира.

Таким образом, могут существовать отдельно и слитно исторические и поэтические символы; те и другие истекают из одного источника, но живут разною жизнию: одни — жизнию неполною, в тесном мире планеты, другие — жизнию безграничною, в бесконечном царстве поэта; но — увы! и те и другие хранят внутри себя под несколькими покровами заветную тайну, может быть, недосягаемую для человека в сей жизни, но к которой ему позволено приближаться.

Не вините художника, если под одним покровом он находит еще другой покров, по той же причине, почему вы не обвините химика, зачем он с первого раза не открыл самых простых, но и самых отдаленных стихий вещества, им исследуемого. Древняя надпись на статуе Изиды: «никто еще не видал лица моего» — доныне не

потеряла своего значения во всех отраслях человеческой деятельности.

Вот теория автора; ложная или истинная — это не его дело.

Еще несколько слов о форме того сочинения, которое называется «Русскими ночами» и которое, вероятно, наиболее подвергнется критике: автор почитал возможным существование такой драмы, которой предметом была бы не участь одного человека, но участь общего всему человечеству ощущения, проявляющегося разнообразно в историко-символических лицах; словом, такой драмы, где бы не речь, подчиненная минутным впечатлениям, но целая жизнь одного лица служила бы вопросом или ответом на жизнь другого.

За сим, и без того уже слишком длинным теоретическим изложением, автору кажется излишним входить здесь в дальнейшие объяснения; сочинения, имеющие притязание на название эстетических, должны сами отвечать за себя, и преждевременно защищать их полным догматическим изложением теории, на которой они основаны, было бы напрасным оскорблением прав художника.

Автор не может и не должен окончить сего предисловия, не сказав *«спасибо»* лицам, которых советами он воспользовался, равно и тем, которые нашли его сочинения, до сих пор рассеянные по разным журналам, достойными перевода, в особенности знаменитому берлинскому литератору Фарнгагену фон Энзе, который посреди непрерывной благородной своей деятельности передал своим соотечественникам в изящном переводе, далеко превосходящем подлинник, некоторые из произведений автора сей книги.

На трудном и странном пути, который проходит человек, попавший в очарованный круг, называемый литературным, из которого нет выхода, отрадно слышать отголосок своим чувствам между людьми, нам незнакомыми, отдаленными от нас и пространством и обстоятельствами жизни.

НОЧЬ ПЕРВАЯ

Мазурка кончилась. Ростислав уже насмотрелся на белые, роскошные плечи своей дамы и счел на них все фиолетовые жилки, надышался ее воздухом, наговорился с нею обо всем, о чем можно наговориться в мазурке, например обо всех тех домах, где они должны были встречаться в продолжение недели,— и, неблагодарный,

чувствовал лишь жар и усталость; он подошел к окошку, с наслаждением впивал тот особенный запах, который производится трескучим морозом, и с чрезвычайным любопытством рассматривал свои часы; было два часа за полночь. Между тем на дворе все белело и кружилось в какой-то темной, бездонной пучине, выл северный ветер, хлопьями пушило окна и разрисовывало их своенравными узорами. Чудное зрелище! за окном пирует дикая природа, холодом, бурею, смертью грозит человеку,— здесь, через два вершка, блестящие люстры, хрупкие вазы, весенние цветы, все удобства, все прихоти восточного неба, климат Италии, полунагие женщины, равнодушная насмешка над угрозами природы,— и Ростислав невольно поблагодарил в глубине души того умного человека, который выдумал строить дома, вставлять рамы и топить печи. «Что было бы с нами,— рассуждал он,— если бы не случилось на свете этого умного человека? Каких усилий стоило человечеству достигнуть весьма простой вещи, на которую обыкновенно никто не обращает внимания, то есть жить в доме с рамами и печами?» — Эти вопросы нечувствительно напомнили Ростиславу сказку одного его приятеля, которая начинается, кажется, со времен изобретения огня и оканчивается сценою в гостиной, где некоторые люди находят весьма похвальным, что в просвещенной Англии господа ремесленники ломают и жгут драгоценные машины своих хозяев. Общество первобытных обитателей земли, окутанных в звериные шкуры, сидит на голой земле вокруг огня; им горячо спереди, им холодно сзади, они проклинают дождь и ветер и смеются над одним из чудаков, который пытается сделать себе крышку, потому что, разумеется, ее беспрестанно сносит ветер. Другая сцена: люди сидят уже в лачуге; посреди разложен костер, дым ест глаза, ветром разносит искры; надобно смотреть за огнем беспрестанно, иначе он разрушит едва сплоченное жилище человека; люди проклинают ветер и холод, и опять смеются над одним из чудаков, который пытается обложить костер камнями, потому что, разумеется, от того огонь часто гаснет. Но вот гений, которому пришло в голову закрывать трубу в печке! Этот несчастный должен выдержать батальный огонь насмешек, эпиграмм, упреков, ибо много людей угорело от первой закрытой на свете печки. А чему не подвергался тот, кому первому пришло в мысль приготовить обед в глиняном горшке, выковать железо, обратить песок в прозрачную доску, выражать свои мысли с трудом остающимися в памяти знаками, наконец — подчинить законному порядку сборище людей, привыкших к своеволию и

полному разгулу страстей? Какие успехи должны были сделать физика, химия, механика и проч., чтоб обратить произведение пчелы в свечку, склеить этот стол, обтянуть эти стены штофом, расписать потолок, зажечь масло в лампах? Ум теряется в бесконечно многочисленных, разнообразных открытиях, без которых не было бы светлого дома с рамами и печами.— «Что ни говори,— подумал Ростислав,— а просвещение доброе дело!»

«Просвещение»... на этом слове он невольно остановился. Мысли его более и более распространялись, более и более становились важнее... «Просвещение! Наш XIX век называют просвещенным; но в самом ли деле мы счастливее того рыбака, который некогда, может быть, на этом самом месте, где теперь пестреет газовая толпа, расстилал свои сети? Что вокруг нас?

Зачем мятутся народы? Зачем, как снежную пыль, разносит их вихорь? Зачем плачет младенец, терзается юноша, унывает старец? Зачем общество враждует с обществом и, еще более, с каждым из своих собственных членов? Зачем железо рассекает связи любви и дружбы? Зачем преступление и несчастие считается необходимою буквою в математической формуле общества?

Являются народы на поприще жизни, блещут славою, наполняют собою страницы истории и вдруг слабеют, приходят в какое-то беснование, как строители вавилонской башни,— и имя их с трудом отыскивает чужеземный археолог посреди пыльных хартий.

Здесь общество страждет, ибо нет среди его сильного духа, который бы смирил порочные страсти, а благородные направил ко благу.

Здесь общество изгоняет гения, явившегося ему на славу,— и вероломный друг, в угоду обществу, предает позору память великого человека[1].

Здесь движутся все силы духа и вещества; воображение, ум, воля напряжены,— время и пространство обращены в ничто, пирует воля человека,— а общество страждет и грустно чует приближение своей кончины.

Здесь, в стоячем болоте, засыпают силы; как взнузданный конь, человек прилежно вертит все одно и то же колесо общественной махины, каждый день слепнет более и более, а махина полуразрушилась: одно движение молодого соседа — и исчезло стотысячелетнее царство.

Везде вражда, смешение языков, казни без преступле-

---

[1] Намек на Томаса Мура, по семейным ‹условиям› не решившегося издать записки Байрона, ожидавшиеся с нетерпением. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

ний и преступления без казни, а на конце поприща — смерть и ничтожество. Смерть народа... страшное слово!

Закон природы! — говорит один.

Форма правления! — говорит другой.

Недостаток просвещения! — говорит третий.

Излишество просвещения!

Отсутствие религиозного чувства!

Фанатизм!

Но кто вы, вы, гордые истолкователи таинства жизни? Я не верю вам и имею право не верить! Нечисты слова ваши, и под ними скрываются еще менее чистые мысли.

Ты говоришь мне о законе природы; но как угадал ты его? Пророк непризванный! где твое знамение?

Ты говоришь мне о пользе просвешения? Но твои руки окровавлены.

Ты говоришь мне о вреде просвещения? Но ты косноязычен, твои мысли не вяжутся одна с другою,— природа темна для тебя,— ты сам не понимаешь себя!

Ты говоришь мне о форме правления? Но где та форма, которою ты доволен?

Ты говоришь мне о религиозном чувстве? Но смотри — черное платье твое опалено костром, на котором терзался брат твой; его стенания невольно вырываются из твоей гортани вместе с твоею сладкою речью.

Ты говоришь мне о фанатизме? Но смотри — душа твоя обратилась в паровую машину. Я вижу в тебе винты и колеса, но жизни не вижу!

Прочь, оглашенные! нечисты слова ваши: в них дышат темные страсти! Не вам оторваться от житейского праха, не вам проникнуть в глубину жизни! В пустыне души вашей веют тлетворные ветры, ходит черная язва и ни одного чувства не оставляет незараженным!

Не вам, дряхлые сыны дряхлых отцов, просветить ум наш. Мы знаем вас, как вы нас не знаете; мы в тишине наблюдали ваше рождение, ваши болезни — и предвидим вашу кончину; мы плакали и смеялись над вами, мы знаем ваше прошедшее ... но знаем ли свое будущее?»

Читатель, вероятно, уже догадался, что все эти прекрасные вещи успели пробежать в голове Ростислава в тысячу раз скорее, нежели во сколько я мог рассказать их,— и действительно, они продолжались не более того промежутка, который бывает между двумя танцами.

Два приятеля подошли к Ростиславу

— Что ты нашел в этом окошке?

— О чем ты задумался? — спросили они.

— О судьбе человечества! — отвечал Ростислав важным голосом.

— Подумай лучше о судьбе нашего ужина,— возразил Виктор,— здесь танцевальные мученики затевают еще контраданс до ужина.

— До ужина? Злодеи!.. Слуга покорный!

— Поедем к Фаусту

Надобно предуведомить благосклонного читателя, что Фаустом они называли одного из своих приятелей, который имел странное обыкновение держать у себя черную кошку, по нескольку дней сряду не брить бороды, рассматривать в микроскоп козявок, дуть в плавильную трубку, запирать дверь на крючок и по целым часам прилежно заниматься, кажется. обтачиванием ногтей, как говорят светские люди.

— К Фаусту?— отвечал Ростислав.— Прекрасно; он мне поможет разрешить задачу.

— Он нам даст ужинать.

— У него можно курить.

К ним присоединились еще несколько человек, и все вместе отправились к Фаусту.

Садясь в карету, Ростислав остановился на подножке.

— Послушайте, господа,— сказал он.— Ведь карета есть важное произведение просвещения?

— Какое тут просвещение!— закричали его нетерпеливые спутники.— Двадцать градусов мороза: садись скорее!

Ростислав послушался, но продолжал: «Да! карета есть важное произведение искусства. Вы, укрываясь в ней от ветра, дождя и снега, верно, никогда не думали, какие успехи в науках были необходимы для создания кареты!»

Сперва все захохотали, но потом, когда начали разбирать по частям это высокое произведение, то нашли, что для рессор надобно было взрывать рудники, для сукна— воспитать мериносов и изобресть ткацкий стан, для кожи— открыть свойства дубильного вещества, для красок— почти всю химию, для дерева— существовать мореплаванию, Коломбу открыть Америку, и проч. и проч. Словом, нашлось, что почти все науки и искусства и почти все великие люди были необходимы для того, чтобы мы могли спокойно сидеть в карете, а это дело, кажется, теперь так просто, так сподручно для каждого ремесленника... Между тем глубокомысленный предмет наших изысканий остановился у подъезда.

Фауст, по своему обыкновению, еще не спал, сидел в креслах невыбритый: перед ним черный кот, разного рода ножницы, ножички, подпилки, щеточки и пемза, которую он всем рекомендовал как самое лучшее средство для отделки ногтей, потому что после нее ногти не ломаются, не задираются и. словом. не производят ни одного из тех

огорчений, которые могут нарушить спокойствие человека в этой жизни.

«Что есть просвещение?»

«Нельзя ли ужинать?»

«Что есть карета?»

«Нельзя ли цигару?»

«Отчего мы курим табак?» — прокричали вместе несколько голосов.

Фауст, нимало не смешавшись, поправил на голове колпак и отвечал: «Ужинать я вам не дам, потому что я сам не ужинаю; чай можете сделать сами в машине à pression froide[1], — прекрасная машина, жаль только, что чай в ней бывает очень дурен; на вопрос, отчего мы курим, я буду вам отвечать, когда вы добьетесь от животных, почему они не курят; карета есть механический снаряд для употребления людей, приезжающих в четыре часа ночи; что же касается до просвещения, то я собираюсь ложиться спать — и гашу свечки».

НОЧЬ ВТОРАЯ

На другой день около полуночи толпа молодых людей снова вбежала в комнату Фауста. «Ты напрасно вчера прогнал нас, — сказал Ростислав, — у нас поднялся такой спор, какого еще никогда не было. Представь себе, я завозил Вячеслава домой; на подножке кареты он остановился, а мы всё еще продолжали спорить, да так, что всполошили всю улицу».

— Что же вас так встревожило? — спросил Фауст, лениво потягиваясь в креслах.

— Безделица! Каждый день мы толкуем о немецкой философии, об английской промышленности, о европейском просвещении, об успехах ума, о движении человечества, и проч. и проч.; но до сих пор мы не спохватились спросить одного: что мы за колесо в этой чудной машине? что нам оставили на долю наши предшественники? словом: что такое мы?

— Я утверждаю, — сказал Виктор, — что этот вопрос не может существовать, или ответ на него самый простой: мы, во-первых, люди. Мы пришли позже других, — дорога проложена, и мы, волею или неволею, должны идти по ней...

Ростислав. Прекрасно! Это точно книга, над которою человек трудится в продолжение сорока лет и в

[1] Холодного давления (*фр.*).

которой, наконец, очень благоразумно объявляет читателю: «Мм! Гг! один сказал одно, другой — другое, третий — третье; что же касается до меня, то я ничего не говорю»...

— И это не дурно для справок,— заметил Фауст,— все в жизни нужно; но дело в том: точно ли ничего не осталось сказать?

— Да зачем и говорить? — возразил Вячеслав.— Все это вздор, господа. Чтоб говорить, надобно, чтоб слушали; век слушанья прошел: кто кого будет слушать? да и об чем хлопотать? — Мир без нас начался, без нас и кончится. Я объявляю вам, что мне наскучили все эти бесплодные философствования, все эти вопросы о начале вещей, о причине причин. Поверьте мне, все это пустошь в сравнении с хорошим бифштексом и бутылкой лафита; они мне напоминают лишь басню Хемницера «Метафизик».

— Хемницер,— заметил Ростислав,— несмотря на свой талант, был в этой басне рабским отголоском нахальной философии своего времени. Он, вероятно, сам не предвидел, до какой меры это прославление холодного эгоизма подействует на молодые головы; в этой басне лицо, заслуживающее уважения, есть именно Метафизик, который не видал ямы под своими ногами и, сидя в ней по горло, забывая о себе, спрашивает о снаряде для спасения погибающих и о том, что такое время. Тот же, кто на эти вопросы отвечает грубою насмешкою, напоминает мне тех благоразумных людей, которые во время французской революции на просьбу несчастного и славного Лавуазье — окончить начатый им опыт — отвечали, что мудрая республика не нуждается в химических опытах. Что же касается до бифштекса и лафита, то ты совершенно прав — до тех пор, пока сидишь за столом; но, к сожалению, человеку так трудно все совершенное, что ему даже недостает способов совершенно оскотиться; кажется, он живьем предался чувственности, все забыто — опьянение полно, а грусть стучится к нему в сердце, грусть нежданная, непонятная; он силится отклонить, разгадать ее, и снова оживает душа в огрубелом теле, ум просит жизни, мысль — образа, и смущенный, стыдливый дух человека снова бьется о непостижимые двери райских селений.

— Оттого, что мы глупы! — возразил Вячеслав.

— Нет! — вскричал Фауст.— Оттого, что мы люди; как ни вертись, от души не отвертишься. Смотри-ка, на что натолкнулась химия, гордая химия, которая хотела верить только тому, что могла ощупать! Ее материальные приемы сокрушились пред этою странною силою природы,

которая из смеси угля, воды и азота составила все виды растительного и животного царства.— «Взвешивайте, определяйте состав веществ, и мы откроем всю природу!» — говорили химики в своем материальном безумии и, наконец, открыли тела одинакого состава и различных свойств, одинаких свойств и различного состава... они натолкнулись на жизнь! — Какая насмешка над нашим осязанием! какой урок житейскому разуму! — Зачем мы живем? — спрашиваете вы. Трудный и легкий вопрос. Может быть, на него можно отвечать одним словом; но этого слова вы не поймете, если оно само не выговорится в душе вашей... Вы хотите, чтобы вас научили истине? — Знаете ли великую тайну: истина не передается! Исследуйте прежде: что такое значит *говорить?* Я, по крайней мере, убежден, что говорить есть не иное что, как возбуждать в слушателе его собственное внутреннее слово: если его слово не в гармонии с вашим — он не поймет вас; если его слово свято — ваши и худые речи обратятся ему в пользу; если его слово лживо — вы произведете ему вред с лучшим намерением[1] Неоспоримо, что словом исправляется слово; но для того действующее слово должно быть чисто и откровенно,— а кто поручится за полную чистоту своего слова? — Вот вам побасенка в роде Хемницера: на улице стоял человек слепой, глухой и немой от рождения; лишь два чувства ему были оставлены природою: обоняние и осязание; что открывало ему чутье, то непременно ему хотелось ощупать, и когда это было невозможно, глухонемой слепец ужасно сердился и даже в досаде бил костылем прохожих. Однажды добрый человек подал ему милостыню; слепец почуял, что то была золотая монета, и обрадовался без ума, почел себя первым богачом в свете, от радости принялся прыгать... но радость его была непродолжительна: он уронил монету! В отчаянии тщетно он шарил и в углу стены и вокруг себя по земле и рукою и костылем, тщетно роптал, тщетно жаловался; часто он чуял запах монеты, казалось, близко — тщетная надежда: монета была ненаходима! Как спросить о ней у прохожих? Как услышать, что они скажут? Тщетно телодвижениями он

[1] Мысль, почерпнутая Фаустом из сочинения Пордеча и «Philosophe inconnu» («Неизвестный философ» *(фр.)*); Фауст часто, раза три или четыре, цитует этих сочинителей, не называя их — ибо боится упрека в мистицизме и в том, что он поддался влиянию не немецкого философа, что в эту эпоху казалось непростительным.

Эпоха, изображенная в «Русских ночах» — есть тот момент XIX века, когда Шеллингова философия перестала удовлетворять искателей истины и они разбрелись в разные стороны. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

умолял окружающих помочь его горю: одни не понимали его, другие над ним смеялись, третьи говорили ему, но он не слыхал их. Мальчишки со смехом дергали его за платье; он еще более принимался сердиться и, в гневе гоняясь за ними с костылем своим, забывал даже о своей монете. Так провел он целый день в непрестанном терзании; к вечеру усталый он возвратился домой и бросился на груду камней, служивших ему постелью; вдруг он почувствовал, что монета покатилась по нем и — укатилась под камни — на сей раз уже невозвратно: она была у него за пазухой!.. Кто мы, если не такие же глухие, немые и слепые от рождения? Кого мы спросим, где наша монета? Как поймем, если кто нам и скажет, где она? Где наше слово? Где слух наш? Между тем усердно мы шарим вокруг себя на земле и забываем только одно: посмотреть у себя за пазухой... Ваш вопрос не новость. Многие ломали над ним голову. У меня были в молодости два приятеля, которые наткнулись на тот же вопрос; только им показалось, что отвечать: зачем живем мы? — можно тогда только, когда решим: зачем живут *другие?* Исследовать *других* во всех или по крайней мере в важнейших фазах земной жизни показалось им предметом любопытным. Это было давно, в самый разгар Шеллинговой философии. Вы не можете себе представить, какое действие она произвела в свое время, какой толчок она дала людям, заснувшим под монотонный напев Локковых рапсодий.

В начале XIX века Шеллинг был тем же, чем Христофор Коломб в XV он открыл человеку неизвестную часть его мира, о которой существовали только какие-то баснословные предания.— *его душу!* Как Христофор Коломб, он нашел не то, чего искал; как Христофор Коломб, он возбудил надежды неисполнимые. Но, как Христофор Коломб, он дал новое направление деятельности человека! Все бросились в эту чудную, роскошную страну, кто возбужденный примером отважного мореплавателя, кто ради науки, кто из любопытства, кто для поживы. Одни вынесли оттуда много сокровищ, другие лишь обезьян да попугаев, но многое и потонуло.

Мои молодые друзья также участвовали в общем движении, трудились в поте лица, и хотите ли знать, до чего дошли они? — их история любопытна: будете ли иметь терпение ее выслушать?

Все изъявили согласие. Виктор закурил сигару и важно уселся в креслах; Вячеслав насмешливо наклонился на стол и принялся рисовать карикатуры; Ростислав задумчиво прижался в уголок дивана.

— Видите,— сказал Фауст,— им так же, как вам, досталась по наследству от внуков Адамовых несчастная страсть, слабость, род болезни — смертная охота обо всем спрашивать. Еще в детстве их часто бранили и наказывали, когда они надоедали учителям с вопросами: зачем огонь горит вверх, а вода бежит вниз? зачем треугольник не круг, а круг не треугольник? зачем человек выходит из недр матери лицом к земле, а потом постоянно возводит глаза к небу? и прочее, тому подобное. Тщетно доказывали им, что на свете существуют два рода вопросов: одни, которых разрешение знать нужно и полезно, и другие, которые можно отложить в сторону. Такое разделение казалось им весьма рассудительным, весьма сподручным для жизни, даже весьма логическим; а между тем душа их не умолкала.

Странны им казались пошлые фразы старого и нового язычества: «счастие человека невозможно! истина не дана человеку! постигнуть начальную причину вещей невозможно! сомнение — удел человека! нет правила без исключений!».

В истертых листках одной старой забытой книги юношам встретилось наблюдение, сильно их поразившее.— С сим словом Фауст вынул из старого портфеля листок, на котором было написано следующее:

«Не напрасно человек ищет той точки опоры, где могли бы примириться все его желания, где все вопросы, его возмущающие, могли бы найти ответ, все способности получить стройное направление. Для его счастия необходимо одно: светлая, обширная аксиома, которая обняла бы все и спасла бы его от муки сомнения; ему нужен свет незаходимый и неугашаемый, живой центр для всех предметов,— словом, ему нужна истина, но истина полная, безусловная. Недаром также в устах человека сохранилось поверье, что можно желать только того, что знаешь; одно это желание не свидетельствует ли, что человек имеет понятие о такой истине, хотя не может себе отдать в ней отчета? иначе откуда бы этому желанию пробраться в его душу? Одно это предчувствие полной истины не свидетельствует ли, что есть какое-то основание для этого предчувствия, как бы ни было оно темно и сбивчиво, как бы ни было похоже на грезы или на тот обман чувств, когда шарик под скрещенными пальцами кажется нам раздвоенным, что, однако же, дает нам убеждение в том, что шарик действительно существует.

Равное объемлется равным; если существует влечение, то должен быть и предмет привлекающий, предмет одного сродства с человеком, к которому тянется душа человека,

как предметы земной поверхности притягиваются к центру земли; потребность полного блаженства свидетельствует о существовании сего блаженства; потребность светлой истины свидетельствует о существовании сей истины, а равно и то, что темнота, заблуждения, сомнение противны природе человека; стремление человека постигнуть причину причин, проникнуть в средоточие всех существ,— потребность благоговения,— свидетельствуют, что есть предмет, в который доверчиво может погрузиться душа; словом, желание жизни полной свидетельствует о возможности такой жизни, свидетельствует, что лишь в ней душа человека может найти успокоение.

Грубое дерево, последняя былинка, каждый предмет грубой временной природы доказывают существование закона, который ведет их прямо к той степени совершенства, к которой они способны; с начала веков, несмотря на все пагубные влияния, их окружающие, естественные тела развивались в тысяче поколениях, стройно и однообразно, и всегда достигали до полного своего развития.

Неужели высшая сила лишь человеку дала одно безответное желание, неудовлетворимую потребность, беспредметное стремление?»[1]

Эти вопросы, продолжал Фауст, привели моих искателей к другому, довольно странному: не ошиблись ли люди в истинном пути к влекущему их предмету? или они знали его, но забыли,— и тогда как вспомнить? Вопросы страшные, мучительные для мыслящего духа!

Между тем однажды учитель объявил моим искателям, что они прошли и грамматику, и историю, и поэзию и что, наконец, они будут учиться такой науке, которая решит все возможные вопросы, и что эта наука называется философией.

Юноши были вне себя от изумления и готовы были спросить, что такое грамматика? что такое история? что такое поэзия? Но вторая половина учительского объявления так их утешила, что они на этот раз решились

---

[1] В этих строках заключается почти вся теория du Philosophe inconnu — знаменитого St. Martin,— которого обыкновенно смешивают с португальцем Martinez de Pasqualis, основателем секты мартинистов. St. Martin некоторое время был его учеником, но потом оставил его, и, может быть, именно потому, что знал все тайны секты,— был всегда противником всех возможных сект и не принадлежал ни к какой. Довольно замечательно, что это обстоятельство осталось незамеченным даже для людей такой учености, каков был Шеллинг. Однажды в разговоре с ним мы коснулись этого предмета, и он с обыкновенною своей откровенностию признался, что и он смешал St. Martin с Мартинецом. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

промолчать и исподтишка наготовить многое множество вопросов для своей новой науки.

И вот, один учитель принес им Баумейстера, другой Локка, третий Дюгальда, четвертый Канта, пятый Фихте, шестой Шеллинга, седьмой Гегеля. Какое раздолье! Спрашивай, о чем хочешь,—на все ответ И еще какой! Одетый в силлогистическую форму, испещренный цитатами, с правами на древность происхождения, обделанный, обточенный.

В самом деле, на этом пути наши искатели имели минуты восхитительные, минуты небесные, которых сладости не может понять тот, кого не томила душевная жажда, кто не припадал горячими устами к источнику мыслей, не упивался его магическими струями, кто, еще не возмужавши, успел растлить ум сладострастием расчета, кто с ранних лет отдал сердце в куплю и на торжище ежедневной жизни опрокинул сокровищницу души своей.

Счастливые, небесные минуты! Тогда, для юноши, философ говорит с сердечным убеждением; тогда юноше в стройной системе представляется вся природа; тогда вы не хотите сомневаться,—все ясно! все понятно вам!

Счастливые мгновения, предвестницы рая! зачем так скоро вы улетаете?

Чтоб удобнее преследовать предмет своих изысканий, чтобы поверить его в его развитиях, чтобы достигнуть той цели, которая нарушала сон их и тяготила бдение, мои молодые друзья разделили свои труды: один предался наукам, и главнейшею из них избрал политическую экономию как науку, где теория требует самых осязаемых применений; другой искусствам, и главнейшим избрал себе музыку как искусство, которого язык выражает внутреннейшие ощущения человека, невыразимые словами. Они мнили с этих противоположных пределов деятельности человеческой проследить всю жизнь и встретиться в разрешении тех задач, которые провидение предоставило труду человека.

Изыскателям попадались книги и люди, из которых одни уверяли их, что человечество достигло последней степени своего совершенства, что все объяснено, все сделано и ничего более ни делать, ни объяснять не остается; другие—что человечество не сделало ни шагу со времен своего падения; что оно двигалось, но не подвигалось; третьи—что хотя человечество и не достигло до совершенства, однако в наше время решен по крайней мере вопрос, каким образом отличать истину от бредней, дельное от недельного, важное от неважного; что в наше время уже сделалось непростительным человеку,

как говорят, образованному не уметь определить себе круга занятий и не знать цели, к которой он должен стремиться: что, наконец, если человечество может еще подвинуться к совершенству, то не иначе, как следуя тому пути, который оно себе теперь избрало.

Защитники настоящего времени, сверх того, утверждали, что, допуская все несовершенство, которое будто бы естественным образом связано со всеми делами человеческими, все нельзя не признать того, что разбросанные философические системы древних мыслителей ныне заменены стройными системами; что в медицине место недоконченных опытов и сказок заступили стройные теории, где всевозможные болезни человека подведены под разряды, где для каждой приискано приличное название, каждой определен способ лечения; что астрология у нас обратилась в астрономию, алхимия в химию, магическая восторженность в болезнь, излечимую хорошо рассчитанными микстурами; что в искусствах — поприще поэта освобождено от предрассудков, замедлявших полет его, и положены лишь необходимые границы его свободе; наконец, в устройстве общества разве безопасность не заменила прежних смут, и вообще права между народами и частными людьми не определены ли с большею точностью? В самых мелких явлениях общества, даже в одежде, разве просвещение не устранило всех прежних нелепых требований, которые столько же, как и тогдашние мнения, связывали всякое движение и делали сходбища людей тягостною работою? А книгопечатание? А паровые машины? А железные дороги? Разве не раздвинули они круга деятельности человека и не показывают славных побед, одержанных им над противоборствующей ему природой?

Так! — восклицали они: XIX век понял, в чем состоит задача, заданная ему провидением!

Все это заставило не раз задуматься моих молодых наблюдателей. Между тем время проходило, юноши становились мужами, а их вопросы... вопросы не находили ответа. Невольно снова заглянули они в истертые листки старой забытой книги — и вопросы их разрослись еще сильнее, как росток, попавший в плодоносную землю. Состояние души моих молодых искателей довольно хорошо выражается в оставшейся после них небольшой тетрадке с довольно странным эпиграфом:

Humani generis mater, nutrixque profecto *dementia* est[1].

Я прочту вам из нее несколько отрывков:

---

[1] *Безумие*, конечно, мать рода человеческого и кормилица *(лат.)*.

«Как! Медицина на последней степени совершенства, но причина здравия, причина болезни, образ действия лекарства — все остается загадкою? Врач подает больному целебный фиал — и не знает, что совершается в этом самом фиале, кольми паче, что совершается во внутренности организма. Лекарство удалось или не удалось, человек не знает причины. Тщетно он вопрошает труп другого человека: труп молчит или дает ответы, которые лишь приводят в сомнение о действиях жизни; гордый своим знанием мертвого, врач подходит к живому страдальцу, с ужасом видит то, чего не предвидела его наука, и с отчаянием уверяется, что его наука лишь начинается в сию минуту; он вышел за двери — в глаза ему является губительная зараза, которая умерщвляет жителей тысячами, а изумленный сын Эскулапа провожает ее шествие остолбенелыми глазами, не зная даже, как назвать нового, страшного путника.

Математика на высшей степени совершенства! Длинными окольными путями она приводит нас к нескольким формулам, из которых одни вовсе неприменяемы, другие применяемы только приблизительно; другими словами, математика приводит нас к дверям истины, но самих дверей не отворяет. При всяком математическом процессе мы чувствуем, что к нашему существу присоединяется какое-то другое, чуждое, которое трудится, думает, вычисляет, а между тем наше истинное существо как бы перестает действовать и, не принимая никакого участия в этом процессе, как в деле постороннем, ждет своей собственной пищи, а именно связи, которая должна существовать между ним и этим процессом, — этой-то связи мы и не находим. Так математика держит нас на привязи; она дозволяет нам считать, весить и мерить, но не пускает ни на шаг из своего искусственного, страдательного круга; тщетно мы просимся в мир действующий, в ту сферу, которая не обнимается, но обнимает; тщетно хотели бы мы поверить сферу страдательную сферою действующею — там нет сродства для математики; ее точный, единственно верный язык остается для нее одной; тщетно другие науки выпрашивают несколько формул от роскошного стола ее выражений: она считает цифры, а внутреннее число предметов остается для нее недосягаемым.

Физика, это торжество XIX века, достигла высшей степени совершенства. С гордостию толкуем мы об

---

[1] Пожелания (*лат.*).

открытой нами силе тяготения; но в сей силе мы открыли одну только мертвую сторону — падение; другая же действующая сторона сей силы, та, которая содействует к образованию тела, нами забыта, и мы для объяснения живого тяготения не хотим обратить внимания на то, что для мертвой массы нет никакой причины тяготеть к другой, также мертвой; что мертвые массы не ищут друг друга и соединяются без всякого желания; что это знаменитое тяготение должно бы, в собственном смысле, произвести не стройную гармонию, которая, вопреки нашей логике, нас поражает в природе, но совершенный хаос. Сие живое тяготение укрылось от физиков, и нет явления, для которого бы не существовало тысячи противоположных объяснений. Как ремесленники, мы хватаемся то за то, то за другое орудие, а природа издевается над нами и при каждом шаге вперед отталкивает нас на два шага назад.

Химия на высшей степени совершенства. Мы пережгли все произведения природы, но которое из них мы восстановили? которое объяснили? Поняли ли мы внутреннюю связь между веществами? что такое их сродство, их таинственные соотношения, — и то еще на низшей степени природы, посреди грубых минералов? А что делается с химией при виде жизни органической? то, что открыли в природе неорганической, — лишь смешивается понятие о живой природе. Ни одна нить ее покрова не приподнята; мы населили природу собственными произведениями своей лаборатории, дали одно имя различным веществам, различные имена одному веществу, тщательно описали их, — и осмелились назвать это наукою!

Астрономия на высшей степени совершенства. Верно исчислив движение звезд, она пытается приравнить их взаимное притяжение к притяжению магнита и не может постигнуть, отчего сила магнитного притяжения невычисляема; а магнит, кажется, под руками! С большим успехом она сравнила природу с мертвыми часами, тщательно описала все их колеса, шестерни и пружины; одного недостает астрономии — найти ключ, которым эти часы заводятся; астрономы даже и не заботятся о нем; тщательно смотрят они на циферблат, но стрелка не вертится, и на вопрос: который час, в самом деле? — астрономы принуждены отвечать, как некогда в мистических ложах, явною нелепостию.

А законы общества? Много бессонных ночей провели люди в размышлении об этом предмете! Много было споров, разрушивших согласие между владыками людских мнений! Много, много крови пролито для защиты идей,

которых существование ограничивалось двумя днями! Сперва нашлись те, кому принадлежит честь изобретения фантома, который они осмелились назвать «человеческим обществом»,—и все принесено было в жертву фантому, а привидение осталось привидением! Нашлись другие. «Нет!—сказали они.—Счастие всех невозможно; возможно лишь счастие большого числа». И люди приняты за математические цифры; составлены уравнения, выкладки, все предвидено, все расчислено; забыто одно—забыта одна глубокая мысль, чудно уцелевшая только в выражении наших предков: счастие *всех* и *каждого*. И что же? вне общества беззаконные войны, самое безнравственное из преступлений, наполняют страницы человеческой истории; внутри общества—превращение всех законов провидения, холодный порок, холодное искусство, горячее, живое лицемерие и бесстыдное безверие во все, даже в совершенствование человечества.

Стране, погрязшей в нравственную бухгалтерию прошедшего столетия, суждено было произвести человека, который сосредоточил все преступления, все заблуждения своей эпохи и выжал из них законы для общества, строгие, одетые в математическую форму. Этот человек, которого имя должно сохранить для потомства, сделал важное открытие: он догадался, что природа ошиблась, разлив в человечестве способность размножаться, и что она никак не умела согласить бытие людей с их жилищем. Глубокомысленный муж решил, что должно поправить ошибку природы и принести ее законы в жертву фантому общества. «Правители!—восклицал он в философском восторге.—Мои слова не пустая теория; моя система не следствие умозрений; я кладу ей в основание две аксиомы—первая: человек должен есть; вторая: люди множатся. Вы не спорите?.. Вы согласны со мною?.. Так слушайте же: вы думаете о благоденствии ваших подданных; вы думаете о соблюдении между ними законов провидения, об умножении сил вашего государства, о возвышении человеческой силы? Вы ошибаетесь, как ошиблась природа. Вы спокойны, вы не видите, какое бедствие она разлила вокруг вас. Смотрите, вот мои счеты: если ваше государство будет благоденствовать, если оно будет наслаждаться миром и счастием, в двадцать пять лет число его жителей удвоится; через двадцать пять еще удвоится; потом еще, еще... Где же найдете вы в природе средства доставить им пропитание? Правда, при увеличивающемся народонаселении должно увеличиваться число работников,—с тем вместе, должны увеличиваться и произведения природы. Но как?.. Смот-

рите — я все предвидел, все рассчитал: народонаселение может увеличиваться в геометрической пропорции, как 1, 2, 4, 8; произведения же природы в арифметической, как 1, 2, 3, 4 и проч. Не обольщайтесь же мечтами о мудрости провидения, о добродетели, о любви к человечеству, о благотворительности; вникните в мои выкладки: кто опоздал родиться, для того нет места на пиру природы; его жизнь есть преступление. Спешите же препятствовать бракам; пусть разврат истребит целые поколения в их зародыше; не заботьтесь о счастии людей и о мире; пусть войны, мор, холод, мятежи уничтожат ошибочное распоряжение природы,— тогда только обе прогрессии могут слиться, и из преступлений и бедствий каждого члена общества составится возможность существования для самого общества». И эти мысли никого не удивили; им возражали, как обыкновенному мнению... что я говорю? мысли Мальтуса, основанные на грубом материализме Адама Смита, на простой арифметической ошибке в расчете,— с высоты парламентских кафедр, как растопленный свинец, катятся в общество, пожигают его благороднейшие стихии и застывают в нижних слоях его[1]. Может быть, есть одно утешительное в этом явлении: Мальтус есть последняя нелепость в человечестве. По этому пути дальше идти невозможно.

В самом деле, что такое наука в наше время? В ней все решено — все, кроме самой науки. Все доказано, все — и та и другая сторона, и ложь и истина, и да и нет, и просвещение и невежество, и гармония мира и хаос создания. Одна мысль разрослась, захватила огромное пространство, а другая стоит против нее, ей противоположная, столь же сильная, столь же доказанная, как власть против власти!.. И нет борьбы — борьба кончилась. На поле битвы встречаются бледные, изнеможденные ратники с поникшими лицами и болезненным голосом спрашивают друг друга: где ж победители? — Нет победителей! все мечта! В мире идеальном, как в грубом мире вещества, растет репейник возле розы, манценилл возле кокоса — и не мешают друг другу! — Это ли совершенство, ожиданное людьми? Это ли совершенство, завещанное мудрыми? Это ли совершенство, предреченное святыми?

А поэзия? Философическим ножом вы раскрыли состав ее, рассекли таинственные связи, которыми соединяются ее стихии, разобрали их, оцифровали, положили под стекло; вы взрыли пепел индийский и греческий: вы

---

[1] См. речь лорда Брума в заседании парламента 16 декабря 1819 *(Примеч. В. Ф Одоевского.)*

отчистили ржавчину на кольчугах средних веков и в кладбище истории хотели отыскать жизнь поэтическую. Вы пытаетесь начертать теорию живописи, а еще не решили вопросов: отчего мы невольно всякую степень красоты приравниваем к красоте человека? отчего все части тела могут быть покрыты без вреда человеку, кроме лица его? отчего все тело может выдержать прикосновение грубого вещества, кроме глаза? отчего, в минуту грусти, невольно склоняются взоры? отчего глаз, всегда одинаковый, всегда по наружности неизменный, служит выражением всех сокровеннейших степеней человеческого чувства и дает характер всей физиономии? словом: что такое выражение глаза? Ты не ошибался ли, великий поэт, когда перед смертию возвещал, что с тобой кончился век поэзии? Не наоборот ли выразили вдохновенную мысль твои ослабевшие органы, как бывает в той странной болезни ума и воображения, когда человек называет камень хлебом и змею рыбою? Не так говорили уста твои, когда, полный жизни, ты в символах передавал нам будущую судьбу человечества. Может быть, истинный век поэзии и не наступил еще. Может быть, ты сам был случайным гармоническим звуком, нечаянно вырвавшимся из хаоса нестройных музыкальных орудий. Неужели поэзия есть болезненный стон? Неужели удел совершенства — страдание? Так, по-вашему, страдает и мудрость миров?.. Преступная мысль, внушенная адом, трепещущим своего падения! Одно мнимо поэтическое язычество могло к скале приковать Промифея.

Поэт!.. Поэт есть первый судия человечества. Когда в высоком своем судилище, озаряемый купиной несгораемой, он чувствует, что дыхание бурно проходит по лицу его, тогда читает он букву века в светлой книге всевечной жизни, провидит естественный путь человечества и казнит его совращение. Ныне ли вещий судья в состоянии произнести неумытный суд свой? Ныне ли, когда он сходит со ступеней своего престола так низко, что страждет вместе с другими, что делит с людьми скорбный хлеб нищеты душевной и забывает, где престол его, где его царственная трапеза, сомневается в ее существовании?

Странное зрелище представляют и наука и искусство — или, лучше сказать, что мы осмеливаемся называть наукою и искусством. Целые жизни проходят не в изучении их, а в том, чтоб найти, как им изучиться. Они, может быть, предохраняют человека от некоторых заблуждений, — но не питают его. Они похожи на повязку, которой ленивая нянька обвила голову ребенка, чтоб он, падая, не проломил себе черепа; но эта повязка не спасает

от частых падений, она не предохраняет тела от болезней и — что всего важнее — нимало не способствует его органическому развитию.

И что же? в темном мире человеческого знания те, которые рвутся в глубину, встречают лишь загадки; те, которые довольствуются внешнею корою, переходят от мечты к мечте, от заблуждения к заблуждению; те, которым и эта внешняя кора недоступна, т. е. простолюдины, с каждым днем приближаются к скотскому состоянию; мудрейший умеет только стонать и плакать на кладбище человеческих мыслей!

А между тем наша планета стареет, безостановочно ходит равнодушный маятник времени и каждым размахом увлекает в пучину века и народы. Природа дряхлеет; испуганная, приподнимает она перед человеком свое тяжелое покрывало, показывает ему свои трепещущие мышцы, морщины, врезавшиеся в лицо, и взывает к человеку; стонут ее песчаные степи, помертвелые от его удаления; зовет его водная стихия, вытесненная из недр земли коралловыми островами; развалины безыменных народов рассказывают страшную повесть о том, какая казнь ожидает беззаботную лень человека, допустившего природу опередить себя. Громко и беспрерывно природа взывает к силе человека: без силы человека нет жизни в природе.

Мгновения дороги. А еще есть люди, которые спорят между собою о своей силе, о дневных заботах, как спорили византийские царедворцы во время нашествия варваров! Они сбирают свои скудельные сосуды, любуются ими, ценят и торгуют,— но уже у ворот неистовый враг: уже колеблются утлые здания древней науки; уже грозит им палящий огонь, и скоро тучи холодного праха взовьются над ее чертогами. Ниспадут они,— ничтожество поглотит все, чем гордилось могущество человека...»

Вот какие мечты тревожили друзей моих.— Эта иеремиада *продолжается* довольно *долго*; не бойтесь, я не буду читать ее всю, но постараюсь передать вам иное вполне, иное экстрактом — только то, что нужно, дабы объяснить точку зрения моих духоиспытателей.

Фауст читал:

«Между тем восставали перед нами видения прошедшего, рядами проходили мимо нас святые мужи, заклавшие жизнь свою на алтаре бескорыстного знания,— мужи, которых высокие мысли, как блистательные кометы, разнеслись по всем сферам природы и хоть на мгновение озарили их ярким светом. Неужели труды, бдения, жизнь этих мужей были пустою насмешкою судьбы над челове-

чеством? Сохранились предания: когда человек был в самом деле царем природы; когда каждая тварь слушалась его голоса, потому что он умел назвать ее; когда все силы природы, как покорные рабы, пресмыкались у ног человека; неужели в самом деле человечество совратилось с истинного пути своего и быстро, своевольно стремится к своей погибели?»

Знаете ли, к чему, наконец, этот долгий путь привел моих мечтателей? — Выведенные из терпения этой громадой загадок, которые являются человеку при развитии всякой мысли, они наконец спросили:

«В самом ли деле мы понимаем друг друга? Мысль не тускнеет ли, проходя сквозь выражение? То ли мы произносим, что мыслим? Слух не обманывает ли нас? То ли мы слышим, что произносит язык? Мысли высоких умов не подвергаются ли тому же оптическому обману, который безобразит для нас отдаленные предметы?

Простолюдин понимает своего собрата, но не слова светского человека; светские люди понимают друг друга и не понимают ученого; и между учеными некоторым удавалось писать целые книги с твердою уверенностию, что их поймут только два или три человека во всем мире. Соедините же оба конца этой цепи, поставьте простолюдина перед выражением мысли мудрейшего из смертных: тот же язык, те же слова, — а низший обвинит высшего в безумии! И после этого мы еще верим нашим выражениям, мы не боимся предавать им своих мыслей? И мы осмеливаемся думать, что смешение языков прекратилось?

Один из наблюдателей природы пошел еще далее: он возбудил сомнение еще более горестное для самолюбия человеческого; рассматривая психологическую историю людей, которых обыкновенно называют сумасшедшими, он утверждал, что нельзя провести верной, определенной черты между здравою и безумною мыслию. Он утверждал, что на всякую, самую безумную мысль, взятую из дома сумасшедших, можно отыскать равносильную, ежедневно обращающуюся в свете. Он спрашивал, какое различие между уверенностью одной женщины, что в груди ее был целый город с башнями, колокольным звоном и теологическими диспутами, и мыслию Томаса Виллиса, автора известной книги о сумасшедших, что жизненные духи, находясь в беспрерывном движении и сильно притекая к мозгу, производят в нем взрывы, подобно пороху? Какое различие между понятием одного сумасшедшего, что когда он движется, движутся все предметы вокруг его, и доказательствами Птоломея, что

вся солнечная система обращается вокруг земли? Какое различие между бедною девушкой, которая почитала себя приговоренною к смертной казни, и мыслию Мальтуса, что голод должен, наконец, погубить всех жителей земного шара?

Состояние сумасшедшего не имеет ли сходства с состоянием поэта, всякого гения-изобретателя?

В самом деле, что замечаем мы в сумасшедших?

В них все понятия, все чувства собираются в один фокус; у них частная сила одной какой-нибудь мысли втягивает в себя все сродственное этой мысли из всего мира, получает способность, так сказать, отрывать части от предметов, тесно соединенных между собою для здорового человека, и сосредоточивать их в какой-то символ. Мы говорим — понятия сумасшедших нелепы: но никакой здоровый человек не в состоянии собрать в один пункт столько многоразличных идей о предмете. И это явление, нельзя не сознаться, весьма подобно тому мгновению, в которое человек делает какое-либо открытие, потому что для всякого открытия нужно пожертвовать тысячами понятий, общепринятых и кажущихся справедливыми: оттого не было почти ни одной новой мысли, которая бы в минуту своего появления не казалась бреднями; нет ни одного необыкновенного происшествия, которое бы в первый момент не возбуждало сомнения; нет ни одного великого человека, который бы в час зарождения в нем нового открытия, когда еще мысли не развернулись и не оправдались осязаемыми последствиями, не казался сумасшедшим. Разве не почитали сумасшедшим Коломба, когда он говорил о четвертой части света,— Гарвея, когда он утверждал обращение крови,— Франклина, когда он брался управлять громом и молниею,— Фультона, когда он каплею горячей воды решался противустать грозным силам природы? И, что всего замечательнее, состояние гения в минуты его открытий действительно подобно состоянию сумасшедшего, по крайней мере для окружающих: он также поражен одною своей мыслию, не хочет слышать о другой, везде и во всем ее видит, все на свете готов принести ей в жертву. Мы называем человека сумасшедшим, когда видим, что он находит такие соотношения между предметами, которые нам кажутся невозможными; но всякое изобретение, всякая новая мысль не есть ли усмотрение соотношений между предметами, не замечаемых другими или даже непонятных? Так нет ли нити, проходящей сквозь все действия души человека и соединяющей обыкновенный здравый смысл с расстройством понятий, замечаемым в

сумасшедших? На этой лестнице не ближе ли находится восторженное состояние поэта, изобретателя, не ближе ли к тому, что называют безумием, нежели безумие к обыкновенной животной глупости? То, чему дают имя здравого смысла, не есть ли слово в высшей степени эластическое, которое употребляет и простолюдин против великого человека, ему непонятного, употребляет и гений, чтоб прикрыть свои умствования и не испугать ими простолюдина? Словом, то, что мы часто называем безумием, экстатическим состоянием, бредом, не есть ли иногда высшая степень умственного человеческого инстинкта, степень столь высокая, что она делается совершенно непонятною, неуловимою для обыкновенного наблюдения? Для того, чтоб обнять его, не должно ли находиться на той же степени, точно так же, как для того, чтобы понять человека, не надобно ли быть человеком?

Но, говорят, сумасшествие есть болезнь: раздражится нерв, расстроится орган — и душа не действует! Так толкуют медики. «Неужели вы думаете,— спрашивают они,— что душа возвышается, когда действует через болезненный орган; что человек лучше видит, когда его зрение воспалено; что он лучше слышит, когда ухо его поражено страданием?» — Не знаю; но в летописях медицины мы встречаем людей, которых раздраженное состояние зрения или слуха давало возможность видеть там, где другие не видели, видеть в темноте, слышать незаметный, несуществующий для других шорох, угадывать происшествия, отдаленные на неизмеримое пространство. Если то же и с мозгом?.. Расширение нерва, протянутого от мозга к орудиям чувств, разве не может стеснять той или другой части мозга? А спросите у френологов, какое следствие может произвести стеснение того или другого органа!»

Такие наблюдения — справедливые или нет, не знаю — породили в моих молодых философах непреодолимое желание исследовать некоторых людей, которые, живя между другими, в большей мере пользуются названием великих, или названием сумасшедших, и в этих людях поискать разрешения тех задач, которые до сих пор укрывались от людей с здравым смыслом. В этом намерении они пустились путешествовать по свету.

Не знаю, сколько времени длилось их путешествие, и не знаю, чем кончилось. От друзей моих, сверх прочитанной мною вскользь тетрадки, остались еще некоторые отрывки из записок, ими веденных; вот они:

Дела давно минувших дней,
Преданья старины глубокой!

Эти записки носят на себе печать быстрой, отрывочной работы. Моим друзьям, кажется, недостало времени ни дать своей рукописи более оконченную, более однообразную форму, ни выровнять слога в ней; в беспорядке соединены их собственные наблюдения. путевые заметки, письма, к ним писанные, разные необделанные материалы, к ним доставленные,—все это собрано вместе, наудачу, и в этом виде рукопись досталась мне после смерти друзей моих; здесь многое не дописано, многое переписано и многое потерялось; но, может быть, эта рукопись будет для вас не без занимательности, по крайней мере, как представительница одной из тех эпох в истории деятельности человеческой, чрез которую каждый проходит, но каждый своею дорогою.

Но уже утро, господа. Посмотрите, какие роскошные, багряные полосы разрослись от не восшедшего еще солнца; посмотрите, как дым с белых кровлей клонится к земле, с каким трудом стелется по морозному воздуху,—а там... там, в недостижимой глубине неба—и свет, и тепло, будто жилище души,—и душа невольно тянется к этому символу вечного света...

НОЧЬ ТРЕТЬЯ

(*Рукопись*)

— Кажется, друзья мои,—сказал Фауст,—имели намерение очень аккуратно вести свои записи и, как люди дельные, подобно естествоиспытателям, вносить в них все малейшие подробности с той минуты, как начался их опыт. Вот толстая книжка, в которой первые страницы написаны очень чистенько, видно, в спокойном духе, а следующие затем еще чище—они остались белыми. Написанные страницы носят в книжке моих изыскателей следующее название:

OPERE DEL CAVALIERE GIAMBATTISTA PIRANESI[1]

Пред отъездом мы пошли проститься с одним из наших родственников, человеком пожилым, степенным, всеми уважаемым; у него во всю его жизнь была только одна страсть, про которую покойница жена рассказывала таким образом: «Вот, примером сказать, Алексей Степаныч, уж чем не человек, и добрый муж, и добрый отец, и хозяин—все бы хорошо, если б не его несчастная слабость...»

[1] Труды кавалера Джамбаттисты Пиранези (*ит.*).

Тут тетушка останавливалась. Незнакомый часто спрашивал: «Да что, уж не запбем ли, матушка?» — и готовился предложить лекарство; но выходило на деле, что эта слабость — была лишь *библиомания*. Правда, эта страсть в дяде была очень сильна; но она была, кажется, единственное окошко, чрез которое душа его заглядывала в мир поэтический; во всем прочем старик был — дядя как дядя, курил, играл в вист по целым дням и с наслаждением предавался северному равнодушию. Но лишь доходило дело до книг, старик перерождался. Узнав о цели нашего путешествия, он улыбнулся и сказал: «Молодость! молодость! Романтизм да и только! Что бы обернуться вокруг себя? уверяю вас, не ездя далеко, вы бы нашли довольно материалов»

— Мы не прочь от этого,— отвечал один из нас,— когда нам удастся посмотреть на других, тогда, может быть, мы доберемся и до себя; но начать с чужих, кажется, учтивее и скромнее. Сверх того, те люди, которых мы имеем в виду, принадлежат всем народам вместе, многие из наших или живы, или еще не совсем умерли: чего доброго — еще их родные обидятся... Не подражать же нам тем господам, которые заживо пекутся о прославлении себя и друзей своих, в твердой уверенности, что по их смерти никто о том не позаботится.— «Правда, правда! — отвечал старик.— Уж эти родные! От них, во-первых, ничего не добьешься, а во-вторых, для них замечательный человек не иное что, как дядя, двоюродный братец, и прочее тому подобное. Ступайте, молодые люди, померьте землю: это здорово для души и для тела. Я сам в молодости ездил за море отыскивать редкие книги, которые здесь можно купить вполовину дешевле. Кстати о библиографии. Не подумайте, чтоб она состояла из одних реестров книг и из переплетов; она доставляет иногда совсем неожиданные наслаждения. Хотите ли, я вам расскажу мою встречу с одним человеком в вашем роде? — Посмотрите, не попадет ли он в первую главу вашего путешествия!»

Мы изъявили готовность, которую рекомендуем нашим читателям, и старик продолжал: «Вы, может быть, видали карикатуру, которой сцена в Неаполе. На открытом воздухе, под изодранным навесом, книжная лавочка; кучи старых книг, старых гравюр; наверху Мадонна; вдали Везувий; перед лавочкой капуцин и молодой человек в большой соломенной шляпе, у которого маленький лазарони искусно вытягивает из кармана платок. Не знаю, как подсмотрел эту сцену проклятый живописец, но только этот молодой человек — я: я узнаю мой кафтан и мою

соломенную шляпу; у меня в этот день украли платок, и даже на лице моем должно было существовать то же глупое выражение. Дело в том, что тогда денег у меня было немного и их далеко не доставало для удовлетворения моей страсти к старым книгам. К тому же я, как все библиофилы, был скуп до чрезвычайности. Это обстоятельство заставляло меня избегать публичных аукционов, где, как в карточной игре, пылкий библиофил может в пух разориться; но зато я со всеусердием посещал маленькую лавочку, в которой издерживал немного, но которую зато имел удовольствие перерывать всю от начала до конца. Вы, может быть, не испытывали восторгов библиомании: это одна из самых сильных страстей, когда вы дадите ей волю; и я совершенно понимаю того немецкого пастора, которого библиомания довела до смертоубийства. Я еще недавно,— хотя старость умерщвляет все страсти, даже библиоманию,— готов был убить одного моего приятеля, который прехладнокровно, как будто в библиотеке для чтения, разрезал у меня в эльзевире единственный листок, служивший доказательством, что в этом экземпляре полные поля[1], а он, вандал, еще стал удивляться моей досаде. До сих пор я не перестаю посещать менял, знаю наизусть все их поверья, предрассудки и уловки, и до сих пор эти минуты считаю если не самыми счастливыми, то по крайней мере приятнейшими в моей жизни. Вы входите: тотчас радушный хозяин снимает шляпу — и со всею купеческою щедростию предлагает вам и романы Жанлис, и прошлогодние альманахи, и «Скотский лечебник». Но вам стоит только произнести одно слово, и оно тотчас укротит его докучливый энтузиазм; спросите только: «где медицинские книги?» — и хозяин наденет шляпу, покажет вам запыленный угол, наполненный книгами в пергаментных переплетах, и спокойно усядется дочитывать академические ведомости прошедшего месяца. Здесь нужно заметить для вас, молодых людей, что еще во многих наших книжных лавочках всякая книга, в пергаментном переплете и с латинским заглавием, имеет право называться медицинскою; и потому можете судить сами, какое в них раздолье для библиографа: между «Наукою о бабичьем деле, на пять частей разделенной и рисунками снабденной, Нестора Максимовича Амбодика» и «Bonati Thesaurus medico-

[1] Известно, что для библиоманов ширина полей играет важную роль. Есть даже особенный инструмент для измерения их, и несколько линий больше или меньше часто увеличивают или уменьшают цену книги на целую половину. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

practicus undique collectus»[1] вам попадается маленькая книжонка, изорванная, замаранная, запыленная; смотрите, это «Advis fidel aux veritables Hollandais touchant ce qui s'est passé dans les villages de Bodegrave et Swammerdam»[2], 1673,—как занимательно! Но это никак эльзевир! эльзевир! имя, приводящее в сладкий трепет всю нервную систему библиофила. Вы сваливаете несколько пожелтевших «Hortus sanitatis», «Jardin de dévotion», «Les Fleurs de bien dire, recueillies aux cabinets des plus rares ésprits pour exprimer les passions amoureuses de l'un et de l'autre sexe par forme de dictionnaire»[3],—и вам попадается латинская книжка без переплета и без начала; развертываете: как будто похожа на Виргилия,—но что слово, то ошибка! ... Неужели в самом деле? не мечта ли обманывает вас? неужели это знаменитое издание 1514 года: «Virgilius, ex recensione Naugerii»?[4] И вы не достойны назваться библиофилом, если у вас сердце не выпрыгнет от радости, когда, дошедши до конца, вы увидите четыре полные страницы опечаток, верный признак, что это именно то самое редкое, драгоценное издание Альдов, перло книгохранилищ, которого большую часть экземпляров истребил сам издатель, в досаде на опечатки.

В Неаполе я мало находил случаев для удовлетворения своей страсти, и потому можете себе представить, с каким изумлением, проходя по Piazza Nova[5], увидел груды пергаменов; эту-то минуту библиоманического оцепенения и поймал мой незваный портретист... Как бы то ни было, я со всею хитростию библиофила равнодушно приблизился к лавочке и, перебирая со скрытым нетерпением старые молитвенники, сначала не заметил, что в другом углу к большому фолианту подошла фигура в старинном французском кафтане, в напудренном парике, под которым болтался пучок, тщательно свитый. Не знаю, что заставило нас обоих обернуться,—в этой фигуре я узнал чудака, который всегда в одинаковом костюме с важностию прохаживался по Неаполю и при каждой встрече, особенно с дамами, с улыбкою приподнимал свою изношенную шляпу корабликом. Давно уже видал я этого оригинала и весьма был рад случаю свести с ним знакомство. Я посмотрел на развернутую перед ним

[1] «Полный медико-практический словарь Бонатуса» *(лат.)*.
[2] «Верные сведения о настоящих голландцах, касающиеся происшедшего в деревнях Бодеграве и Свваммердам» *(фр.)*.
[3] «Сад здоровья» *(лат.)*, «Сад благоговения», «Цветы красноречия, собрание из кабинетов редчайших умов для выражения любовных страстей одного и другого пола, в форме словаря» *(фр.)*.
[4] Вергилий, изданный Наугерием *(лат.)*.
[5] Новая площадь *(ит.)*.

книгу: это было собрание каких-то плохо перепечатанных архитектурных гравюр. Оригинал рассматривал их с большим вниманием, мерил пальцами намалеванные колонны, приставлял ко лбу перст и погружался в глубокое размышление. «Он, видно, архитектор,— подумал я,— чтоб полюбиться ему, притворюсь любителем архитектуры». При этих словах глаза мои обратились на собрание огромных фолиантов, на которых выставлено было: «Opere del Cavaliere Giambattista Piranesi». «Прекрасно!» — подумал я, взял один том, развернул его; но бывшие в нем проекты колоссальных зданий, из которых для построения каждого надобно бы миллионы людей, миллионы червонцев и столетия,— эти иссеченные скалы, взнесенные на вершины гор, эти реки, обращенные в фонтаны,— все это так привлекло меня, что я на минуту забыл о моем чудаке. Более всего поразил меня один том, почти с начала до конца наполненный изображениями темниц разного рода; бесконечные своды, бездонные пещеры, замки, цепи, поросшие травою стены — и, для украшения, всевозможные казни и пытки, которые когда-либо изобретало преступное воображение человека... Холод пробежал по моим жилам, и я невольно закрыл книгу. Между тем, заметив, что оригинал нимало не удостоивает внимания зодческий энтузиазм мой, я решился обратиться к нему с вопросом: «Вы, конечно, охотник до архитектуры?» — сказал я.— «До архитектуры? — повторил он, как бы ужаснувшись.— Да,— промолвил он, взглянув с улыбкой презрения на мой изношенный кафтан,— я большой до нее охотник!» — и замолчал.— «Только-то? — подумал я.— Этого мало».— «В таком случае,— сказал я, снова раскрывая один из томов Пиранези,— посмотрите лучше на эти прекрасные фантазии, а не на лубочные картинки, которые лежат перед вами».— Он подошел ко мне нехотя, с видом человека, досадующего, что ему мешают заниматься делом, но едва взглянул на раскрытую передо мною книгу, как с ужасом отскочил от меня, замахал руками и закричал: «Бога ради, закройте, закройте эту негодную, эту ужасную книгу!» Это мне показалось довольно любопытно. «Я не могу надивиться вашему отвращению от такого превосходного произведения; мне оно так нравится, что я сей же час куплю его»,— и с сими словами я вынул кошелек с деньгами.— «Деньги! — проговорил мой чудак этим звучным шепотом, о котором мне недавно напомнил несравненный Каратыгин в «Жизни игрока».— У вас есть деньги!» — повторил он и затрясся всем телом. Признаюсь, это восклицание архитектора несколько расхолодило мое желание войти с ним в тесную

дружбу; но любопытство превозмогло.— «Разве вы нуждаетесь в деньгах?» — спросил я.

— Я? очень нуждаюсь! — проговорил архитектор.— И очень, очень давно нуждаюсь,— прибавил он, ударяя на каждое слово.

— А много ли вам надобно? — спросил я с чувством.— Может, я и могу помочь вам.

— На первый случай мне нужно безделицу — сущую безделицу, десять миллионов червонцев.

— На что же так много? — спросил я с удивлением.

— Чтоб соединить сводом Этну с Везувием, для триумфальных ворот, которыми начинается парк проектированного мною замка,— отвечал он, как будто ни в чем не бывало.

Я едва мог удержаться от смеха.— Отчего же,— возразил я,— вы, человек с такими колоссальными идеями,— вы приняли с отвращением произведения зодчего, который по своим идеям хоть несколько приближается к вам?

— Приближается? — воскликнул незнакомец.— Приближается! Да что вы ко мне пристаете с этой проклятою книгою, когда я сам сочинитель ее?

— Нет, это уж слишком! — отвечал я.— С этими словами взял я лежавший возле «Исторический словарь» и показал ему страницу, на которой было написано: «Жиамбатиста Пиранезе, знаменитый архитектор... умер в 1778...»

— Это вздор! это ложь! — закричал мой архитектор.— Ах, я был бы счастлив, если б это была правда! Но я живу, к несчастию моему живу,— и эта проклятая книга мешает мне умереть.

Любопытство мое час от часу возрастало.— Объясните мне эту странность,— сказал я ему,— поверьте мне свое горе: повторяю, что я, может быть, и могу помочь вам.

Лицо старика прояснилось: он взял меня за руку.— «Здесь не место говорить об этом; нас могут подслушать люди, которые в состоянии повредить мне. О! я знаю людей... Пойдемте со мною; я дорогой расскажу вам мою страшную историю».— Мы вышли.

— Так сударь,— продолжал старик,— вы видите во мне знаменитого и злополучного Пиранези. Я родился человеком с талантом.. что я говорю? теперь запираться уже поздно,— я родился с гением необыкновенным. Страсть к зодчеству развилась во мне с младенчества, и великий Микель-Анджело, поставивший Пантеон на так называемую огромную церковь Св Петра в Риме, в старости был моим учителем Он восхищался моими планами и проекта-

ми зданий, и когда мне исполнилось двадцать лет, великий мастер отпустил меня от себя, сказав: «если ты останешься долее у меня, то будешь только моим подражателем; ступай, прокладывай себе новый путь, и ты увековечишь свое имя без моих стараний». Я повиновался, и с этой минуты начались мои несчастия. Деньги становились редки. Я нигде не мог найти работы; тщетно представлял я мои проекты и римскому императору, и королю французскому, и папам, и кардиналам: все меня выслушивали, все восхищались, все одобряли меня, ибо страсть к искусству, возжженная покровителем Микель-Анджело, еще тлелась в Европе. Меня берегли как человека, владеющего силою приковывать неславные имена к славным памятникам; но когда доходило дело до постройки, тогда начинали откладывать год за годом: «вот поправятся финансы, вот корабли принесут заморское золото» — тщетно! Я употреблял все происки, все ласкательства, недостойные гения,— тщетно! я сам пугался, видя, до какого унижения доходила высокая душа моя,— тщетно! тщетно! Время проходило, начатые здания оканчивались, соперники мои снискивали бессмертие, а я — скитался от двора к двору, от передней к передней, с моим портфелем, который напрасно час от часу более и более наполнялся прекрасными и неисполнимыми проектами. Рассказать ли вам, что я чувствовал, входя в богатые чертоги с новою надеждою в сердце и выходя с новым отчаянием? — Книга моих темниц содержит в себе изображение сотой доли того, что происходило в душе моей. В этих вертепах страдал мой гений; эти цепи глодал я, забытый неблагодарным человечеством... Адское наслаждение было мне изобретать терзания, зарождавшиеся в озлобленном сердце, обращать страдания духа в страдание тела,— но это было мое единственное наслаждение, единственный отдых.

Чувствуя приближение старости и помышляя о том, что если бы кто и захотел поручить мне какую-либо постройку, то недостало бы жизни моей на ее окончание, я решился напечатать свои проекты, на стыд моим современникам и чтобы показать потомству, какого человека они не умели ценить. С усердием принялся я за эту работу, гравировал день и ночь, и проекты мои расходились по свету, возбуждая то смех, то удивление. Но со мной сталось совсем другое. Слушайте и удивляйтесь... Я узнал теперь горьким опытом, что в каждом произведении, выходящем из головы художника, зарождается дух-мучитель; каждое здание, каждая картина, каждая черта, невзначай проведенная по холсту или бумаге, служит

жилищем такому духу. Эти духи свойства злого: они любят жить, любят множиться и терзать своего творца за тесное жилище. Едва почуяли они, что жилище их должно ограничиться одними гравированными картинами, как вознегодовали на меня... Я уже был на смертной постели, как вдруг... Слыхали ль вы о человеке, которого называют *вечным жидом?* Все, что рассказывают о нем,— ложь: этот злополучный перед вами... Едва я стал смыкать глаза вечным сном, как меня окружили призраки в образе дворцов, палат, домов, замков, сводов, колонн. Все они вместе давили меня своею громадою и с ужасным хохотом просили у меня жизни. С той минуты я не знаю покоя; духи, мною порожденные, преследуют меня: там огромный свод обхватывает меня в свои объятия, здесь башни гонятся за мною, шагая верстами; здесь окно дребезжит передо мною своими огромными рамами. Иногда заключают они меня в мои собственные темницы, опускают в бездонные колодцы, куют меня в собственные мои цепи, дождят на меня холодною плесенью с полуразрушенных сводов,— заставляют меня переносить все пытки, мною изобретенные, с костра сбрасывают на дыбу, с дыбы на вертел, каждый нерв подвергают нежданному страданию,— и между тем, жестокие, прядают, хохочут вокруг меня, не дают умереть мне, допытываются, зачем осудил я их на жизнь неполную и на вечное терзание,— и наконец, изможденного, ослабевшего, снова выталкивают на землю. Тщетно я перехожу из страны в страну, тщетно высматриваю, не подломилось ли где великолепное здание, на смех мне построенное моими соперниками. Часто в Риме ночью я приближаюсь к стенам, построенным этим счастливцем Микелем, и слабою рукою ударяю в этот проклятый купол, который и не думает шевелиться,— или в Пизе вешаюсь обеими руками на эту негодную башню, которая, в продолжение семи веков, нагибается на землю и не хочет до нее дотянуться. Я уже пробежал всю Европу, Азию, Африку, переплыл море: везде я ищу разрушенных зданий, которые мог бы воссоздать моею творческою силой; рукоплескаю бурям, землетрясениям. Рожденный с обнаженным сердцем поэта, я перечувствовал все, чем страждут несчастные, лишенные обиталища, пораженные ужасами природы; я плачу с несчастными, но не могу не трепетать от радости при виде разрушения... И все тщетно! час создания не наступил еще для меня — или уже прошел: многое разрушается вокруг меня, но многое еще живет и мешает жить моим мыслям. Знаю, до тех пор не сомкнутся мои ослабевшие вежды, пока не найдется мой спаситель и все колоссальные мои замыслы будут не

на одной бумаге. Но где он? где найти его? Если и найду, то уже проекты мои устарели, многое в них опережено веком,— а нет сил обновить их! Иногда я обманываю моих мучителей, уверяя, что занимаюсь приведением в исполнение какого-либо из проектов моих; и тогда они на минуту оставляют меня в покое. В таком положении был я, когда встретился с вами; но пришло же вам в голову открыть передо мною мою проклятую книгу: вы не видали, но я... я видел ясно, как одна из пиластр храма, построенного в средине Средиземного моря, закивала на меня своей косматой головою... Теперь вы знаете мое несчастие: помогите же мне, по обещанию вашему. Только десять миллионов червонцев, умоляю вас! — И с сими словами несчастный упал предо мною на колени.

С удивлением и жалостию смотрел я на бедняка, вынул червонец и сказал: «вот все, что могу я дать вам теперь».

Старик уныло посмотрел на меня.— Я это предвидел,— отвечал он,— но хорошо и это: я приложу эти деньги к той сумме, которую сбираю для покупки Монблана, чтоб срыть его до основания; иначе он будет отнимать вид у моего увеселительного замка.— С сими словами старик поспешно удалился...».

— Здесь оканчиваются чисто написанные страницы,— сказал Фауст,— продолжение неизвестно; завтра я постараюсь привести в порядок связку писем и бумаг, которые показались мне более любопытными.

— Мне кажется,— заметил Виктор,— что у твоих искателей приключений большая претензия на оригинальность...

— Это одна из причуд века.— примолвил Вячеслав.

— И оттого,— возразил Виктор,— теперь нет ничего пошлее, как быть оригинальным. Какое внимание, какое участие может возбудить чудак, который хочет возвратить время прошедшее и давнопрошедшее, когда сокровища и труды погибали для удовлетворения ребяческого тщеславия, на постройку бесполезных зданий... теперь нет на это денег, и по самой простой причине — они употреблены на железные дороги.

— Так по твоему мнению,— отвечал Фауст,— египетские пирамиды, страсбургская колокольня, кельнский собор, флорентинский крещатик — все это произведение одного ребяческого тщеславия; твое утверждение, правда, не противоречит многим историкам нашего века, но, кажется, они, тщательно собирая так называемые *факты,* забыли два довольно важные: первое, что назва-

ния, которые мы даем человеческим страстям, никогда не выражают их вполне, а лишь приблизительно, что вошло в привычку человечества, кажется, со времени вавилонского смешения языков; и второе, что под всяким ощущением скрывается другое, более глубокое и, может быть, более бескорыстное, под другим третье, еще более бескорыстное, и так до самого тайника души человеческой, где нет места для внешних, грубых страстей, ибо там нет ни времени, ни пространства. Человеку, более или менее огрубелому, его собственное, внутреннее, чистое чувство представляется в виде внешней страсти, тщеславия, гордости и проч.; он думает, что удовлетворяет этой страсти, а в самом деле повинуется лишь сему внутреннему, для него самого непонятному чувству. Символ такого *претворения страстей* я вижу в комете; комета никогда не следует своему нормальному пути: она беспрестанно уклоняется от него, притягиваемая то тем, то другим небесным телом, и оттого прежние астрономы, не принимавшие в расчет сих *пертурбаций*, ошибались в своих предсказаниях; но, несмотря на то что эллиптический или параболический путь кометы принимает вид других кривых линий, ее первоначальный путь остается неизменным и все-таки влечет ее к солнцу какой-либо планетной системы.

Виктор. Согласен, что такой оптический обман действительно существует для человека,—но все я не вижу причины обращаться на тот путь, который уже пройден, и вместе с Пиранези плакать о том, что уже прошло то время, когда деньги тратились на постройку гигантских и все-таки бесполезных зданий...

Фауст. Мне кажется, что в Пиранези плачет человеческое чувство о том, что оно потеряло, о том, что, может быть, составляло разгадку всех его внешних действий, что составляло украшение жизни,—о *бесполезном*...

Виктор. Признаюсь, если б страсбургскую колокольню вытянуть еще подлиннее—в рельсы железной дороги, то она для меня была бы еще лучшим украшением жизни; ибо что ни говори, а железные дороги, сверх своей практической пользы, имеют своего рода поэзию...

Фауст. Без сомнения; потому что человек, как я уже заметил однажды, никак не может отделаться от поэзии; она, как один из необходимых элементов, входит в каждое действие человека, без чего *жизнь* этого действия была бы невозможна; символ этого психологического закона мы видим в каждом организме; он образуется из углекислоты, водорода и азота; пропорции этих элементов разнятся почти в каждом животном теле, но без одного из этих элементов существование такого тела было бы невозмож-

но; в мире психологическом поэзия есть один из тех элементов, без которых *древо жизни* должно было бы исчезнуть; оттого даже в каждом промышленном предприятии человека есть *quantum*[1] поэзии, как, наоборот, в каждом чисто поэтическом произведении есть *quantum* вещественной пользы; так например, нет сомнения, что страсбургская колокольня вмешалась невольно в акционерские расчеты и была одним из магнитов, которые притянули железную дорогу к городу.

Виктор. Квит на квит; я предпочитаю пользу с наименьшей пропорцией поэзии...

Фауст. Ты в этом случае похож на человека, который бы захотел застроить целый город домами по одному фасаду: кажется, ничего, а такой город навел бы тоску неодолимую. Да! железные дороги — дело важное и великое. Это одно из орудий, которое дано человеку для победы над природой; глубокий смысл скрыт в этом явлении, которое, по-видимому, разменялось на акции, на дебет и кредит; в этом стремлении уничтожить время и пространство — чувство человеческого достоинства и его превосходства над природою; в этом чувстве, может быть, воспоминание о его прежней силе и о прежней рабе его — природе... Но сохрани нас бог сосредоточить все умственные, нравственные и физические силы на одно материальное направление, как бы полезно оно ни было: будут ли то железные дороги, бумажные прядильни, сукновальни или ситцевые фабрики. Односторонность есть яд нынешних обществ и тайная причина всех жалоб, смут и недоумений; когда одна ветвь живет на счет целого дерева — дерево иссыхает.

Ростислав. Однако знаешь, что сказал Гегель, человек, которого ты уважаешь? «Боязливая заботливость о том, чтоб не быть односторонним, очень часто обнаруживает слабость, способную только к поверхностной многосторонности...»

Фауст. Несмотря на все мое уважение к Гегелю, я не могу не сознаться, что от темноты ли человеческого языка, от нашей ли неспособности вникать в таинственную связь умозаключений знаменитого германского мыслителя, но в его сочинениях встречаются часто на одной и той же странице места, которые, по-видимому, находятся в совершенном противоречии. Так в том же сочинении,[2]

[1] Некоторое количество, доля (*лат.*).

[2] Университ⟨етская⟩ речь 1837 года. См. перевод в «Московс⟨ком⟩ наблюд⟨ателе⟩», 1838, № 1. Эта речь тем замечательнее, что ее можно принять за последнюю форму Гегелевых положений. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

перед теми строками, которые ты привел, Гегель говорит: «Только то можно назвать последовательным *целым*, что, *углубившись в свое начало*, достигает своего совершенства; *только тогда* оно делается *чем-нибудь* действительным и приобретает глубину и *сильную возможность многосторонности*». Если *целость, действительность и многосторонность* неразрывно связаны между собою; если условие целости явления есть углубление в его начало, то из сего следует скорее необходимость общности и многосторонности, нежели важность односторонности. Впрочем, Виктора не убедишь такими авторитетами; я для него сошлюсь на факт положительный. Мишель Шевалье, один из знаменитейших поборников промышленности, упоминает[1] с насмешкою о трудности, которая существовала для древних предпринять путешествие из поэтической Спарты в поэтические Афины и обратно, и доказывает неопровержимыми указаниями и цифрами, что когда все усовершенствования в паровых машинах войдут в общее употребление, то путешествие вокруг всего земного шара можно будет совершить... ужас! в течение *одиннадцати* дней! Но прозорливый ум этого замечательного писателя не мог не остановиться на вопросе: какое будет моральное состояние общества, когда человечество достигнет этой эпохи? Он не отвечает на этот вопрос положительно, но мысли его обращаются к Америке, и вот его наблюдения: в этой стране быстрота сообщений, удобство переноситься из места в место уничтожили все различия в нравах, в образе жизни, в одежде, в устройстве дома и... в понятиях (когда они не касаются личных выгод каждого); оттого для жителя этой страны нет ничего нового, любопытного, нет ничего привлекательного: он везде дома — и, проехав из конца в конец свою отчизну, он встречает лишь то, что он каждый день видел; оттого цель путешествия американца всегда какая-либо личная польза и никогда наслаждение. Кажется, что может быть лучше такого состояния? Но умный Шевалье с похвальной откровенностью признается, что полное следствие такой полезной, удобной и расчетливой жизни — есть *тоска неодолимая, невыносимая!* — Явление в высшей степени замечательное! Откуда же взялась эта тоска? — Объясните, господа утилитаристы! Не этой ли тоске и происходящей от нее раздражительности должно приписать, между прочим, ныне вошедшие в привычку у

---

[1] См. «Recherches nouvelles sur l'industrie», par Michel Chevalier («Новые исследования об индустрии», Мишеля Шевалье *(фр.)*), 1843. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

американцев ежедневные поединки, которых подробности ужасают даже европейских журналистов? как вы думаете? Вот, господа, следствие односторонности и специальности, которая ныне почитается целию жизни; вот что значит полное погружение в вещественные выгоды и полное забвение других, так называемых бесполезных порывов души. Человек думал закопать их в землю, законопатить хлопчатой бумагой, залить дегтем и салом,—а они являются к нему в виде привидения: *тоски непонятной!*

НОЧЬ ЧЕТВЕРТАЯ

На пыльной связке, лежавшей на столе, было написано:

ЭКОНОМИСТ

Фауст читал:

«Посылаю к вам, мм. гг., отрывки, найденные в бумагах одного молодого человека, недавно умершего, ибо, как кажется, он принадлежал к тем людям, которых вы сделали предметом своих наблюдений.

В жизни этого молодого человека не было ничего особенно замечательного; он родился с положительным, даже сухим умом—с умом, ожидающим действия за причинами; в разговорах он любил нападать на идеальность, на мечты воображения, на безотчетное чувство—и доказывал, что они одни—вина всех бедствий человечества. Вследствие своих мыслей, он обратил всю деятельность своего ума на науки положительные, вступил на службу по Министерству финансов, читал одних экономистов, от аббата Галиани до Сэя, боготворил Мальтуса и беспрестанно покрывал листы бумаги статистическими выкладками.

Скачок от холодных цифр к отрывкам, которые я к вам посылаю, для многих кажется удивительным; не постигают, каким образом такие странные, часто нелепые мечты могли вселиться в голову человека, по-видимому, столь рассудительного, равнодушного, столь далекого от всех порывов воображения.

Чтение этих отрывков и замеченная незадолго пред кончиною глубокая задумчивость в нашем экономисте заставили родных подозревать, что на него находили припадки сумасшествия, тем более что за день до кончины он был совершенно здоров и что скоропостижная смерть прервала жизнь его без всякой видимой причины. Соображая все эти обстоятельства с несколькими недосказанны-

ми словами, вырвавшимися у юноши в минуту последних страданий, медики сначала подумали, что несчастный сам лишил себя жизни; но по тщательном осмотре на нем не нашлось никаких признаков ни внутренней, ни наружной раны; при вскрытии трупа не оказалось никаких примет отравления: все части внутренностей его были в совершенном порядке,—и медики принуждены были признаться, что физическая причина смерти несчастного Б. была неизъяснима.

Вопреки мнению медиков и их искривленному битурию, я уверен, что бедного Б. нельзя хоронить в крещеной земле; он точно самоубийца, но он убил свое тело ядом, которого и не подозревали медики, честь открытия которого принадлежит нашему XIX веку,—ядом, который олицетворил в себе все действия баснословной aqua tofana[1], который, согласно мнению алхимиков, убивает не вдруг, а действует чрез год, два, а иногда и чрез десять. Этому яду еще не приискано точного определенного названия; но это не мешает ему существовать, и доказательство тому—эти отрывки.

Не знаю, ошибаюсь ли я, но для меня эти отрывки объясняют многое. Мне кажется, они показывают, что логический ум несчастного Б., преследуя с жаром свои выкладки, нашел на конце своих силлогизмов нечто такое, что ускользает от цифр и уравнений, чего нельзя передать другим, что понимается одним инстинктом сердца и к чему нельзя отнести знаменитого присловья: что ясно понимается, то ясно и выражается.

Несчастный юноша был испуган своею находкою; она опровергала все расчеты положительного ума его и сама оставалась непонятною; обратившись на пройденную им дорогу, его строгая диалектика видела, что она ошиблась,—но ошибка ускользала от нее, и вся вселенная показалась несчастному опрокинутою, как человеку, который в телескоп, предназначенный для тел небесных, хочет рассмотреть мелкие тела земные. Это зрелище поразило несчастного; в эту минуту отчаяния в нем невольно развернулось чувство, существующее в каждом человеке,—чувство поэзии-утешительницы, и он передал бумаге те муки, которыми страдала душа его. Нет сомнения, что отрывки, им написанные, суть символическая история его собственных страданий; в этом уверяет меня хронологический порядок, в который я привел их, следуя некоторым приметам, по коим можно было определить, в какую эпоху жизни они были написаны, что

[1] Вода Тофаны *(лат.)*.

согласно и с некоторыми воспоминаниями родственников Б. Он скрывал от всех эти отрывки, как скрывал свои страдания; его положительный ум боялся своих страданий, стыдился их, почитал их минутною слабостию; эта беспрестанная борьба истощала его силы медленно, но верно, хотя никто и не замечал, что под его ледяною наружностию развивался целый мир нестерпимых терзаний.

Я оставил эти отрывки без всяких поправок; я присоединил к ним только несколько дополнений, чтоб объяснить, каким образом они, по моему мнению, связаны один с другим.

Первый отрывок, которому я, чтоб не смешиваться в цифрах, дал название «Бригадира», был,—как показывает самый почерк,—писан юношею вскоре после выхода из школы; он носит на себе печать ума молодого, внезапно встревоженного зрелищем света и в особенности того келейного, задушевного лицемерия, которое под личиной нравственных сентенций подтачивает все нравственные и общественные связи; это еще воспоминание о школьных темах в классе литературы. Но здесь уже видна тайная решительность; юноша не оставит в праздности деятельной души своей. С тех пор Б., как кажется, распростился с поэзиею; по крайней мере с тех пор, в продолжение восьми лет, в его бумагах нет ничего, кроме деловых бумаг, статистических таблиц и экономических выкладок. Видно также, что он в это время занимался физическими науками».

БРИГАДИР

Жил, жил, и только что в газетах
Осталось: «выехал в Ростов».

Дмитриев

Недавно случилось мне быть при смертной постели одного из тех людей, в существование которых, как кажется, не вмешивается ни одно созвездие, которые умирают, не оставив по себе ни одной мысли, ни одного чувства. Покойник всегда возбуждал мою зависть: он жил на сем свете больше полувека, и в продолжение сего времени, пока цари и царства возвышались и падали, пока открытия сменяли одно другое и превращали в развалины все то, что прежде называлось законами природы и человечества, пока мысли, порожденные трудами веков, разрастались и увлекали за собою вселенную,—мой покойник на все это не обращал никакого внимания: ел, пил,

не делал ни добра, ни зла, не был никем любим и не любил никого, не был ни весел, ни печален; дошел, за выслугу лет, до чина статского советника и отправился на тот свет во всем параде: обритый, вымытый, в мундире.

Неприятно, тягостно это зрелище! В торжественную минуту кончины человека душа невольно ожидает сильного потрясения, а вы холодны; вы ищете слез, а на вас находит насмешливая, едва ли не презрительная улыбка!.. Такое состояние неестественно, ваше внутреннее чувство нагло обмануто, растерзано; а что всего хуже, это зрелище заставляет вас обратиться на зрелище еще более несносное — на самого себя, возбуждает в вас докучливую деятельность, разлучает вас с тем сладким равнодушием, которое в гладкую ледяную кору заключало для вас все подлунное. Прощай, свинцовая дремота! Прежде с сладострастием самоубийцы вы прислушивались к той глухой боли, которая мало-помалу точит организм ваш; а теперь вы боитесь этого верного, неизменного наслаждения; вы начинаете по-прежнему считать минуты, раскаиваться; снова решаетесь на новую борьбу с людьми и с самим собою, на старые, давно уже знакомые вам страдания...

Так было со мною. Покойника холодно отпели, холодно бросили на него горсть песку, холодно совсем закрыли землею. Нигде ни слезы, ни вздоха, ни слова. Разошлись; я вместе с другими... мне было смешно, грустно, душно; мысли и чувства теснились в душе моей, перебегали от предмета к предмету, мешали размышление с безотчетностию, веру с сомнением, метафизику с эпиграммой; долго волновались они, как волшебные пары над треножником Калиостро, и наконец мало-помалу образовали предо мною образ покойника. И он явился — точь-в-точь как живой: указал мне на свои брюшные полости, вперил в меня глаза, ничего не выражающие. Тщетно хотел я бежать, тщетно закрывал лицо руками; мертвец всюду за мною, смеется, прядает, дразнит мое отвращение и щеголяет передо мною каким-то родственным со мною сходством...

«Ты смотрел холодно на мою кончину!» — сказал мне мертвец, и вдруг лицо его приняло совсем иное выражение: я с удивлением заметил, что во взоре его место бесчувственности заступила глубокая, неистощимая грусть; черты бессмыслия выразили лишь холодное, обжившееся отчаяние; отсутствие вдохновения превратилось в выражение беспрестанного горького упрека...

«Ты даже с насмешкою, с презрением смотрел на мои последние страдания», — продолжал он уныло.

«Напрасно! ты не понял их: обыкновенно жалеют,

плачут об умершем гении, бросившем плодоносную мысль на почву человечества; о художнике, оставившем в звуках и красках все царство души своей; о законодателе, в себе одном заключившем судьбу миллионов; и о ком жалеют? о ком плачут?—о счастливцах! Над их смертною постелью витает все прекрасное, ими созданное; им разлуку с миром услаждает их право на гордость, от которого так свежо душе человека; они в последнюю минуту, больше нежели когда-нибудь, вспоминают о делах, ими совершенных; в эту минуту и похвалы, ими слышанные и предполагаемые, и их тяжкие, таинственные страдания, даже самая неблагодарность людей—все сливается для них в громкий благодарственный гимн, который чудною гармониею отдается в их слухе!—А я и мне подобные? Мы в тысячу раз более достойны слез и сожаления! Что могло усладить мою последнюю минуту, что? разве беспамятство, то есть продолжение того же состояния, в котором я находился во всю мою жизнь? Что я оставляю по себе? *мое все со мною!*—А если то, что я говорю тебе теперь, пришло мне в голову в мою последнюю минуту; если что-либо шевелилось в душе моей в продолжение моей жизни; если последнее, судорожное потрясение нерв внезапно развернуло во мне жажду любви, самосве́дения и деятельности, заглушенную во время жизни,—буду ли я тогда достоин сожаления?»

Я содрогнулся и проговорил почти про себя: «Кто же мешал тебе?»

Мертвец не дал мне окончить, горько улыбнулся и взял меня за руку.

«Посмотри на эти китайские тени,—сказал он,—вот это я. Я в доме отца моего. Отец мой занят службою, картами и псовою охотой. Он меня кормит, поит, одевает, бранит, сечет и думает, что меня воспитывает. Матушка моя занята надзором за нравственностию целого околодка, и потому ей некогда присмотреть ни за моею, ни за своею собственною: она меня нежит, лелеет, лакомит потихоньку от отца; для приличия заставляет меня притворяться; для благопристойности говорить не то, что я думаю; быть почтительным к родне; выучивать наизусть слова, которых она не понимает,—и также думает, что она меня воспитывает. В самом же деле меня воспитывают челядинцы: они учат меня всем изобретениям невежества и разврата, и—их уроки я понимаю!..

Вот я с учителем. Он толкует мне то, чего сам не знает. Никогда не думавши о том, что есть у понятий естественный ход, он перескакивает от предмета к предмету, пропуская необходимые связи. Ничего не остается и

не может остаться в голове моей. Когда я не понимаю его — он обвиняет меня в упрямстве; когда я спрашиваю о чем — он обвиняет меня в умничанье. Школа мне мука, а ученье не развертывает, а только убивает мои способности.

Мне еще не исполнилось 14 лет, а уж конец ученью! Как я рад! я уж затянут в сержантский мундир; днем хожу в караул и на ученье, а больше езжу по родне и начальникам; ночью завиваю пукли, пудрюсь и танцую до упада. Время бежит, и подумать физически некогда. Батюшка учит меня ходить на поклоны и подличать; матушка показывает мне богатых невест. Когда я осмеливаюсь сделать какое-нибудь возражение — это называют неповиновением родительской власти; когда мне случайно удастся выговорить мысль, которую я не слыхал ни от батюшки, ни от матушки, — это называют вольнодумством. Меня бранят и грозят мне за все, за что бы должно хвалить, и хвалят за все, за что бы должно бранить. И естественное состояние души моей превратилось: я запуган, закружен; к тому же природа, совсем некстати, снабдила меня слабыми нервами, и я — *оторопел на всю жизнь:* на все мои душевные способности нашло какое-то онемение; нечему развернуть их: они еще в почке, а уж раздавлены всем, меня окружающим; нет предмета для мыслей; может быть, мог бы я думать, да не с чего начать и не умею; я также не могу вообразить, что можно о чем-нибудь думать, кроме моих ботфортов, как глухонемой не может себе вообразить, что такое звук... Между тем я пью и играю, ибо иначе меня назовут дурным товарищем, что бы мне было очень прискорбно.

Все женятся. Надобно жениться и мне. Вот я женат. Жена мне под пару. А я все тот же: в голове у меня до сих пор одни батюшкины мысли; если как-нибудь прийдет мне в голову мысль, не похожая на батюшкину, то я от нее отмаливаюсь, как от бесовского наваждения; боюсь быть дурным сыном, ибо хоть не понимаю, в чем состоит добродетель, но мне по инстинкту хочется быть добродетельным. Вот почему утром мы с женою сводим разные счеты — ибо батюшка, пуще совести, наказал мне не растерять имение; а потом — потом туалет, обед, карты, танцы. Мы живем очень весело; время бежит и очень скоро. Когда мне по инстинкту захочется переменить что-нибудь в нашем образе жизни — жена мне грозит названием дурного мужа, и я продолжаю ей покоряться, потому что мне хочется сохранить уже приобретенное мною название истинного християнина и человека с правилами. Этому много помогает то, что я усердно езжу

к родне и не пропускаю ни одних именин и ни одного рождения.

Вот у меня дети; я очень рад; говорят, что их надобно воспитывать,—почему не так! В чем состоит воспитание—мне некогда было подумать, и потому я счел за лучшее воспользоваться батюшкиными советами и стал детей точно так же воспитывать, как меня воспитывали, и говорить им точно те же слова, которые мне батюшка говорил. Так гораздо покойнее! Правда, многие из его слов я повторяю так, по привычке, кстати и некстати, не присоединяя к ним никакого смысла,—но что нужды!—очевидно, что отец не мог мне желать худого, и потому все-таки его слова принесут моим детям пользу, и опытность отцов не будет потеряна для детей. Иногда от такого повторения чужих слов у меня краска вспыхивает в лице; но чем другим, если не таким беспрестанным памятованием отцовских наставлений, можно лучше доказать сыновнее почтение, и что мне, в свою очередь, может доставить больше прав на такое же почтение детей моих?—не знаю.

По инстинкту мне захотелось отдать детей в общественное заведение; но вся родня мне сказала, что в школе мои дети потеряют приобретенные ими в доме правила нравственности и сделаются вольнодумцами. Для сохранения семейного спокойствия я решился учить их дома и, не умея выбрать учителей, выбираю их и плачу дорого; вся родня моя за то мною не нахвалится и уверяет, что на детей моих сошло божие благословение, потому что они во всем на меня похожи, как две капли воды. Но это не совсем правда: жена мне много мешает.

Я жены моей никогда не любил, и что такое любовь, я никогда не знал; я сначала не замечал этого; пока нам говорить было некогда и не о чем, мы как-то уживались; теперь же, как народились дети и мы стали меньше выезжать,—беда моя приходит! мы ни в чем с женою не согласны: я хочу одного, она другого; начнем ни с того, ни с сего; оба говорим; друг друга не понимаем, и—сам не знаю—всякий спор обратится в спор о том, кто из нас умнее, а этот спор длится всегда 24 часа; и так, только мы вместе, то или молчим, да скучаем, или—содом содомом! она закричит—я уговаривать; она завизжит—я кричать; она в слезы, потом больна—я ухаживать. Так проходят целые дни; время бежит и очень скоро.

Отчего происходят наши ссоры—право, не понимаю: мы оба, кажется, смирного нрава и люди (все говорят) нравственные; я почтительный сын, она почтительная дочь; я уже сказал, что учу детей своих тому, чему меня

сам отец учил, а она учит, чему ее сама мать учила,— чего бы лучше? Но, к несчастию, мой батюшка и ее матушка противоречили друг другу; оттого мы свято исполняем родительский долг, а сбиваем детей с толку: она их держит в хлопках, я вожу на мороз,— дети мрут; за что бог меня наказывает?

Мне уж приходит невтерпеж — и, хоть для спасения детей, я хотел было пустить мою жену на все четыре стороны; но как я покажусь на глаза людям, подавши такой пример безнравственности? Нечего делать! видно, век терпеть муку; утешительно, что хоть чужие люди нас за то хвалят и называют примерными супругами, потому что хотя друг друга терпеть не можем, да живем вместе по закону.

Между тем, время все бежит да бежит, а с ним растут и мои чины; по чинам мне дают место; по инстинкту я догадываюсь, что не могу занимать его,— ибо от непривычки к чтению я, читая, ничего не понимаю. Но мне сказали, что я буду дурным отцом, если не воспользуюсь этим местом, чтоб пристроить детей; я не захотел быть дурным отцом и потому принял место; сначала посовестился, стал было читать, да вижу, что хуже, а потом отдал все бумаги на попечение секретаря, а сам принялся подписывать, да пристраивать детей — чем и заслужил название доброго начальника и попечительного отца.

А время бежит да бежит; вот я уже переступил через 4-й десяток; период жизни, в котором умственная деятельность достигает высшей точки своего развития, уже прошел; мои брюшные полости раздвигаются все больше и больше, и я начал, как говорится, идти в тело. Когда уже прежде, до сего периода, ни одна мысль не могла протолкаться мне в голову — чему же быть теперь? Не думать сделалось мне привычкою, второю природой. Когда от ослабления сил нельзя мне выехать — мне скучно, очень скучно, а отчего? — сам не знаю. Примусь раскладывать гран-пасиянс — скучно. Бранюсь с женою — скучно. Пересилю себя, поеду на вечер — все скучно. Примусь за книгу — кажется, русские слова, а словно по-татарски; придет приятель, да расскажет, я как будто пойму; стану читать — опять не понимаю. От всего этого на меня находит, что говорится, *хандра*, за что жена меня очень бранит; она спрашивает меня: разве чего мне недостает, или я в чем несчастен? — я приписываю все это геморрою.

Вот я болен, в первый раз в жизни; я тяжело болен,— меня уложили в постель. Как неприятно быть больным! Нет сна, нет аппетита! как скучно! а вот и страдания! чем

заглушить их? Как приедут люди поговорить,—ибо вся моя родня свято наблюдает родственные связи,—то как будто легче, а все скучно и страшно. Но что-то родные начинают чаще приезжать; они что-то шепчутся с доктором,—плохо! Ахти! говорят уж мне о причастии, о соборовании маслом. Ах! они все такие хорошие христиане,—но ведь это значит, что я уже при последнем конце. Так нет уже надежды? Должно оставить жизнь—все: и обеды, и карты, и мой шитый мундир, и четверку вороных, на которых я еще не успел поездить,—ах, как тяжело! Принесите мне показать новую ливрею; позовите детей; нельзя ли еще помочь? призовите еще докторо́в; дайте какого хотите лекарства; отдайте половину моего имения, все мое имение: поживу, наживу—только помогите, спасите!..

Но вдруг сцена переменилась: страшная судорога потрясла мои нервы, и как завеса упала с глаз моих. Все, что тревожит душу человека, одаренного сильною деятельностию: ненасытная жажда познаний, стремление действовать, потрясать сердца силою слова, оставить по себе резкую бразду в умах человеческих,—в возвышенном чувстве, как в жарких объятиях, обхватить и природу, и человека,—все это запылало в голове моей; предо мною раскрылась бездна любви и человеческого самосве́дения. Страдания целой жизни гения, не утолимые никаким наслаждением, врезались в мое сердце—и все это в ту минуту, когда был конец моей деятельности. Я метался, рвался, произносил отрывистые слова, которыми в один миг хотел высказать себе то, на что недостаточно человеческой жизни; родные воображали, что я в беспамятстве. О, каким языком выразить мои страдания! Я начал *думать!* Думать—страшное слово после шестидесятилетней бессмысленной жизни! Я понял *любовь!* любовь—страшное слово после шестидесятилетней бесчувственной жизни!

И вся жизнь моя предстала мне во всей отвратительной наготе своей!

Я позабыл все обстоятельства, встретившие меня с моего рождения; все неумолимые условия общества, которые связывали меня в продолжение жизни. Я видел одно: посрамленные мною дары провидения! И все минуты моего существования, затоптанные в бессмыслии, приличиях, ничтожестве, слились в один страшный упрек и жгучим холодом обдавали мое сердце!

Тщетно искал я в своем существовании одной мысли, одного чувства, которыми б я мог прикрыться от гнева вседержителя! Пустыня отвечала мне, и в детях моих я

видел продолжение моего ничтожества; ах! если бы я мог говорить, если бы я мог вразумить меня окружающих, если б мог поделиться собою с ними, дать ощутить им то чувство, которым догорала душа моя! Тщетно я простирал мои руки к людям,— хладные, загрубелые — они хотели познать дружеское пожатие; но человечество чуждалось немеющего трупа, и я видел лишь одного себя перед собою — себя, одинокого, безобразного! Я жаждал взора, который бы отрадою сочувствия пролился в мою душу,— и встретил лишь насмешливое презрение на лице твоем! Я понял его, я разделил его! и с страшною, неотвратимою, вечною горечью оставил земную оболочку!.. Теперь, если хочешь, не сожалей обо мне, не плачь обо мне, презирай меня!»

Кровавые слезы покатились по синим щекам мертвеца, и он исчез с грустною улыбкой... Я возвратился на его могилу, преклонил колени, молился и долго плакал; не знаю, поняли ли проходящие, о чем я плакал...

После восьмилетней уединенной жизни, посвященной сухим цифрам и выкладкам, сочинитель сих отрывков, кажется, начал уже ощущать неудовлетворительность своих теорий, и для того ли, чтоб рассеять себя, или чтоб послушать мнений живых людей, или даже чтоб минутным отдыхом освежить свои силы, он бросился в светский вихрь. Эта атмосфера была ему не по сердцу — и, вероятно, в минуту досады, он набросал на бумагу эти строки, из которых одним я дал название «Бала»; другой отрывок носит на себе заглавие «Мститель»; в обеих статьях отражается и некоторая напыщенность, обыкновенная человеку деловому, принявшемуся за поэтическое перо, и какая-то статистическая привычка к исчислениям; и вместе впечатление, произведенное на сочинителя чтением новых романов,— чтением, необходимым для посетителя гостиных.

БАЛ

Gaudium magnum nuntio vobis[1]

1

Победа! победа! читали вы бюллетень? важная победа! историческая победа! особенно отличились картечь и разрывные бомбы; десять тысяч убитых; вдвое против

[1] «Великую радость возвещаю вам»,— обыкновенная формула, которою в Риме объявляется об избрании папы. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

того отнесено на перевязку; рук и ног груды; взяты пушки с бою; привезены знамена, обрызганные кровью и мозгом; на иных отпечатались кровавые руки. Как, зачем, из-за чего была свалка, знают немногие, и то про себя; но что нужды! победа! победа! во всем городе радость! сигнал подан: праздник за праздником; никто не хочет отстать от других. Тридцать тысяч вон из строя! Шутка ли! все веселится, поет и пляшет...

Бал разгорался час от часу сильнее; тонкий чад волновался над бесчисленными тускнеющими свечами; сквозь него трепетали штофные занавесы, мраморные вазы, золотые кисти, барельефы, колонны, картины; от обнаженной груди красавиц поднимался знойный воздух, и часто, когда пары, будто бы вырвавшиеся из рук чародея, в быстром кружении промелькали перед глазами,—вас, как в безводных степях Аравии, обдавал горячий, удушающий ветер; час от часу скорее развивались душистые локоны; смятая дымка небрежнее свертывалась на распаленные плечи; быстрее бился пульс; чаще встречались руки, близились вспыхивающие лица; томнее делались взоры, слышнее смех и шепот; старики поднимались с мест своих, расправляли бессильные члены, и в полупотухших, остолбенелых глазах мешалась горькая зависть с горьким воспоминанием прошедшего,—и все вертелось, прыгало, бесновалось в сладострастном безумии...

На небольшом возвышении с визгом скользили смычки по натянутым струнам; трепетал могильный голос волторн, и однообразные звуки литавр отзывались насмешливым хохотом. Седой капельмейстер, с улыбкой на лице, вне себя от восторга, беспрестанно учащал размер и взором, телодвижениями возбуждал утомленных музыкантов.

«Не правда ли?—говорил он мне отрывисто, не оставляя смычка.—Не правда ли? я говорил, что бал будет на славу,—и сдержал свое слово; все дело в музыке; я ее нарочно так и составил, чтобы она с места поднимала... не давала бы задуматься... так приказано... в сочинениях славных музыкантов есть странные места—я славно подобрал их—в этом все дело; вот, слышите: это вопль Доны-Анны, когда Дон-Жуан насмехается над нею; вот стон умирающего командора; вот минута, когда Отелло начинает верить своей ревности,—вот последняя молитва Дездемоны».

Еще долго капельмейстер исчислял мне все человеческие страдания, получившие голос в произведениях славных музыкантов; но я не слушал его более,—я заметил в

музыке что-то обворожительно-ужасное: я заметил, что к каждому звуку присоединялся другой звук, более пронзительный, от которого холод пробегал по жилам и волосы дыбом становились на голове; прислушиваюсь: то как будто крик страждущего младенца, или буйный вопль юноши, или визг матери над окровавленным сыном, или трепещущее стенание старца, и все голоса различных терзаний человеческих явились мне разложенными по степеням одной бесконечной гаммы, продолжавшейся от первого вопля новорожденного до последней мысли умирающего Байрона; каждый звук вырывался из раздраженного нерва, и каждый напев был судорожным движением.

Этот страшный оркестр темным облаком висел над танцующими,—при каждом ударе оркестра вырывались из облака: и громкая речь негодования; и прерывающийся лепет побежденного болью; и глухой говор отчаяния; и резкая скорбь жениха, разлученного с невестою; и раскаяние измены; и крик разъяренной, торжествующей черни; и насмешка неверия; и бесплодное рыдание гения; и таинственная печаль лицемера; и плач; и взрыд; и хохот... и все сливалось в неистовые созвучия, которые громко выговаривали проклятие природе и ропот на провидение; при каждом ударе оркестра выставлялись из него то посинелое лицо изможденного пыткою, то смеющиеся глаза сумасшедшего, то трясущиеся колена убийцы, то спекшиеся уста убитого; из темного облака капали на паркет кровавые капли и слезы,—по ним скользили атласные башмаки красавиц... и все по-прежнему вертелось, прыгало, бесновалось в сладострастно-холодном безумии...

Свечи нагорели и меркнут в удушливом паре. Если сквозь колеблющийся туман всмотреться в толпу, то иногда кажется, что пляшут не люди... в быстром движении с них слетает одежда, волосы, тело... и пляшут скелеты, постукивая друг о друга костями... а над ними под ту же музыку тянется вереница других скелетов, изломанных, обезображенных... но в зале ничего этого не замечают... все пляшет и беснуется, как ни в чем не бывало.

2

Долго за рассвет длился бал; долго поднятые с постели житейскими заботами останавливались посмотреть на мелькающие тени в светлых окошках.

Закруженный, усталый, истерзанный его мучительным

весельем, я выскочил на улицу из душных комнат и впивал в себя свежий воздух; утренний благовест терялся в шуме разъезжающихся экипажей; предо мною были растворенные двери храма.

Я вошел; в церкви пусто, одна свеча горела пред иконою, и тихий голос священника раздавался под сводами: он произносил заветные слова любви, веры, надежды; он возвещал таинство искупления, он говорил о том, кто соединил в себе все страдания человека; он говорил о высоком созерцании божества, о мире душевном, о милосердии к ближнему, о братском соединении человечества, о забвении обид, о прощении врагам, о тщете замыслов богопротивных, о беспрерывном совершенствовании души человека, о смирении пред судьбами всевышнего; он молился об убиенных и убийцах, он молился об оглашенных, о предстоящих!

Я бросился к притвору храма, хотел удержать беснующихся страдальцев, сорвать с сладострастного ложа их помертвелое сердце, возбудить его от холодного сна огненною гармониею любви и веры,— но уже было поздно! все проехали мимо церкви, и никто не слыхал слов священника...

МСТИТЕЛЬ

...Злодей торжествовал. Но в эту минуту я увидел человека, который пристально устремил глаза свои на счастливца. В сих неподвижных глазах я видел благородную злобу и ненасытное, неумолимое, но высокое мщение; его взоры до костей проникали счастливца; они поняли все, всю глубину его низости, исчислили все беззаконные трепетания его сердца, угадали все нечистые расчеты ума... грозная улыбка была на устах незнакомца... он не оставит счастливца, нигде преступный не укроется от ядовитого острия, образ нравственного чудовища врезался в памяти мстителя, и когда-нибудь он совершит над счастливцем очистительную тризну, сдернет с него его блистательные покровы — и обнаженного, во всей его гнусности вытолкнув на лобное место, позором заклеймит лицо его до третьего поколения... И в юноше пробежит святой огонь негодования, старец трепещущею рукою укажет на счастливца своим внукам; может быть, когда-либо в тишине ночи, посреди радостей домашнего счастия, жена, завлеченная очаровательным рассказом поэта, вдруг закроет лицо руками и воскликнет: это муж мой! Может быть, посреди шумной беседы, юноша прислушается к разговору товарищей, разделит с ними глубо-

кую насмешку, возбужденную словом поэта, и вдруг, опамятовавшись, скажет в душе своей: это отец мой!

И счастливец удивится, отчего, посреди всех даров счастия, он не находит приветной улыбки; отчего не возбуждает ничьего участия, отчего содрогается жена в его объятиях, отчего, при взоре на него, краска стыда выступает на лицо его сына; поверженный на одр болезни, с ослабленными силами, с сжатым сердцем, он будет вокруг себя искать того сладкого участия, которое, как баснословный элексир жизни, врачует все язвы,—но заклейменный поэтом образ будет между счастливцем и его друзьями; этот образ удержит руку, протягивающуюся к страдальцу, обратит стон его в презренное лепетание ядовитого насекомого, сожаление—в невольную улыбку, помощь—в тягостный долг, и счастливец познает весь ужас бесплодного раскаяния; он будет искать ту невидимую руку, которая поразила его, но эта рука уже забыла о нем, она ведет новые жертвы к алтарю Немезиды, где совершается таинственное служение поэта во времена духовного смрада и общественного гниения...

Кажется, что наш сочинитель завертелся в светском вихре долее, нежели сколько ему хотелось, и по самой простой причине: он влюбился. Но, видно, это новое занятие не удалось ему, и он от любви вкусил только горькие плоды. В отрывке, который он сам назвал «Насмешка мертвого», видны страдания, которые может испытать только тот, кто не привык ежедневно издерживать свою душу и чувствует редко, но сильно, и вместе с тем видна уже ирония против прежних наставников-бухгалтеров, которых расчеты не могли ему принести никакой пользы в его предприятии.

НАСМЕШКА МЕРТВЕЦА

Ревела осенняя буря: река рвалась из берегов; по широким улицам качалися фонари; от них тянулись и шевелились длинные тени; казалось, то подымались с земли, то опускались темные кровли, барельефы, окна. В городе еще все было в движении; прохожие толпились по тротуарам; запоздавшие красавицы, как будто от бури, то закрывали, то открывали свои личики, то оборачивались, то останавливались; толпа молодежи их преследовала и, смеясь, благодарила ветер за его невежливость; степенные люди осуждали то тех, то других и продолжали путь свой, жалея, что им самим уже поздно за то же приняться; колеса то быстро, то лениво стучали о мостовую; звук уличных рылей носился по воздуху; и из

всех этих разнообразных, отдельных движений составлялось одно общее, которым дышало, жило это странное чудовище, складенное из груды людей и камней, которое называют многолюдным городом. Одно небо было чисто, грозно, неподвижно — и тщетно ожидало взора, который бы поднялся к нему.

Вот с моста, вздутого прибывшей волною, вихрем скатилась пышная, щегольская карета, во всем похожая на другие, но в которой было нечто такое, почему прохожие останавливаются, говорят друг другу: «Это, верно, молодые!» — и с глупою радостью долго провожают карету глазами.

В карете сидела молодая женщина; блестящая перевязка струилась между ее черными локонами и перевивалась с нераспустившимися розами; голубой бархатный плащ ожимал широкую блонду, которая, вырываясь из своей темницы, волновалась над лицом красавицы, как те воздушные занавески, которыми живописцы оттеняют портреты своих прелестниц.

Подле нее сидел человек средних лет, с одним из тех лиц, которые не поражают вас ни телесным безобразием, ни душевной красотою; которые не привлекают вас и не отталкивают. Вас бы не оскорбило встретиться с этим человеком в гостиной; но вы двадцать раз прошли бы мимо, не заметив его, но вы не сказали б ему ни одного сердечного слова, но при нем бы вы побоялись того чувства, которое невольно вырывается из бездны душевной и терзает вас, пока вы не дадите ему тела и образа. Словом, в минуту сильной умственной деятельности вам было бы неловко, беспокойно с этим человеком; в минуту вдохновения — вы бы выкинули его за окошко.

Испуганная валами разъяренной реки, грозным завыванием ветра, красавица невольно то выглядывала в окошко, то робко прижималась к своему товарищу; товарищ утешал ее теми пошлыми словами, которые издавно изобрело холодное малодушие, которые произносятся без уверенности и принимаются без убеждения. Между тем карета быстро приближалась к ярко освещенному дому, где в окнах мелькали тени под веселый ритм бальной музыки.

Вдруг карета остановилась: раздалось протяжное пение; улица осветилась багровым пламенем; несколько человек с факелами; за ними гроб медленно двигался через улицу. Красавица выглянула; сильный порыв ветра отогнул оледенелый покров с мертвеца, и ей показалось, что мертвец приподнял посинелое лицо и посмотрел на нее с той неподвижной улыбкой, которою мертвые насмеха-

ются над живыми. Красавица ахнула и, в беспамятстве, прижалась ко внутренней стенке кареты.

Красавица некогда видала этого молодого человека. Видала! она знала его, знала все изгибы души его, понимала каждое трепетание его сердца, каждое недоговоренное слово, каждую незаметную черту на лице его; она знала, понимала все это, но на ту пору одно из тех людских мнений, которое люди называют вечным, необходимым основанием семейственного счастия и которому приносят в жертву и гений, и добродетель, и сострадание, и здравый смысл, все это на несколько месяцев,—одно из таких мнений поставляло непреоборимую преграду между красавицею и молодым человеком. И красавица покорилась. Покорилась не чувству,—нет, она затоптала святую искру, которая было затеплилась в душе ее, и, падши, поклонилась тому демону, который раздает счастье и славу мира; и демон похвалил ее повиновение, дал ей «хорошую партию» и назвал ее расчетливость—добродетелью, ее подобострастие—благоразумием, ее оптический обман—влечением сердца; и красавица едва не гордилась его похвалою.

Но в любви юноши соединялось все святое и прекрасное человека; ее роскошным огнем жила жизнь его, как блестящий, благоухающий алоэс под опалою солнца; юноше были родными те минуты, когда над мыслию проходит дыхание бурно; те минуты, в которые живут века; когда ангелы присутствуют таинству души человеческой и таинственные зародыши будущих поколений со страхом внимают решению судьбы своей.

Да! много будущего было в этой мысли, в этом чувстве. Но им ли оковать ленивое сердце светской красавицы, беспрерывно охлаждаемое расчетами приличий? Им ли пленить ум, беспрестанно сводимый с толку теми судьями общего мнения, которые постигли искусство судить о других по себе, о чувстве по расчету, о мысли по тому, что им случилось видеть на свете, о поэзии по чистой прибыли, о вере по политике, о будущем по прошедшему?

И все было презрено; и бескорыстная любовь юноши, и силы, которые она оживляла... Красавица назвала свою любовь порывом воображения, мучительное терзание юноши—преходящею болезнью ума, мольбу его взоров—модною поэтическою причудою. Все было презрено, все было забыто. Красавица провела его через все мытарства оскорбленной любви, оскорбленной надежды, оскорбленного самолюбия...

Что я рассказал долгими речами, то в одно мгновение пролетело через сердце красавицы при виде мертвого:

ужасною показалась ей смерть юноши,— не смерть тела, нет! черты искаженного лица рассказывали страшную повесть о другой смерти. Кто знает, что сталось с юношей, когда, сжатые холодом страдания, порвались струны на гармоническом орудии души его; когда изнемог он, замученный недоговоренною жизнию; когда истощилась душа на тщетное борение и, униженная, но не убежденная, с хохотом отвергла даже сомнение,— последнюю, святую искру души — умирающей. Может быть, она вызвала из ада все изобретения разврата; может быть, постигла сладость коварства, негу мщения, выгоды явной, бесстыдной подлости; может быть, сильный юноша, распаливши сердце свое молитвою, проклял все доброе в жизни! Может быть, вся та деятельность, которая была предназначена на святой подвиг жизни, углубилась в науку порока, исчерпала ее мудрость с тою же силой, с которою она некогда исчерпала бы науку добра; может быть, та деятельность, которая должна была помирить гордость познания с смирением веры, слила горькое, удушающее раскаяние с самою минутою преступления...

Карета остановилась. Бледная, трепещущая красавица едва могла идти по мраморным ступеням, хотя насмешки мужа и возбуждали ее ослабевшие силы.— Вот она вошла; она танцует; но кровь поднимается в ее голову; деревянная рука, которая увлекает ее за танцующими, напоминает ей ту пламенную руку, которая судорожно сжималась, прикасаясь до ее руки; бессмысленный грохот бальной музыки отзывается ей той мольбою, которая вырывалась из души страстного юноши.

Между толпами бродят разные лица; под веселый напев контрданса свиваются и развиваются тысячи интриг и сетей; толпы подобострастных аэролитов вертятся вокруг однодневной кометы; предатель униженно кланяется своей жертве; здесь послышалось незначущее слово, привязанное к глубокому, долголетнему плану; там улыбка презрения скатилась с великолепного лица и оледенила какой-то умоляющий взор; здесь тихо ползут темные грехи и торжественная подлость гордо носит на себе печать отвержения...

Но послышался шум... вот красавица обернулась, видит — иные шепчут между собою... иные быстро побежали из комнаты и трепещущие возвратились... Со всех сторон раздается крик: «Вода! вода!»; все бросились к дверям; но уже поздно! Вода захлестнула весь нижний этаж. В другом конце залы еще играет музыка; там еще танцуют, там еще говорят о будущем, там еще думают о

вчера сделанной подлости, о той, которую надобно сделать завтра; там еще есть люди, которые ни о чем не думают. Но вскоре всюду достигла страшная весть, музыка прервалась, все смешалось.

Отчего ж побледнели все эти лица? Отчего стиснулись зубы у этого ловкого, красноречивого ритора? Отчего так залепетал язык у этого угрюмого героя? Отчего так забегала эта важная дама, эта блонда пополам с грязью? О чем спрашивает этот великолепный муж, для которого и лишний взгляд казался оскорблением?.. Как, милостивые государи, так есть на свете нечто, кроме ваших ежедневных интриг, происков, расчетов? Неправда! пустое! все пройдет! опять наступит завтрашний день! опять можно будет продолжать начатое! свергнуть своего противника, обмануть своего друга, доползти до нового места! Послушайте: вот, некоторые смельчаки, которые больше других не думали ни о жизни, ни о смерти, уверяют, что опасность не велика и что вода сейчас начнет убавляться: они смеются, шутят, предлагают продолжать танцы, карточную игру; они радуются случаю остаться вместе до завтрашней ночи; вы в продолжение этого времени не потерпите ни малейшего неудовольствия. Смотрите: в той комнате приготовлены столы, роскошные вина кипят в хрустальных сосудах, все произведения природы сжаты для вас на золотых блюдах; нет дела, что вокруг вас раздаются стоны погибающих; вы люди мудрые, вы приучили свое сердце не увлекаться этими слабодушными движениями. Но вы не слушаете, но вы трепещете, холодный пот обдает вас, вам страшно. И подлинно: вода все растет и растет; вы отворяете окошко, зовете о помощи: вам отвечает свист бури, и белесоватые волны, как разъяренные тигры, кидаются в светлые окна. Да! в самом деле, ужасно. Еще минута, и взмокнут эти роскошные, дымчатые одежды ваших женщин! Еще минута, и то, что так отрадно отличало вас от толпы, только прибавит к вашей тяжести и повлечет вас на холодное дно. Страшно! страшно! Где же всемощные средства науки, смеющейся над усилиями природы?.. Милостивые государи, наука замерла под вашим дыханием. Где же великодушные люди, готовые на жертву для спасения ближнего? Милостивые государи,— вы втоптали их в землю, им уже не приподняться. Где же сила любви, двигающей горы? Милостивые государи, вы задушили ее в ваших объятиях. Что же остается вам?.. Смерть, смерть, смерть ужасная! медленная! Но ободритесь: что ж такое смерть? Вы люди дельные, благоразумные; правда — вы презрели голубиную целость, зато постигли змеиную

мудрость; неужели то, о чем посреди тонких, сметливых рассуждений ваших вы никогда и не помышляли, может быть делом столь важным? Призовите на помощь свою прозорливость, испытайте над смертию ваши обыкновенные средства: испытайте, нельзя ли обмануть ее льстивою речью? нельзя ли подкупить ее? наконец, нельзя ли оклеветать? не поймет ли она вашего многозначительного неумолимого взгляда?.. Но все тщетно! Вот уже колеблются стены, рухнуло окошко, рухнуло другое, вода хлынула в них, наполнила зал; вот в проломе явилось что-то огромное, черное... Не средство ли к спасению? Нет, черный гроб внесло в зал,—мертвый пришел посетить живых и пригласить их на свое пиршество! Свечи затрещали и погасли, волны хлещут по паркету, всё поднимают и опрокидывают, что ни встретится; картины, зеркала, вазы с цветами,—все смешалось, все трещит, все валится; иногда из-под хлеста волн вынырнет испуганное лицо, раздастся пронзительный крик, и оба исчезнут в пучине; лишь поверху носится открытый гроб, то бьется об драгоценные остатки уцелевшей статуи, то снова отпрянет на средину зала...

Тщетно красавица просит о помощи, зовет мужа—она чувствует, как облипло на ней платье, как отяжелело, как тянет ее в глубину... Вдруг с треском рухнулись стены, раздался потолок,—и гроб, и все бывшее в зале волны вынесли в необозримое море... Все замолкло; лишь ревет ветер, гонит мелкие дымчатые облака перед луною, и ее свет по временам как будто синею молниею освещает грозное небо и неумолимую пучину. Открытый гроб мчится по ней; за ним волны влекут красавицу. Они одни посредине бунтующей стихии: она и мертвец, мертвец и она; нет помощи, нет спасения! Ее члены закостенели, зубы стиснулись, истощились силы; в беспамятстве она ухватилась за окраину гроба,—гроб нагибается, голова мертвеца прикасается до головы красавицы, холодные капли с лица его падают на ее лицо, в остолбенелых глазах его упрек и насмешка. Пораженная его взором, она то оставляет гроб, то снова, мучась невольною любовью к жизни, хватается за него,—и снова гроб нагибается и лицо мертвеца висит над ее лицом,—и снова дождит на него холодными каплями,—и, не отворяя уст, мертвец хохочет: «Здравствуй, Лиза! благоразумная Лиза!..»—и непреоборимая сила влечет на дно красавицу. Она чувствует: соленая вода омывает язык ее, с свистом наливается в уши, бухнет мозг в ее голове, слепнут глаза; а мертвец все тянется над нею, и слышится хохот: «Здравствуй, Лиза! благоразумная Лиза!..»...

Когда Лиза очнулась, она лежала на своей постели; солнечные лучи золотили зеленую занавеску; в длинных креслах муж, сердито зевая, разговаривал с доктором.

— Изволите видеть,—говорил доктор,—это очень ясно: всякое сильное движение души, происходящее от гнева, от болезни, от испуга, от горестного воспоминания, всякое такое движение действует непосредственно на сердце; сердце в свою очередь действует на мозговые нервы, которые, соединясь с наружными чувствами, нарушают их гармонию; тогда человек приходит в какое-то полусонное состояние и видит особенный мир, в котором одна половина предметов принадлежит к действительному миру, а другая половина к миру, находящемуся внутри человека...

Муж давно уже его не слушал. В то время на подъезде встретились два человека.

— Ну, что княгиня?—спросил один другого.

— Да ничего! дамские причуды! Только что испортила наш бал своим обмороком. Я уверен, что это было не что иное, как притворство... хотелось обратить внимание.

— Ах, не брани ее!—возразил первый.—Бедненькая! я чай, и без того ей досталось от мужа. Впрочем, и всякому будет досадно: он отроду не бывал еще в таком ударе; представь себе, он десять раз сряду замаскировал короля, в четверть часа выиграл пять тысяч, и если бы не...

Разговаривающие удалились.

С год спустя после этого обморока, на бале у Б***, человек пожилых лет говорил одной даме:—Ах, как я рад, что встретился с вами! у меня есть до вас просьба, княгиня. Вы будете завтра вечером дома?..

— На что вам это?

— Меня просят вам представить одного, как говорят, очень замечательного молодого человека...

— Ах, бога ради,—возразила дама с негодованием,—избавьте меня от этих замечательных молодых людей с их мечтами, чувствами, мыслями! Говоря с ними, надобно еще думать о том, что говоришь, а думать для меня и скучно и беспокойно. Я уж об этом объявила всем моим знакомым. Приводите ко мне таких, которые без претензий, которые прекрасно говорят о сплетнях, о бале, о рауте и только; я им буду очень рада, и для них мои двери всегда отворены...

Я долгом считаю заметить, что эта дама была княгиня, а говоривший с нею мужчина—муж ее...

Оскорбленный, измученный юноша вырвался из светского вихря и думал забыть свое страдание в прежних трудах своих, в прежних цифрах, но сердце его, раздраженное чувством любви, уже не было согласно с его рассудком; оно не могло и победить его, ибо инстинкт сердца едва начинал развиваться; мало-помалу юноша разуверился во всем, даже в бытии науки, даже в совершенствовании человечества; но логический, положительный ум действовал со всею силою и облекал собственные страдания юноши в формы силлогизмов, и все то, что прежде казалось ему легко преодолимою трудностию, явилось в виде страшного, всепожирающего диалектического сомнения. Чтобы поразить это чудовище, нужно было нечто другое, кроме выкладок; он вполне ощутил все их бессилие, но, привыкший к сему орудию, не знал другого. С этой минуты, кажется, началось расстройство ума его; болезнь оскорбленной любви слилась с болезнию неудовлетворенного разума, и это страшное состояние организма излилось на бумагу в виде чудовищного создания, которому он сам дал название «Последнего самоубийства». Это вместе и горькая насмешка над нелепыми выкладками английского экономиста, и вместе образ страшного состояния души, привыкшей почитать веру делом, необходимым лишь в политическом отношении. Вы не соблазнитесь некоторыми резкими выражениями бедного страдальца, но пожалеете о нем; его чудовищное создание может служить примером, до чего могут довести простые опытные знания, не согретые верою в провидение и в совершенствование человека; как растлеваются все силы ума, когда инстинкт сердца оставлен в забытьи и не орошается живительною росою откровения; как мало даже одной любви к человечеству, когда эта любовь не истекает из горнего источника! Это сочинение есть не иное что, как развитие одной главы из Мальтуса, но развитие откровенное, не прикрытое хитростями диалектики, которые Мальтус употреблял как предохранительное орудие против человечества, им оскорбленного.

ПОСЛЕДНЕЕ САМОУБИЙСТВО

Наступило время, предсказанное философами XIX века: род человеческий размножился; потерялась соразмерность между произведениями природы и потребностями человечества. Медленно, но постоянно приближалось оно к сему бедствию. Гонимые нищетою, жители городов

бежали в поля, поля обращались в селы, селы в города, а города нечувствительно раздвигали свои границы; тщетно человек употреблял все знания, приобретенные потовыми трудами веков, тщетно к ухищрениям искусства присоединял ту могущественную деятельность, которую порождает роковая необходимость,—давно уже аравийские песчаные степи обратились в плодоносные пажити; давно уже льды севера покрылись туком земли; неимоверными усилиями химии искусственная теплота живила царство вечного хлада... но все тщетно: протекли века, и животная жизнь вытеснила растительную, слились границы городов, и весь земной шар от полюса до полюса обратился в один обширный, заселенный город, в который перенеслись вся роскошь, все болезни, вся утонченность, весь разврат, вся деятельность прежних городов; но над роскошным градом вселенной тяготела страшная нищета и усовершенные способы сообщения разносили во все концы шара лишь вести об ужасных явлениях голода и болезней; еще возвышались здания; еще нивы в несколько ярусов, освещенные искусственным солнцем, орошаемые искусственною водою, приносили обильную жатву,—но она исчезала прежде, нежели успевали собирать ее: на каждом шагу, в каналах, реках, воздухе, везде теснились люди, все кипело жизнию, но жизнь умерщвляла сама себя. Тщетно люди молили друг у друга средства воспротивиться всеобщему бедствию: старики воспоминали о протекшем, обвиняли во всем роскошь и испорченность нравов; юноши призывали в помощь силу ума, воли и воображения; мудрейшие искали средства продолжать существование без пищи, и над ними никто не смеялся.

Скоро здания показались человеку излишнею роскошью; он зажигал дом свой и с дикою радостию утучнял землю пеплом своего жилища; погибли чудеса искусства, произведения образованной жизни, обширные книгохранилища, больницы,—все, что могло занимать какое-либо пространство,—и вся земля обратилась в одну обширную, плодоносную пажить.

Но не надолго возбудилась надежда; тщетно заразительные болезни летали из края в край и умерщвляли жителей тысячами; сыны Адамовы, пораженные роковыми словами писания, росли и множились.

Давно уже исчезло все, что прежде составляло счастие и гордость человека. Давно уже погас божественный огонь искусства, давно уже и философия, и религия отнесены были к разряду алхимических знаний; с тем вместе разорвались все узы, соединявшие людей между

собою, и чем более нужда теснила их друг к другу, тем более чувства их разлучались. Каждый в собрате своем видел врага, готового отнять у него последнее средство для бедственной жизни: отец с рыданием узнавал о рождении сына; дочери прядали при смертном одре матери; но чаще мать удушала дитя свое при его рождении, и отец рукоплескал ей. Самоубийцы внесены были в число героев. Благотворительность сделалась вольнодумством, насмешка над жизнию — обыкновенным приветствием, любовь — преступлением.

Вся утонченность законоискусства была обращена на то, чтобы воспрепятствовать совершению браков; малейшее подозрение в родстве, неравенство в летах, всякое удаление от обряда делало брак ничтожным и бездною разделяло супругов. С рассветом каждого дня люди, голодом подымаемые с постели, тощие, бледные, сходились и обвиняли друг друга в пресыщении или упрекали мать многочисленного семейства в распутстве; каждый думал видеть в собрате общего врага своего, недосягаемую причину жизни, и все словами отчаяния вызывали на брань друг друга: мечи обнажались, кровь лилась, и никто не спрашивал о причине брани, никто не разнимал враждующих, никто не помогал упавшему.

Однажды толпа была раздвинута другою, которая гналась за молодым человеком; его обвиняли в ужасном преступлении: он спас от смерти человека, в отчаянии бросившегося в море; нашлись еще люди, которые хотели вступиться за несчастного. «Что вы защищаете человеконенавистника? — вскричал один из толпы.— Он эгоист, он любит одного себя!» Одно это слово устранило защитников, ибо эгоизм тогда был общим чувством; он производил в людях невольное презрение к самим себе, и они рады были наказать в другом собственное свое чувство. «Он эгоист,— продолжал обвинитель,— он нарушитель общего спокойствия, он в своей землянке скрывает жену, а она сестра его в пятом колене!» — В пятом колене! — завопила разъяренная толпа.

— Это ли дело друга? — промолвил несчастный.

— Друга? — возразил с жаром обвинитель.— А с кем ты несколько дней тому назад,— прибавил он шепотом,— не со мною ли ты отказал поделиться своей пищею?

— Но мои дети умирали с голоду,— сказал в отчаянии злополучный.

— Дети! дети! — раздалось со всех сторон.— У него есть дети! — Его беззаконные дети съедают хлеб наш! — и, предводимая обвинителем, толпа ринулась к землянке, где несчастный скрывал от взоров толпы все драгоценное ему

в жизни.—Пришли, ворвались,—на голой земле лежали два мертвых ребенка, возле них мать; ее зубы стиснули руку грудного младенца.—Отец вырвался из толпы, бросился к трупам, и толпа с хохотом удалилась, бросая в него грязь и каменья.

Мрачное, ужасное чувство зародилось в душе людей. Этого чувства не умели бы назвать в прежние веки; тогда об этом чувстве могли дать слабое понятие лишь ненависть отверженной любви, лишь цепенение верной гибели, лишь бессмыслие терзаемого пыткою; но это чувство не имело предмета. Теперь ясно все видели, что жизнь для человека сделалась невозможною, что все средства для ее поддержания были истощены,—но никто не решался сказать, что оставалось предпринять человеку? Вскоре между толпами явились люди,—они, казалось, с давнего времени вели счет страданиям человека—и в итоге выводили все его существование. Обширным, адским взглядом они обхватывали минувшее и преследовали жизнь с самого ее зарождения. Они вспоминали, как она, подобно татю, закралась сперва в темную землянную глыбу и там, посреди гранита и гнейса, мало-помалу, истребляя одно вещество другим, развила новые произведения, более совершенные; потом на смерти одного растения она основала существование тысячи других; истреблением растений она размножила животных; с каким коварством она приковала к страданиям одного рода существ наслаждения, самое бытие другого рода! Они вспоминали, как, наконец, честолюбивая, распространяя ежечасно свое владычество, она все более и более умножала раздражительность чувствования—и беспрестанно, в каждом новом существе, прибавляя к новому совершенству новый способ страдания, достигла наконец до человека, в душе его развернулась со всею своею безумною деятельностию и счастие всех людей восставила против счастия каждого человека. Пророки отчаяния с математическою точностию измеряли страдание каждого нерва в теле человека, каждого ощущения в душе его. «Вспомните,—говорили они,—с каким лицемерием неумолимая жизнь вызывает человека из сладких объятий ничтожества.—Она закрывает все чувства его волшебною пеленою при его рождении,—она боится, чтобы человек, увидев все безобразие жизни, не отпрянул от колыбели в могилу. Нет! коварная жизнь является ему сперва в виде теплой материнской груди, потом порхает перед ним бабочкою и блещет ему в глаза радужными цветами; она

печется о его сохранении и совершенном устройстве его души, как некогда мексиканские жрецы пеклись о жертвах своему идолу; дальновидная, она дарит младенца мягкими членами, чтоб случайное падение не сделало человека менее способным к терзанию; несколькими покровами рачительно закрывает его голову и сердце, чтоб вернее сберечь в них орудия для будущей пытки; и несчастный привыкает к жизни, начинает любить ее: она то улыбается ему прекрасным образом женщины, то выглядывает на него из-под длинных ресниц ее, закрывая собою безобразные впадины черепа, то дышит в горячих речах ее; то в звуках поэзии олицетворяет все несуществующее; то жаждущего приводит к пустому кладезю науки, который кажется неисчерпаемым источником наслаждений. Иногда человек, прорывая свою пелену, мельком видит безобразие жизни, но она предвидела это и заранее зародила в нем любопытство увериться в самом ее безобразии, узнать ее; заранее поселила в человеке гордость видом бесконечного царства души его, и человек, завлеченный, упоенный, незаметно достигает той минуты, когда все нервы его тела, все чувства его души, все мысли его ума—во всем блеске своего развития спрашивают: где же место их деятельности, где исполнение надежд, где цель жизни? Жизнь лишь ожидала этого мгновения,— быстро повергает она страдальца на плаху: сдергивает с него благодетельную пелену, которую подарила ему при рождении, и, как искусный анатом, обнажив нервы души его—обливает их жгучим холодом.

Иногда от взоров толпы жизнь скрывает свои избранные жертвы; в тиши, с рачением воскормляет их таинственною пищею мыслей, острит их ощущения; в их скудельную грудь вмещает всю безграничную свою деятельность—и, возвысив до небес дух их, жизнь с насмешкою бросает их в средину толпы; здесь они чужеземцы,—никто не понимает языка их,—нет их привычной пищи,—терзаемые внутренним гладом, заключенные в оковы общественных условий, они измеряют страдание человека всею возвышенностию своих мыслей, всею раздражительностию чувств своих; в своем медленном томлении перечувствуют томление всего человечества,—тщетно рвутся они к своей мнимой отчизне,—они издыхают, разуверившись в вере целого бытия своего, и жизнь, довольная, но не насыщенная их страданиями, с презрением бросает на их могилу бесплодный фимиам позднего благоговения.

Были люди, которые рано узнавали коварную жизнь,— и, презирая ее обманчивые призраки, с твердостию духа

рано обращались они к единственному верному и неизменному союзнику их против ее ухищрений — ничтожеству. В древности слабоумное человечество называло их малодушными; мы, более опытные, менее способные обманываться, назвали их мудрейшими. Лишь они умели найти надежное средство против врага человечества и природы, против неистовой жизни; лишь они постигли, зачем она дала человеку так много средств чувствовать и так мало способов удовлетворять своим чувствам. Лишь они умели положить конец ее злобной деятельности и разрешить давний спор об алхимическом камне.

В самом деле, размыслите хладнокровно, — продолжали несчастные, — что делал человек от сотворения мира?.. он старался избегнуть от жизни, которая угнетала его своею существенностию. Она вогнала человека свободного, уединенного, в свинцовые условия общества, и что же? человек несчастия одиночества заменил страданиями другого рода, может быть ужаснейшими; он продал обществу, как злому духу, блаженство души своей за спасение тела. Чего не выдумывал человек, чтоб украсить жизнь или забыть о ней. Он употребил на это всю природу, и тщетно в языке человеческом забывать о жизни — сделалось однозначительным с выражением: быть счастливым; эта мечта невозможная; жизнь ежеминутно напоминает о себе человеку. Тщетно он заставлял другого в кровавом поте лица отыскивать ему даже тени наслаждений, — жизнь являлась в образе пресыщения, ужаснейшем самого голода. В объятиях любви человек хотел укрыться от жизни, а она являлась ему под именами преступлений, вероломства и болезней. Вне царства жизни человек нашел что-то невыразимое, какое-то облако, которое он назвал поэзиею, философией, — в этих туманах он хотел спастись от глаз своего преследователя, а жизнь обратила этот утешительный призрак в грозное, тлетворное привидение. Куда же еще укрыться от жизни? мы переступили за пределы самого невыразимого! чего ждать еще более? мы исполнили, наконец, все мечты и ожидания мудрецов, нас предшествовавших. Долгим опытом уверились мы, что все различие между людьми есть только различие страданий, — и достигли, наконец, до того равенства, о котором так толковали наши предки. Смотрите, как мы блаженствуем: нет между нами ни властей, ни богачей, ни машин; мы тесно и очень тесно соединены друг с другом, мы члены одного семейства! — О люди! люди! не будем подражать нашим предкам, не дадимся в обман, — есть царство иное, безмятежное, — оно близко, близко!»

Тиха была речь пророков отчаяния—она впивалась в душу людей, как семя в разрыхленную землю, и росла, как мысль, давно уже развившаяся в глубоком уединении сердца. Всем понятна и сладка была она—и всякому хотелось договорить ее. Но, как во всех решительных эпохах человечества, недоставало избранного, который бы вполне выговорил мысль, крывшуюся в душе человека.

Наконец явился он, мессия отчаяния! Хладен был взор его, громок голос, и от слов его мгновенно исчезали последние развалины древних поверий. Быстро вымолвил он последнее слово последней мысли человечества—и все пришло в движение,—призваны были все усилия древнего искусства, все древние успехи злобы и мщения, все, что когда-либо могло умерщвлять человека, и своды пресеклись под легким слоем земли, и искусством утонченная селитра, сера и уголь наполнили их от конца экватора до другого. В реченный, торжественный час люди исполнили, наконец, мечтанья древних философов об общей семье и общем согласии человечества, с дикою радостию взялись за руки; громовой упрек выражался в их взоре. Вдруг из-под глыбы земли явилась юная чета, недавно пощаженная неистовою толпою; бледные, истощенные, как тени мертвецов, они еще сжимали друг друга в объятиях. «Мы хотим жить и любить посреди страданий»,—восклицали они и на коленях умоляли человечество остановить минуту его отмщения; но это мщение было возлелеяно вековыми щедротами жизни; в ответ раздался грозный хохот, то был условленный знак—в одно мгновение блеснул огонь; треск распадавшегося шара потряс солнечную систему; разорванные громады Альпов и Шимборазо взлетели на воздух, раздались несколько стонов... еще... пепел возвратился на землю... и все утихло... и вечная жизнь впервые раскаялась!..

Предшедший отрывок написан сочинителем незадолго пред его кончиною; к счастию, он не остался в этом неестественном состоянии души. В последнем отрывке, «Цецилия», видно воздействие религиозного чувства; этот отрывок, по-видимому, написан в сильном волнении духа, напоминает библейские выражения, вероятно тогда читанные автором, и написан рукою почти неразбираемою; во многих местах не дописаны слова, и, кажется, недостает окончания.

ЦЕЦИЛИЯ

> Дай мне силу над сердцами.
> С тайных дум покров сорви:
> Чтоб я мог всевластным духом
> Целый мир наполнить звуком
> Вдохновенья и любви.
>
> *Шевырев. Песнь к Цецилии, покровительнице гармонии*

...Не людей он бежал, но их счастия; не бедствий, но жизни; не жизни, но души вопрошающей. Не покоя он искал, но свинцового сна. Не нашел он того, чего искал, и то, от чего он скрывался,—растопило хладные своды его темницы. Здесь скорбь создала ему дом; осветила его взором отчаяния, населила его неслышимым воплем, стыдливой слезою и безумным смехом; ум и сердце раздрала на части и заклала их на своем жертвеннике; чашу жизни переполнила желчью.

Где же ты, премудрость? Где семь столпов твоих? Где твоя трапеза? Где царственное слово? Где рабы твои, посланные на высокое делание?

Так печальна жизнь наша, нет исцеления и гробы безмолвны? Случайно родимся мы, проживем и будем как не бывали? дымом разойдется душа человека и теплое слово погаснет, как ветром занесенная искра? и имя наше забвенно будет во время, и никто не воспомнит дел наших? и жизнь наша—след облака? распадется она, как туман, лучами солнца отягченный? и не отворится скиния свидания и никто не снимет печати?

Кто же успокоит стон мой? Кто даст разум сердцу? Кто даст слово духу? ...

....

А там, за железною решеткою, в храме, посвященном св. Цецилии, все ликовало; лучи заходящего солнца огненным водометом лились на образ покровительницы гармонии, звучали ее золотые органы и, полные любви, звуки радужными кругами разносились по храму: как хотел бы несчастный вглядеться в это сияние, вслушаться в эти звуки, перелить в них душу свою, договорить их недоконченные слова,—но до него доходили лишь неясный отблеск и смешанный отголосок.

Этот отблеск, эти отголоски говорили о чем-то душе его, о чем-то—для чего не находил он слов человеческих.

Он верил, что за голубым отблеском есть сияние, что за неясным отголоском есть гармония; и будет время, мечтал он,—и до меня достигнет сияние Цецилии, и сердце мое изойдет на ее звуки,—отдохнет измученный ум в светлом небе очей ее, и я познаю наслаждение

слезами веры выплакать свою душу... Меж тем, жизнь его вытекала капля за каплею, и в каждой капле были яд и горечь! ...

— Далее, действительно, нельзя ничего разобрать,— сказал Фауст...

— Довольно и этого,— насмешливо заметил Виктор.

— Ужасно! ужасно!— проговорил Ростислав, потупив глаза в землю.— В самом деле, стоит опуститься в глубину души — и каждый найдет в себе зародыш всех возможных преступлений...

— Нет, не в глубину души,— возразил Фауст,— а разве в глубину логики; эта логика — престранная наука; начни с чего хочешь: с истины или с нелепости,— она всему даст прекрасный, правильный ход и поведет зажмуря глаза, пока не споткнется;— Бентаму, например, ничего не стоило перескочить от *частной* пользы к пользе *общественной*, не заметив, что в его системе между ними бездна; добрые люди XIX века перескочили с ним вместе и по его же системе доказали, что общественная польза не иное что, как их собственная выгода; нелепость сделалась очевидною. Но это бы не беда, а вот что худо — во время этой прогулки может пройти полстолетия; так логика Адама Смита споткнулась только в Мальтусе; ею жил наш век до сей минуты, да и теперь многих ли ты уверишь, что Мальтусова теория есть полная нелепость; с нею для них начинается новый силлогизм...

— Я замечу только одно,— сказал Вячеслав,— что и твои искатели приключений и их безумный экономист взводят, кажется, на Мальтуса небылицу; я, например, не помню, чтоб он рекомендовал разврат как лекарство против увеличения народонаселения...

— Ты забываешь,— отвечал Фауст,— что мои искатели давно уже умерли и что, вероятно, они читали *первое* издание Мальтуса, который в первом жару, при блеске ясной логической последовательности своих мыслей, проговорился и высказал откровенно все чудные выводы из своей теории. Как обыкновенно бывает, большая часть благовоспитанных людей, не обратив внимания на безнравственность самого начала теории, соблазнились некоторыми второстепенными выводами, которые, однако ж, необходимо вытекали из самого этого начала; чтоб успокоить этих так называемых нравственных людей, а равно из английского благоприличия, Мальтус в следующих изданиях своей книги, оставя теорию вполне, вычеркнул все слишком ясные выводы; книга его сделалась непонятнее, нелепость осталась та же, а нравственные люди

успокоились. Попробуй теперь кто-нибудь в Англии сказать, что Мальтус гораздо нелепее алхимиков, отыскивающих универсальное лекарство! А между тем, если теория Мальтуса справедлива, то действительно скоро человеческому роду не останется ничего другого, как подложить под себя пороху и взлететь на воздух, или приискать другое, столь же действительное средство для оправдания Мальтусовой системы.

В следующий раз я вам прочту путевые заметки моих друзей, близко касающиеся того же предмета; там увидите полное или, как говорят, практическое применение теории другого логического философа, которого умозаключения, наравне с Мальтусовыми, имели честь образовать так называемую политическую экономию нашего времени.

НОЧЬ ПЯТАЯ

ГОРОД БЕЗ ИМЕНИ

> В пространных равнинах Верхней Канады, на пустынных берегах Ореноко, находятся остатки зданий, бронзовых оружий, произведения скульптуры, которые свидетельствуют, что некогда просвещенные народы обитали в сих странах, где ныне кочуют лишь толпы диких звероловов.
>
> *Гумбольд. Vues des Cordillères*[1]. *Т. 1.*

...Дорога тянулась между скал, поросших мохом. Лошади скользили, поднимаясь на крутизну, и наконец совсем остановились. Мы принуждены были выйти из коляски...

Тогда только мы заметили на вершине почти неприступного утеса нечто, имевшее вид человека. Это привидение, в черной епанче, сидело недвижно между грудами камней в глубоком безмолвии. Подойдя ближе к утесу, мы удивились, каким образом это существо могло взобраться на вышину почти по голым отвесным стенам. Почтальон на наши вопросы отвечал, что этот утес с некоторого времени служит обиталищем *черному человеку*, а в околодке говорили, что этот черный человек сходит редко с утеса, и только за пищею, потом снова возвращается на утес и по целым дням или бродит печально между камнями, или сидит недвижим, как статуя.

---

[1] Виды Кордильеров (*фр.*).

Сей рассказ возбудил наше любопытство. Почтальон указал нам узкую лестницу, которая вела на вершину. Мы дали ему несколько денег, чтобы заставить его ожидать нас спокойнее, и через несколько минут были уже на утесе.

Странная картина нам представилась. Утес был усеян обломками камней, имевшими вид развалин. Иногда причудливая рука природы или древнее незапамятное искусство растягивали их длинною чертою, в виде стены, иногда сбрасывали в груду обвалившегося свода. В некоторых местах обманутое воображение видело подобие перистилей; юные деревья в разных направлениях выказывались из-за обломков; повилика пробивалась между расселин и довершала очарование.

Шорох листьев заставил черного человека обернуться. Он встал, оперся на камень, имевший вид пьедестала, и смотрел на нас с некоторым удивлением, но без досады. Вид незнакомца был строг и величествен: в глубоких впадинах горели черные большие глаза; брови были наклонены, как у человека, привыкшего к беспрестанному размышлению; стан незнакомца казался еще величавее от черной епанчи, которая живописно струилась по левому плечу его и ниспадала на землю.

Мы старались извиниться, что нарушили его уединение...— Правда...— сказал незнакомец после некоторого молчания,— я здесь редко вижу посетителей; люди живут, люди проходят... разительные зрелища остаются в стороне, люди идут дальше, дальше — пока сами не обратятся в печальное зрелище...

— Не мудрено, что вас мало посещают,— возразил один из нас, чтоб завести разговор,— это место так уныло,— оно похоже на кладбище.

— На кладбище...— прервал незнакомец,— да, это правда! — прибавил он горько.— Это правда — здесь могилы многих мыслей, многих чувств, многих воспоминаний...

— Вы, верно, потеряли кого-нибудь, очень дорогого вашему сердцу? — продолжал мой товарищ.

Незнакомец взглянул на него быстро; в глазах его выражалось удивление.

— Да, сударь,— отвечал он,— я потерял самое драгоценное в жизни — я потерял отчизну...

— Отчизну?..

— Да, отчизну! вы видите ее развалины. Здесь, на самом этом месте, некогда волновались страсти, горела мысль, блестящие чертоги возносились к небу, сила искусства приводила природу в недоумение... Теперь

остались одни камни, заросшие травою,— бедная отчизна! я предвидел твое падение, я стенал на твоих распутиях: ты не услышала моего стона... и мне суждено было пережить тебя.— Незнакомец бросился на камень, скрывая лицо свое... Вдруг он вспрянул и старался оттолкнуть от себя камень, служивший ему подпорою.

— Опять ты предо мною,— вскричал он,— ты, вина всех бедствий моей отчизны,— прочь — прочь — мои слезы не согреют тебя, столб безжизненный... слезы бесполезны... бесполезны?.. не правда ли?..— Незнакомец захохотал.

Желая дать другой оборот его мыслям, которые с каждою минутою становились для нас непонятнее, мой товарищ спросил незнакомца, как называлась страна, посреди развалин которой мы находились?

— У этой страны нет имени — она недостойна его; некогда она носила имя — имя громкое, славное, но она втоптала его в землю; годы засыпали его прахом; мне не позволено снимать завесу с этого таинства...

— Позвольте вас спросить,— продолжал мой товарищ,— неужели ни на одной карте не означена страна, о которой вы говорите?..

Этот вопрос, казалось, поразил незнакомца...

— Даже на карте...— повторил он после некоторого молчания,— да. это может быть... это должно так быть; так... посреди бесчисленных переворотов, потрясавших Европу в последние веки, легко может статься, что никто и не обратил внимание на небольшую колонию, поселившуюся на этом неприступном утесе; она успела образоваться, процвесть и... погибнуть, незамеченная историками... но, впрочем... позвольте... это не то... она и не должна была быть замеченною; скорбь смешивает мои мысли, и ваши вопросы меня смущают... Если хотите... я вам расскажу историю этой страны по порядку... это мне будет легче... одно будет напоминать другое... только не перерывайте меня...

Незнакомец облокотился на пьедестал, как будто на кафедру, и с важным видом оратора начал так:

«Давно, давно — в XVIII столетии — все умы были взволнованы теориями общественного устройства; везде спорили о причинах упадка и благоденствия государств: и на площади, и на университетских диспутах, и в спальне красавиц, и в комментариях к древним писателям, и на поле битвы.

Тогда один молодой человек в Европе был озарен новою, оригинальною мыслию. Нас окружают, говорил он, тысячи мнений, тысячи теорий; все они имеют одну

цель — благоденствие общества, и все противоречат друг другу. Посмотрим, нет ли чего-нибудь общего всем этим мнениям? Говорят о правах человека, о должностях: но что может заставить человека не переступать границ своего права? что может заставить человека свято хранить свою должность? одно — собственная его польза! Тщетно вы будете ослаблять права человека, когда к сохранению их влечет его собственная польза; тщетно вы будете доказывать ему святость его долга, когда он в противоречии с его пользою. Да, *польза* есть существенный двигатель всех действий человека! Что бесполезно — то вредно, что полезно — то позволено. Вот единственное твердое основание общества! Польза и одна польза — да будет вашим и первым и последним законом! Пусть из нее происходить будут все ваши постановления, ваши занятия, ваши нравы; пусть польза заменит шаткие основания так называемой совести, так называемого врожденного чувства, все поэтические бредни, все вымыслы филантропов — и общество достигнет прочного благоденствия.

Так говорил молодой человек в кругу своих товарищей,— и это был — мне не нужно называть его — это был Бентам.

Блистательные выводы, построенные на столь твердом, положительном основании, воспламенили многих. Посреди старого общества нельзя было привести в исполнение обширную систему Бентама: тому противились и старые люди, и старые книги, и старые поверья. Эмиграции были в моде. Богачи, художники, купцы, ремесленники обратили свое имение в деньги, запаслись земледельческими орудиями, машинами, математическими инструментами, сели на корабль и пустились отыскивать какой-нибудь незанятый уголок мира, где спокойно, вдали от мечтателей, можно было бы осуществить блистательную систему.

В это время гора, на которой мы теперь находимся, была окружена со всех сторон морем. Я еще помню, когда паруса наших кораблей развевались в гавани. Неприступное положение этого острова понравилось нашим путешественникам. Они бросили якорь, вышли на берег, не нашли на нем ни одного жителя и заняли землю по праву первого приобретателя.

Все, составлявшие эту колонию, были люди более или менее образованные, одаренные любовию к наукам и искусствам, отличавшиеся изысканностию вкуса, привычкою к изящным наслаждениям. Скоро земля была возделана; огромные здания, как бы сами собою, поднялись из нее; в них соединились все прихоти, все удобства жизни;

машины, фабрики, библиотеки, все явилось с невыразимою быстротою. Избранный в правители лучший друг Бентама все двигал своею сильною волею и своим светлым умом. Замечал ли он где-нибудь малейшее ослабление, малейшую нерадивость — он произносил заветное слово: *польза* — и все по-прежнему приходило в порядок. поднимались ленивые руки, воспламенялась погасавшая воля; словом, колония процветала. Проникнутые признательностию к виновнику своего благоденствия, обитатели счастливого острова на главной площади своей воздвигнули колоссальную статую Бентама и на пьедестале золотыми буквами начертали: *польза.*

Так протекли долгие годы. Ничто не нарушало спокойствия и наслаждений счастливого острова. В самом начале возродился было спор по предмету довольно важному. Некоторые из первых колонистов, привыкшие к вере отцов своих, находили необходимым устроить храм для жителей. Разумеется, что тотчас же возродился вопрос: полезно ли это? и многие утверждали, что храм не есть какое-либо мануфактурное заведение и что, следственно, не может приносить никакой ощутительной пользы. Но первые возражали, что храм необходим для того, дабы проповедники могли беспрестанно напоминать обитателям, что польза есть единственное основание нравственности и единственный закон для всех действий человека. С этим все согласились — и храм был устроен.

Колония процветала. Общая деятельность превосходила всякое вероятие. С раннего утра жители всех сословий поднимались с постели, боясь потерять понапрасну и малейшую частицу времени,— и всякий принимался за свое дело: один трудился над машиной, другой взрывал новую землю, третий пускал в рост деньги — едва успевали обедать. В обществах был один разговор — о том, из чего можно извлечь себе пользу? Появилось множество книг по сему предмету — что я говорю? одни такого рода книги и выходили. Девушка вместо романа читала трактат о прядильной фабрике; мальчик лет двенадцати уже начинал откладывать деньги на составление капитала для торговых оборотов. В семействах не было ни бесполезных шуток, ни бесполезных рассеяний,— каждая минута дня была разочтена, каждый поступок взвешен, и ничто даром не терялось. У нас не было минуты спокойствия, не было минуты того, что другие называли самонаслаждением,— жизнь беспрестанно двигалась, вертелась, трещала.

Некоторые из художников предложили устроить театр. Другие находили такое заведение совершенно бесполезным. Спор долго длился — но наконец решили, что театр

может быть полезным заведением, если все представления на нем будут иметь целию доказать, что польза есть источник всех добродетелей и что бесполезное есть главная вина всех бедствий человечества. На этом условии театр был устроен.

Возникали многие подобные споры; но как государством управляли люди, обладавшие бентамовою неотразимою диалектикою, то скоро прекращались ко всеобщему удовольствию. Согласие не нарушалось — колония процветала!

Восхищенные своим успехом, колонисты положили на вечные времена не переменять своих узаконений, как признанных на опыте последним совершенством, до которого человек может достигнуть. Колония процветала.

Так снова протекли долгие годы. Невдалеке от нас, также на необитаемом острове, поселилась другая колония. Она состояла из людей простых, из земледельцев, которые поселились тут не для осуществления какой-либо системы, но просто чтоб снискивать себе пропитание. То, что у нас производили энтузиазм и правила, которые мы сосали с молоком матерним, то у наших соседей производилось необходимостью жить и трудом безотчетным, но постоянным. Их нивы, луга были разработаны, и возвышенная искусством земля сторицею вознаграждала труд человека.

Эта соседняя колония показалась нам весьма удобным местом для так называемой *эксплуатации;*[1] мы завели с нею торговые сношения, но, руководствуясь словом *польза*, мы не считали за нужное щадить наших соседей; мы задерживали разными хитростями провоз к ним необходимых вещей и потом продавали им свои втридорога; многие из нас, оградясь всеми законными формами, предпринимали против соседей весьма удачные банкротства, от которых у них упали фабрики, что послужило в пользу нашим; мы ссорили наших соседей с другими колониями, помогали им в этих случаях деньгами, которые, разумеется, возвращались нам сторицею; мы завлекали их в биржевую игру и посредством искусных оборотов были постоянно в выигрыше; наши агенты жили у соседей безвыходно и всеми средствами: лестию, коварством, деньгами, угрозами — постоянно распространяли нашу монополию. Все наши богатели — колония процветала.

Когда соседи вполне разорились благодаря нашей мудрой, основательной политике, правители наши, собрав-

[1] К счастию, это слово в сем смысле еще не существует в русском языке; его можно перевести: наживка на счет ближнего. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

ши выборных людей, предложили им на разрешение вопрос: не будет ли полезно для нашей колонии уже совсем приобрести землю наших ослабевших соседей? Все отвечали утвердительно. За сим следовали другие вопросы: как приобрести эту землю, деньгами или силою? На этот вопрос отвечали, что сначала надобно испытать деньгами: а если это средство не удастся, то употребить силу. Некоторые из членов совета хотя и соглашались, что народонаселение нашей колонии требовало новой земли, но что, может быть, было бы согласно более с справедливостию занять какой-либо другой необитаемый остров, нежели посягать на чужую собственность. Но эти люди были признаны за вредных мечтателей, за идеологов: им доказано было посредством математической выкладки, во сколько раз более выгод может принести земля уже обработанная в сравнении с землею, до которой еще не прикасалась рука человека. Решено было отправить к нашим соседям предложение об уступке нам земли их за известную сумму. Соседи не согласились... Тогда, приведя в торговый баланс издержки на войну с выгодами, которые можно было извлечь из земли наших соседей, мы напали на них вооруженною рукою, уничтожили все, что противопоставляло нам какое-либо сопротивление; остальных принудили откочевать в дальние страны, а сами вступили в обладание островом.

Так, по мере надобности, поступали мы и в других случаях. Несчастные обитатели окружных земель, казалось, разработывали их для того только, чтоб сделаться нашими жертвами. Имея беспрестанно в виду одну собственную пользу, мы почитали против наших соседей все средства дозволенными: и политические хитрости, и обман, и подкупы. Мы по-прежнему ссорили соседей между собою, чтоб уменьшить их силы; поддерживали слабых, чтоб противопоставить их сильным; нападали на сильных, чтоб восстановить против них слабых. Мало-помалу все окружные колонии, одна за другою, подпали под нашу власть — и Бентамия сделалась государством грозным и сильным. Мы величали себя похвалами за наши великие подвиги и нашим детям поставляли в пример тех достославных мужей, которые оружием, а тем паче обманом обогатили нашу колонию. Колония процветала.

Снова протекли долгие годы. Вскоре за покоренными соседями мы встретили других, которых покорение было не столь удобно. Тогда возникли у нас споры. Пограничные города нашего государства, получавшие важные выгоды от торговли с иноземцами, находили полезным быть с ними в мире. Напротив, жители внутренних городов,

стесненные в малом пространстве, жаждали расширения пределов государства и находили весьма полезным затеять ссору с соседями,—хоть для того, чтоб избавиться от излишка своего народонаселения. Голоса разделились. Обе стороны говорили об одном и том же: об общей пользе, не замечая того, что каждая сторона под этим словом понимала лишь свою собственную. Были еще другие, которые, желая предупредить эту распрю, заводили речь о самоотвержении, о взаимных уступках, о необходимости пожертвовать что-либо в настоящем для блага будущих поколений. Этих людей обе стороны засыпали неопровержимыми математическими выкладками; этих людей обе стороны назвали вредными мечтателями, идеологами; и государство распалось на две части: одна из них объявила войну иноземцам, другая заключила с ними торговый трактат[1].

Это раздробление государства сильно подействовало на его благоденствие. Нужда оказалась во всех классах; должно было отказать себе в некоторых удобствах жизни, обратившихся в привычку. Это показалось нестерпимым. Соревнование произвело новую промышленную деятельность, новое изыскание средств для приобретения прежнего достатка. Несмотря на все усилия, бентамиты не могли возвратить в свои домы прежней роскоши—и на то были многие причины. При так называемом благородном соревновании, при усиленной деятельности всех и каждого, между отдельными городами часто происходило то же, что между двумя частями государства. Противоположные выгоды встречались; один не хотел уступить другому: для одного города нужен был канал, для другого железная дорога; для одного в одном направлении, для другого в другом. Между тем банкирские операции продолжались, но, сжатые в тесном пространстве, они необходимо, *по естественному ходу вещей*, должны были обратиться уже не на соседей, а на самих бентамитов; и торговцы, следуя нашему высокому началу—польза, принялись спокойно наживаться банкротствами, благоразумно задерживать предметы, на *которые было требование*, чтоб потом продавать их дорогою ценою; с основательностию заниматься биржевою игрою; под видом неограниченной, так

---

[1] Американский республиканский журнал «Tribune» (из коего отрывок напечатан в «Северной пчеле», 1861, сентября 21, № 209, с. 859, кол. 4), исчисляя следствие торжества ультрадемократической партии, говорит: «один штат немедленно объявит недействительным тариф союза, другой воспротивится военным налогам, третий не позволит ходить в своих пределах почте; вследствие всего этого союз придет в полное расстройство. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

называемой священной свободы торговли учреждать монополию. Одни разбогатели — другие разорились. Между тем никто не хотел пожертвовать частию своих выгод для общих, когда эти последние не доставляли ему непосредственной пользы; и каналы засорялись; дороги не оканчивались по недостатку общего содействия; фабрики, заводы упадали; библиотеки были распроданы; театры закрылись. Нужда увеличивалась и поражала равно всех, богатых и бедных. Она раздражала сердца; от упреков доходили до распрей; обнажались мечи, кровь лилась, восставала страна на страну, одно поселение на другое; земля оставалась незасеянною; богатая жатва истреблялась врагом; отец семейства, ремесленник, купец отрывались от своих мирных занятий; с тем вместе общие страдания увеличились.

В этих внешних и междуусобных бранях, которые то прекращались на время, то вспыхивали с новым ожесточением, протекло еще много лет. От общих и частных скорбей общим чувством сделалось общее уныние. Истощенные долгой борьбою, люди предались бездействию. Никто не хотел ничего предпринимать для будущего. Все чувства, все мысли, все побуждения человека ограничились настоящей минутой. Отец семейства возвращался в дом скучный, печальный. Его не тешили ни ласки жены, ни умственное развитие детей. Воспитание казалось излишним. Одно считалось нужным — правдою или неправдой добыть себе несколько вещественных выгод. Этому искусству отцы боялись учить детей своих, чтоб не дать им оружия против самих себя; да и было бы излишним; юный бентамит с ранних лет, из древних преданий, из рассказов матери научался одной науке: избегать законов божеских и человеческих и смотреть на них лишь как на одно из средств извлекать себе какую-нибудь выгоду. Нечему было оживить борьбу человека; нечему было утешить его в скорби. Божественный, одушевляющий язык поэзии был недоступен бентамиту. Великие явления природы не погружали его в ту беспечную думу, которая отторгает человека от земной скорби. Мать не умела завести песни над колыбелью младенца. Естественная поэтическая стихия издавна была умерщвлена корыстными расчетами пользы. Смерть этой стихии заразила все другие стихии человеческой природы; все отвлеченные, общие мысли, связывающие людей между собою, показались бредом; книги, знания, законы нравственности — бесполезною роскошью. От прежних славных времен осталось только одно слово — *польза*; но и то получило смысл неопределенный: его всякий толковал по-своему.

Вскоре раздоры возникли внутри самого главного нашего города. В его окрестностях находились богатые рудники каменного угля. Владельцы этих рудников получали от них богатый доход. Но от долгого времени и углубления копей они наполнились водой. Добывание угля сделалось трудным. Владельцы рудников возвысили на него цену. Остальные жители внутри города по дороговизне не могли более иметь этот необходимый материал в достаточном количестве. Наступила зима; недостаток в уголье сделался еще более ощутительным. Бедные прибегнули к правительству. Правительство предложило средства вывести воду из рудников и тем облегчить добывание угля. Богатые воспротивились, доказывая неопровержимыми выкладками, что им выгоднее продавать малое количество за дорогую цену, нежели остановить работу для осушения копей. Начались споры, и кончилось тем, что толпа бедняков, дрожавших от холода, бросилась на рудники и овладела ими, доказывая с своей стороны также неопровержимо, что им гораздо выгоднее брать уголь даром, нежели платить за него деньги.

Подобные явления повторялись беспрестанно. Они наводили сильное беспокойство на всех обитателей города, не оставляли их ни на площади, ни под домашним кровом. Все видели общее бедствие — и никто не знал, как пособить ему. Наконец, отыскивая повсюду вину своих несчастий, они вздумали, что причина находится в правительстве, ибо оно, хотя изредка, в своих воззваниях напоминало о необходимости помогать друг другу, жертвовать своею пользою пользе общей. Но уже все воззвания были поздны; все понятия в обществе перемешались; слова переменили значение; самая общая польза казалась уже мечтою; эгоизм был единственным, святым правилом жизни; безумцы обвиняли своих правителей в ужаснейшем преступлении — в поэзии. «Зачем нам эти философические толкования о добродетели, о самоотвержении, о гражданской доблести? какие они приносят проценты? Помогите нашим существенным, положительным нуждам!» — кричали несчастные, не зная, что существенное зло было в их собственном сердце. «Зачем, — говорили купцы, — нам эти ученые и философы? им ли править городом? Мы занимаемся настоящим делом; мы получаем деньги, мы платим, мы покупаем произведения земли, мы продаем их, мы приносим существенную пользу: мы должны быть правителями!» И все, в ком нашлась хотя искра божественного огня, были, как вредные мечтатели, изгнаны из города. Купцы сделались правителями, и правление обратилось в компанию на

акциях. Исчезли все великие предприятия, которые не могли непосредственно принести какую-либо выгоду или которых цель неясно представлялась ограниченному, корыстному взгляду торговцев. Государственная проницательность, мудрое предведение, исправление нравов — все, что не было направлено прямо к коммерческой цели, словом, что не могло приносить процентов, было названо — мечтами. Банкирский феодализм торжествовал. Науки и искусства замолкли совершенно; не являлось новых открытий, изобретений, усовершенствований. Умножившееся народонаселение требовало новых сил промышленности; а промышленность тянулась по старинной, избитой колее и не отвечала возрастающим нуждам.

Предстали пред человека нежданные, разрушительные явления природы: бури, тлетворные ветры, мор, голод... униженный человек преклонял пред ними главу свою, а природа, не обузданная его властью, уничтожала одним дуновением плоды его прежних усилий. Все силы дряхлели в человеке. Даже честолюбивые замыслы, которые могли бы в будущем усилить торговую деятельность, но в настоящем расстроивали выгоды купцов-правителей, были названы предрассудками. Обман, подлоги, умышленное банкрутство, полное презрение к достоинству человека, боготворение злата, угождение самым грубым требованиям плоти — стали делом явным, позволенным, необходимым. Религия сделалась предметом совершенно посторонним; нравственность заключилась в подведении исправных итогов; умственные занятия — изыскание средств обманывать без потери кредита; поэзия — баланс приходо-расходной книги; музыка — однообразная стукотня машин; живопись — черчение моделей. Нечему было подкрепить, возбудить, утешить человека; негде было ему забыться хоть на мгновение. Таинственные источники духа иссякли; какая-то жажда томила, — а люди не знали, как и назвать ее. Общие страдания увеличились.

В это время на площади одного из городов нашего государства явился человек, бледный, с распущенными волосами, в погребальной одежде. «Горе, — восклицал он, посыпая прахом главу свою, — горе тебе, страна нечестия; ты избила своих пророков, и твои пророки замолкли! Горе тебе! Смотри, на высоком небе уже собираются грозные тучи; или ты не боишься, что огнь небесный ниспадет на тебя и пожжет твои веси и нивы? Или спасут тебя твои мраморные чертоги, роскошная одежда, груды злата, толпы рабов, твое лицемерие и коварство? Ты растлила свою душу, ты отдала свое сердце в куплю и забыла все великое и святое; ты смешала значение слов и назвала

златом добро, добром — злато, коварство — умом и ум — коварством; ты презрела любовь, ты презрела науку ума и науку сердца. Падут твои чертоги, порвется твоя одежда, травою порастут твои стогны, и имя твое будет забыто. Я, последний из твоих пророков, взываю к тебе: брось куплю и злато, ложь и нечестие, оживи мысли ума и чувства сердца, преклони колени не пред алтарями кумиров, но пред алтарем бескорыстной любви... Но я слышу голос твоего огрубелого сердца; слова мои тщетно ударяют в слух твой: ты не покаешься — проклинаю тебя!» С сими словами говоривший упал ниц на землю. Полиция раздвинула толпу любопытных и отвела несчастного в сумасшедший дом. Через несколько дней жители нашего города в самом деле были поражены ужасною грозою. Казалось, все небо было в пламени; тучи разрывались светло-синею молниею; удары грома следовали один за другим беспрерывно; деревья вырывало с корнем; многие здания в нашем городе были разбиты громовыми стрелами. Но больше несчастий не было; только чрез несколько времени в «Прейскуранте», единственной газете, у нас издававшейся, мы прочли следующую статью:

„Мылом тихо. На партии бумажных чулок делают двадцать процентов уступки. Выбойка требуется.

P. S. Спешим уведомить наших читателей, что бывшая за две недели гроза нанесла ужасное повреждение на сто миль в окружности нашего города. Многие города сгорели от молнии. К довершению бедствий, в соседственной горе образовался волкан; истекшая из него лава истребила то, что было пощажено грозою. Тысячи жителей лишились жизни. К счастию остальных, застывшая лава представила им новый источник промышленности. Они отламывают разноцветные куски лавы и обращают их в кольца, серьги и другие украшения. Мы советуем нашим читателям воспользоваться несчастным положением сих промышленников. По необходимости они продают свои произведения почти задаром, а известно, что все вещи, делаемые из лавы, могут быть перепроданы с большою выгодою и проч...“ ».

Наш незнакомец остановился. «Что вам рассказывать более? Недолго могла продлиться наша искусственная жизнь, составленная из купеческих оборотов.

Протекло несколько столетий. За купцами пришли ремесленники. «Зачем,— кричали они,— нам этих людей, которые пользуются нашими трудами и, спокойно сидя за своим столом, наживаются? Мы работаем в поте лица; мы знаем труд; без нас они бы не могли существовать. Мы приносим существенную пользу городу — мы должны

быть правителями!» И все, в ком таилось хоть какое-либо общее понятие о предметах, были изгнаны из города; ремесленники сделались правителями — и правление обратилось в мастерскую. Исчезла торговая деятельность; ремесленные произведения наполнили рынки; не было центров сбыта; пути сообщения пресеклись от невежества правителей; искусство оборачивать капиталы утратилось; деньги сделались редкостью. Общие страдания умножились.

За ремесленниками пришли землепашцы. «Зачем,— кричали они,— нам этих людей, которые занимаются безделками — и, сидя под теплою кровлею, съедают хлеб, который мы вырабатываем в поте лица, ночью и днем, в холоде и в зное? Что бы они стали делать, если бы мы не кормили их своими трудами? Мы приносим существенную пользу городу; мы знаем его первые, необходимые нужды — мы должны быть правителями». И все, кто только имел руку, не привыкшую к грубой земляной работе, все были изгнаны вон из города.

Подобные явления происходили с некоторыми изменениями и в других городах нашей земли. Изгнанные из одной страны, приходя в другую, находили минутное убежище; но ожесточившаяся нужда заставляла их искать нового. Гонимые из края в край, они собирались толпами и вооруженной рукою добывали себе пропитание. Нивы истаптывались конями; жатва истреблялась прежде созрения. Земледельцы принуждены были, для охранения себя от набегов, оставить свои занятия. Небольшая часть земли засевалась и, обрабатываемая среди тревог и беспокойств, приносила плод необильный. Предоставленная самой себе, без пособий искусства, она зарастала дикими травами, кустарником или заносилась морским песком. Некому было указать на могущественные пособия науки, долженствовавшие предупредить общие бедствия. Голод, со всеми его ужасами, бурной рекою разлился по стране нашей. Брат убивал брата остатком плуга и из окровавленных рук вырывал скудную пищу. Великолепные здания в нашем городе давно уже опустели; бесполезные корабли сгнивали в пристани. И странно и страшно было видеть возле мраморных чертогов, говоривших о прежнем величии, необузданную, грубую толпу, в буйном разврате спорившую или о власти, или о дневном пропитании! Землетрясения довершили начатое людьми: они опрокинули все памятники древних времен, засыпали пеплом; время заволокло их травою. От древних воспоминаний остался лишь один четвероугольный камень, на котором некогда возвышалась статуя Бентама. Жители удалились в леса, где ловля зверей представляла им

возможность снискивать себе пропитание. Разлученные друг от друга, семейства дичали; с каждым поколением терялась часть воспоминаний о прошедшем. Наконец, горе! я видел последних потомков нашей славной колонии, как они в суеверном страхе преклоняли колени пред пьедесталом статуи Бентама, принимая его за древнее божество, и приносили ему в жертву пленников, захваченных в битве с другими, столь же дикими племенами. Когда я, указывая им на развалины их отчизны, спрашивал: какой народ оставил по себе эти воспоминания? — они смотрели на меня с удивлением и не понимали моего вопроса. Наконец погибли и последние остатки нашей колонии, удрученные голодом, болезнями или истребленные хищными зверями. От всей отчизны остался этот безжизненный камень, и один я над ним плачу и проклинаю. Вы, жители других стран, вы, поклонники злата и плоти, поведайте свету повесть о моей несчастной отчизне... а теперь удалитесь и не мешайте моим рыданиям».

Незнакомец с ожесточением схватился за четвероугольный камень и, казалось, всеми силами старался повергнуть его на землю...

Мы удалились.

Приехав на другую станцию, мы старались от трактирщика собрать какие-либо сведения о говорившем с нами отшельнике.

— О! — отвечал нам трактирщик.— Мы знаем его. Несколько времени тому назад он объявил желание сказать проповедь на одном из наших митингов (meetings). Мы все обрадовались, особливо наши жены, и собрались послушать проповедника, думая, что он человек порядочный; а он с первых слов начал нас бранить, доказывать, что мы самый безнравственный народ в целом свете, что банкрутство есть вещь самая бессовестная, что человек не должен думать беспрестанно об увеличении своего богатства, что мы непременно должны погибнуть... и прочие, тому подобные, предосудительные вещи. Наше самолюбие не могло стерпеть такой обиды национальному характеру — и мы выгнали оратора за двери. Это его, кажется, тронуло за живое; он помешался, скитается из стороны в сторону, останавливает проходящих и каждому читает отрывки из сочиненной им для нас проповеди.

— Ну, что? как вам нравится эта история? — спросил Фауст, окончив чтение.

— Я не понимаю, что эти господа хотели доказать своей историей,— сказал Вячеслав.

— Доказать? решительно ничего! Вы знаете, при химических опытах наблюдатели имеют обыкновение вести журнал всего, что ни заметят они при производстве опыта; не имея еще в виду ничего доказывать, они записывают каждый факт, истинный или обманчивый...

— Да какой тут факт! — вскричал Виктор. — Такого факта никогда не бывало...

Фауст. Для моих духоиспытателей фактом было — символическое прозрение в происшествии такой эпохи, которая по естественному ходу вещей должна бы непременно образоваться, если б благое провидение не лишило людей способности *вполне* приводить в исполнение свои мысли и если бы для счастия самого человечества каждая мысль не была останавливаема в своем развитии другою — ложною или истинною, все равно, — но которая, как поплавок, мешает крючку (при помощи которого кто-то забавляется над нами) погрузиться на дно и поднять всю тину. Впрочем, несмотря на все препятствия, которые человечество находит для полного развития мысли одного кого-либо из своих членов, нельзя однако же не сознаться, что банкирский феодализм на Западе не попал прямо на дорогу бентамитов; а на другом полушарии есть страна, которая, кажется, пошла и дальше по этой дороге; там уже дуэли не на языке, не на шпагах, а просто — *на зубах* сделались вещию обыкновенною.

Вячеслав. Все это очень хорошо, но я не вижу цели всего этого. Что хотят доказать или, пожалуй, что заметили эти господа? Что единственно материальная польза не может быть целию общества, ни служить основанием для его законов, — я бы желал знать: как бы они обошлись без этой пользы; по их системе не нужно заботиться ни о дровах, ни о скоте, ни о платье...

Фауст. Кто говорит об этом? все то благо, все добро! но вопрос не в том, и напрасно экономы-материалисты хотят затемнить его. — Объяснюсь примером не совсем благоуханным; но для вас, утилитариев, ведь это все равно; всякий предмет, по-вашему, имеет право существовать, потому что существует. Те люди, которые вывозят всякий сор и нечистоту из города, приносят ему важную пользу: они спасают город от неприятного запаха, от заразительных болезней, — без их пособия город не мог бы существовать; вот, без сомнения, люди в высшей степени полезные, — не так ли?

Виктор. Согласен.

Фауст. Что, если бы эти люди, гордые своими смрадными подвигами, потребовали первого места в обще-

стве и сочли бы себя в праве назначить ему цель и управлять его действиями?

Виктор. Этого никогда не может случиться.

Фауст. Неправда,— оно в очью совершается, только в другой сфере: господа экономисты-утилитарии, возясь единственно над вещественными рычагами, также роются лишь в том соре, который застилает для них настоящую цель и природу человечества, и ради своих смрадных подвигов, вместе с банкирами, откупщиками, ажиотерами, торговцами и проч., почитают себя в праве занимать первое место в человеческом роде, предписывать ему законы и указывать цель его.— В их руках и земля, и море, и золото, и корабли со всех сторон света; кажется, они все могут доставить человеку,— а человек недоволен, существование его неполно, потребности его не удовлетворены, и он ищет чего-то, что не вносится в бухгалтерскую книгу.

Виктор. Так уже не поэтам ли поручить это дело?

Фауст. Поэты со времени Платона выгнаны из города; они любуются венками, которыми их увенчали; сидя на пригорке и смотря на город, они не могут надивиться, отчего все движется в городе с восхождением солнца и все замирает, когда оно зашло; да иногда перечитывают речи умного Борка о благоденствии Индии под управлением торговой компаний, которая, как говорил знаменитый оратор, «чеканила деньги из человеческого мяса»[1].

Виктор. Так выдумайте же, господа, новые законы для политической экономии, и посмотрим их на деле.

Фауст. Выдумать! выдумать законы! не знаю, господа, отчего вам такое дело кажется возможным; мне же кажется совершенно непонятным, чтобы нашлось такое существо, которое кто-нибудь отправил бы в мир на житье с поручением изобресть для того мира и для самого себя законы; ибо из сего должно было бы заключить, что у того мира нет никаких законов для существования, т. е. что он существует не существуя; я думаю, что во всяком мире законы должны быть совсем готовые — стоит отыскать их. Впрочем, это дело не мое; я, как ученый, о котором упоминал Ростислав, замечаю только, что говорят другие, а сам ничего не говорю; однако ж мне сдается, что наибольшую роль играет во всей вселенной именно то, что менее осязаемо или что менее полезно.

[1] См. речи Борка в начале 1788 года. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

Прочтите у Каруса[1] любопытные доказательства того, что все твердые части, как-то: мускулы, кости суть произведения жидких частей, другими словами, остатки уже совершившегося организма. Даже, кажется, можно заметить эту постепенность в природе. Чем ниже мы спускаемся по степеням ее, тем, несмотря на наружную плотность, менее находим связи, крепости и силы; раздробите камень, он останется раздробленным; срежьте дерево — оно зарастет; рана животного — исцелима; чем выше вы поднимаетесь в сферу предметов, тем более находите силы; вода слабее камня, пар, кажется, слабее воды, газ слабее пара, а между тем сила этих деятелей увеличивается по мере их видимой слабости. Поднимаясь еще выше, мы находим электричество, магнетизм — неосязаемые, неисчислимые, не производящие никакой непосредственной пользы,— а между тем они-то и движут и держат в гармонии всю физическую природу. Мне кажется, это порядочная указка для экономистов. Но уже поздно, господа, или, как говорит Шекспир, *уже становится рано*; завтра я покажу вам заметки наших искателей о тех странных символах в этом мире, которые называются поэтами, художниками и прочее.

— Еще одно слово,— сказал Виктор,— вы, господа идеологи, летая по поднебесью, любите помыкать нами, бедными смертными, которые, как ты говоришь, роются в соре: нельзя ли не так решительно? — уж пускай Мальтус — бог с ним; но Адам Смит, великий Адам Смит, отец всей политической экономии нашего времени, образовавший школу, прославленную именами Сэя, Рикардо, Сисмонди! не слишком ли резко обвинить его в явной нелепости, а с ним и целые два поколения. Неужели на род человеческий нашло такое ослепление, что в продолжение полустолетия никто не заметил этой нелепости?

Фауст. Никто? Нет, я следую совету Гете:[2] я хвалю без зазрения совести; но когда я принужден порицать кого-нибудь, то всегда стараюсь поддержать свое мнение

---

[1] См. Carus «Grundzüge d(er) vergl(eichenden) Anatomie» (Карус, «Основания сравнительной анатомии» *(нем.)*.) Эта знаменитая книга, совершившая перелом в понятиях об организме, известна всякому естествоиспытателю; мы рекомендуем ее, а равно и другую того же сочинителя: «System der Physiologie», Dresden, 1839 — поэтам и художникам, тем более что в этих книгах глубокая положительная ученость соединяется с тем поэтическим элементом, благодаря которому Карус умел соединить в себе качества физиолога первой величины, опытного врача, оригинального живописца и литератора. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

[2] «Wilhelm Meisters' Wanderjahre» («Годы странствий Вильгельма Мейстера» *(нем.)*). *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

каким-либо важным авторитетом. В начале нашего века жил человек по имени Мельхиор Жиойа, о котором английские и французские экономисты упоминают в истории науки, для очистки совести, хотя, верно, никто из них не имел терпения прочесть около дюжины томов in 4°, написанных смиренным Мельхиором,— этот чудный подвиг глубокомыслия и учености. В 1816 году он приложил к своей книге[1] таблицу, которую, не без иронии, назвал: «Настоящее состояние науки»; в этой таблице он свел разные так называемые аксиомы политической экономии Адама Смита и его последователей; из таблицы явствует, что эти господа просто самих себя не понимали, несмотря на обманчивую ясность, за которою они гонялись. Так, например, Адам Смит, великий Адам Смит доказывает, что труд есть первоначальный и не первоначальный источник народного богатства;[2]

что усовершенствование промышленности зависит вполне и не зависит от разделения работ;[3]

что разделение работ есть и не есть главнейшая причина народного богатства;[4]

что разделением работ возбуждается и не возбуждается дух изобретательности;[5]

что сельская промышленность зависит и не зависит от других отраслей промышленности;[6]

что земледелием доставляется и не доставляется наибольшая выгода для капиталов;[7]

что умственный труд есть и не есть сила производящая, т. е. умножающая народное богатство;[8]

что частный интерес лучше и хуже видит общественную пользу, нежели какое-либо правительственное лицо;[9]

---

[1] См. «Nuovo prospetto delle scienze economiche», 6, v. in 4°, Milano, 1816, tomo V, parte sesta, p. 223. Stato della scienza ⟨«Новый взгляд на экономические науки», 6 тт., 4°, Милан, 1816, т. 5, ч. 6, с. 223. Состояние науки *(ит.)*⟩. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

[2] Adam Smith (фр. изд. 1802 года), t. I, p. 5 и t. IV, p. 507.

[3] Ibidem, t. III, p. 543 и t. I, p. 17—18; t. I, p. 11 и t. II, p. 215—216.

[4] Ibidem, t. I, p. 24—25 и t. I, p. 262—264; t. I, p. 29 и t. II, p. 370, 193, 326, 210; t. III, p. 323.

[5] Ibidem, t. I, p. 21—22; t. IV, p. 181—183.

[6] Ibidem, t. II, p. 409—410 и t. II, p. 408.

[7] Ibidem, t. II, p. 376—378, 407, 498 и t. I, p. 260—261; t. II, p. 401—402, 481, 483, 485, 486, 487, 413.

[8] Ibidem, t. II, p. 204—205; t. I, p. 213—214, 23, 262—265 и t. II, 312—313.

[9] Ibidem, t. V. p. 524; t. III, p. 60, 223; t. II, p. 344 и t. II, p. 161, 423—424; t. III, p. 492; t. II, p. 248, 289; t. I, p. 219—227.

что частные выгоды купцов тесно связаны и вовсе не связаны с выгодами других членов общества[1].

Кажется, довольно? я брал из таблицы наудачу; а дело идет о важнейших аксиомах науки. Успех Адама Смита весьма понятен; главная цель его была доказать, что никто не должен вмешиваться в купеческие дела, а что должно их предоставить так называемому *естественному ходу* и благородному соревнованию. Можно себе представить восхищение английских торговцев, когда они узнали, что с профессорской кафедры им предоставляется право барышничать, откупать, по произволу возвышать и понижать цены и хитрой уловкой, без дальнего труда, выигрывать сто на один,— что во всем этом «они не только правы, чуть не святы»...[2]

С того времени вошли в моду звонкие слова «обширность торговли», «важность торговли», «свобода торговли». При помощи последней клички теория Адама Смита пробралась во Францию и единственно по созвучию слов самый смысл их (если он есть) сделался там аксиомой: Адам Смит признан и глубоким философом, и благодетелем рода человеческого; за сим немногие читали его, и никто не понял, что он хотел сказать; но, несмотря на то, из темного запутанного лабиринта его мыслей вытекли многие поверья, ни на чем не основанные, ни к чему не годные, но которые льстили самым низким страстям человека и потому распространились в толпе с неимоверною быстротою. Так, благодаря Адаму Смиту и его последователям, ныне *основательностию, делом*— называется лишь то, что может способствовать купеческим оборотам; человеком основательным, дельным называется лишь тот, кто умеет увеличивать свои барыши, а под непонятным выражением *естественное течение дел*,— которого отнюдь не должно нарушать,— разумеются банкирские операции, денежный феодализм, ажиотерство, биржевая игра и прочие тому подобные вещи.

— Следственно,— заметил Виктор,— политическая экономия, по-твоему, не существует?..

— Нет!— отвечал Фауст.— Она существует, она первая из наук, в ней, может быть, все науки некогда должны найти свою осязаемую опору, но только — скажу тебе словами Гоголя: она существует — *с другой стороны*.

---

[1] Adam Smith (фр. изд. 1802 года), t. II, p. 161; t. III, p. 239, 208—209, 435, 54—55, 59 и t. III, p. 295, 145, 239; t. II, p. 164, 165; t. III, p. 465. (*Примеч. В. Ф. Одоевского.*)

[2] Крылов. (*Примеч. В. Ф. Одоевского.*)

— Скажите мне,— сказал Ростислав, входя к Фаусту в обыкновенное время их бесед,— отчего и ты, и мы все любим полуношничать? отчего ночью внимание постояннее, мысли живее, душа разговорчивее?..

— На этот вопрос легко отвечать,— сказал Вячеслав,— общая тишина невольно располагает человека к размышлению...

Ростислав. Общая тишина? у нас? да настоящее движение в городе начинается лишь в десять часов вечера. И какое тут размышление? — Просто людей что-то тянет быть вместе; оттого все сборища, беседы, балы бывают ночью; как бы невольно человек отлагает до ночи свое соединение с другими; отчего так?

Виктор. Мне кажется, это объясняется одним из физиологических явлений: известно, что около полуночи в организме происходит род лихорадки,— а в этом состоянии все нервы возбуждены, и то, что мы принимаем за живость ума, за разговорчивость, есть не иное что, как следствие болезненного состояния, некоторого рода горячки...

Ростислав. Но ты не отвечаешь на мой вопрос: отчего это болезненное состояние, как ты говоришь, заставляет людей соединяться между собою?

Фауст. Если б я был из ученых, я бы тебе сказал с Шеллингом, что с незапамятной древности ночь почиталась старейшим из существ и что недаром наши предки славяне считали время ночами;[1] если б я был мистиком, я объяснил бы тебе это явление весьма просто. Видишь ли: ночь есть царство враждебной человеку силы; люди чувствуют это и, чтоб спастись от врага, соединяются, ищут друг в друге пособия: оттого ночью люди пугливее, оттого рассказы о привидениях, о злых духах ночью производят впечатление сильнее, нежели днем...

— И оттого люди,— прибавил смеясь Вячеслав,— по вечерам весьма прилежно стараются убить враждебную силу картами; а карселева лампа разгоняет домовых...

— Ты не остановишь мистиков этой насмешкой,— возразил Фауст,— они будут отвечать тебе, что у враждебной силы две глубокие и хитрые мысли: первая — она старается всеми силами уверить человека, что она не существует, и потому внушает человеку все возможные

---

[1] См. небольшое, но изумительное по глубине и учености сочинение Шеллинга: «Ueber Gottheiten von Samothrace», p. 12. Stuttgart, 1815 («О самофракийских божествах», с. 12. Штуттгарт, 1815 *(нем.)*). *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

средства забыть о ней; а вторая — сравнить людей между собою как можно ближе, так сплотить их, чтобы не могла выставиться ни одна голова, ни одно сердце; карты есть одно из тех средств, которые враждебная сила употребляет для достижения своей двойной цели; ибо, во-первых, за картами нельзя ни о чем другом думать, кроме карт, и во-вторых, главное, за картами все равны: и начальник, и подчиненный, и красавец, и урод, и ученый, и невежда, и гений, и нуль, и умный человек, и глупец; нет никакого различия: последний глупец может обыграть первого философа в мире, и маленький чиновник большого вельможу. Представь себе наслаждение какого-нибудь нуля, когда он может обыграть Ньютона или сказать Лейбницу: «Да вы, сударь, не умеете играть; вы, г. Лейбниц, не умеете карт в руки взять». Это якобинизм в полной красоте своей. А между тем, и то выгодно для враждебной силы, что за картами, под видом невинного препровождения времени, поддерживаются потихоньку почти все порочные чувства человека: зависть, злоба, корыстолюбие, мщение, коварство, обман, — все в маленьком виде, но не менее того все-таки душа знакомится с ними, а это для враждебной силы очень, очень выгодно...

— Однако ж нельзя ли избавить от мистицизма? — вскричал, наконец, Вячеслав, выведенный из терпения...

— С охотою, — отвечал Фауст.

— А все-таки мой вопрос остался неразрешенным, — заметил Ростислав...

Фауст. Ты знаешь мое неизменное убеждение, что человек если и может решить какой-либо вопрос, то никогда не может верно перевести его на обыкновенный язык. В этих случаях я всегда ищу какого-либо предмета во внешней природе, который бы по своей аналогии мог служить хотя приблизительным выражением мысли. Ты замечал ли, что задолго до заката солнечного, особливо на нашем северном небе, на конце горизонта, за дальними облаками, появляется багровая полоса, не похожая на вечернюю зарю, ибо в это время солнце еще светит во всем своем блеске: это часть утренней зари для жителей другого полушария. Стало быть, каждую минуту есть рассвет на земном шаре, чтоб каждую минуту часть его обитателей, как очередный часовой, восставала на стражу. Недаром так устроило провидение; может быть, это явление говорит нам внятно, что ни на одну минуту природа не должна воспользоваться сном человека, ибо действительно во время ночи все вредные влияния приро-

ды на организм человека усиливаются: растения не очищают воздуха, но портят его; роса получает вредное свойство; опытный медик преимущественно ночью наблюдает больного, ибо ночью всякая болезнь ожесточается. Может быть, нам надобно следовать примеру медика и наблюдать за нашей больною душою, как наблюдает он за больным телом, именно в ту минуту, когда организм наиболее подвержен вредным влияниям... Солнце благосклоннее к человеку: оно символ какого-то предпочтения в его пользу; оно прогоняет вредные туманы; оно заставляет грубое растение обрабатывать для человека жизненную часть воздуха;[1] оно бодрит сердце, и оттого, может быть, так сладок сон человека при восхождении солнца; он чует символ своего союзника и безмятежно засыпает под его теплым и светлым покровом...

Виктор. О, мечтатель! факты для тебя ничто. Разве от солнечного зноя не страждет человек подобно всем растениям?..

Фауст. Уверяю тебя, что мои факты вернее твоих, потому, может быть, что они менее осязаемы. Да! зной солнечный несносен для человека! Но в этом факте есть другой, а именно: солнце не действует на нас непосредственно, а чрез грубую атмосферу земли; воздухоплаватели, поднимаясь в верхние слои воздуха, не чувствовали солнечного зноя... это для меня важная указка: чем выше мы от земли, тем слабее на нас действует ее природа...

Виктор. Совершенная правда, и вот тому доказательство: за некоторым пределом атмосферы у воздухоплавателей шла кровь из ушей, дышать было им тяжело, и они дрогли от холода.

Ростислав. Для меня этот факт, кажется, выговаривает настоящую и трудную задачу человека: подниматься от земли, не оставляя ее...

Вячеслав. То есть, другими словами, надобно искать возможного — и не гоняться попусту за невозможным...

Фауст не отвечал ничего, но переменил разговор.

— Мы до света не переспорим друг друга, — сказал он, — а я ни за что, хотя вы и друзья мои, не уступлю вам моего сладкого утреннего сна; не приняться ли за рукопись? Надобно же дочитать ее.

Фауст начал: — По порядку номеров за «Экономистом» следует:

---

[1] Известно, что зеленые части растения выдыхают кислород, но не иначе, как при солнечном свете. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

ПОСЛЕДНИЙ КВАРТЕТ БЕТХОВЕНА

> Я был уверен, что Креспель помешался. Профессор утверждал противное. «С некоторых людей,— сказал он,— природа или особенные обстоятельства сорвали завесу, за которою мы потихоньку занимаемся разными сумасбродствами. Они похожи на тех насекомых, с коих анатомист снимает перепонку и тем обнажает движение их мускулов. Что в нас только мысль, то в Креспеле действие».
>
> *Гофман.*

1827 года, весною, в одном из домов венского предместия несколько любителей музыки разыгрывали новый квартет Бетховена, только что вышедший из печати. С изумлением и досадою следовали они за безобразными порывами ослабевшего гения: так изменилось перо его! Исчезла прелесть оригинальной мелодии, полной поэтических замыслов: художническая отделка превратилась в кропотливый педантизм бездарного контрапунктиста; огонь, который прежде пылал в его быстрых аллегро и, постепенно усиливаясь, кипучею лавою разливался в полных, огромных созвучиях,— погас среди непонятных диссонансов, а оригинальные, шутливые темы веселых менуэтов превратились в скачки и трели, невозможные ни на каком инструменте. Везде ученическое, недостигающее стремление к эффектам, не существующим в музыке; везде какое-то темное, не понимающее себя чувство. И это был все тот же Бетховен, тот же, которого имя, вместе с именами Гайдна и Моцарта, тевтонец произносит с восторгом и гордостию!— Часто, приведенные в отчаяние бессмыслицею сочинения, музыканты бросали смычки и готовы были спросить: не насмешка ли это над творениями бессмертного? Одни приписывали упадок его глухоте, поразившей Бетховена в последние годы его жизни; другие — сумасшествию, также иногда омрачавшему его творческое дарование; у кого вырывалось суетное сожаление; а иной насмешник вспоминал, как Бетховен в концерте, где разыгрывали его последнюю симфонию, совсем не в такт размахивал руками, думая управлять оркестром и не замечая того, что позади его стоял настоящий капельмейстер; но они скоро снова принимались за смычки и из почтения к прежней славе знаменитого симфониста как бы против воли продолжали играть его непонятное произведение.

Вдруг дверь отворилась и вошел человек в черном сюртуке, без галстука, с растрепанными волосами; глаза

его горели,— но то был огонь не дарования; лишь нависшие, резко обрезанные оконечности лба являли необыкновенное развитие музыкального органа, которым так восхищался Галль, рассматривая голову Моцарта. «Извините, господа,— сказал нежданный гость,— позвольте посмотреть вашу квартиру — она отдается внаймы...» Потом он заложил руки на спину и приблизился к играющим. Присутствующие с почтением уступили ему место; он наклонил голову то на ту, то на другую сторону, стараясь вслушаться в музыку; но тщетно: слезы градом покатились из глаз его. Тихо отошел он от играющих и сел в отдаленный угол комнаты, закрыв лицо свое руками; но едва смычок первого скрипача завизжал возле подставки на случайной ноте, прибавленной к *септим-аккорду,* и дикое созвучие отдалось в удвоенных нотах других инструментов, как несчастный встрепенулся, закричал: «я слышу! слышу!» — в буйной радости захлопал в ладоши и затопал ногами.

— Лудвиг! — сказала ему молодая девушка, вслед за ним вошедшая.— Лудвиг! пора домой. Мы здесь мешаем!

Он взглянул на девушку, понял ее и, не говоря ни слова, побрел за нею, как ребенок.

На конце города, в четвертом этаже старого каменного дома, есть маленькая душная комната, разделенная перегородкою. Постель с разодранным одеялом, несколько пуков нотной бумаги, остаток фортепьяно — вот все ее украшение. Это было жилище, это был мир бессмертного Бетховена. Во всю дорогу он не говорил ни слова; но когда они пришли, Лудвиг сел на кровать, взял за руку девушку и сказал ей: «Добрая Луиза! ты одна меня понимаешь; ты одна меня не боишься; тебе одной я не мешаю... Ты думаешь, что все эти господа, которые разыгрывают мою музыку, понимают меня: ничего не бывало! Ни один из здешних господ капельмейстеров не умеет даже управлять ею; им только бы оркестр играл в меру, а до музыки им какое дело! Они думают, что я ослабеваю; я даже заметил, что некоторые из них как будто улыбались, разыгрывая мой квартет,— вот верный признак, что они меня никогда не понимали; напротив, я теперь только стал истинным, великим музыкантом. Идучи, я придумал симфонию, которая увековечит мое имя; напишу ее и сожгу все прежние. В ней я превращу все законы гармонии, найду эффекты, которых до сих пор никто еще не подозревал; я построю ее на хроматической мелодии двадцати литавр; я введу в нее аккорды сотни колоколов, настроенных по различным камертонам, ибо,— прибавил он шепотом,— я скажу тебе по секрету:

когда ты меня водила на колокольню, я открыл, чего прежде никому в голову не приходило,—я открыл, что колокола—самый гармонический инструмент, который с успехом может быть употреблен в тихом *адажио.* В финал я введу барабанный бой и ружейные выстрелы,—и я услышу эту симфонию, Луиза!—воскликнул он вне себя от восхищения.—Надеюсь, что услышу,—прибавил он, улыбаясь, по некотором размышлении.—Помнишь ли ты, когда в Вене, в присутствии всех венчанных глав света, я управлял оркестром моей ватерлооской баталии? Тысячи музыкантов, покорные моему взмаху, двенадцать капельмейстеров, а кругом батальный огонь, пушечные выстрелы... О! это до сих пор лучшее мое произведение, несмотря на этого педанта Вебера.[1]—Но то, что я теперь произведу, затмит и это произведение.—Я не могу удержаться, чтоб не дать тебе о нем понятия».

С сими словами Бетховен подошел к фортепьяно, на котором не было ни одной целой струны, и с важным видом ударил по пустым клавишам. Однообразно стучали они по сухому дереву разбитого инструмента, а между тем самые трудные фуги в 5 и 6 голосов проходили через все таинства контрапункта, сами собою ложились под пальцы творца «Эгмонта», и он старался придать как можно более выражения своей музыке... Вдруг сильно, целою рукою покрыл он клавиши и остановился.

— Слышишь ли?—сказал он Луизе.—Вот аккорд, которого до сих пор никто еще не осмеливался употребить.—Так! я соединю все тоны хроматической гаммы в одно созвучие и докажу педантам, что этот аккорд правилен.—Но я его не слышу, Луиза, я его не слышу! Понимаешь ли ты, что значит не слыхать своей музыки?.. Однако ж мне кажется, что когда я соберу дикие звуки в одно созвучие,—то оно как будто отдается в моем ухе. И чем мне грустнее, Луиза, тем больше нот мне хочется прибавить к *септим-аккорду,* которого истинных свойств никто не понимал до меня... Но полно! может быть, я наскучил тебе, как всем теперь наскучил.—Только знаешь что? за такую чудную выдумку мне можно наградить себя сегодня рюмкой вина. Как ты думаешь об этом, Луиза?

Слезы навернулись на глазах бедной девушки, которая одна из всех учениц Бетховена не оставляла его и под

[1] Готфрид Вебер,—известный контрапунктист нашего времени, которого не должно смешивать с сочинителем «Фрейшица»,—сильно и справедливо критиковал в своем любопытном и ученом журнале «Цецилия»—«Wellingtons Sieg» ‹«Победа Веллингтона» *(нем.)*›, слабейшее из произведений Бетховена. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

видом уроков содержала его трудами рук своих: она дополняла ими скудный доход, полученный Бетховеном от его сочинений и большею частию издержанный без толку на беспрестанную перемену квартир, на раздачу встречному и поперечному. Вина не было! едва оставалось несколько грошей на покупку хлеба... Но она скоро отвернулась от Лудвига, чтоб скрыть свое смущение, налила в стакан воды и поднесла его Бетховену.

— Славный рейнвейн!—говорил он, отпивая понемногу с видом знатока.—Королевский рейнвейн! он точно из погреба моего батюшки, блаженной памяти Фридерика. Я это вино очень помню! оно день ото дня становится лучше—это признак хорошего вина!—И с этими словами охриплым, но верным голосом он запел свою музыку на известную песню гётева Мефистофеля:

Es war einmal ein König,
Der hatt einen grossen Floh[1],—

но, против воли, часто сводил ее на таинственную мелодию, которою Бетховен объяснил Миньону[2].

— Слушай, Луиза,—сказал он, наконец, отдавая ей стакан,—вино подкрепило меня, и я намерен тебе сообщить нечто такое, что мне уже давно хотелось и не хотелось тебе сказать. Знаешь ли, мне кажется, что я уж долго не проживу,—да и что за жизнь моя?—это цепь бесконечных терзаний. От самых юных лет я увидел бездну, разделяющую мысль от выражения. Увы, никогда я не мог выразить души своей; никогда того, что представляло мне воображение, я не мог передать бумаге; напишу ли?—играют?—не то!.. не только не то, что я чувствовал, даже не то, что я написал. Там пропала мелодия оттого, что низкий ремесленник не придумал поставить лишнего клапана; там несносный фаготист заставляет меня переделывать целую симфонию оттого, что его фагот не выделывает пары басовых нот; то скрипач убавляет необходимый звук в аккорде оттого, что ему трудно брать двойные ноты.—А голоса, а пение, а репетиции ораторий, опер?.. О! этот ад до сих пор в моем слухе!—Но я тогда еще был счастлив: иногда, я замечал, на бессмысленных исполнителей находило какое-то вдохновение; я слышал в их звуках что-то похожее на темную

---

1 Жил-был король когда-то,
Имел блоху-дружка
(нем.; перевод Н. Холодковского). (Примеч. В. Ф. Одоевского.)

2 Kennst du das Land etc. Ты знаешь край и проч. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

мысль, западавшую в мое воображение: тогда я был вне себя, я исчезал в гармонии, мною созданной. Но пришло время, мало-помалу тонкое ухо мое стало грубеть: еще в нем оставалось столько чувствительности, что оно могло слышать ошибки музыкантов, но оно закрылось для красоты; мрачное облако его объяло — и я не слышу более своих произведений,— не слышу, Луиза!.. В моем воображении носятся целые ряды гармонических созвучий; оригинальные мелодии пересекают одна другую, сливаясь в таинственном единстве; хочу выразить — все исчезло: упорное вещество не выдает мне ни единого звука,— грубые чувства уничтожают всю деятельность души. О! что может быть ужаснее этого раздора души с чувством, души с душою! Зарождать в голове своей творческое произведение и ежечасно умирать в муках рождения!.. Смерть души! — как страшна, как жива эта смерть!

— А еще этот бессмысленный Готфрид вводит меня в пустые музыкальные тяжбы, заставляет меня объяснять, почему я в том или другом месте употребил такое и такое соединение мелодий, такое и такое сочетание инструментов, когда я самому себе этого объяснить не могу! Эти люди будто знают, что такое душа музыканта, что такое душа человека? Они думают, ее можно обкроить по выдумкам ремесленников, работающих инструменты, по правилам, которые на досуге изобретает засушенный мозг теоретика... Нет, когда на меня приходит минута восторга, тогда я уверяюсь, что такое превратное состояние искусства продлиться не может; что новыми, свежими формами заменятся обветшалые; что все нынешние инструменты будут оставлены и место их заступят другие, которые в совершенстве будут исполнять произведения гениев; что исчезнет, наконец, нелепое различие между музыкою писанною и слышимою. Я говорил гг. профессорам об этом; но они меня не поняли, как не поняли силы, соприсутствующей художническому восторгу, как не поняли того, что тогда я предупреждаю время и действую по внутренним законам природы, еще не замеченным простолюдинами и мне самому в другую минуту непонятным... Глупцы! в их холодном восторге, они, в свободное от занятий время, выберут тему, обделают ее, продолжат и не преминут потом повторить ее в другом тоне; здесь по заказу прибавят духовые инструменты или странный аккорд, над которым думают, думают, и все это так благоразумно обточат, оближут; чего хотят они? я не могу так работать... Сравнивают меня с Микель-Анджелом — но как работал творец «Моисея»? в гневе, в ярости, он сильными ударами молота ударял по недвижно-

му мрамору и поневоле заставлял его выдавать живую мысль, скрывавшуюся под каменною оболочкою. Так и я! Я холодного восторга не понимаю! Я понимаю тот восторг, когда целый мир для меня превращается в гармонию, всякое чувство, всякая мысль звучит во мне, все силы природы делаются моими орудиями, кровь моя кипит в жилах, дрожь проходит по телу и волосы на голове шевелятся... И все это тщетно! Да и к чему это все? Зачем? живешь, терзаешься, думаешь; написал — и конец! к бумаге приковались сладкие муки создания — не воротить их! унижены, в темницу заперты мысли гордого духа-создателя; высокое усилие творца земного, вызывающего на спор силу природы, становится делом рук человеческих! — А люди? люди! они придут, слушают, судят — как будто они судьи, как будто для них создаешь! Какое им дело, что мысль, принявшая на себя понятный им образ, есть звено в бесконечной цепи мыслей и страданий; что минута, когда художник нисходит до степени человека, есть отрывок из долгой болезненной жизни неизмеримого чувства; что каждое его выражение, каждая черта — родилась от горьких слез Серафима, заклепанного в человеческую одежду и часто отдающего половину жизни, чтоб только минуту подышать свежим воздухом вдохновения? А между тем приходит время — вот, как теперь — чувствуешь: перегорела душа, силы слабеют, голова больна; все, что ни думаешь, все смешивается одно с другим, все покрыто какою-то завесою... Ах! я бы хотел, Луиза, передать тебе последние мысли и чувства, которые хранятся в сокровищнице души моей, чтобы они не пропали... Но что я слышу?..

С этими словами Бетховен вскочил и сильным ударом руки растворил окно, в которое из ближнего дома неслись гармонические звуки. — Я слышу! — воскликнул Бетховен, бросившись на колени, и с умилением протянул руки к раскрытому окну. — Это симфония Эгмонта, — так, я узнаю ее: вот дикие крики битвы; вот буря страстей; она разгорается, кипит; вот ее полное развитие — и все утихло, остается лишь лампада, которая гаснет, — потухает — но не навеки... Снова раздались трубные звуки: целый мир ими наполняется, и никто заглушить их не может...

На блистательном бале одного из венских министров толпы людей сходились и расходились.

— Как жаль! — сказал кто-то, — театральный капельмейстер Бетховен умер, и, говорят, не на что похоронить его.

Но этот голос потерялся в толпе: все прислушивались к словам двух дипломатов, которые толковали о каком-то споре, случившемся между кем-то во дворце какого-то немецкого князя.

— Я желал бы знать,—сказал Виктор,—до какой степени справедлив этот анекдот.

— На это я тебе не могу дать удовлетворительного ответа,—сказал Фауст,—и едва ли могли бы отвечать на твой вопрос и хозяева рукописи, ибо мне сдается, что они не были знакомы с методою тех историков, которые читают только то, что написано в летописи, а никак не хотят прочесть того, что в ней не написано. Кажется, они рассуждали так: если этот анекдот был в самом деле, тем лучше; если он кем-либо выдуман, это значит, что он происходил в душе его сочинителя; следственно, это происшествие все-таки *было*, хотя и не *случилось*. Такое суждение может показаться странным, но в этом случае мои друзья, кажется, следовали примеру математиков, которые в высших исчислениях не заботятся о том, соединялись ли когда-нибудь в природе 2 и 3, 4 и 10, а смело под буквами $a+b$ понимают все возможные соединения чисел. Впрочем, беспрестанная перемена квартир, глухота, род помешательства, всегдашнее недовольство,— кажется, все это принадлежит к так называемым историческим фактам в жизни Бетховена; только добросовестные сочинители биографических статей не взялись, за недостатком документов, объяснить связь между его глухотою и помешательством, между помешательством и недовольством, между недовольством и музыкою.

Вячеслав. Что нужды! Факт ложный или истинный,—для меня он выговаривает, как сказал Ростислав, мое всегдашнее убеждение, о котором я упоминал в начале вечера, а именно: что надобно человеку ограничиваться возможным; или, как сказал Вольтер в ответ на нравственные сентенции: celà est bien dit; mais il faut cultiver notre jardin[1].

Фауст. Это значит, что Вольтер не верил даже тому, чему ему хотелось верить...

Ростислав. Меня в этом анекдоте поразило одно: это—неизглаголанность наших страданий. Действительно, самые жестокие, самые ясные для нас терзания—те, которых человек передать не может. Кто умеет рассказать свои страдания, тот вполовину уже отделил их от себя.

---

[1] «Candide» (хорошо сказано; но нужно обрабатывать наш сад.— «Кандид» *(фр.)*).

Виктор. Вы, господа мечтатели, выдумали прекрасную уловку: чтоб отделаться от положительных вопросов, вы принялись уверять, что язык человеческий недостаточен для выражения наших мыслей и чувств. Мне кажется, что скорее недостаточны наши познания. Если бы человек предался чистому, простому наблюдению той грубой природы, которая у вас в таком загоне,— но, заметьте, наблюдению чистому, уничтожив в себе все свои собственные мысли и чувства, всякую внутреннюю операцию,— тогда он яснее понял бы и себя, и природу и нашел бы даже в обыкновенном языке достаточно для себя выражений.

Фауст. Я не знаю, нет ли в этом так называемом чистом наблюдении оптического обмана; не знаю, может ли человек совершенно отделить от себя все *свои собственные* мысли и чувства, все свои *воспоминания* так, чтоб ничто от его *я* не примешалось к его наблюдению,— одна мысль наблюдать без мысли уже есть целая теория *a priori*... Но мы отдалились от Бетховена. Ничья музыка не производит на меня такого впечатления; кажется, она касается до всех изгибов души, поднимает в ней все забытые, самые тайные страдания и дает им образ; веселые темы Бетховена — еще ужаснее: в них, кажется, кто-то хохочет — с отчаяния... Странное дело: всякая другая музыка, особенно гайднова, производит на меня чувство отрадное, успокаивающее; действие, производимое музыкою Бетховена, гораздо сильнее, но она вас раздражает: сквозь ее чудную гармонию слышится какой-то нестройный вопль; вы слушаете его симфонию, вы в восторге,— а между тем у вас душа изныла. Я уверен, что музыка Бетховена должна была его самого измучить.— Однажды, когда я не имел еще никакого понятия о жизни самого сочинителя, я сообщил странное впечатление, производимое на меня его музыкою, одному горячему почитателю Гайдна.— «Я вас понимаю,— отвечал мне гайднист,— причина такого впечатления та же, по которой Бетховен, несмотря на свой музыкальный гений (может быть, высшей степени, нежели гений Гайдна),— никогда не был в состоянии написать духовной музыки, которая приближалась бы к ораториям сего последнего».— «Отчего так?» — спросил я.— «Оттого,— отвечал гайднист,— что Бетховен не верил тому, чему верил Гайдн».

Виктор. Так! я этого ожидал! Да скажите, что вам за охота смешивать вещи, которые не имеют ничего между собою общего? Какое влияние убеждения человека могут иметь на музыку, на поэзию, на науку? Трудно говорить о таких предметах, но мне кажется очевидным,

что если что-либо постороннее может действовать на произведения эстетические, то разве степень знания; знанием, очевидно, может расшириться в художнике круг зрения; ему здесь должно быть просторнее; но как ему досталось это знание, каким путем, темным или светлым,—до этого поэзии нет никакого дела. Недавно кто-то имел счастливую мысль составить новую науку: физическую философию, или философическую физику, которой цель: *действовать на нравственность посредством знания*[1],—вот, по моему мнению, одна из самых дельных попыток нашего времени.

Фауст. Знаю, что это мнение теперь торжествует; но скажи мне, отчего никто не призовет к постели больного такого медика, который был бы известен за отъявленного атеиста?—Кажется, что общего между микстурою и убеждениями человека?—Я согласен с тобою в одном: в необходимости знания; так, например, вопреки общему мнению, я убежден, что поэту необходимы физические науки; ему полезно иногда нисходить до внешней природы, хоть для того, чтоб уверяться в превосходстве своей внутренней, а еще и для того, что, к стыду человека, буквы в книге природы не так изменчивы, не так смутны, как в языке человеческом: там буквы постоянные, *стереотипные;* много важного поэт может прочесть в них,—но для того прежде всего ему нужно позаботиться о добрых *очках*... Однако, друзья мои, уже близко восхождение солнца, *«время нам успокоиться, любезный Эвном»,* как говорит Парацельзий в одном забытом фолианте.

НОЧЬ СЕДЬМАЯ

ИМПРОВИЗАТОР

Es möchte kein Hund so länger leben!
D'rum hab' ich mich der Magie ergeben...

Göthe[2]

По зале раздавались громкие рукоплескания. Успех импровизатора превзошел ожидания слушателей и собственные его ожидания. Едва назначали ему предмет,—и

[1] В таком духе издавался журнал «L'éducateur» г. Рокуром.

[2] Так пес не стал бы жить!
Вот почему я магии решил предаться...
Гете (нем.; перевод Н. Холодковского). (Примеч. В. Ф. Одоевского.)

высокие мысли, трогательные чувства, в одежде полнозвучных метров, вырывались из уст его, как фантасмагорические видения из волшебного жертвенника. Художник не задумывался ни на минуту: в одно мгновение мысль и зарождалась в голове его, и проходила все периоды своего возрастания, и претворялась в выражения. Разом являлись и замысловатая форма пьесы, и поэтические образы, и щегольской эпитет, и послушная рифма. Этого мало: в одно и то же время ему задавали два и три предмета, совершенно различные; он диктовал одно стихотворение, писал другое, импровизировал третье, и каждое было прекрасно в своем роде: одно производило восторг, другое трогало до слез, третье морило со смеху; а между тем он, казалось, совсем не занимался своею работою, беспрестанно шутил и разговаривал с присутствующими. Все стихии поэтического создания были у него под руками, как будто шашки на шахматной доске, которые он небрежно передвигал, смотря по надобности.

Наконец утомилось и внимание и изумление слушателей, они страдали за импровизатора; но художник был спокоен и холоден,—в нем не заметно было ни малейшей усталости,—но на лице его видно было не высокое наслаждение поэта, довольного своим творением, а лишь простое самодовольство фокусника, проворством удивляющего толпу. С насмешкою смотрел он на слезы, на смех, им производимые; один из всех присутствующих не плакал, не смеялся; один не верил словам своим и с вдохновением обращался как холодный жрец, давно уже привыкший к таинствам храма.

Еще последний слушатель не вышел из залы, как импровизатор бросился к собиравшему деньги при входе и с жадностию Гарпагона принялся считать их. Сбор был весьма значителен. Импровизатор еще от роду не видал столько монеты и был вне себя от радости.

Восторг его был простителен. С самых юных лет жестокая бедность стала сжимать его в своих ледяных объятиях, как статуя спартанского тирана. Не песни, а болезненный стон матери убаюкивали младенческий сон его. В минуту рассвета его понятий не в радужной одежде жизнь явилась ему, но хладный остов нужды неподвижною улыбкой приветствовал его развивающуюся фантазию. Природа была к нему немного щедрее судьбы. Она, правда, наделила его творческим даром, но осудила в поте лица отыскивать выражения для поэтических замыслов. Книгопродавцы и журналисты давали ему некоторую плату за его стихотворения, плату, которая могла бы

доставить ему достаточное содержание, если б для каждого из них Киприяно не был принужден употреблять бесконечного времени. В те дни редко тусклая мысль, как едва приметная звездочка, зарождалась в его фантазии; но когда и зарождалась, то яснела медленно и долго терялась в тумане; уже после трудов неимоверных достигала она до какого-то неясного образа; здесь начиналась новая работа: выражение отлетало от поэта за мириады миров; он не находил слов, а если и находил, то они не клеились; метр не гнулся; привязчивое местоимение хваталось за каждое слово; долговязый глагол путался между именами, проклятая рифма пряталась между несозвучными словами. Каждый стих стоил бедному поэту нескольких изгрызенных перьев, нескольких вырванных волос и обломанных ногтей. Тщетны были его усилия! Часто хотел он бросить ремесло поэта и променять его на самое низкое из ремесл; но насмешливая природа, вместе с творческим даром, дала ему и все причуды поэта: и эту врожденную страсть к независимости, и это непреоборимое отвращение от всякого механического занятия, и эту привычку дожидаться минуты вдохновения, и эту беззаботную неспособность рассчитывать время. Прибавьте к тому всю раздражительность поэта, его природную наклонность к роскоши, к этому английскому приволью, к этому маленькому тиранству, которыми, наперекор обществу, природа любит отличать своего собственного аристократа! Он не мог ни переводить, ни работать на срок или по заказу; и между тем как его собратия собирали с публики хорошие деньги за какое-нибудь сочинение, случайно возбуждавшее ее любопытство,—он еще не мог решиться приняться за работу. Книгопродавцы перестали ему заказывать; ни один из журналистов не хотел брать его в сотрудники. Деньги, изредка получаемые несчастным за какое-нибудь стихотворение, стоившее ему полугодовой работы, обыкновенно расхватывали заимодавцы, и он снова нуждался в самом необходимом.

В том городе жил доктор по имени Сегелиель. Лет тридцать назад его многие знали за довольно сведущего человека; но тогда он был беден, имел столь малую практику, что решился оставить медицинское ремесло и пустился в торги. Долго он путешествовал, как говорят, по Индии, и наконец возвратился на родину со слитками золота и множеством драгоценных каменьев, построил огромный дом с обширным парком, завел многочисленную прислугу. С удивлением замечали, что ни лета, ни продолжительное путешествие по знойным климатам не произвели в нем никакой перемены; напротив, он казался

моложе, здоровее и свежее прежнего, также не менее удивительным казалось и то, что растения всех климатов уживались в его парке, несмотря на то, что за ними почти не было никакого присмотра. Впрочем, в Сегелиеле не было ничего необыкновенного: он был прекрасный, статный человек, хорошего тона, с черными модными бакенбардами; носил просторное, но щегольское платье; принимал к себе лучшее общество, но сам почти никогда не выходил из своего огромного парка; он давал молодым людям денег взаймы, не требуя отдачи; держал славного повара, чудесные вина, любил сидеть долго за обедом, ложиться рано и вставать поздно. Словом, он жил в самой аристократической, роскошной праздности. Между тем он не оставлял и своего врачебного искусства, хотя принимался за него нехотя, как человек, который не любил беспокоить себя; но когда принимался, то делал чудеса; какая бы ни была болезнь, смертельная ли рана, последнее ли судорожное движение,—доктор Сегелиель даже не пойдет взглянуть на больного: спросит об нем слова два у родных, как бы для проформы, вынет из ящика какой-то водицы, велит принять больному—и на другой день болезни как не бывало. Он не брал денег за лечение, и его бескорыстие, соединенное с чудным его искусством, могло бы привлечь к нему больных всего мира, если бы за излечение он не назначал престранных условий, как например: изъявить ему знаки почтения, доходившие до самого подлого унижения; сделать какой-нибудь отвратительный поступок; бросить значительную сумму денег в море; разломать свой дом, оставить свою родину и проч.; носился даже слух, что он иногда требовал такой платы, такой... о которой не сохранило известия целомудренное предание. Эти слухи расхоложали усердие родственников, и с некоторого времени уже никто не прибегал к нему с просьбою: к тому же замечали, что когда просившие не соглашались на предложение доктора, то больной умирал уже непременно; та же участь постигала всякого, кто или заводил тяжбу с доктором, или сказал про него что-нибудь дурное, или просто не понравился ему. От всего этого у доктора Сегелиеля набралось множество врагов: иные стали доискиваться об источнике его неимоверного богатства; медики и аптекари говорили, что он не имеет права лечить непозволенными способами; большая часть обвиняли его в величайшей безнравственности, а некоторые даже приписывали ему отравление умерших людей. Общий голос принудил, наконец, полицию потребовать доктора Сегелиеля к допросу. В доме его сделан был строжайший обыск. Слуги забраны. Доктор Сегелиель

согласился на все без всякого сопротивления и позволил полицейским делать все, что им было угодно, ни во что не мешался, едва удостоивал их взглядом и только что изредка с презрением улыбался.

В самом деле, в его доме не нашли ничего, кроме золотой посуды, богатых курильниц, покойных мебелей, кресел с подушками и рессорами, раздвижных столов с разными затеями, нескольких окруженных ароматами кроватей, утвержденных на деках музыкальных инструментов,—вроде кроватей доктора Грема, за позволение провести ночь на которых он некогда брал сотни стерлингов с английских сластолюбцев; словом, в доме Сегелиеля нашли лишь выдумки богатого человека, любящего чувственные наслаждения, лишь все то, из чего составляется приволье (comfortable) роскошной жизни, но больше ничего, ничего могущего возбудить малейшее подозрение. Все бумаги его состояли из коммерческих переписок с банкирами и знатнейшими купцами всех частей света, нескольких арабских рукописей и кипы бумаг, сверху донизу исписанных цифрами. Сначала эти последние очень обрадовали полицейских чиновников: они думали найти в них цифрованное письмо; но по внимательном осмотре оказалось, что то были простые черновые счета, накопившиеся, по словам Сегелиеля, от долговременных торговых оборотов, что было весьма вероятно. Вообще на все пункты обвинения доктор Сегелиель отвечал весьма ясно, удовлетворительно и без всякого замешательства; во всех словах его и во всех поступках видна была больше досада на то, что его беспокоят из пустяков, нежели боязнь запутаться в своих ответах. Для объяснения богатства он сослался на свои бумаги, по которым можно было видеть всю историю его торговли; торговля эта, правда, ведена была им с каким-то волшебным успехом, но, впрочем, не заключала в себе ни одного преступного действия; медикам и аптекарям отвечал он, что докторский диплом дает ему право лечить, кого и как он хочет; что он никому не навязывается с своим лечением; что не обязан объявлять составление своего лекарства и что, впрочем, они могут разлагать его лекарство, как им угодно; что, не предлагая никому своих услуг, он был вправе назначать какую ему угодно плату; и что если он часто назначал странные условия, которые всякий был волен принять или не принять, то это для того только, чтоб избавиться от докучливой толпы, нарушавшей его спокойствие—единственную цель его желаний. Наконец, при пункте об отравлении доктор возразил, что, как известно всему городу, он большею частию лечил людей,

ему совершенно неизвестных; что никогда не спрашивал ни об имени больного, ни об имени того, кто приходил просить об нем, ни даже о месте его жительства; что больные, когда он отказывался лечить, умирали оттого, что прибегали к нему тогда уже, когда находились при последнем издыхании; наконец, что враги его, вероятно, умирали по естественному ходу вещей; причем он доказал очевидными свидетельствами и доводами, что ни он и никто из его дома не имел ни малейшего сношения с покойниками. Люди Сегелиеля, допрошенные поодиночке со всеми судейскими хитростями, подтвердили все его показания от слова до слова. Между тем следствие продолжалось; но все, что ни открывали, все говорило в пользу доктора Сегелиеля. Ученый совет, подвергнув химическому разложению Сегелиелево лекарство, по долгом рассуждении объявил, что это славное лекарство было не иное что, как простая речная вода, и что действие, будто бы ею производимое, должно отнести к сказкам или приписать воображению больных. Сведения, собранные о болезнях людей, в смерти которых обвиняли Сегелиеля, показали, что ни один из них не умер скоропостижно; что большая часть из них умерли от застарелых или наследственных болезней; наконец, при вскрытии трупов людей, об отравлении которых существовали сильнейшие подозрения, не оказалось и тени отравления, а обнаружились только известные и обыкновенные признаки обыкновенных болезней.

Этот процесс, привлекший многочисленное стечение народа в тот город, долго длился, ибо обвинителями была почти половина его жителей; но наконец, как судьи ни были предупреждены против доктора Сегелиеля, принуждены были единогласно объявить, что обвинения, на него взнесенные, не имели никакого основания, что доктора Сегелиеля должно освободить от суда и от всякого подозрения, а доносчиков подвергнуть взысканию по законам. По произнесении приговора Сегелиель, наблюдавший до тех пор совершенное равнодушие, казалось, ожил; он немедленно внес в суд несомненные доказательства об убытках, понесенных им от сего процесса, по его обширной торговле, и просил, чтоб они взысканы были с его обвинителей, с которых, сверх того, требовал удовлетворения за бесчестие, ему нанесенное. Никогда еще не видали в нем такой неутомимой деятельности: казалось, он переродился; исчезла его гордость; он сам ходил от судьи к судье, платил несчетные деньги лучшим стряпчим и рассылал гонцов во все края света; словом, употребил все способы, которые находил и в законах, и в своем

богатстве, и в своих связях, для конечного разорения своих обвинителей, всех членов их семейств до последнего, родственников и друзей их. Наконец он достиг своей цели: многие из его обвинителей лишились своих мест — и с тем вместе единственного пропитания; целые имения нескольких семейств отсуждены были в его владение. Ни просьбы, ни слезы разоренных не трогали его души: он с жестокосердием изгонял их из жилищ, истреблял дотла их домы, заведения; вырывал с корнями деревья и бросал жатву в море. Казалось, и природа и судьба помогали его мщению; враги его, все до одного, их отцы, матери, дети умирали мучительною смертию,— то в семействе являлась заразительная горячка и пожирала всех членов его; то возобновлялись старинные, давно уснувшие болезни; малейший ушиб в младенчестве, бездельное уколотье руки, незначащая простуда — обращались в болезнь смертельную, и скоро самые имена целых семейств были стерты с лица земли. То же было и с теми, которые избегли от наказания законов. Этого мало: поднималась ли буря, восставал ли вихрь,— тучи проходили мимо замка Сегелиелева и разражались над домами и житницами его неприятелей, и многие видали, как в это время Сегелиель выходил на террасу своего парка и весело чокался стаканом с своими друзьями.

Это происшествие навело сначала всеобщий ужас, и хотя Сегелиель после своего процесса переселился в город Б..., где снова начал вести столь же роскошную жизнь, как и прежде, но многие из жителей его родины, знавшие подробно все обстоятельства процесса и раздраженные поступками Сегелиеля, не оставили своего плана — погубить. Они обратились к старикам, помнившим еще прежние процессы о чародействе, и, потолковав с ними, составили новый донос, в котором изъясняли, что хотя по существующим законам и нельзя обвинить доктора Сегелиеля, но что нельзя и не видеть во всех его действиях какой-то сверхъестественной силы, и вследствие того просили: придерживаясь к прежним законам о чародействе, снова разыскать все дело. К счастию Сегелиеля, судьи, к которым попалась эта просьба, были люди просвещенные: один из них был известен переводом Локка на отечественный язык; другой — весьма важным сочинением о юриспруденции, к которой он применил Кантову систему; третий оказал значительные услуги атомистической химии. Они не могли удержаться от смеха, читая эту странную просьбу, возвратили ее просителям, как недостойную уважения, а один из них, по добродушию, прибавил к тому изъяснение всех случаев,

казавшихся просителям столь чудесными; и—благодаря европейскому просвещению—доктор Сегелиель продолжал вести свою роскошную жизнь, собирать у себя все лучшее общество, лечить на предлагаемых им условиях, а враги его продолжали занемогать и умирать по-прежнему.

К этому страшному человеку решился идти наш будущий импровизатор. Как скоро его впустили, он бросился доктору на колени и сказал: «Господин доктор! господин Сегелиель! вы видите пред собою несчастнейшего человека в свете: природа дала мне страсть к стихотворству, но отняла у меня все средства следовать этому влечению. Нет у меня способности мыслить, нет способности выражаться; хочу говорить—слова забываю, хочу писать—еще хуже; не мог же бог осудить меня на такое вечное страдание! Я уверен, что мое несчастие происходит от какой-нибудь болезни, от какой-то нравственной натуги, которую вы можете вылечить».

— Вишь, Адамовы сынки,—сказал доктор (это была его любимая поговорка в веселый час),—Адамовы детки! Все помнят батюшкину привилегию; им бы все без труда доставалось! И получше вас работают на сем свете. Но, впрочем, так уж и быть,—прибавил он, помолчав,—я тебе помогу; да ты ведь знаешь, у меня есть свои условия...

— Какие хотите, господин доктор!—что б вы ни предложили, на все буду согласен; все лучше, нежели умирать ежеминутно.

— И тебя не испугало все, что в нашем городе про меня рассказывают?

— Нет, господин доктор! хуже того положения, в котором я теперь нахожусь, вы не выдумаете. (Доктор засмеялся.) Я буду с вами откровенен: не одна поэзия, не одно желание славы привели меня к вам; но и другое чувство, более нежное... Будь я половчее на письме, я бы мог обеспечить мое состояние, и тогда бы моя Шарлотта была ко мне благосклоннее... Вы понимаете меня, господин доктор?

— Вот это я люблю,—вскричал Сегелиель,—я, как наша матушка инквизиция, до смерти люблю откровенность и полную ко мне доверенность; беда бывает только тому, кто захочет с нами хитрить. Но ты, я вижу, человек прямой и откровенный; и надобно наградить тебя по достоинству. Итак, мы соглашаемся исполнить твою просьбу и дать тебе способность *производить без труда*; но первым условием нашим будет то, что эта способность никогда тебя не оставит: согласен ли ты на это?

— Вы шутите надо мною, господин Сегелиель!

— Нет, я человек откровенный и не люблю скрывать ничего от людей, мне предающихся. Слушай и пойми меня хорошенько: способность, которую я даю тебе, сделается частию тебя самого; она не оставит тебя ни на минуту в жизни, с тобою будет расти, созревать и умрет вместе с тобою. Согласен ли ты на это?

— Какое же в том сомнение, г. доктор?

— Хорошо. Другое мое условие состоит в следующем: ты будешь *все видеть, все знать, все понимать*. Согласен ли ты на это?

— Вы, право, шутите, господин доктор! Я не знаю, как благодарить вас... Вместо одного добра вы даете мне два,—как же на это не согласиться!

— Пойми меня хорошенько: ты будешь *все знать, все видеть, все понимать.*

— Вы благодетельнейший из людей, господин Сегелиель!

— Так ты согласен?

— Без сомнения; нужна вам расписка?

— Не нужно! Это было хорошо в то время, когда не существовало между людьми заемных писем; а теперь люди стали хитры; обойдемся и без расписки; сказанного слова так же топором не вырубишь, как и писанного. Ничто в свете, любезный приятель, *ничто* не забывается и не уничтожается.

С этими словами Сегелиель положил одну руку на голову поэта, а другую на его сердце, и самым торжественным голосом проговорил:

«От тайных чар прийми ты дар: обо всем размышлять, все на свете читать, говорить и писать, красно и легко, слезно и смешно, стихами и в прозе, в тепле и морозе, наяву и во сне, на столе, на песке, ножом и пером, рукой, языком, смеясь и в слезах, на всех языках...»

Сегелиель сунул в руку поэту какую-то бумагу и поворотил его к дверям.

Когда Киприяно вышел от Сегелиеля, то доктор с хохотом закричал: «Пепе! фризовую шинель!»—«Агу!»—раздалось со всех полок докторской библиотеки, как во 2-м действии «Фрейшюца».

Киприяно принял слова Сегелиеля за приказание камердинеру; но его удивило немного, зачем щеголеватому, роскошному доктору такое странное платье; он заглянул в щелочку—и что же увидел: все книги на полках были в движении; из одной рукописи выскочила цифра 8, из другой арабский алеф, потом греческая дельта; еще, еще—и наконец вся комната наполнилась живыми цифра-

ми и буквами; они судорожно сгибались, вытягивались, раздувались, переплетались своими неловкими ногами, прыгали, падали; неисчислимые точки кружились между ними, как инфузории в солнечном микроскопе, и старый халдейский полиграф бил такт с такою силою, что рамы звенели в окошках...

Испуганный Киприяно бросился бежать опрометью.

Когда он несколько успокоился, то развернул Сегелиелеву рукопись. Это был огромный свиток, сверху донизу исписанный непонятными цифрами. Но едва Киприяно взглянул на них, как, оживленный сверхъестественною силою, понял значение чудесных письмен. В них были расчислены все силы природы: и систематическая жизнь кристалла, и беззаконная фантазия поэта, и магнитное биение земной оси, и страсти инфузория, и нервная система языков, и прихотливое изменение речи; все высокое и трогательное было подведено под арифметическую прогрессию; непредвиденное разложено в Ньютонов бином; поэтический полет определен циклоидой; слово, рождающееся вместе с мыслию, обращено в логарифмы; невольный порыв души приведен в уравнение. Пред Киприяно лежала вся природа, как остов прекрасной женщины, которую прозектор выварил так искусно, что на ней не осталось ни одной живой жилки.

В одно мгновение высокое таинство зарождения мысли показалось Киприяно делом весьма легким и обыкновенным; чертов мост с китайскими погремушками протянулся для него над бездною, отделяющею мысль от выражения, и Киприяно — заговорил стихами.

В начале сего рассказа мы уже видели чудный успех Киприяно в его новом ремесле. В торжестве, с полным кошельком, но несколько усталый, он возвратился в свою комнату; хочет освежить запекшиеся уста, смотрит — в стакане не вода, а что-то странное: там два газа борются между собою, и мирияды инфузорий плавают между ними; он наливает другой стакан, все то же; бежит к источнику — издали серебром льются студеные волны — приближается — опять то же, что и в стакане; кровь поднялась в голову бедного импровизатора, и он в отчаянии бросился на траву, думая во сне забыть свою жажду и горе; но едва он прилег, как вдруг под ушами его раздается шум, стук, визг: как будто тысячи молотов бьют об наковальни, как будто шероховатые поршни протираются сквозь груду каменьев, как будто железные грабли цепляются и скользят по гладкой поверхности. Он встает, смотрит: луна освещает его садик, полосатая тень

от садовой решетки тихо шевелится на листах кустарника, вблизи муравьи строят свой муравейник, все тихо, спокойно; прилег снова — снова начинается шум. Киприяно не мог заснуть более; он провел целую ночь, не смыкая глаз. Утром он побежал к своей Шарлотте искать покоя, поверить ей свою радость и горе. Шарлотта уже знала о торжестве своего Киприяно, ожидала его, принарядилась, приправила свои светло-русые волосы, вплела в них розовую ленточку и с невинным кокетством посматривала в зеркало. Киприяно вбегает, бросается к ней, она улыбается, протягивает к нему руку, — вдруг Киприяно останавливается, уставляет глаза на нее...

И в самом деле было любопытно! Сквозь клетчатую перепонку, как сквозь кисею, Киприяно видел, как трегранная артерия, называемая сердцем, затрепетала в его Шарлотте; как красная кровь покатилась из нее и, достигая до волосных сосудов, производила эту нежную белизну, которою он, бывало, так любовался... Несчастный! в прекрасных, исполненных любви глазах ее он видел лишь какую-то камер-обскуру, сетчатую плеву, каплю отвратительной жидкости; в ее миловидной поступи — лишь механизм рычагов... Несчастный! он видел и желчный мешочек, и движение пищеприемных снарядов... Несчастный! для него Шарлотта, этот земной идеал, пред которым молилось его вдохновение, сделалась — анатомическим препаратом!

В ужасе оставил ее Киприяно. В ближнем доме находилось изображение Мадонны, к которой, бывало, прибегал Киприяно в минуты отчаяния, которой гармонический облик успокаивал его страждущую душу; он прибежал, бросился на колени, умолял; но увы! для него уже не было картины: краски шевелились на ней, и он в творении художника видел — лишь химическое брожение.

Несчастный страдал до неимоверности; все: зрение, слух, обоняние, вкус, осязание, — все чувства, все нервы его получили микроскопическую способность, и в известном фокусе малейшая пылинка, малейшее насекомое, не существующее для нас, теснило его, гнало из мира; щебетание бабочкина крыла раздирало его ухо; самая гладкая поверхность щекотала его; все в природе разлагалось пред ним, но ничто не соединялось в душе его: он *все видел, все понимал,* но между им и людьми, между им и природою была вечная бездна; ничто в мире не сочувствовало ему.

Хотел ли он в высоком поэтическом произведении забыть самого себя, или в исторических изысканиях набрести на глубокую думу, или отдохнуть умом в

стройном философском здании — тщетно: язык его лепетал слова, но мысли его представляли ему совсем другое.

Сквозь тонкую пелену поэтических выражений он видел все механические подставки создания: он чувствовал, как бесился поэт, сколько раз переламывал он стихи, которые казались невольно вылившимися из сердца; в самом патетическом мгновении, когда, казалось, все внутренние силы поэта напрягались и перо его не успевало за словами, а слова за мыслями,— Киприяно видел, как поэт протягивал руку за «Академическим словарем» и отыскивал эффектное слово; как посреди восхитительного изображения тишины и мира душевного поэт драл за уши капризного ребенка, надоедавшего ему своим криком, и зажимал собственные свои уши от действия женина трещоточного могущества.

Читая историю, Киприяно видел, как утешительные высокие помыслы об общей судьбе человечества, о его постоянном совершенствовании, как глубокомысленные догадки о важных подвигах и характере того или другого народа, которые, казалось, сами выливались из исторических изысканий,— в самом деле держались только искусственным сцеплением сих последних, как это сцепление держалось за сцепление авторов, писавших о том же предмете; это сцепление — за искусственное сцепление летописей, а это последнее — за ошибку переписчика, на которую, как на иголку, фокусники поставили целое здание.

Вместо того чтоб удивляться стройности философской системы, Киприяно видел, как в философе зародилось прежде всего желание сказать что-нибудь новое; потом попалось ему счастливое, задорное выражение; как к этому выражению он приделал мысль, к этой мысли целую главу, к этой главе книгу, а к книге целую систему; там же, где философ, оставляя свою строгую форму, как бы увлеченный сильным чувством, пускался в блестящее отступление,— там Киприяно видел, что это отступление только служило прикрышкою для среднего термина силлогизма, которого игру слов чувствовал сам философ.

Музыка перестала существовать для Киприяно; в восторженных созвучиях Генделя и Моцарта он видел только воздушное пространство, наполненное бесчисленными шариками, которые один звук отправлял в одну сторону, другой в другую, третий в третью; в раздирающем сердце вопле гобоя, в резком звуке трубы он видел лишь механическое сотрясение; в пении страдивариусов и

амати — одни животные жилы, по которым скользили конские волосы.

В представлении оперы он чувствовал лишь мучение сочинителя музыки, капельмейстера; слышал, как настраивали инструменты, разучивали роли, словом, ощущал все прелести репетиций; в самых патетических минутах видел бешенство режиссера за кулисами и его споры с статистами и машинистом, крючья, лестницы, веревки и проч. и проч.

Часто вечером измученный Киприяно выбегал из своего дома на улицу: мимо его мелькали блестящие экипажи; люди с веселыми лицами возвращались от дневных забот под мирный домашний кров; в освещенные окна Киприяно смотрел на картины тихого семейного счастия, на отца и мать, окруженных прыгающими малютками, — но он не имел наслаждения завидовать сему счастию; он видел, как чрез реторту общественных условий и приличий, прав и обязанностей, рассудка и правил нравственности — вырабатывался семейственный яд и прижигал все нервы души каждого из членов семейства; он видел, как нежному, попечительному отцу надоедали его дети; как почтительный сын нетерпеливо ожидал родительской кончины; как страстные супруги, держась рука за руку, помышляли: чем бы поскорее отделаться друг от друга?

Киприяно обезумел. Оставив свое отечество, думая спастись от самого себя, пробежал он разные страны, но везде и всегда по-прежнему продолжал *все видеть* и *все понимать*.

Между тем и коварный дар стихотворства не дремал в Киприяно. Едва на минуту замолкнет его микроскопическая способность, как стихи водою польются из уст его; едва удержит свое холодное вдохновение, как снова вся природа оживет перед ним мертвою жизнию — и без одежды, неприличная, как нагая, но обутая женщина, явится в глаза ему. С каким горем он вспоминал о том сладком страдании, когда, бывало, на него находило редкое вдохновение, когда неясные образы носились перед ним; волновались, сливались друг с другом!.. Вот образы яснеют, яснеют; из другого мира медленно, как долгий поцелуй любви, тянется к нему рой пиитических созданий; приблизились, от них пашет неземной теплотою, и природа сливается с ними в гармонических звуках — как легко, как свежо на душе! Тщетное, тяжкое воспоминание! Напрасно хотел Киприяно пересилить борьбу между враждебными дарами Сегелиеля: едва незаметное впечатление касалось раздраженных органов страдальца, и снова

микроскопизм одолевал его, и несозрелая мысль прорывалась в выражение.

Долго скитался Киприяно из страны в страну; иногда нужда снова заставляла его прибегать к пагубному Сегелиелеву дару: дар этот доставлял избыток, а с ним и все вещественные наслаждения жизни; но в каждом из наслаждений был яд, и после каждого нового успеха умножалось его страдание.

Наконец он решился не употреблять более своего дара, заглушить, задавить его, купить его ценою нужды и бедности. Но уж поздно! От долговременного борения расшаталось здание души его; поломались тонкие связи, которыми соединены таинственные стихии мыслей и чувствований,—и они распались, как распадаются кристаллы, проржавленные едкою кислотою; в душе его не осталось ни мыслей, ни чувствований: остались какие-то фантомы, облеченные в одежду слов, для него самого непонятных. Нищета, голод истерзали его тело,—и долго брел он, питаясь милостынею и сам не знаю куда...

Я нашел Киприяно в деревне одного степного помещика; там исправлял он должность—шута. В фризовой шинели, подпоясанный красным платком, он беспрестанно говорил стихи на каком-то языке, смешанном из всех языков... Он сам рассказывал мне свою историю и горько жаловался на свою бедность, но еще больше на то, что никто его не понимает; что бьют его, когда он, в пылу поэтического восторга, за недостатком бумаги, изрежет столы своими стихами; а еще более на то, что все смеются над его единственным сладким воспоминанием, которого не мог истребить враждебный дар Сегелиеля,—над его первыми стихами к Шарлотте.

— Измена, господа!—вскричал Вячеслав.—Фауст нарочно выбрал этот отрывок из рукописи, вместо ответа на наши вчерашние возражения.

— Ничего не бывало!—отвечал Фауст.—С моей стороны тут не было никакого фокус-покуса; я читал нумер за нумером; я уверен, что даже хозяева, сбирая доставленные им заметки, предоставили учреждение их последовательности лучшему систематику—времени.

Вячеслав. И ты хочешь нас уверить, что просто случай соединил «Бетховена» с «Импровизатором», когда в том и другом одна мысль, но выраженная с противоположных сторон?..

Ростислав. Не знаю, сшутил ли с нами Фауст по своему обыкновению, но, признаюсь, случая я еще не заметил в природе. В ней, например, с большою постепенностию связаны царство растительное с царством живот-

ным, даже трудно определить, где кончится одно и начинается другое; а между тем одно служит, по-видимому, совершенным отрицанием другому: все важнейшие органы растения — на его поверхности; внутри часто совершенная пустота; мочки корня — органы питания, листья — органы дыхания, брачное ложе между душистыми лепестками — все снаружи; у животных, напротив, все эти органы бережно скрыты внутри под несколькими покровами, а снаружи видны лишь кожа, волосы, роговое вещество — органы менее важные, почти не имеющие чувствительности; мне всегда жизнь животных представлялась ответом на жизнь растений, а человек судией между ними. Если природа разыгрывает эту драму между своими низшими произведениями, то неужели она предоставляет свои высшие, т. е. человеческие, произведения какому-то случаю. Произведения человека — что бы то ни было: огромное ли пиитическое творение, откровенный ли разговор, беспечная ли заметка путешественника — я уверен, что есть причина, почему одно из этих явлений следует за другим, в том, а не в другом порядке, хотя часто мы не можем ее постигнуть, точно так же, как нам непонятно, почему явления столь противоположные, как ночь и день, следуют одно за другим постоянно.

Виктор. Но прежде следует доказать, действительно ли произведения человека ⟨стоят⟩ на одной степени с произведениями природы, не говорю уже — превосходят их.

Ростислав. Без сомнения, превосходят, и по той же причине, почему животное совершеннее растения...

Виктор. Это убеждение очень похвально; только жаль, что человеку никогда не удалось построить такое местоположение, как например Альпы или берег Средиземного моря, ни достигнуть того совершенства, которое замечается, например, в тканях растения; ты знаешь, что самое тонкое кружево под микроскопом есть не иное что, как грубая связка веревок, а между тем эпидерма последнего растения поражает правильностию своего расположения.

Ростислав. Ты смешиваешь два совершенно различных состояния человека, две совершенно отдельные степени, ибо в человеке их много. Некоторые ученые доказывали, что пирамида у древних была символом огня (фтаса); это довольно правдоподобно, ибо и огонь и пирамида оканчиваются остроконечием: но, кажется, под символом огня скрывался другой, более глубокий — человек. Посмотри на пламя: в нем есть темная, холод-

ная[1] часть — произведение грубых испарений горящего тела; в нем есть более светлая, где пламя похищает жизненную стихию из атмосферы;[2] эта часть лишь окисляет металлы; между обеими частями есть точка — одна точка; но здесь сильнейшая степень жара, которому ничто противостоять не может: здесь платина приходит в калильное состояние, здесь восстановляются почти все металлы[3]. Ты сравниваешь произведения природы с произведениями темной, холодной, бессильной области человека, — и природа торжествует над человеком, унизившимся до природы; но какие произведения природы могут достигнуть до произведений светлого, пламенного горнила души человеческой? — Дух человека, исходя из одного начала с природою, производит явления, подобные явлениям в природе, но самопроизвольно, безусловно; это сродство или подобие обмануло старинных теоретиков, которые на нем основали так называемое подражание природе...

Вячеслав. Ты забываешь важную оговорку: подражание *изящной* природе...

Ростислав. От этой оговорки теория сделалась еще неопределеннее и темнее, ибо с словом *изящество* в эту теорию втеснилось нечто такое, что разрушило ее вовсе; ибо если необходимо допустить человеку право избирать изящное, то это значит, что в душе его есть своя *мерка*, на которую он может прикидывать и произведения природы и свои собственные. Тогда зачем же ему природа?

Вячеслав. На первый случай, хоть для того, чтоб сравнить *обе мерки*, как ты говоришь: свою и находящуюся в природе...

Ростислав. Но, чтоб сравнить их, надобно еще *третью* мерку, в истине которой человек был бы убежден, — и так до бесконечности; а в последней инстанции последним судиею останется все-таки душа человека...

Вячеслав. Но отчего же человеческие произведения, например картина, тем более нам нравится, чем она ближе к природе?

Ростислав. Это род оптического обмана; близость к природе есть понятие совершенно относительное; в Рафаэле находят ошибки против анатомии, — но кто замечает их? Если б должно нам было более нравиться то, что

---

[1] Мюррай опускал на несколько секунд порох в ту темную часть пламени, в которой отделяются газы и которая видна сквозь светлую его оболочку: взрыва не было, и порох даже отсырел. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

[2] Кислород. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

[3] На этом явлении основано, как известно, действие паяльной или, правильнее, плавильной трубки. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

ближе к природе, то дерево, например, Рюисдаля должно бы уступить первенство дереву, сделанному какою-либо цветочницею. Дагерротип как бы нарочно появился в нашу эпоху, чтоб показать различие между механическим и живым произведением. При появлении дагерротипа материалисты очень обрадовались: «Зачем нам живописцы? зачем вдохновение? Картина будет рисоваться, и гораздо вернее, без вдохновения, простым ремесленником, при пособии нескольких капель йода и ртути. Но что же вышло? в дагерротипе подражание совершенно; а между тем одни и те же предметы (не говорю уж о лице человека, но хоть, например, дерево) мертвы в дагерротипе и оживают лишь под рукой художника. Наоборот: за несколько тысяч лет пепел покрыл целый город и похоронил его вместе со всеми обстоятельствами, которые могли случиться в минуту бедствия; наш современник, силою своего художнического духа, воскрешает эту минуту и, как волшебник, заставляет вас видеть то, чего, вероятно, ни один человек не видал; между тем картина Брюлова верна: вас убеждает в том ощущение, которое она производит...

Вячеслав. Согласен, но Брюлов, как Рафаэль, как Микель-Анджело, также, вероятно, срисовывал свои группы с живых моделей, наблюдал извержение огнедышущих гор и другие явления природы...

Ростислав. Так! Но то ли чувство производят на нас в природе изломанная колесница, отшибенное колесо, пепельный дождь, самые лица людей в минуту подобного бедствия, как те же самые предметы в картине Брюлова? Откуда взялась вся прелесть этих предметов, которые в природе не могут иметь никакой прелести?

Фауст. Я не знаю, какую теорию по сему предмету составил себе наш великий художник; но замечу, что живописцы подвергаются оптическому обману, если думают, что они в своих картинах *копируют* природу; живописец, срисовывая с *натуры,*—лишь *питается* ею, как человеческий организм питается грубыми произведениями природы. Но как происходит этот процесс? Вещества, принимаемые нами в пищу, подвергаются живому брожению; лишь тончайшие их части остаются в организме и проходят чрез несколько живых превращений, прежде нежели обратятся в нашу плоть: для больного, и еще менее для мертвого организма—пища бесполезна; живой организм долго может обходиться без пищи и жить собственной силой; но из этого не следует, чтоб он совершенно без нее мог обойтись. Все дело в хорошей переварке, которой первое условие: жизненная сила...

Виктор. Ваш разговор, господа, напоминает мне старинный анекдот. Однажды Бенвенуто Челлини, отливая серебряную статую, заметил, что металла мало; боясь, что отливка не удастся, он собрал все домашнее серебро: кубки, ложки, кольца, и бросил в горнило. Какой-то художник, который при отливке медной статуи был остановлен таким же препятствием, вспомнил догадку Бенвенуто и также начал бросать в горнило всю медную домашнюю посуду,—но опоздал: она не успела растопиться—и когда форму обломали, художник с отчаянием увидел, что из груди Венеры выглядывало дно кастрюльки, над глазами торчала ложка, и так далее...

Фауст. Ты совершенно попал на мою мысль: беда художника, если внутреннее его горнило не в силах расплавить грубую природу и превратить ее в существо более возвышенное. Это необходимо во всех встречах человека с природою: горе ему, если он преклонится пред нею!

Ростислав. О, без сомнения! Если б человек не был принужден из природы почерпать средства для своей жизни, то не было бы и повода к преступлениям... Например, воровство, грабительство именно имеют причиною то, что человек нуждается в произведениях природы.

Фауст. С этим едва ли можно согласиться. Ты сам справедливо заметил, что в человеке есть не только светлая, но и темная область; там зарождаются наклонности, которыми приготовляются преступления; иногда в душе человека уже преступление совершилось прежде того, что обыкновенно называют преступлением и что есть не что иное, как порочная наклонность, получившая осязаемую форму. Есть темные страсти—и, следственно, преступления, которые могут совершиться в человеке, даже если б он не был жильцом земного шара, даже если б он не был в сношении с себе подобными: хоть, например, праздность и гордость, которые (что довольно замечательно) у всех народов, во всех преданиях почитаются матерями всех пороков. Я пойду далее: в природе, собственно, нет зла...

Ростислав. Ты в противоречии с действительностию; стоит взглянуть на естественные явления: нет растения, нет животного, которое не было бы принуждено жить разрушением или страданием какого-либо растения или животного. Если страдание не есть зло, то я не знаю, что разуметь под этим словом.

Виктор. Замечу для потомства, что господа идеалисты точно так же спорят, как и мы, бедные слуги грубой

материальной природы... Следственно, идеальный мистический мир не есть еще царство мира...

Фауст. Во-первых, я не идеалист и не мистик: я эпикуреец, потому что ищу, где находится наибольшая сумма наслаждений для человека; я, если хочешь, естествоиспытатель, даже эмпирик, только с тою разницею, что не ограничиваюсь наблюдением одних материальных фактов, но нахожу необходимым разлагать и духовные. Во-вторых, замечу, также для потомства, что как бы ни спорили идеалисты, для них все-таки существует возможность когда-нибудь сойтись, ибо все они тянутся к центру, но каждого из вас, господа материалисты, тянет к какой-нибудь точке на окружности: оттого ваши пути беспрестанно расходятся.

Виктор. Может быть! Но, говоря твоим любимым выражением, символ идеальных путей, кажется, суть асимптоты, которые, вечно приближаясь, никогда не сойдутся...

Фауст. Я более согласен с тобою, нежели ты думаешь. Ты прав, и будешь прав до тех пор, пока человек не найдет настоящей квадратуры круга, разумеется, не в геометрическом смысле[1]. Но обратимся к нашему вопросу: мы не в таком противоречии с Ростиславом, как кажется; но мы и не согласны друг с другом. Такой род распри, несмотря на свою наружную нелепость, всего чаще бывает между людьми. Чтоб определить, действительно ли нет зла во внешней природе, должно бы прежде определить, что такое зло; это завело бы нас слишком далеко и едва ли не было бы излишним. Для меня гораздо важнее и любопытнее определить, какое действие производит на душу человека одностороннее погружение в материальную природу и как действует аналогия между человеком и его занятиями? — В природе мы замечаем для всякого явления постоянные законы: ты посеял семя, сохранил все условия для его прозябения — оно выросло; забыл одно из этих условий — оно погибло; и так всегда — сегодня как вчера, как завтра. Внешнюю природу не умолишь, ее не тронешь раскаянием, в ней нет прощения: ошибся — расплачивайся, нет спасения, нет отсрочки; один день позабудь поливать любимое дорогое растение, несмотря на всю любовь к нему, несмотря на все сожаление — растение засохнет, и ничем не оживишь его. Этот закон прекрасен в своем месте, т. е. на нижней

---

[1] Должно вспомнить, что в мистических теориях круг есть символ вещественного мира, а квадрат, треугольник — духовного. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

степени природы; человек, не поднимающийся выше этой степени, пораженный видом сего закона, хотел применить его к явлениям другого рода, например к нравственным. «Смотрите на природу, наблюдайте ее законы, подражайте ее законам!» — говорили энциклопедисты XVIII столетия, и говорят доныне их последователи в XIX веке...

Вячеслав. Однако укажи мне хоть одну систему нравственности, где отвергалось бы раскаяние и, следственно, возможность прощения...

Фауст. К счастию, теоретики по инстинкту часто изменяют логической последовательности. Правда, я не помню, чтоб кто-нибудь прямо отрицал право раскаяния, — но это отрицание истекает непосредственно из многих теорий, например хоть из Бентамовой, Мальтусовой; оно даже разменялось на мелкую монету: с XVII века ходит по свету басня «Стрекоза и Муравей»; она переведена на все языки; ее первую дети выучивают наизусть. Не имела бы она такого успеха в XVIII веке, если б она не была выражением господствующей теории того времени, чего, верно. и в голову не приходило доброму Лафонтену. Обрати мораль этой басни в правило, последуй за его приложениями, и ты дойдешь до того, что, по строгой логике, больного отнюдь не должно лечить: «он болен, следственно он виноват, следственно должен быть наказан!». — Такой вывод так же нелеп и так же логически верен, как знаменитая фраза Мальтуса: «Ты опоздал родиться, для тебя нет места на пире природы»; другими словами: «умирай с голода». Это преклонение пред законами вещественной природы, хотя не всегда, к счастию, достигает такой логической ясности, но по аналогии сильно действует на душу человека. Извините, господа материалисты, но закон растения, целиком перенесенный на почву человеческую, обращается в бессмысленный педантизм и сушит сердце. Такого педанта нельзя назвать злым, в собственном смысле этого слова; сухой человек не сделает зла без нужды и сделает его без всякого для себя удовольствия; злой человек сделает зло просто из желания зла, с наслаждением; но самый злой человек способен к состраданию, к раскаянию. Сухой педант, в нашем языке, чрезвычайно верно и глубоко называется *деревяшкою*; он, сообразно с своею кличкою, никого не любит, ничему не сострадает, ни в чем не раскаивается, но слепо следует так называемому закону природы: растет, вытягивает ветви и корни, заглушая другие растения, — не потому, чтоб он злился на своих соседей, а только потому, что с этой стороны теплее и сырее.

Виктор. Ты забываешь, что между так называемыми

материалистами и проповедниками законов природы были люди, отличавшиеся высокою филантропиею, как например Франклин...

Фауст. Франклину так удалось разыграть свою роль, что до сих пор ее трудно отличить от сущности хитрого дипломата. Прочти его сочинения, и ты ужаснешься этого ложного, гордого смирения, этого постоянного лицемерия и этого эгоизма, скрытого под нравственными апофегмами. От Франклина, по прямой линии, происходит филантроп-мануфактурист; я удивляюсь, как это психологическое явление до сих пор не подало мысли комикам;[1] это настоящий Тартюф нашего века, ибо деревяшка может быть во всех образах, даже в образе филантропа; эта личина для него всего тягостнее: ему душно под нею; одна неверно рассчитанная выгода может заставить его разыгрывать роль филантропа. Мануфактурист-философ, в этом странном занятии, делает лишь необходимое; далее этой черты он не переходит; он не проникает в существо бедствий, но старается только как-нибудь замазать его, чтоб оно не так бросалось в глаза; он заботится о довольстве и нравственности, даже о религии своих работников, но единственно столько, сколько нужно для безостановочной работы на фабрике. Такая насмешка над самым возвышенным чувством, над христианскою любовию, не остается без наказания, и доказательства тому — совсем не филантропические явления, которые вы найдете в донесениях английскому парламенту о состоянии детей на фабриках, и даже у докторов Юра и Баббежа, этих поборников индустриальной религии, и, наконец, ежедневно в газетах.

Виктор. Ты забываешь, однако, что именно мануфактурной филантропии мы обязаны одним из важнейших прав XIX века на уважение потомства: исправительною системою тюрем.

Фауст. Я тогда согласился бы с тобою, когда бы в средние века монастыри не были настоящими исправительными заведениями и не достигали своей цели едва ли не с большим успехом, нежели всевозможные исправительные системы *уединения, молчания,* которые исправляют ли кого — бог весть, но доводят человека до сумасшествия очень верно[2]. Думали, что можно исправить челове-

---

[1] В настоящее время существует уже много комедий на этот предмет. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

[2] Особенно система молчания имеет это следствие. Не имея права по целым дням выразить своего сомнения или подозрения своему соседу, заключенный терзается мыслию, что на него что-либо донесли, и на этом пункте сходит с ума. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

ка, как растение, пересадя его в теплицу; кажется, разочли очень верно все законы природы, которые могут на него действовать, свет, воздух,—но забыли одно: силу любви, двигающей горами; пока растение в теплице—оно, кажется, излечилось, исправилось; едва попало на прежнюю почву, все труды над ним потеряны, ибо живой жизни ему не дали. Так не говорите же, господа, что довольно *знать* на сем свете, не заботясь о том, каким путем пришло это знание.

НОЧЬ ВОСЬМАЯ

(Продолжение рукописи)

СЕБАСТИЯН БАХ

В одном обществе нам показали человека лет пятидесяти, в черном фраке, сухощавого, грустного, но с огненною, подвижною физиономиею. Он, как нам сказывали, уже лет двадцать занимается престранным делом: собирает коллекции картин, гравюр, музыкальных сочинений; для этой цели не жалеет он ни денег, ни времени; часто предпринимает дальние путешествия для того только, чтоб отыскать какую-нибудь неопределенную черту, случайно брошенную на бумагу живописцем, а не то—листок, исчерченный музыкантом; целые дни проводит он, разбирая свои сокровища, то по хронологическому, то по систематическому порядку, то по авторам; но чаще всего тщательно всматривается в эти живописные черты, в эти музыкальные фразы; складывает отрывки вместе, замечает их отличительный характер, их сходство и различие. Цель всех его изысканий—доказать, что под этими чертами, под этими гаммами кроется таинственный язык, доселе почти неизвестный, но общий всем художникам,—язык, без знания которого, по его мнению, нельзя понять ни поэзии вообще, ни какого-либо изящного произведения, ни характера какого-либо поэта. Наш исследователь хвалился, что ему удалось найти смысл нескольких выражений этого языка и ими объяснить жизнь многих художников; он не шутя уверял, что такое-то движение мелодии означало грусть поэта, другое—радостное для него обстоятельство жизни; такое-то созвучие говорило о восторге; такая-то кривая линия означала молитву; таким-то колоритом выражался темперамент живописца и проч. Чудак преважно рассказывал, что он трудится над составлением словаря этих иероглифов—и уже впоследствии, при этом пособии, издаст исправленные и дополненные

биографии разных художников; «ибо,— присовокуплял он с самым настойчивым педантизмом,— эта работа очень многосложна и затруднительна: для совершенного познания *внутреннего* языка искусств необходимо изучить все без исключения произведения художников, а отнюдь не одних знаменитых, потому что,— прибавлял он,— поэзия всех веков и всех народов есть одно и то же гармоническое произведение; всякий художник прибавляет к нему свою черту, свой звук, свое слово; часто мысль, начатая великим поэтом, договаривается самым посредственным; часто темную мысль, зародившуюся в простолюдине, гений выводит в свет не мерцающий; чаще поэты, разделенные временем и пространством, отвечают друг другу, как отголоски между утесами: развязка „Илиады" хранится в „Комедии" Данте; поэзия Байрона есть лучший комментарий к Шекспиру; тайну Рафаэля ищите в Альберте Дюрере; страсбургская колокольня — пристройка к египетским пирамидам; симфонии Бетховена — второе колено симфоний Моцарта... Все художники трудятся над одним делом, все говорят одним языком: оттого все невольно понимают друг друга; но простолюдин должен учиться этому языку, в поте лица отыскивать его выражения... так делаю я, так и вам советую». Впрочем, наш исследователь надеялся скоро привести свою работу к окончанию. Мы упросили его сообщить нам некоторые из его исторических разысканий, и он без труда согласился на нашу просьбу.

Рассказ его был так же странен, как его занятие; он одушевлялся одним чувством, но привычка соединять в себе разнородные ощущения, привычка перечувствовывать чувства других производила в его речи сброд познаний и мыслей часто совершенно разнородных; он сердился на то, что ему недостает слов, дабы сделать речь свою нам понятною, и употреблял для объяснения все, что ему ни попадалось: и химию, и иероглифику, и медицину, и математику; от пророческого тона он нисходил к самой пустой полемике, от философских рассуждений к гостиным фразам; везде смесь, пестрота, странность. Но, несмотря на все его недостатки, я жалею, что бумага не может сохранить его сердечного убеждения в истине слов, им сказанных, его драматического участия в судьбе художников, его особенного искусства от простого предмета восходить постепенно до сильной мысли и до сильного чувства, его грустную насмешку над обыкновенными занятиями обыкновенных людей.

Когда мы все уселись вокруг него, он окинул все собрание насмешливым взором и начал так:

«Я уверен, милостивые государи, что многие из вас слыхали — хоть имя Себастияна Баха;[1] даже, может быть, некоторым из вас приносил ваш фортепьянный учитель какую-нибудь сарабанду или жигу, или что-нибудь с таким же варварским названием, доказывал вам, что эта музыка будет очень полезна для выправления ваших пальцев, — и вы играли, играли, проклинали учителя и сочинителя и, верно, спрашивали у самих себя: что за охота была этому немецкому органисту прибирать трудности к трудностям и с насмешкой бросить их в толпу своих потомков, как лук одиссеев? С тех пор, посреди блестящих, искрометных произведений новой школы, вы забыли и Себастияна Баха, и его однообразные, минорные напевы, или одна мысль о них обдает вас холодом, как будто комментарий к поэме, предисловие к роману, вист посреди концерта, московские газеты[2] между иностранными журналами в палевой веленевой обвертке, с розовыми листочками. Между тем вы встречаете художника с пламенным сердцем, с возвышенным умом, который, в уединении кабинета, изучает творения забытого вами Баха, величает его именем вечно юного... сказать ли? — равного не находит ему в святилище звуков.

Вас удивляет это непонятное пристрастие; вы пробегаете мельком произведения бессмертного; и они вам кажутся гробницею какого-то Псамметиха, покрытою иероглифами; между ими и вами ряды веков, разноцветные облака новых произведений: они застилают пред вами таинственный смысл этих символов. Вы спрашиваете портрет Баха, — но искусство, описанное Лафатером, искусство переряжать лица великих людей в карикатуры, впрочем сохраняя всевозможное сходство, еще не исчезло между живописцами, — и вместо Баха вам показывают какого-то брюзгливого старика с насмешливою миною, с большим напудренным париком, — с величием директора

---

[1] В то время, когда это писалось, в Москве имя Себастияна Баха было известно лишь весьма немногим музыкантам. Для меня Бах был почти первою учебною музыкальною книгою, которой большую часть я знал наизусть. Ничто тогда меня так не сердило, как наивные отзывы любителей о том, что они и не слыхивали о Бахе. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

[2] В эту эпоху московские газеты («Московские ведомости») издавались на плохой бумаге, в каком-то старомодном формате и с удивительным во всех отношениях неряшеством. Известен ли читателю характеристический анекдот в ту эпоху, когда «Московские ведомости» увеличили свой формат. Это нововведение весьма не понравилось большей части подписчиков. Один помещик писал из деревни в редакцию: нельзя ли для него одного печатать экземпляры газеты в прежнем формате, обещаясь за то платить вдвое. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

департамента. Вы принимаетесь за словари, за историю музыки,—о! не ищите ничего в биографиях Баха: в них поразит вас одно, что Фридрих Великий, которого поэтическая душа в музыке искала убежища от антипоэтизма своего века и своих собственных мыслей, что насмешливый венценосец преклонял колено пред гармоническим алтарем Себастияна; биографы Баха, как и других поэтов, описывают жизнь художника, как жизнь всякого другого человека; они расскажут вам, когда он родился, у кого учился, на ком женился; они готовы доказать вам, что Данте принадлежал к партии гибелинов, был гоним гвельфами и оттого написал свою поэму, что Шекспир пристрастился к театру, держа лошадей у подъезда, что Шиллер в пламенных стихах изливал свою душу оттого, что ставил ноги в холодную воду, что Державин был министром юстиции и оттого написал «Вельможу»; для них не существует святая жизнь художника—развитие его творческой силы, эта настоящая его жизнь, которой одни обломки являются в происшествиях ежедневной жизни; а они—они описывают обломки обломков, или... как бы сказать?—какой-то ненужный отсед, оставшийся в химическом кубе, из которого выпарился могучий воздух, приводящий в движение колеса огромной машины. Изуверы! они рисуют золотые кудри поэта—и не видят в нем, подобно Гердеру, священного леса друидов, за которым совершаются страшные таинства; на костылях входят они во храм искусства, как древле недужные входили в храм эскулапов, впадают в животный сон, пишут грезы на медных досках, во обман потомкам, и забывают о боге храма.

Материалы для жизни художника одни: его произведения. Будь он музыкант, стихотворец, живописец—в них найдете его дух, его характер, его физиономию, в них найдете даже те происшествия, которые ускользнули от метрического пера историков. Трудно выпытать творца из творения, как трудно открыть тайну всесоздателя в глыбах гнейса и кристаллах оксинита гор первородных; но одна вселенная вещает нам о всемогущем,—одни произведения говорят о художнике. Не ищите в его жизни происшествий простолюдина,—их не было; нет минут непоэтических в жизни поэта; все явления бытия освещены для него незаходимым солнцем души его, и она, как Мемнонова статуя, беспрерывно издает гармонические звуки...

Семейство Бахов сделалось известным в Германии около половины XVI-го столетия. Немецкие писатели,

собиравшие материалы о сем семействе, начинают его историю с того времени, когда глава его, Фохт Бах, гонимый за веру, переселился из Пресбурга в Турингию. Наши господа историки занимаются очень важными делами,—ну что бы им значило доказать, что Фохт Бах принадлежал к славянскому поколению, подобно Гайдну и Плейелю (в чем почти нет никакого сомнения), и превратить мое нравственное убеждение в историческое?[1] Ведь им бы стоило только написать статью, потом другую, да хорошенько испестрить ссылками, а потом сослаться на ту статью, как на дело решенное: ведь они основывают же первые века русской истории на сборнике монаха, для препровождения времени списывавшего гофмановские повести византийских летописцев! И кто до Нибура сомневался в существовании Ромула и Нумы Помпилия? Давно ли троянская война выпущена из введений к историям всех народов?

А это, право, стоит работы. Здесь идет дело не о спорах удельных князьков за дюжину деревянных избушек, не о куньих мордках, но о многочисленном семействе, в продолжение нескольких поколений сохранившем поэтическое чувство,—явление беспримерное в летописях изящных искусств и физиологии. Долго ли нам, вместе с компанией промышленников, поселившихся в Северной Америке, и с европейскими китайцами, которых обыкновенно называют англичанами, почитать поэзию за излишнюю стихию в политическом обществе—и внутреннюю сущность жизни взвешивать на деньги, доказывать, что она ничего не весит, и потом простосердечно удивляться бедствиям общества и бедствиям человека?

В самом деле, чувство религиозное и любовь к гармонии свыше осенили семью Бахов. В безмятежной пристани Фохт посвящал простосердечные дни своим детям и музыке, в течение времени дети его разошлись по разным краям Германии; каждый из них завел свое семейство, каждый вел жизнь тихую и простую, подобно отцу своему, и каждый в храме господнем возвышал души христиан духовною музыкою; но в назначенный день в году они все соединялись, как разрозненные звуки одного и того же созвучия, посвящали целый день музыке и снова расходились к своим прежним занятиям.

В одном из этих семейств родился Себастиян; вскоре потом умерли отец и мать его: природа сотворила их, чтоб

---

[1] Довольно любопытно, что эта мысль, наведенная просто характером некоторых мелодий Баха, впоследствии нашла себе действительно некоторое историческое подтверждение. Бах *есть* не имя, а — *прозвище*. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

произвести великого мужа, и потом уничтожила, как предметы, более не нужные. Себастиян остался на руках Иоганна Христофора, своего старшего брата.

Иоганн Христофор Бах был человек важный в своем околодке. Он никогда не забывал, что отец его, Амвросий Бах, был *гоф-унд-ратс-музикус* в Эйзенахе, а дядя его, также Иоганн Христофор Бах,— *гоф-унд-штатс-музикус* в Арнштадте и что он сам имеет честь быть органистом ордруфской соборной церкви[1]. Он уважал свое искусство, как почтенную старую женщину, и был с ним вежлив, осторожен и почтителен до чрезвычайности. Бюффон перенял у Христофора Баха привычку приниматься за работу не иначе, как во всем параде. Действительно, Христофор садился за клавикорд или за органы не иначе, как в чулках и башмаках и в пуклях с кошельком, величественно возлегавшим по плисовому оранжевому кафтану, между двумя стразовыми блестящими пуговицами; никогда ни *септима*, ни *нона* без приготовления не вырывались из-под его пальцев; не только в церкви, но даже дома, даже из любопытства Христофор не позволял себе этого в его молодости бывшего нововведения, которое он называл неуважением к искусству. Из музыкальных теоретиков он знал лишь Гаффория „Opus musicae disciplinae“[2] и держался этой дисциплины, как воинской; 40 лет он прожил органистом одной и той же церкви; 40 лет каждое воскресенье играл почти один и тот же хорал, 40 лет одну и ту же к нему прелюдию — и только по большим праздникам присоединял к ней в некоторых местах один форшлаг и два триллера, и тогда слушатели говорили между собою: „о! сегодня наш Бах разгорячил-

---

[1] Себ. Бах род. в Эйзенахе 1685 марта 21, ум‹ер› 1750 июля 30 (по «Real-Encyklopädie» — июля 28). Христофор Бах был его Zwillingsbruder <близнец *(нем.)*>. Старший брат Баха назывался: Iohann Cristopf и был органистом в Ордруфе. R e i s s m a n. «Von Bach zu Wagner». Berlin, 1861, p. 4. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

[2] <«Учение о музыке» *(лат.)*> Gaforus, oder Gafurius, как написано в Valthern «Musik. Lexicon», Leipzig, 1732, p. 270. Самый этот лексикон уже библиографическая редкость. На приложенной к лексикону гравюре изображен органист, играющий на органе, и за ним капельмейстер и оркестр, где замечательно, что смычки скрипок, или точнее виол — не прямые, но согнутые, почти как контрабасные; еще любопытны весьма длинные трубы, ныне уже не существующие. На стене висят валторна, теорба и нечто похожее на рожки. Все музыканты, разумеется, в огромных париках с косами, чулках и башмаках.

Мне удалось видеть лишь два сочинения Гафурия в дивной библиотеке Сергея Александровича Соболевского; оба — суть величайшая библиографическая редкость и высшей важности для истории музыки; одно: Practica musica Franchini Gafori Londensis, Milano, 1496, in 4°, и другое: Franchini Gafurii... de Harmonia musicorum instrumentorum opus, Milano, 1518, in 4°. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

ся!“. Но зато он был известен за чрезвычайного искусника составлять те музыкальные загадки, которые, по тогдашнему обычаю, задавали музыканты друг другу: никто труднее Христофора не выдумывал хода канону;[1] никто не приискивал ему замысловатее эпиграфа. Неподвижный даже в выборе разговора, он в веселый час обыкновенно говорил только о двух предметах: 1-е, о заданном им каноне с эпиграфом: Sit trium series una[2], в котором голоса должны были идти *блошиным* шагом и которого не могли разрешить все эйзенахские контрапунктисты, и 2-е, о черной обедне (Messa nigra), сочинении его современника Керля, так названной потому, что в ней были употреблены не одни белые ноты, но и четверти, что тогда почиталось удивительною смелостью. Христофор Бах удивлялся ему, но называл вредным нововведением, которое некогда должно будет вконец разорить музыкальное искусство. Следуя сим-то правилам, Христофор Бах занимался музыкальным воспитанием своего меньшего брата Себастияна; он любил его, как сына, и потому не давал ему поблажки. Он написал на нотном листочке прелюдию и заставил Себастияна играть ее по несколько часов в день, не показывая ему никакой другой музыки; а по истечении двух лет перевернул нотный листок вверх ногами и заставил Себастияна в этом новом виде разыгрывать ту же прелюдию, и также в продолжение двух лет; а чтоб Себастиян не вздумал портить своего вкуса какой-нибудь фантазией, он никогда не забывал запирать своего клавихорда, выходя из дома. По той же причине тщательно скрывал он от Себастияна все произведения новейших музыкантов, хотя сам уже не совсем следовал правилам Гаффория; но дабы наиболее утвердить Себастияна в началах чистой гармонии, не давал ему читать никакой другой книги; часто свои объяснения на нее перерывал сильными выходками против итальянцев; в доказательство показывал на приведенную Гаффорием в пример Litaniae mortuorum discordantes[3], музыку, всю составленную из диссонансов, и старался вселить в юную душу Себастияна ужас к такому беззаконию. Часто слыхали, как Христофор хвалился, что, следуя своей системе, он через 30 лет

---

[1] Знающие музыку догадаются, что здесь дело идет о том, что немцы называют Räthsel-Canon; для не знающих музыки тщетно хотел бы я объяснить значение этого слова. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

[2] ⟨да сольются три воедино *(лат.)*⟩. Читателям веберовой «Цецилии» известно, что подобный канон был задан и музыкантам XIX столетия. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

[3] Душераздирающую заупокойную службу *(лат.)*.

сделает своего меньшего брата первым органистом в Германии.

Себастиян почитал Христофора, как отца, и, по древнему обычаю, беспрекословно во всем ему повиновался; ему и в мысль не приходило сомневаться в братнем благоразумии; он играл, играл, учил, учил, и прямо, и вверх ногами, четырехлетнюю прелюдию своего наставника; но наконец природа взяла свое: Себастиян заметил у Христофора книгу, в которую последний вписывал различные жиги, сарабанды, мадригалы знаменитых тогда Фробергера, Фишера, Пахельбеля, Букстегуда; в ней также находилась и славная керлева черная обедня, о которой Христофор не мог говорить равнодушно. Часто Себастиян заслушивался, когда брат его медленно, задумываясь на каждой ноте, принимался разыгрывать эти заветные произведения. Однажды он не утерпел и робко, сквозь зубы, попросил Христофора позволить ему испытать свои силы над этими иероглифами.

Христофору показалось такое требование непростительною в молодом человеке самонадеянностию; он с презрением улыбнулся, прикрикнул, притопнул и поставил книгу на прежнее место.

Себастиян был в отчаянии; и днем и ночью недоконченные фразы запрещенной музыки звенели в ушах его; их докончить, разгадать смысл их гармонических соединений — сделалось в нем страстию, болезнию. Однажды ночью, мучимый бессонницею, юный Себастиян напевал потихоньку, стараясь подражать звукам глухого клавихорда, некоторые фразы заветной книги, оставшиеся у него в памяти, но многого он не понимал и многого не помнил. Наконец, выбившись из сил, Себастиян решился на дело страшное: он поднялся потихоньку с постели на цыпочки и, пользуясь светлым лунным сиянием, подошел к шкафу, засунул ручонку в его решетчатые дверцы, выдернул таинственную тетрадь, раскрыл ее... Кто опишет восторг его? мертвые ноты зазвучали пред ним; то, чего тщетно он отыскивал в неопределенных представлениях памяти,— то ясно выговаривалось ими. Целую ночь провел он в этом занятии, с жадностию перевертывая листы, напевая, ударяя пальцами по столу, как бы по клавишам, беспрестанно увлекаясь юным, пламенным порывом и беспрестанно пугаясь каждого своего несколько громкого звука, от которого мог проснуться строгий Христофор. Поутру Себастиян положил книгу на прежнее место, дав себе слово еще раз повторить свое наслаждение. Едва он мог дождаться ночи и едва она наступила, едва Христофор выкурил и поколотил о стол свою фарфоровую трубку,

как Себастиян опять за работу; луна светит, листы перевертываются, пальцы стучат по деревянной доске, трепещущий голос напевает величественные тоны, приготовленные для органа во всем его бесконечном великолепии... Вдруг у Себастияна рождается мысль сделать это наслаждение еще более сподручным: он достает листы нотной бумаги и, пользуясь слабым светом луны, принимается списывать заветную книгу; ничто его не останавливает,—не рябит в молодых глазах, сон не клонит молодой головы, лишь сердце его бьется и душа рвется за звуками... О, господа, этот восторг был не тот восторг, который находит на нас к концу обеда и проходит с пищеварением, и не тот, который называют наши поэты мимолетным: восторг Себастияна длился шесть месяцев, ибо шесть месяцев употребил он на свою работу,—и во все это время, каждую ночь, как пламенная дева, приходило к нему знакомое наслаждение; оно не вспыхивало и не гасло, оно тлело тихо, ровным, но сильным огнем, как тлеет металл, очищаясь в плавильном горниле. Вдохновение Себастияна в это время, как и во все время земного бытия его, было вдохновение, возведенное в степень терпения. Уже работа, изнурившая его силы, испортившая на всю жизнь его зрение, приходила к окончанию, как однажды, когда днем Себастиян хотел полюбоваться на свое сокровище, Христофор вошел в комнату; едва взглянул он на книгу, как угадал хитрость Себастияна и, несмотря ни на просьбы, ни на горькие его слезы, жестокосердый с хладнокровием бросил в печь долгий и тяжкий труд бедного мальчика. Удивляйтесь, господа, после этого вашему мифологическому Бруту: я здесь рассказываю вам не мертвый вымысел, а живую действительность, которая выше вымысла. Христофор нежно любил своего брата, понимал, как тяжко огорчит он его гениальную душу, отняв у него плод долгой и тяжкой работы, видел его слезы, слышал его стоны,—и все это весело принес в жертву своей системе, своим правилам, своему образу мыслей. Не выше ли он Брута, господа? или по крайней мере не равен ли этот подвиг с знаменитейшими подвигами языческой добродетели?

Но Себастиян не имел нашего высокого понятия об общественных добродетелях, не понял всего величия христофорова поступка: комната завертелась вокруг него, он готов был вслед за своею работою отправить и экземпляр этого проклятого Гаффория, который был всему виною,—а я должен предуведомить гг. библиоманов, что этот экземпляр, подвергавшийся столь явной опасности, был ни больше, ни меньше, как напечатанный

в Неаполе per Fraciscum de Dine, anno Domini 1480, in 4°, то есть editio princeps[1] и что, может быть, это был тот самый, едва ли не единственный экземпляр, который сохранился до нашего времени. Но бог библиомании, неизвестный древним, спас драгоценное издание и обратил Немезиду на голову Христофора, который вскоре после сего происшествия умер, как мы увидим ниже. Это также нечто вроде истории Брутов, и я уверен, что оно попадет в какую-нибудь хрестоматию в число поучительных исторических примеров.

Незадолго перед кончиною Христофора настал день, в который Себастиян должен был явиться на так называемую в лютеранской церкви конфирмацию. Христофор Бах пожелал, чтоб это важное происшествие в жизни протестанта случилось при могиле общего отца их, дабы она была, так сказать, свидетелем, что старший брат вполне исполнил родительскую обязанность. Для сего в первый раз завили букли Себастияну, напудрили его, приделали кошелек, сшили ему французский полосатый кафтан из старого бабушкина робронда и повезли в Эйзенах.

Здесь в первый раз Себастиян услышал звуки органа. Когда полное, потрясающее сердце созвучие, как дуновение бури, слетело с готических сводов,—Себастиян позабыл все его окружающее; это созвучие, казалось, оглушило его душу; он не видал ничего — ни великолепного храма, ни рядом с ним стоявших юных исповедниц, почти не понимал слов пастора, отвечал, не принимая никакого участия в словах своих; все нервы его, казалось, наполнились этим воздушным звуком, тело его невольно отделялось от земли... он не мог даже молиться. Христофор сердился и не мог понять, отчего прилежный, смиренный, кроткий, даже робкий Себастиян, столь твердо выучивший катехизис в Ордруфе, хуже всех и как будто с досадою отвечал пастору в Эйзенахе, отчего Себастиян замарал свой кафтан об стену, оставил на башмаке пряжку незастегнутою, был рассеян, невежлив, толкал своих соседей, не уступал места старикам и не умел никому выговорить одну из тех длинных кудрявых фраз, которыми немцы в то время измеряли степень своего уважения. В понятиях Христофора музыка соединялась со всеми семейными и общественными обязанностями: фальшивая квинта и невежливое слово были для него совершенно одно и то же, и он был твердо уверен, что человек, не наблюдающий всеми принятых обыкновений,

---

[1] Первое издание *(лат.)*.

невежливый, неопрятно одетый, никогда не может быть хорошим музыкантом, и наоборот,— и в добром Христофоре зародилось грустное сомнение: неужели он ошибся в своей системе — или, лучше сказать, в своем брате — и из Себастияна не выйдет ничего путного?

Это сомнение обратилось в уверенность, когда после обедни он повел Себастияна к Банделеру, славному органному мастеру того времени и родственнику семейства Бахов. После обеда веселый Банделер, по старинному обычаю, предложил собеседникам спеть так называемый Quodlibet[1] — род музыки, бывшей тогда в большом употреблении; в ней все участвовавшие пели народные песни, все вместе, но каждый свою, и за величайшее искусство почиталось вести свой голос так, чтоб он, несмотря на разноголосицу, составлял с другими голосами чистую гармонию. Бедный Себастиян попадал беспрестанно в фальшивые квинты, и немудрено: он засматривался, засматривался, увы! не на кроткую и прекрасную Энхен, дочь Банделера, которой живой портрет можете видеть в Эрмитаже, в изображении молодой девушки, нарисованной Лукою Кранахом,— Себастиян засматривался на огромные деревянные и свинцовые трубы, клавиши, педали и другие принадлежности недоконченного органа, находившиеся в столовой комнате; его юный ум, пораженный видом этого хаоса, трудился над разрешением задачи: каким образом столь низкие предметы порождают величественную гармонию? Христофор был в отчаянии.

После обеда старики развеселились, разговорились. Христофор Бах уже выкурил десятую трубку, уже в десятый раз рассказывал анекдот про свой канон и про арнштадтских органистов, и уже в десятый раз все присутствующие принимались смеяться от чистого сердца,— когда заметили, что Себастиян исчез. Общее смятение. Туда, сюда — нет Себастияна: Христофор в первую минуту подумал, что Себастиян, уставший от дневных хлопот, захотел ранее лечь в постелю; но он ошибся: Себастиян не возвращался. Христофор, не нашедши его дома, рассердился, огорчился, выкурил трубку и заснул в обыкновенное время.

И немудрено, что не отыскали Себастияна. Никому не могло прийти в голову, что он в то время по узким эйзенахским улицам пробирался к соборной церкви. Мысль — рассмотреть, откуда и как происходят те волшебные звуки, которые поразили его душу еще поутру, во время обедни, зародилась в голове Себастияна, и он

[1] Что угодно (*лат.*).

положил: во что бы то ни стало доставить себе это наслаждение.

Долго искал он входа в церковь. Главные врата были заперты; уже Себастиян готов был забраться по наружной стене в открытое в двух саженях от земли окошко, не боясь ни сломить головы, ни навлечь на себя подозрения в святотатстве, когда вдруг, к великой радости, он увидел низенькую, не крепко притворенную дверь; он толкнул — дверь отворилась; маленькая круглая лестница представилась глазам его; дрожа от страха и радости, он быстро побежал по ней, шагая через несколько ступеней, и наконец очутился в каком-то узком месте... перед ним ряды колонн, разной величины мехи, готические украшения. Луна, и теперь покровительствовавшая ему, мелькнула в разноцветные стекла полукруглых окошек, и Себастиян едва не вскрикнул от восхищения, когда увидел, что находится на том месте, где поутру видел органиста; смотрит — перед ним и клавиши, — как будто манят его изведать его юные силы; он бросается, сильно ударяет по ним, ждет, как полногласный звук грянет о своды церкви, — но орган, как будто стон гневного мужа раздался, испустил нестройное созвучие по храму и умолкнул. Тщетно Себастиян брал тот и другой аккорд, тщетно трогал то одну, то другую клавиатуру, тщетно выдвигал и вдвигал находившиеся вблизи рукоятки, — орган молчал, и только глухой костяной стук от клавишей, приводивших в движение клапаны труб, как будто насмехался над усилиями юноши. Холод пробежал по жилам Себастияна: он помыслил, что бог наказывает его за святотатство и что органу суждено навсегда молчать под его рукою; эта мысль привела его почти в беспамятство; но наконец он вспомнил виденные им мехи и с улыбкою догадался, что без их движения орган играть не может, что первый звук, им слышанный, происходил от небольшого количества воздуха, оставшегося в каком-либо воздухопроводе; он подосадовал на свое невежество и бросился к мехам; сильною рукою он приводил их в движение и потом опрометью бегал к клавиатуре, чтобы воспользоваться тем количеством воздуха, которое не успевало вылетать из меха, пока он добегал до клавиатуры; но тщетно, — не вполне потрясенные трубы издавали лишь нестройные звуки, и Себастиян обессилел от долгого движения. Чтоб не потерять напрасно плодов своего ночного путешествия, он вознамерился по крайней мере осмотреть это чудное для него произведение искусства. По узкой лестнице, едва приставленной к верхнему этажу органа, он пробрался в его внутренность. С изумлением смотрел он на все его

окружавшее: здесь огромные четвероугольные трубы, как будто остатки от древнего греческого здания, тянулись стеною одна над другой, а вокруг их ряды готических башен возвышали свои остроконечные металлические колонны; с любопытством рассматривал он воздухопроводы, которые, как жилы огромного организма, соединяли трубы с несметными клапанами клавишей, чудно устроенную машину, не издающую никакого особенного звука, но громкое сотрясение воздуха, соединяющееся со всеми звуками, которому никакой инструмент подражать не может...

Вдруг он смотрит: четвероугольные столбы подымаются с мест своих, соединяются с готическими колоннами, становятся ряд за рядом, еще... еще — и взорам Себастияна явилось бесконечное, дивное здание, которого наяву описать не может бедный язык человеческий. Здесь таинство зодчества соединялось с таинствами гармонии; над обширным, убегающим во все стороны от взора помостом полные созвучия пересекались в образе легких сводов и опирались на бесчисленные ритмические колонны; от тысячи курильниц восходил благоухающий дым и всю внутренность храма наполнял радужным сиянием... Ангелы мелодии носились на легких облаках его и исчезали в таинственном лобзании; в стройных геометрических линиях воздымались сочетания музыкальных орудий; над святилищем восходили хоры человеческих голосов; разноцветные завесы противозвучий свивались и развивались пред ним, и хроматическая гамма игривым барельефом струилась по карнизу... Все здесь жило гармоническою жизнию, звучало каждое радужное движение, благоухал каждый звук, — и невидимый голос внятно произносил таинственные слова религии и искусства...

Долго длилось сие видение. Пораженный пламенным благоговением, Себастиян упал ниц на землю, и мгновенно звуки усилились, загремели, земля затряслась под ним, и Себастиян проснулся. Величественные звуки еще продолжались, с ними сливается говор голосов... Себастиян осматривается: дневной свет поражает глаза, — он видит себя во внутренности органа, где вчера он заснул, обессиленный своими трудами.

Себастиян никак не мог уверить своего брата, что провел ночь в церкви, играя на органе; невольное движение души, руководившее Себастияна в сем случае, было непонятно Христофору. Напрасно говорил ему Себастиян о непостижимом чувстве, которое увлекло его, о своем нетерпении, о своем восторге. Христофор отвечал, что

ему самому это все известно, что действительно восторг должен существовать в музыканте, как о том пишет и Гаффорий, но что для восторга должно выбирать пристойное время; он доказывал убедительными доводами и примерами, что всякий восторг, всякая страсть должна основываться на правилах благоразумия и пристойного поведения, точно так же, как всякая музыкальная идея — на правилах контрапункта, а не на нарушении всех правил, приличий и обычаев; что увлекаться каким бы то ни было чувством есть дело человека безнравственного и неблаговоспитанного; за сим непосредственно он с новым жаром начинал упрекать Себастияна, напоминал ему, что ни отцу, ни деду его, ни прадеду никогда не случалось не ночевать дома, и в заключение приписывал все бывшее с Себастияном выдумке молодого человека, который хочет ею прикрыть какие-нибудь непозволительные шалости.

Это происшествие утвердило Христофора в мысли, что Себастиян — человек погибший, и столько огорчило его, что причинило ему болезнь, от которой он вскорости переселился в вечную жизнь. Себастиян ужаснулся, не нашедши у себя в сердце полного сожаления о потере своего воспитателя.

Себастиян не возвращался более в Ордруф, но, оставшись в Эйзенахе, посвятил жизнь свою развитию своего музыкального дара[1]. С благоговением он выслушивал уроки разных славных органистов, находившихся в этом городе, но ни один из них не удовлетворял его неумолимой любознательности. Тщетно выспрашивал он у своих учителей тайны гармонии; тщетно спрашивал их, каким образом наше ухо понимает соединения звуков? отчего чувства слуха нельзя поверить никаким другим физическим чувством? отчего такое соединение одних и тех же звуков приводит в восторг, а другое раздирает слух? Учители отвечали ему условными искусственными правилами, но эти правила не удовлетворяли ума его; то чувство о музыке, которое осталось в его душе после таинственного его видения, было ему понятнее, но словами он сам не мог себе дать в нем отчета.

---

[1] В одну из моих заграничных поездок я нарочно остановился в Эйзенахе и, разумеется, прежде всего спросил: где дом Себастияна Баха. Трактирный лакей долго не возвращался, но наконец пришел ко мне с известием, что господина Баха в Эйзенахе уже нет.— Где же он?— спросил я. «*Говорят,* что г. Бах умер»,— отвечал аккуратный лакей. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

Воспоминание об этом видении не оставляло Себастияна ни на минуту; он не мог бы вполне даже рассказать его, но впечатление, произведенное этим чувством, жило и мешалось со всеми его мыслями и чувствами и накидывало на них как бы радужное покрывало. Когда он рассказывал о сем Банделеру, которого не переставал посещать после смерти Христофора, старик смеялся и советовал ему не думать о грезах, а употреблять свое время на изучение органного мастерства, уверяя, что оно может доставить ему безбедное на всю жизнь пропитание.

Себастиян, в простоте сердца, почти верил словам Банделера и негодовал на себя, зачем сновидение так часто и против его воли приходит к нему в голову.

В самом деле, Себастиян в скором времени переселился к Банделеру и со всем возможным рвением принялся учиться его ремеслу, а потом и помогать ему. С величайшим рачением он обтачивал клавиши, вымеривал трубы, приделывал поршни, выгибал проволоку, обклеивал клапаны; но часто работа выпадала у него из рук, и он с горестию помышлял о неизмеримом расстоянии, разделявшем чувство, возбужденное в нем таинственным его видением, от ремесла, на которое он был осужден; смех работников, их пошлые шутки, визг настроиваемых органов выводили его из задумчивости, и он, упрекая себя в своем ребяческом мечтательстве, снова принимался за работу. Банделер не замечал таких горьких минут души Себастияновой; он видел только его прилежание, и в голове старика вертелись другие мысли: он часто ласкал Себастияна при своей Энхен, или ласкал свою Энхен при Себастияне; часто заводил он речь об ее искусстве вести расход и заниматься другим домашним хозяйством, потом о ее набожности, а иногда и о миловидности. Энхен краснела, умильно посматривала на Себастияна, и с некоторого времени стали замечать в доме, что она с большим рачением начала крахмалить и выглаживать свои манжеты и еще с большим прилежанием и гораздо больше времени, нежели прежде, проводить на кухне и за домашними счетами.

Однажды Банделер объявил своим домашним, что у него будет к обеду старый его товарищ, недавно приехавший в Эйзенах, люнебургский органный мастер Иоганн Албрехт. «Я его до сих пор люблю,— говорил Банделер,— он человек добрый и тихий, истинный христианин, и мог бы даже быть славным органным мастером; но человек странный; за все хватается: мало ему органов, нет! он хочет делать и органы, и клавихорды, и скрипки, и теорбы; и над всем этим уж мудрит, мудрит — и что же из

этого выходит? Слушайте, молодые люди! Закажут ему орган — он возьмет и, нечего сказать, работает рачительно — не месяц, не два, а год и больше,— да не утерпит, ввернет в него какую-нибудь новую штуку, к которой не привыкли наши органисты; орган у него и останется на руках; рад, рад, что продаст его за полцены. Скрипку ли станет делать... Вот сосед наш Клоц — он нашел секрет: возьмет скрипку старого мастера Штейнера, снимет с нее мерку, вырежет доску точь-в-точь по ней, и дужку подгонит, и подставку поставит, и колки ввернет, и выйдет у него из рук не скрипка, а чудо; оттого у него скрипки нарасхват берут, не только что в нашей благословенной Германии, но и во Франции, и в Италии — и вот посмотрите, наш сосед какой себе домик выстроил. Старик же Албрехт? — станет он мерку снимать... все вычисляет, да вымеривает, ищет в скрипке какой-то математической пропорции: то снимет с нее четвертую струну, то опять навяжет, то выгнет деку, то выпрямит, то сделает ее вздутою, то плоскою — и уж хлопочет, хлопочет; а что выходит? Поверите ли, вот уж двадцать лет, как ему не удалось сделать ни одной порядочной скрипки. Между тем, время идет, а торговля его никак не подвигается: все он как будто в первый раз заводит мастерскую... Не берите с него примера, молодые люди; худо бывает, когда у человека ум за разум зайдет. Новизна и мудрованье в нашем деле, как и во всяком другом, никуда не годятся. Наши отцы, право, не глупые были люди; они все хорошее придумали, а нам уж ничего выдумывать не оставили; дай бог и до них-то добраться!»

При этих словах вошел Иоганн Албрехт[1]. «Кстати,— сказал Банделер, обнимая его,— кстати пришел, мой добрый Иоганн. Я сейчас только бранил тебя и советовал моим молодым людям не подражать тебе».

— Дурно сделал, любезный Карл! — отвечал Албрехт.— Потому что мне в них будет большая нужда. Я приехал просить у тебя помощников для новой и трудной работы...

— Ну, уж верно еще какая-нибудь выдумка! — вскричал Банделер с хохотом.

— Да! выдумка, и которая, подивись, удалась мне...

— Как все твои скрипки...

---

[1] В летописях музыки известны три Иоганна Албрехта, явившиеся несколько позже; неизвестно, о котором из них говорит повествователь; впрочем, кажется, у него своя хронология. Мы предоставляем самому читателю поверить ее как следует. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

— Нечто поважнее скрипок; дело идет о совершенно новом регистре[1] в органе.

— Так! я уже знал это. Нельзя ли сообщить? Поучимся у тебя хоть раз в жизни...

— Ты знаешь, я не люблю говорить на ветер. Вот, за обедом, на свободе, потолкуем о моем новом регистре.

— Посмотрим, посмотрим.

К обеду собралось несколько человек эйзенахских органистов и музыкантов; к ним, по древнему немецкому обычаю, присоединились все ученики Банделера, так что за столом было довольно многочисленное собрание.

Албрехту напомнили о его обещании.

— Вы знаете, мои друзья,— сказал он,— что я уже давно стараюсь проникнуть в таинства гармонии и для этого беспрестанно занимаюсь разными опытами.

— Знаем, знаем,— сказал Банделер,— к сожалению, знаем.

— Как бы то ни было, я почитаю такое занятие необходимым для нашего мастерства...

— В этом-то и беда твоя...

— Дослушай меня терпеливо! Недавно, занимаясь пифагоровыми опытами над монохордом, я сильно рванул толстую, длинную струну, крепко натянутую, и — вообразите себе мое удивление: я заметил, что к звуку, ею изданному, присоединялись другие тоны. Я повторил несколько раз свой опыт — и наконец явственно удостоверился, что эти тоны были: квинта и терция; это наблюдение озарило мой ум ярким светом: итак, подумал я, все в мире приводится к единству — так и должно быть! Во всяком звуке мы слышим целый аккорд. Мелодия есть ряд аккордов; каждый звук есть не иное что, как полная гармония. Я начал над этим думать; думал, думал — наконец решился сделать к органу новый регистр, в котором каждый клавиш открывает несколько трубок, настроенных в полный аккорд,— и этот регистр я назвал мистерией:[2] ибо, действительно, в нем скрывается важное таинство.

Все старики захохотали, а молодые на ухо стали перешептываться друг с другом. Банделер не утерпел, вскочил с места, открыл клавихорд: «Послушайте, госпо-

[1] Орган, как известно, составлен как бы из нескольких оркестров или масс различных инструментов. Деревянные трубы составляют одну массу; металлические другую; каждая из них имеет многие подразделения. Сии подразделения имеют каждое свое наименование: Vox humana, Quintadena и проч. т. п. Сии-то подразделения называются *регистрами*. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

[2] Это слово в нынешних органах превратилось в прозаическое выражение: Mixturen. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

да,— вскричал он,— какое изобретение нам предлагает наш добрый Албрехт»,— и заиграл какую-то комическую народную песню фальшивыми квинтами. Общий смех удвоился; один Себастиян не участвовал в нем, но, вперив глаза на Албрехта, с нетерпением ожидал ответа.

— Смейтесь, как хотите, господа,— но я принужден вам сказать, что мой новый регистр придал такую силу и величие органу, каких у него до сих пор не было.

— Это уж слишком!— проговорил Банделер и, подав знак другим к молчанию, во весь обед не говорил более ни слова об этом предмете.

Когда обед кончился, Банделер отвел Албрехта в сторону от молодых людей и сказал:

— Послушай, мой милый и любезный Иоганн! Не сердись на меня, старого своего сотоварища и соученика; я не хотел тебе говорить при молодых людях; но теперь, наедине, как старый твой друг, говорю тебе: войди в себя, не стыди своих седых волос — неужели ты в самом деле хочешь свой нелепый регистр приделать к органу?..

— Как приделать!— вскричал Албрехт громко.— Да это уже сделано, и повторяю тебе, ни один доселе существовавший орган не может сравниться с моим...

— Послушай меня, Иоганн! Ты знаешь, я лет пятьдесят уже занимаюсь органным мастерством; лет тридцать живу мастером; вот сосед Гартманн тоже; наши отцы, деды наши делали органы,— как же ты хочешь нас уверить в таком деле, которое противно первым основаниям нашего мастерства?..

— И, однако же, не противно природе!

— Да помилуй; тут не только фальшивые квинты, но совершенная несуладица.

— И между тем эти фальшивые квинты в полном органе составляют величественную гармонию.

— Да фальшивые квинты...

— Неужели вы думаете,— прервал его Албрехт,— вы, господа, которые в продолжение 50 лет обтачиваете трубы точно так же, как отцы и деды ваши обтачивали,— неужели вы думаете, что это занятие дало вам возможность постигнуть все таинства гармонии? Этих таинств не откроете молотком и шилою: они далеко, далеко в душе человека, как в закрытом сосуде; бог выводит их в мир, они принимают тело и образ не по воле человека, но по воле божией. Вам ли остановить ее действия, потому что вы ее не понимаете?.. Но окончим это. Повторяю, что я к вам пришел с просьбою, к тебе, Карл, и к тебе, Гартманн: я теперь завален работою, мне нужны помощники — ссудите меня несколькими учениками.

— Помилуй! — сказал Банделер, рассерженный. — Да кто же из них согласится пойти к тебе в ученики после всего того, что ты здесь наговорил?

— Если б я смел... — проговорил тихо Себастиян.

— Как? ты, Себастиян? лучший, прилежнейший из моих учеников...

— Мне хотелось бы послушать новый орган господина Албрехта...

— Послушать фальшивые квинты... Неужели ты веришь, что это возможное дело?..

— Фома неверующий! — вскричал Албрехт. — Да поезжай сам в Люнебург — там по крайней мере уверишься своими собственными ушами...

— Кто? я? я поеду в Люнебург? зачем? чтобы сказали, что я ничего не смыслю в своем мастерстве, что я такой же чудак, как Албрехт, что я верю его выдумкам, которым поверит разве мальчик, — чтоб все стали смеяться надо мною...

— Не беспокойся; ты будешь в такой компании, над которою не будут смеяться. Император, в проезд свой через Люнебург, был у меня...

— Император?

— Ты знаешь, какой он глубокий знаток музыки. Он слышал мой новый орган и заказал мне такой же для венской соборной церкви; вот условие в 10 тысяч гульденов; вот другие заказы для Дрездена, для Берлина... Теперь веришь ли мне? Я до сих пор не говорил вам об этом и ожидал, что вы поверите словам вашего старого Албрехта...

Руки опустились у присутствующих. После некоторого молчания Клоц подошел к Албрехту и, низко поклонясь ему, сказал: «Хоть я и не занимаюсь органным мастерством, но такое важное открытие заставляет и меня просить вас, господин Албрехт, позволить мне посмотреть на ваш новый регистр и поучиться». Гартманн, не говоря ни слова, тотчас пошел домой приготовляться к отъезду. Один Банделер остался в нерешимости; он отпустил к Албрехту несколько учеников, а с ними и Себастияна, но сам в Люнебург не поехал.

Недолго работал Себастиян у Албрехта. Однажды, в праздничный день, когда юноша, сидя за клавихордом, напевал духовные песни, старик незаметно вошел в комнату и долго его слушал. «Себастиян! — наконец сказал он. — Я теперь только узнал тебя; ты не ремесленник; не твое дело обтачивать клавиши: другое, высшее пред-

назначение тебя ожидает. Ты музыкант, Себастиян!— вскричал пламенный старец.— Ты определен на это высокое звание, которого важность немногие понимают. Тебе дало в удел провидение говорить тем языком, на котором человеку понятно божество и на котором душа человека доходит до престола всевышнего. Со временем мы больше поговорим об этом. Теперь же оставь свои ремесленные занятия; я теряю в тебе надежного помощника, но не хочу противоборствовать воле провидения: оно тебя недаром создало.

Тебе,— продолжал Албрехт после некоторого молчания,— тебе трудно будет здесь получить место органиста; у тебя хороший голос — надобно образовать его; Магдалина ходит учиться пению к здешнему пастору: ходи вместе с нею; между тем я постараюсь поместить тебя в хор Михайловской церкви — это обеспечит твое содержание; а ты пока изучай орган — это величественное подобие божия мира: в обоих много таинств; их открыть может одно прилежное изучение».

Себастиян бросился к ногам Албрехта.

С тех пор Себастиян был как родной в доме Иоганна.

Магдалина была проста и прекрасна. Мать ее, итальянка, передала ей черные лоснистые локоны, которые кудрями вились над северными голубыми глазами; но в этом заключалось все, чем Магдалина отличалась от своих сверстниц. Лишившись матери на третьем году от рождения и воспитанная в простоте старинных немецких нравов, она не знала ничего, кроме своего маленького мира: поутру посмотреть за кухней, потом полить цветы в огороде, после обеда уголок возле окошка и пяльцы, в субботу принять белье, в воскресенье к пастору. Про нее тогдашние люнебургские музыканты говорили, что она похожа на итальянскую тему, обработанную в немецком вкусе. Себастиян ходил с нею учиться петь, как будто с товарищем. На неопытного юношу, воспламененного речами Албрехта, не действовала красота и невинность девушки; в чистой душе его не было места для земного чувства: в ней носились одни звуки, их чудные сочетания, их таинственные отношения к миру. Напротив, гордый юноша еще сердился на прелестную и выговаривал ей, когда ее несозревший голос перерывался на необходимой ноте аккорда или когда она простодушно спрашивала объяснения в музыкальных задачах, которые казались так<ими> легкими Себастияну.

Себастиян плавал в своей стихии: албрехтово огромное хранилище книг и нот было ему открыто. Утром он изощрял свои силы на различных инструментах, особливо на клавихорде, или занимался пением; в продолжение дня он выпрашивал у знакомого органиста ключ от церковного органа и там, один, под готическими сводами, изучал таинства чудного инструмента. Лишь алтарь божий, покрытый завесою, внимал ему в величественном безмолвии. Тогда Себастиян вспоминал свое приключение в эйзенахской церкви; снова его младенческое сновидение восставало из-за мрачных углублений храма: с каждым днем оно становилось ему понятнее — и благоговейный ужас находил на душу юноши, сердце его горело, и волосы подымались на голове. Ввечеру, возвращаясь домой, он заставал Албрехта, уставшего от дневных забот, окруженного учениками; тихо беседовал он с ними, и высокие речи, позлащенные игривым иносказанием, выливались из уст его. Не думайте, однако же, господа, что Албрехт принадлежал к числу тех красноречивых риторов, которые сперва начертят голый скелет, а потом и примутся, для удовольствия почтеннейшей публики, украшать его метафорами, аллегориями, метонимиями и другими конфектами. Язык обыкновенный был потому редок в устах Албрехта, что он не находил в нем слов для выражения своих мыслей: он был принужден искать во всей природе предметов, которые могли бы облечь его чувство, недоговариваемое словом. Есть язык, которым говорит полудикий, перешедший на первую точку просвещения, когда его только что поразили новые, еще неразгаданные мысли; тем же языком говорит и вошедший в святилище тайных наук, желая дать тело предметам, для которых недостаточен язык человека; таким языком говорил и Албрехт, который, может быть, был соединением того и другого; немногие сочувствовали Албрехту и понимали его; другие старались поймать в словах его какое-либо новое руководство для своего мастерства; остальные рассеянно — из почтения — слушали его.

«Было время,— говаривал Албрехт,— от которого нам не осталось ни звука, ни слова, ни очерка: тогда *выражение* было не нужно человечеству; сладко покоилось оно в невинной, младенческой колыбели и в беспечных снах понимало и бога и природу, настоящее и будущее. Но... всколыхалась колыбель младенца; нежному, неоперенному, как мотыльку в едва раздавшейся личинке, предстала природа грозная, вопрошающая: тщетно юный алкид хотел в свой младенческий лепет заковать ее огромные, разнообразные формы; она коснулась главою мира идей,

пятою — грубого инстинкта кристаллов, и вызвала человека сравниться с собою. Тогда родились два постоянные, вечные, но опасные, вероломные союзника души человека: *мысль* и *выражение*.

Никто не знает, как долго длилась эта первобытная распря: на поле битвы до сих пор остались лишь пирамиды, брошенные в песках Египта; великолепные чертоги, свидетельствующие о древней силе, занесенные илом; остались еще болезни человека, которых тяжкая цепь исчезает во мраке древности. Побежденный, но сильный прежнею силою, человек продолжал эту битву, падал, но с каждым новым падением, как Антей, приобретал новое могущество; уже, казалось, он подчинил себе необоримую,— как вдруг пред душою человека явился новый противник, более страшный, более взыскательный, более докучливый, более недовольный — *он сам:* с появлением этого сподвижника проснулась и усмиренная на время сила природы. Грозные, неотступные враги с ожесточением устремились на человека и, как титаны в битве с Зевесом, поражали его громадой страшных вопросов о жизни и смерти, о воле и необходимости, о движении и покое, и тщетно бы доныне философ уклонялся за щит логических заключений, тщетно математик скрывался бы в извилинах спирали и конхоиды,— человечество погибло бы, если бы небо не послало ему нового поборника: *искусство!* Эта могучая, ничем не оборимая сила, отблеск зиждителя, скоро покорила себе и природу, и человека; как Эдип, она угадала все символы двуглавого сфинкса — и это торжественное мгновение жизни человечества люди назвали Орфеем, покоряющим камни силою гармонии. С помощью этой живительной, творческой мощи человек соорудил здание иероглифов, статуй, храмов, «Илиаду» Гомера, «Божественную комедию» Данте, олимпийские гимны и псальмы христианства: он сомкнул в них таинственные силы природы и души своей; заключенные в их великолепных, но тесных темницах, они рвутся из них на свободу, и оттого при взгляде на «Цецилию» Дюрера, на Венеру Медичейскую, со сводов страсбургской колокольни на нас пашет тем дыханием бурным, которое хладом проходит по жилам и погружает душу в священную думу.

Но есть еще высшая степень души человека, которой он не разделяет с природою, которая ускользает из-под резца ваятеля, которую не доскажут пламенные строки стихотворца,— та степень, где душа, гордая своею победой над природою, во всем блеске славы, смиряется пред вышнею силою, с горьким страданием жаждет перенести

себя к подножию ее престола и, как странник среди роскошных наслаждений чуждой земли, вздыхает по отчизне; чувство, возбуждающееся на этой степени, люди назвали *невыразимым;* единственный язык сего чувства — *музыка:* в этой высшей сфере человеческого искусства человек забывает о бурях земного странствования; в ней, как на высоте Альпов, блещет безоблачное солнце гармонии; одни ее неопределенные, безграничные звуки обнимают беспредельную душу человека; лишь они могут совокупить воедино стихии грусти и радости, разрозненные падением человека,—лишь ими младенчествует сердце и переносит нас в первую невинную колыбель первого невинного человека.

Не ослабевайте же, юноши! Молитесь, сосредоточивайте все познания ума, все силы сердца на усовершенствование орудий сего дивного искусства; в их простых, грубых трубах сокрыто таинство возбуждения возвышеннейших чувств в душе человека; каждый новый шаг их к успеху приближает их к той духовной силе, которой они должны служить выражением; каждый новый шаг их есть новая победа человека над жизнию, над этим призраком, который, смеясь над усилиями ума, с каждым днем становится ужаснее и грозит в прах разрушить скудельный сосуд человека».

Так часто беседовал Албрехт; вокруг его царствовало глубокое безмолвие; лишь изредка вспыхивал уголь погасавшего очага и мгновенно освещал седую голову старца, молодые, свежие лица германских юношей, черные локоны Магдалины, блестящие развалины недоконченных инструментов... Раздавался голос ночного сторожа, старец благословлял присутствующих и оканчивал гармонический день торжественною, звучною молитвою.

Слова Албрехта падали на душу Себастияна; часто он терялся в их таинственности; он не мог бы даже пересказать их, но понимал чувство, которое они выражали; этим чувством бессознательно возрастала душа его и укреплялась в пламенной внутренней деятельности...

Годы протекали; Албрехт окончил постройку своих органов, полученные деньги роздал по ученикам или употребил на новые опыты — и, не помышляя об умножении своего достатка, уже снова трудился над каким-то новым усовершенствованием своего любимого инструмента: говорят, что он хотел соединить в нем представителей всех стихий мира — земли и воздуха, воды и огня. Между тем в Люнебурге только и говорили, что о молодом

органисте Бахе; и голос Магдалины развивался с летами: уже она могла разбирать партицию с первого взгляда, пела и играла себастиянову музыку.

Однажды Албрехт сказал молодому музыканту: «Слушай, Себастиян, тебе уже не у кого учиться в Люнебурге: ты далеко обогнал всех здешних органистов; но искусство бесконечно: тебе надобно познакомиться с теми, которых место ты некогда должен заступить в музыкальном мире. Я тебе выхлопотал место придворного скрипача в Веймаре; оно тебе доставит деньги — необходимую вещь на земле, а деньги доставят тебе возможность побывать в Любеке и Гамбурге, где ты услышишь славных друзей моих: Букстегуда и Рейнкена. Мешкать нечего в этом свете; время летит — собирайся в дорогу».

Сначала это предложение обрадовало Себастияна: услышать Букстегуда, Рейнкена, которых сочинения он знал почти наизусть, поверить себя, так ли он понимал их высокие мысли; услышать их блистательные импровизации, которых нельзя приковать к бумаге; узнать их способ соединения регистров; испытать свои силы пред этими знаменитыми судиями; распространить свою известность — все это в минуту представилось юному воображению; но оставить дом, в котором развился его младенческий талант, дом, в котором все дышало, все жило гармониею; не слыхать более Албрехта, попасть снова в среду людей холодных, не понимающих святыни искусства!.. Тут пришла ему в голову и Магдалина с ее черными локонами, с ее голубыми глазами, с ее простосердечной улыбкой. Он так привык к ее мягкому, будто бархатом подернутому голосу; к нему, казалось, приросли все любимые мелодии Себастияна; она так хорошо помогала ему разыгрывать новые партиции; она с таким участием слушала его сочинения; он так любил, чтобы она была перед ним, когда, в грезах импровизации, глаза его неподвижно останавливались на одном и том же месте... Еще недавно она догадалась, что Себастияновы пальцы не захватывали всех необходимых звуков в аккорде, встала, наклонилась на стул и положила свой маленький пальчик на клавиш... Себастиян задумался; чем больше он думал, тем больше видел, что Магдалина мешалась со всеми происшествиями его музыкальной жизни; он удивлялся, как до сих пор не замечал этого... посмотрел вокруг себя; вот ноты, которые она для него переписывала; вот перо, которое она для него чинила; вот струна, которую она навязала в его отсутствие; вот листок, на котором она записала его импровизацию, без чего эта импровизация навсегда бы потерялась... Из всего

этого Себастиян заключил, что Магдалина ему необходима; углубляясь больше в самого себя, он наконец нашел, что чувство, которое он ощущал к Магдалине, было то, что обыкновенно называют любовью. Это открытие его очень изумило: ежедневное обращение в одной и той же сфере мыслей и чувств; ежедневное спокойствие, столь естественное, сродное характеру Себастияна, даже однообразный порядок занятий в доме Албрехта,— все это так приучило душу юноши к тихому, гармоническому бытию; Магдалина была столь стройным, необходимым звуком в этой гармонии, что самая любовь их зародилась, прошла все свои периоды почти незаметно для самих молодых людей,— так полно слилась она со всеми происшествиями их целомудренной жизни.— Может быть, Магдалина стала раньше понимать это чувство; но одна разлука могла объяснить его Себастияну.

«Магдалина! сестрица!— сказал ей Себастиян, запинаясь, когда она вошла в комнату.— Отец твой посылает меня в Веймар... мы не будем вместе... может быть, долго не увидимся: хочешь ли быть моею женою? тогда мы всегда будем вместе».

Магдалина закраснелась, подала ему руку и сказала:— Пойдем к батюшке.

Старик встретил их, улыбаясь:

«Я уже давно предвидел это,— сказал он,— видно, божья воля,— прибавил он со вздохом,— бог да благословит вас, дети; искусство вас соединило: пусть оно будет крепкою связью для всего вашего существования. Но только, Себастиян, не слишком прилепляйся к пению; ты слишком часто поешь с Магдалиною: голос исполнен страстей человеческих; незаметно — в минуту самого чистого вдохновения — в голос прорываются звуки из другого, нечистого мира; на человеческом голосе лежит еще печать первого грешного вопля!.. Орган, тебе подвластный, не есть живое орудие; но зато и непричастен заблуждениям нашей воли: он вечно спокоен, бесстрастен, как бесстрастна природа; его ровные созвучия не покоряются прихотям земного наслаждения; лишь душа, погруженная в тихую, безмолвную молитву, дает душу и его деревянным трубам, и они, торжественно потрясая воздух, выводят пред нею собственное ее величие...».

Я не буду вам рассказывать, милостивые государи, подробностей о свадьбе Себастияна, о его поездке в Веймар, о кончине Албрехта, вскоре затем последовавшей, о разных должностях, которые Себастиян занимал в

разных городах; о его знакомстве с разными знаменитыми людьми. Все эти подробности вы найдете в различных биографиях Баха; мне — не знаю, как вам — мне любопытнее происшествия внутренней жизни Себастияна. Чтоб познакомиться с этими происшествиями, есть единственное средство: я вам советую, подобно мне, проиграть всю Бахову музыку от начала до конца. Жаль, что умер мой говорливый старик Албрехт: он по крайней мере рассказывал то, что чувствовал Себастиян; когда Себастиян слушал Албрехта, то всегда думал, что себя слушает; сам же словесным языком говорил мало,— он говорил только звуками органа. А вы не можете себе вообразить, как трудно с этого небесного, беспредельного языка переводить на наш сжатый, смешанный с прахом жизни язык. Иногда мне на четыре ноты приходится писать целый том комментарий, и все-таки эти четыре ноты яснее моего тома говорят для того, кто умеет понимать их.

Действительно, Бах знал только одно в этом мире — свое искусство; все в природе и жизни — радость, горе — было понятно ему тогда только, когда проходило сквозь музыкальные звуки; ими он мыслил, ими чувствовал, ими дышал Себастиян; все остальное было для него не нужно и мертво. Я верю тому, что Тальма в минуту сильнейшей скорби невольно подходил к зеркалу, чтоб посмотреть, какие морщины она произвела на лице его. Таков должен быть художник — таков был Бах; подписывая денежную сделку, он заметил, что буквы его имени составляют оригинальную, богатую мелодию, и написал на нее фугу;[1] услышав первый крик своего младенца, он обрадовался, но не мог не исследовать, к какого рода гамме принадлежали звуки, им слышанные; узнав о смерти своего истинного друга, он закрыл лицо рукою — и через минуту начал писать погребальный Motetto[2].— Не обвиняйте Баха в нечувствительности: он чувствовал, может быть, глубже других, но чувствовал по-своему: это были человеческие чувства, но в мире искусства. Столь же мало он ценил и собственную свою славу; в Гамбурге рассказывали, как столетний органист Рейнкен, услышав Баха, прослезился и сказал с простосердечием: «Я думал, что мое искусство умрет вместе со мною, но ты его воскрешаешь». В Дрездене толковали, как Маршанд, знаменитый органист того времени, вызванный на соперничество с Бахом, испугался и уехал из Дрездена в самый день концерта; в

---

[1] Известна Бахова фуга на следующий мотив: b.a.c.h. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

[2] Сочинение на библейский текст *(ит.)*.

Берлине удивлялись, что Фридрих Великий, прочитывая перед началом своего домашнего концерта список приезжающих в Потсдам, сказал окружающим с видимым беспокойством: «Господа! старший Бах приехал»,—со смирением отложил свою флейту, послал тотчас за Бахом, заставил его в дорожном платье переходить от фортепьян к фортепьянам, которые стояли во всех комнатах Потсдамского дворца, дал Себастияну тему для фуги и с благоговением слушал его.

А Себастиян, возвращаясь к своей Магдалине, рассказывал ей, лишь какая счастливая мелодия ему попалась во время импровизации перед Рейнкеном, как сделан соборный орган в Дрездене и как он у короля Фридриха воспользовался расстроенною нотою фортепьяна для энгармонического перехода—и только! Магдалина не спрашивала больше, а Себастиян тотчас садился за клавихорд и играл или пел с нею свои новые сочинения; это был обыкновенный способ разговора между супругами; иначе они не говорили между собою.

Таковы были и все дни его жизни. Утром он писал, потом объяснял своим сыновьям и другим ученикам таинства гармонии или исполнял в церкви должность органиста, ввечеру садился за клавихорд, пел и играл с своей Магдалиной, засыпал спокойно, и во сне ему слышались одни звуки, представлялись одни движения мелодий. В минуты рассеянности он веселил себя, разбирая новую музыку ad aperturam libri[1], или импровизируя фантазии по цифрованному басу, или, слушая трио, садился за клавихорд, прибавлял новый голос и таким образом превращал трио в настоящий квартет.

Частая игра на органе, беспрестанное размышление о сем инструменте еще более развили ровный, спокойный, величественный характер Баха. Этот характер отражался во всей его жизни, или, лучше сказать, во всей его музыке. В ранних его сочинениях видны еще некоторые жертвы господствовавшему в его время вкусу; но впоследствии Бах отряс и этот прах, привязывавший его к ежедневной жизни, и спокойная душа его вполне напечатлелась в его величественных мелодиях, в его ровном, бесстрастном выражении. Словом, он сделался церковным органом, возведенным на степень человека.

Я уже говорил вам, что на него вдохновение не находило порывами; тихим огнем оно горело в душе его: за клавихордом дома, в хоре своих учеников, в приятельской беседе, за органом в храме—он везде был верен

---

[1] Без подготовки, «с листа» *(лат., ит.)*.

святыне искусства, и никогда земная мысль, земная страсть не прорывались в его звуки; оттого теперь, когда музыка перестала быть молитвою, когда она сделалась выражением мятежных страстей, забавою праздности, приманкою тщеславия—музыка Баха кажется холодною, безжизненною; мы не понимаем ее, как не понимаем бесстрастия мучеников на костре язычества; мы ищем понятного, близкого к нашей лени, к удобствам жизни; нам страшна глубина чувства, как страшна глубина мыслей; мы боимся, чтоб, погрузясь во внутренность души своей, не открыть своего безобразия; смерть окова-ла все движения нашего сердца—мы боимся жизни! боимся того, что не выражается словами; а что можно ими выразить?.. Не то ощущал Бах, погруженный в развитие своих музыкальных фантазий: вся душа его переселялась в пальцы; покорные его воле, они выражали его чувство в бесчисленных образах; но это чувство было едино, и простейшее его выражение заключалось в нескольких нотах: так едино чувство молитвы, хотя дары ее разнообразно являются в людях.

Не то ощущали и счастливцы, внимавшие органу, звучавшему под пальцами Баха; не рассеивалось их благоговение игривыми блестками: его сначала выражала мелодия простая, как просто первое чувство младенствующего сердца,—потом, мало-помалу, мелодия развивалась, мужала, порождала другую, ей созвучную, потом третью; все они то сливались между собой в братском лобзании, то рассыпались в разнообразных аккордах; но первое благоговейное чувство не терялось ни на минуту: оно лишь касалось всех движений, всех изгибов сердца, чтоб благодатною росою оживить все силы душевные; когда же были исчерпаны все их многоразличные образы, оно снова являлось в простых, но огромных, полных созвучиях, и слушатели выходили из храма с освеженною, с воззванною к жизни и любви душою.

Биографы Баха описывают это гармоническое, ныне потерянное таинство следующим образом: «Во время богослужения, говорят они, Бах брал одну тему и так искусно умел ее обрабатывать на органе, что она ему доставала часа на два. Сначала была слышна эта тема в форшпиле или в прелюдии; потом Бах обрабатывал ее в виде фуги; потом, посредством различных регистров, обращал он в трио или квартет все ту же тему; за сим следовал хорал, в котором опять была та же тема, расположенная на три или на четыре голоса; наконец, в заключение, следовала новая фуга, опять на ту же тему,

но обработанную другим образом и к которой присоединялись две другие. Вот настоящее органное искусство».

Так эти люди переводят на свой язык религиозное вдохновение музыканта!

Однажды во время богослужения Бах сидел за органом весь погруженный в благоговение, и хор присутствовавших сливался с величественными созвучиями священного инструмента. Вдруг органист невольно вздрогнул, остановился; через минуту он снова продолжал играть, но все заметили, что он был встревожен, что он беспрестанно оборачивался назад и с беспокойным любопытством посматривал на толпу. В средине пения Бах заметил, что к общему хору присоединился голос прекрасный, чистый, но в котором было что-то странное, что-то непохожее на обыкновенное пение: часто он то заливался, как вопль страдания, то резко раздавался, как буйный возглас веселой толпы, то вырывался как будто из мрачной пустыни души,— словом, это был голос не благоговения, не молитвы, в нем было что-то соблазнительное. Опытное ухо Баха тотчас заметило этот новый род выражения; оно было для него ярким, ослепительным цветом на полусветлой картине; оно нарушало общую гармонию: от этого выражения пламенное благоговение переставало быть целомудренным; духовная, легкокрылая молитва тяжелела; в этом выражении была какая-то горькая насмешка над общим таинственным спокойствием — она смутила Баха; тщетно он хотел не слыхать ее, тщетно хотел истребить эти земные порывы в громогласных аккордах: страстный, болезненный голос гордо возносился над всем хором и, казалось, осквернял каждое созвучие.

Когда Бах возвратился домой, вслед за ним вошел незнакомец, говоря, что он иностранец, музыкант и пришел принести дань своего уважения знаменитому Баху. То был молодой человек высокого роста с черными, полуденными глазами; против германского обыкновения, он не носил пудры; его черные кудри рассыпались по плечам, обрисовывали его смуглое сухощавое лицо, на котором беспрестанно менялось выражение; но общий характер его лица была какая-то беспокойная задумчивость или рассеянность; его глаза беспрестанно перебегали от предмета к предмету и ни на одном не останавливались; казалось, он боялся чужого внимания, боялся и своих страстей, которые мрачным огнем горели в его томных, подернутых влагою взорах.

— Я родом из Венеции, по имени Франческо,— сказал

молодой человек,—ученик знаменитого аббата Оливы, последователя славного Чести.

— Чести!—сказал Бах.—Я знаю его музыку; слыхал и об аббате Оливе, хотя мало; очень рад познакомиться с вами.

Добродушный и простосердечный Бах, ласково принимавший всех иностранцев, обласкал и молодого человека, расспрашивал его о состоянии музыки в Италии и, наконец, хотя и не любил новой итальянской музыки, но пригласил Франческо познакомить его с новыми произведениями его учителя.

Франческо отважно сел за клавихорд, запел,—и Себастиян тотчас узнал тот голос, который поразил его в церкви, однако же не показал неудовольствия и слушал венециянца со всегдашним своим спокойствием и добродушием.

Тогда только что начинался век новой итальянской музыки, которой последнее развитие мы видим в Россини и его последователях. Кариссими, Чести, Кавалли хотели сбросить несколько уже устаревшие формы своих предшественников, дать пению некоторую свободу; но последователи сих талантов пошли далее: уже пение претворялось в неистовый крик; уже в некоторых местах прибавляли украшения не для самой музыки, но чтоб дать певцу возможность блеснуть своим голосом; изобретение слабело, игривость рулад и трелей заступила место обработанных, полных созвучий. Бах имел понятие об операх Чести и Кавалли; но новый род, в котором пел Франческо, был совершенно неизвестен арнштадтскому органисту. Представьте себе важного Баха, привыкшего к мелодическому спокойствию, привыкшего в каждой ноте видеть математическую необходимость—и слушающего набор звуков, которым итальянское выражение, незнакомое Германии, придавало совершенно особенный характер, причудливый, тревожный. Венециянец пропел несколько арий (это слово уже вводилось тогда в употребление) своего учителя, потом несколько народных канцонетт, обделанных в новом вкусе. Кроткий Бах все слушал терпеливо, только смеялся исподтишка и с притворным смирением замечал, что он не в состоянии ничего написать в таком роде.

Но что сделалось с Магдалиною? Отчего вдруг пропала краска с ее свежего лица? отчего она неподвижно устремила взоры на незнакомца? отчего трепещет она? отчего руки ее холодеют и слезы льются из глаз?

Незнакомец кончил, распрощался с Бахом, просил позволения еще раз посетить его,—а Магдалина все стоит неподвижно, опершись на полурастворенную дверь, и все

сице слушает. Незнакомец, уходя, нечаянно взглянул на Магдалину, и холод пробежал по ее нервам.

Когда незнакомец совсем ушел, Бах, не заметивший ничего происшедшего, хотел с Магдалиною пошутить немного насчет своего самонадеянного нового знакомца; но вдруг он видит, что Магдалина бросается к клавихорду и старается повторить те напевы, те выражения незнакомца, которые остались у ней в памяти. Себастиян подумал сначала, что она передразнивает венециянца, и готов был расхохотаться; но он пришел вне себя от удивления, когда Магдалина, закрыв лицо руками, вскричала:

«Вот музыка, Себастиян! вот настоящая музыка! Я теперь только понимаю музыку! Часто, как будто во сне, я вспоминала те мелодии, которые мать моя напевала, качая меня на руках своих,—но они исчезли из моей памяти; тщетно я хотела их найти в твоей музыке, во всей той музыке, которую я слышу ежедневно,—тщетно! Я чувствовала, что ей чего-то недоставало,—но не могла себе объяснить этого; это был сон, которого подробности забыты, который оставил во мне одно сладкое воспоминание. Лишь теперь я узнала, чего недостает вашей музыке: я вспомнила песни моей матери... Ах, Себастиян!— вскричала она, с необыкновенным движением кидаясь на шею к Себастияну.— Брось в огонь все твои фуги, все твои каноны; пиши, бога ради, пиши итальянские канцонетты».

Себастиян без шуток подумал, что его Магдалина просто помешалась; он посадил ее в кресла, не спорил и обещал все, чего она ни просила.

Незнакомец посетил еще несколько раз нашего органиста. Себастиян был в состоянии выбросить его из окошка; но, видя радость своей Магдалины при каждом его посещении, он был не в силах принять его неласково.

Однако же Себастиян с удивлением замечал, что в наряде Магдалины явилась какая-то изысканность, что она почти с глаз не спускала молодого венециянца, ловила каждый звук, вылетавший из груди его: Себастияну странным казалось, прожив 20 лет с своею женою в полной тишине и согласии, вдруг приняться ревновать ее к человеку, которого она едва знала; но Бах был беспокоен, и слова албрехтовы: «голос исполнен страстей человеческих»—невольно отзывались в ушах его.

К несчастию, Бах имел право ревновать в полной силе этого слова. Итальянская кровь, в продолжение сорока лет... сорока лет! обманутая воспитанием, образом жизни, привычкою,—вдруг пробудилась при родных звуках; новый, неразгаданный мир открылся Магдалине; полуденные

страсти, долго непонятные, долго сжатые в душе ее, развились со всею быстротою пламенной юности; их терзания увеличивались терзанием, которое только может испытать женщина, понявшая любовь уже при закате красоты своей.

Франческо тотчас заметил действие, производимое им на Магдалину. Ему смешно и забавно было влюбить в себя старую жену знаменитого органиста; лестно было его тщеславию возбуждать такое внимание женщины посреди северных варваров; сладко было его сердцу отмстить за насмешки, которыми немецкие музыканты осыпали музыку его школы, в доме их первоклассного таланта перебить дорогу у классической фуги; и когда Магдалина, вне себя, забывая своего мужа, обязанности матери семейства, опершись на клавихорд, устремляла на него пламенные взоры,— насмешливый венециянец также не жалел своих соблазнительных полуденных глаз, старался вспомнить все те напевы, все то выражение, которые приводят в восторг итальянца,— и бедная Магдалина, как дельфийская жрица на треножнике, невольно входила в судорожное, убийственное состояние.

Наконец итальянцу наскучила эта комедия: не ему было понять душу Магдалины — он уехал.

Бах был вне себя от радости. Бедный Себастиян! Правда, Франческо не увез Магдалины, но увез спокойствие из тихого жилища смиренного органиста. Бах не узнавал своей Магдалины. Прежде бодрая, деятельная, заботливая о своем хозяйстве — теперь она сидела по целым дням, сложив руки, в глубокой задумчивости и потихоньку напевала Франческины канцонетты.— Тщетно Бах писал для нее и веселые менуеты, и заунывные сарабанды, и фуги in stilo francese[1] — Магдалина слушала их равнодушно, почти с неудовольствием, и говорила: «Прекрасно! а все не то!».— Бах начинал сердиться. Немногие и тогда понимали его музыку; преданный вполне искусству, он не дорожил людским мнением, мало верил похвалам часто пристрастных любителей; не в преходящей моде, но в собственном глубоком чувстве он старался постигнуть тайны искусства; но он привык к участию Магдалины в его музыкальной жизни; ему сладко было ее одобрение: оно укрепляло его самоуверенность. Видеть ее равнодушие, видеть противоречие с целию своей жизни — и видеть его в маленьком кругу своего семейства, в своей жене, в существе, которое в продолжение столь-

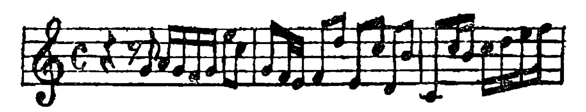
[1] Во французском стиле *(ит.)*.

ких лет одно с ним чувствовало, одно мыслило, одно пело,— это было несносно для Себастияна.

К этому присоединились и другие неприятности: Магдалина почти оставила свое хозяйство; порядок, к которому привык Бах в своем доме, нарушился; прежде он бывал так спокоен в этом отношении, так свободно предавался своему искусству, зная, что Магдалина заботится о всех его привычках, о всем вещественном жизни,— теперь Себастиян принужден был сам входить во все подробности, на пятидесятом году жизни учиться мелочам, посреди музыкального вдохновения думать о своем платье. Бах сердился.

А Магдалина! Магдалина терзалась, но другим образом. Часто, отерши глаза, вспоминала она о своих обязанностях или раскрывала баховы партиции,— но ей являлись черные глаза Франческа, в ушах ее отдавались его страстные напевы, и Магдалина с отвращением бросала от себя бесстрастные ноты. Часто ее терзания доходили до исступления; она готова была забыть все, оставить свой дом, бежать вслед за прелестным венециянцем, упасть к его ногам и принести ему в дар свою любовь вместе с своею жизнию; но она взглядывала в зеркало,— равнодушное, оно представляло ей сорокалетние морщины, которые ясно говорили Магдалине, что пора ее миновала,— и Магдалина с воплем и рыданием бросалась на постелю или бежала к мужу и в сильном волнении духа говорила ему: «Себастиян! напиши мне итальянскую канцонетту! неужели ты не можешь написать итальянской канцонетты?» Несчастная думала, что этим она перенесет на Себастияна преступную любовь свою к Франческо.

Бах слушал ее и не мог не смеяться; он почитал слова Магдалины прихотью женщины; а для женской ли прихоти мог Себастиян унизить искусство, низвести его на степень фиглярства? Просьбы Магдалины были ему и смешны и оскорбительны. Однажды, чтоб отвязаться от нее, он написал на листке известную тему, которой впоследствии воспользовался Гуммель:



но тотчас заметил, как удобно она может образоваться в фугу. Действительно, ему недоставало cis-дурной фуги в сочиняемом им тогда Wohltemperirtes Clavier[1], он поставил

---

[1] Хорошо темперированный клавир *(нем.)*.

в ключе шесть диезов,— и итальянская канцонетта обратилась в фугу для учебного употребления[1].

Между тем время текло. Магдалина перестала просить у Себастияна итальянских канцонетт, снова принялась за хозяйство — и Бах успокоился: он мог по-прежнему предаться усовершенствованию своего искусства,— а это одно и надобно ему было в жизни; он полагал, что прихоть Магдалины исчезла совершенно, и хотя она редко, как бы нехотя, разбирала с ним партиции, но Бах привык даже и к ее равнодушию: он писал тогда свою знаменитую Passion's-Musik[2], был ею доволен — ему не надобно было ничего более.

В то же время новое обстоятельство стало хотя обманом способствовать его семейному спокойствию. Давно уже зрение Баха, изнуренное продолжительными трудами, начинало ослабевать; дошло, наконец, до того, что он не мог более работать вечером; наконец и дневной свет сделался тяжким для Себастияна; наконец и дневной свет исчез для него. Болезнь Себастияна пробудила на время Магдалину; она нежно заботилась о бедном слепце, писала музыку под его диктовку, играла ее, водила его под руку в церковь к органу,— казалось, воспоминание о Франческо совсем изгладилось из ее памяти.

Но это была неправда. Чувство, вспыхнувшее в Магдалине, только покрылось пеплом; оно не являлось наружу, но тем сильнее разрывалось в глубине души ее. Слезы Магдалины иссякли; улетело то пиитическое видение, в котором представлялся ей обольстительный венециянец; она не позволяла себе более напевать его песен; словом, все прекрасное, услаждающее терзания любви, покинуло Магдалину; в ее сердце осталась одна горечь, одна уверенность в невозможности своего счастия, один предел страданиям — могила. И могила приближалась к ней; ее тлетворный воздух истреблял румянец и полноту Магдалины, впивался в грудь ее, застилал лицо морщинами, захватывал ее дыхание...

Бах узнал все это, когда Магдалина была уже на смертной постели.

Эта потеря поразила Себастияна больше собственного несчастия; с слезами на глазах написал он погребальную молитву и проводил тело Магдалины до кладбища.

---

[1] См.: Clavecin bien tempéré, par S. Bach, I partie <Хорошо темперированный клавесин, С. Баха, I-я часть *(фр.)*>. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

[2] Музыка на евангельский текст, о «страстях господних» *(нем.)*. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

Сыновья Себастияна Баха с честью занимали места органистов в разных городах Германии. Смерть матери соединила все семейство: все сходились к знаменитому старцу, старались утешать, развлекать его музыкой, рассказами; старец слушал все со вниманием, по привычке искал прежней жизни, прежней прелести в сих рассказах,—но почувствовал в первый раз, что ему хотелось чего-то другого: ему хотелось, чтоб кто-нибудь рассказал, как ему горько, посидел возле него без посторонних расспросов, положил бы руку на его рану... Но этих струн не было между ним и окружающими; ему рассказывали похвальные отзывы всей Европы о его музыке, его расспрашивали о движении аккордов, ему толковали о разных выгодах и невыгодах капельмейстерской должности... Вскоре Бах сделал страшное открытие: он узнал, что в своем семействе он был — лишь профессор между учениками. Он все нашел в жизни: наслаждение искусства, славу, обожателей — кроме самой жизни; он не нашел существа, которое понимало бы все его движения, предупреждало бы все его желания,— существа, с которым он мог бы говорить не о музыке. Половина души его была мертвым трупом!

Тяжко было Себастияну; но он еще не унывал: святое пламя искусства еще горело в его сердце, еще наполняло для него мир,— и Бах продолжал учить своих последователей, давать советы при постройке органов и занимать в церкви должность органиста.

Но скоро Бах заметил, что его мысли перестали ему представляться в прежней ясности, что пальцы его слабеют: что прежде казалось ему легким, то теперь было необоримою трудностью; исчезла его ровная, светлая игра; его члены искали успокоения.

Часто он заставлял себя приводить к органу; попрежнему силою воли хотел он победить неискусство пальцев, по-прежнему хотел громогласными созвучиями пробудить свое засыпавшее вдохновение; иногда с восторгом вспоминал свое младенческое сновидение: ясно оно было ему, вполне понимал он его таинственные образы — и вдруг невольно начинал ожидать, искать голоса Магдалины; но тщетно: чрез его воображение пробегал лишь нечистый, соблазнительный напев венециянца,— голос Магдалины повторял его в углублении сводов,— и Бах в изнеможении упадал без чувств...

Скоро Бах уже не мог сойти с кресел; окруженный вечною тьмою, он сидел, сложив руки, опустив голову — без любви, без воспоминаний... Привыкший, как к жизни, к беспрестанному вдохновению, он ждал снова его благо-

датной росы,— как привыкший к опиуму жаждет небесного напитка; воображение его, изнывая, искало звуков, единственного языка, на котором ему была понятна и жизнь души его и жизнь вселенной,— но тщетно: одряхлевшее, оно представляло ему лишь клавиши, трубы, клапаны органа! мертвые, безжизненные, они уж не возбуждали сочувствия: магический свет, проливавший на них радужное сияние, закатился навеки!..

НОЧЬ ДЕВЯТАЯ

Вечернее солнце пылало над величавой рекою; алые облака рассыпались по сизому небу, и каждое светилось стороною, обращенною к солнцу, а другою исчезало в тумане.— Фауст сидел у окна, то перебирая листы старой книги, то смотря, как багровый отблеск речной волны расстилался по стенам комнаты и придавал картинам, статуям, всем неодушевленным предметам трепетание жизни. Наш философ был задумчивее обыкновенного; на лице его не было приметно той постоянной, но не злой насмешки, с которой он задавал загадки молодым людям, его окружавшим, и которых разноречащие мысли столь мало походили на спокойствие уверенности, которым, казалось, обладал добрый чудак. В эту минуту Фауст не расположен был к шутке; его мечты, казалось, были важны и грустны; когда он перелистывал свою старую книгу — тогда ясность снова сообщалась его взорам; когда он отводил их от книги, как бы желая во внутренности души сосредоточить смысл читанного,— снова грусть появлялась на лице философа.

Дверь отворилась; вошел молодой Ростислав, всегда рассеянный, всегда далекий от настоящей минуты.

Ростислав. Сегодня, когда я собирался к тебе, мне пришли в голову все наши последние разговоры, перемешавшиеся с твоею рукописью... что за энциклопедия! каких вопросов мы не касались!..

Фауст. И какие разрешили, ты хочешь сказать...

Ростислав. Именно! если бы кто-либо нас подслушал и записал наши речи... что бы об нас подумали...

Фауст. Мыслящие люди сказали бы, что по крайней мере наш разговор — не поддельный; педанты доказали бы нам очень убедительно, что разговор должен быть не что иное, как диссертация, логически развитая в драматической форме...

Ростислав. А что, если бы в самом деле на каждый вечер нам определить себе какой-либо один предмет,

назначить очередь, кому говорить за другим, положить себе за правило не отступать от предмета, пока мы не рассмотрели его во всей подробности?..

Фауст. Тогда бы мы объявили притязание на полную, стройную систему философии — на что, может быть, надобно иметь право, которого я покуда в нас не признаю. Мне кажется, мы похожи на странников, зашедших ночью в незнакомую землю, о которой они имеют сведения и неподробные и неполные; в сей земле они должны жить и потому изучить ее; но в эту минуту искания всякий систематизм был бы для них делом свыше их сил — и, следственно, источником заблуждения; все, что они знают об этой стране, — это, что они ее не знают. В эту минуту их может скорее спасти догадка самопроизвольная, бессознательная, инстинктивная — до некоторой степени поэтическая; в эту минуту всего важнее — искренность воли; впоследствии они, может быть, приметят свои заблуждения, оценят свои догадки и, может быть, найдут, что в одной из них и скрывается искомая истина. Но до тех пор покорись они систематизму — и странники сделаются рабами собственного слова, актерами; разговор потеряет всю искренность, и, если угодно, всю пользу; он обратится в сцену, на которой всякий говорит не то, что невольно, бессознательно в нем возбудилось речью другого, но старается своей собственной мысли дать самую благообразную форму и посредством хитросплетения слов, всегда более или менее неопределенных, во что б ни стало предохранить свою речь от возражения. Так и с нами! да, сверх того, есть и другое немалое затруднение, которое мне сию минуту пришло в голову; слова: «единство», «предмет» обыкновенно встречаются в первых параграфах всякой философской книги, как вещи совершенно всякому известные и понятные, но признаюсь, они-то меня и останавливают. Есть ли что-либо неопределеннее слова: *единство?* разве слово еще более сбивчивое: *предмет?* — Соединение же этих двух слов составляет для меня нечто вовсе непонятное...

Ростислав. Я не понимаю твоего затруднения; положим, мы избрали себе предметом определить: что такое дерево?.. и будем держаться этого вопроса, не касаясь ни камня, ни животного, ни искусства, и так далее...

Фауст. Тщетная мечта! С чего начать, чтоб не удалиться ни на шаг от избранного предмета? Один начинает говорить о жизни дерева; ему возражают, что он удаляется от предмета, ибо жизнь дерева есть лишь одно из явлений этого предмета, и предварительно надобно

определить, что понимать под словом: жизнь? Другой предлагает начать прямо с описания частей дерева; здесь новые вопросы: начать ли с корней, как органов питания? начать ли с органов дыхания — листьев? Один уверяет, что надобно начать с коры — как внешней оболочки, прежде всего поражающей наши чувства. Другой столь же основательно доказывает, что надобно начинать с сердцевины, как центральной части дерева; тогда рождается вопрос: что такое центральная часть и существует ли она в дереве? Предлагают, чтоб кончить эти споры, действовать отрицательно, то есть прежде всего показать, отчего дерево не есть ни камень, ни животное; но тут естественно рождается вопрос: что такое камень? что такое животное? и с каждым новым предметом начинается та же история, что и с деревом... и не достанет ни веков, ни жизни миллионов людей для того, чтоб определить: с чего начать, чтоб говорить о дереве? ибо в этот вопрос войдут все науки, вся природа... и оттого, кажется, все споры, в продолжение веков возбуждающиеся в человечестве, приводятся к одному и тому же вопросу: с чего начать? или, лучше сказать, к другому, еще высшему: что такое начало? что такое знание? и наконец: возможно ли знание? — А этот вопрос есть предел науки, которая называется философиею...

Ростислав. Если бы и так... то нам ли пугаться этого вопроса, нам ли, которых половина жизни протекла в трудах над этою страшною, но отрадною наукою.

Фауст. Согласен; кажется, мы то и делаем. Но возможно ли для этой науки, как и для всякой другой, то, что называется стройною логическою формою,— это вопрос иной.

Ростислав. Следственно, ты не допускаешь возможности логического построения мыслей?

Фауст. Я пока не допускаю того, чтоб люди, говоря между собою, совершенно понимали друг друга... Я не могу войти здесь в разбор тех начал, на которых *для меня* основано это убеждение; но, кажется, до него можно дойти и другими путями. Испытаю. Хорошо было Кондильяку: для него вся философия состояла в *искусстве рассуждать;* он забыл только одно: что глупцы и сумасшедшие часто очень логически рассуждают; одного они не могут себе логически доказать: сумасшедший, что он сумасшедший, глупец, что он глуп.— К сожалению, я не знаю, каким образом каждый из нас может доказать себе, что он действительно в здравом уме, что он, например, не принимает части за целое, целое за часть, движение за покой и покой за движение, точно так же,

как тот чудак, который, ходя по комнате, держался за стенку, полагая, что он вечно на корабле в бурную погоду; пока не открыт этот способ доказательства, до тех пор, по моему мнению, каждый разговор, каждая речь есть обман, в который мы впадаем сами и вводим других; мы думаем, что говорим об одном предмете, когда вместо того говорим о совершенно различных предметах...

Ростислав. Но тогда не было бы возможности двум людям никогда в чем-либо согласиться, а между тем это случается...

Фауст. Весьма редко, а если и случается, то, кажется, совсем иным процессом, далеко не логическим. Два человека могут согласно верить, или, если угодно, *чувствовать* истину, но никогда согласно *думать* о ней, и тем менее свое согласие выразить словами. Объясню тебе это весьма простым примером: кто из нас не знает, что такое металл? Каждый, даже не учившийся минералогии или химии, знает, что значит, когда говорят: «такое-то тело есть металл». В старинных химиях находились весьма подробные определения металла и отличий его от других минералов. Новейшие химики принуждены были отказаться от определения: что такое металл? И действительно, невозможно: чем отличается металл от других тел? крепостию,—но алмаз крепче металла; ковкостию,—тогда куда отнести ртуть? тем, что он простое тело? но простых тел более полсотни; блеском? но сера, слюда имеют металлический блеск в известных обстоятельствах; наконец, к довершению бед, открыли тело, имеющее в своих соединениях все свойства металлов, и между тем этого тела никто не видал; химия не может уловить его, оно почти не существует—это, как знаешь, металл *аммоний*. А между тем мы понимаем друг друга, когда говорим о металлах, и отнюдь не смешиваем этого тела с другими. Что ж это значит? что мы к данному слову присовокупляем еще *какое-то* понятие, не выражаемое словами, понятие, сообщенное нам не внешним предметом, но самобытно и безусловно исшедшее из нашего духа. Я привел в пример слово простое, означающее предмет простой; но что же должно происходить в наших словах, когда мы говорим о понятиях неосязаемых, о понятиях, заключающих в себе тысячу других понятий, каковы, например, понятия нравственные. Полное вавилонское смешение языков! Отсюда частию проистекает мое убеждение, что мы говорим не словами, но чем-то, что находится вне слов и для чего слова служат только загадками, которые иногда, но отнюдь не постоянно, наводят нас на мысль, заставляют нас *догадываться*,

пробуждают в нас нашу мысль, но отнюдь не выражают ее. Оттого, чем подробнее мы хотим изложить какое-либо понятие, тем более мы должны употреблять слов или неопределенных знаков, словом, чем яснее, т. е. чем материальнее хотим выразить нашу мысль, тем более она теряет определенности. В этом смысле, может быть, и говорил Сократ: «все, что я знаю, это — что ничего не знаю», а отнюдь не в духовном смысле, как обыкновенно полагают; ибо речь внутренняя всегда понятна для людей, находящихся в некоторой степени симпатии; в этом был убежден и Сократ — и тому доказательство: он не молчал. Одно условие понимать друг друга: говорить искренно и от полноты душевной; тогда всякое слово получает ясность от своего вышнего источника. Когда два или три человека говорят *от души,* они не останавливаются на большей или меньшей полноте своих слов; между ними образуется внутренняя гармония; внутренняя сила одного возбуждает внутреннюю силу другого; их соединения, как соединение организмов в магнетическом процессе, возвышает их силу; они оба дружно с быстротою неисчислимою переходят целые миры различных понятий и согласно достигают искомой мысли; если этот переход выразить словами, то, по их несовершенству, они едва означат лишь конечные грани: точку отправления и точку покоя; внутренняя нить, их связывающая, для слов недоступна. Оттого в живом, откровенном, искреннем разговоре, кажется, нет логической связи, а между тем лишь при этом гармоническом столкновении внутренних сил человека рождаются нежданно самые глубокие наблюдения, как заметил мимоходом Гете[1]. Этот гармонический процесс объяснить словами еще труднее, нежели объяснить, что такое металл; на этот процесс обыкновенно не обращают внимания, а между тем он так важен, что без предварительного изучения этого процесса — всякое философическое понятие, выраженное словами, есть не иное что, как простой звук, могущий иметь тысячи произвольных значений; словом, без предварительного изучения *процесса выражения мыслей* — никакая философия невозможна, ибо при первом шаге она должна уже употребить этот процесс, а между тем явления, до некоторой степени однородные с этим процессом, у нас ежедневно пред глазами; возьмем пример самый простой: кто не знает, что лучший способ убеждения не логика, но так называемое нравственное влияние; отсюда различие между

[1] «Wilhelm Meisters Lehrjahre» <«Годы учения Вильгельма Мейстера» *(нем.)*>. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

речью импровизированною и речью читаемою; отсюда простое слово: «вперед», произнесенное опытным полководцем, действует на воинов сильнее самой лучшей диссертации; отсюда, например, чудное действие речей Наполеона, которые в чтении — лишь набор напыщенных слов; отсюда, наконец, прелесть дружеской, откровенной беседы и нестерпимая тоска чопорного разговора.

Ростислав. Знаешь ли, что ты своими словами уничтожаешь возможность всякой науки, всякого изучения?

Фауст. Нет, я спасаю науку от того камня, который швыряется ей под ноги скептицизмом и догматизмом. Впрочем, не я начал. Шеллинг, в первый год текущего столетия, бросил в мир одну глубокую мысль, как задачу для юного века, задачу, которой разработка должна наложить на него характерическую печать и гораздо вернее выразить его внутреннее значение в эпохах мира, нежели всевозможные паровики, винты, колеса и другие индустриальные игрушки. Он отличил безусловное, самобытное, свободное самовоззрение души — от того воззрения души, которое подчиняется, например, математическим, уже *построенным* фигурам; он признал основу всей философии — во внутреннем чувстве, он назвал первым знанием — знание того акта нашей души, когда она обращается на самую себя и есть вместе и предмет и зритель;[1] словом, он укрепил первый, самый трудный шаг науки на самом неопровержимом, на самом явном явлении и тем, как бы по предчувствию, положил вечную преграду для всех искусственных систем, которые, подобно гегелизму,

---

[1] Вот подлинные слова Шеллинга: «Единственный предмет трансцендентальной философии есть *внутреннее чувство*, и предмет ее никогда не может быть, как в математике, предметом внешнего воззрения (Anschauung).— Предмет математики столько же не вне знания, как и предмет философии. Все существо математики основано на воззрении; она существует лишь в воззрении; но в воззрении *внешнем*. Оттого математик не занимается самовоззрением (актом построения), но только тем, что уже построено, что всегда может проявляться во внешность, тогда как философия вникает лишь в самый акт построения, в акт совершенно *внутренний*.

Сверх того, предметы тр⟨ансцендентальной⟩ философии существуют тогда только, когда они суть произведения самобытные, свободные.— Нельзя принудить к внутреннему воззрению сих предметов, как можно принудить к внешнему воззрению математической фигуры: действительность математической фигуры основана на внешнем чувстве; точно так же действительность философического понятия основана на внутреннем». «System des transcendentalen Idealismus» («Система трансцендентального идеализма» *(нем.)*), § 4. Tübingen, 1800. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

начинают науку не с действительного факта, но, например, с *чистой* идеи, с *отвлечения отвлечения*[1].

Не знаю, ошибаюсь ли я, но мне кажется, что великий мыслитель, произнося великую мысль, живо чувствовал тот раздор между мыслию и словом, который, по моему убеждению, играет столь важную роль в жизни человечества. «Упрек в темноте, говорит он[2], который делают философии, происходит не от ее действительной темноты, но оттого, что не всякому дан тот орган, которым она может быть схвачена». Если так, то что значит слово, употребляемое нами для выражения мысли? Изменяемая форма, ясная для одного, менее понятная для другого, вовсе непонятная для третьего!

Ростислав. Так! Я согласен с тобою в том, что может относиться к высшим положениям философии, но в других подчиненных науках...

Фауст. Философия есть наука науки; ее основное положение не может быть вполне выражено словом, ибо как бы слово ни было совершенно, между им и мыслию будет всегда minimum разницы, которое дифферентируется смотря по философскому органу, о котором говорит Шеллинг; довести сей minimum разницы до нуля — есть в настоящую минуту высшая задача философии; до разрешения этой задачи, какое бы положение ни было взято за первоначальное (и чем выше оно, тем труднее), оно, проходя сквозь слова, будет иметь столько же смыслов, сколько голов человеческих... Это положение, приспособленное к какой-либо отдельной отрасли знаний человеческих, вносит и в нее свой изменяющийся, шаткий характер; отсюда логическое построение этой отдельной отрасли становится ложным, обманчивым, основанным на шатком значении употребленных слов...

Ростислав. Следственно, еще раз, по-твоему, никакая наука, никакое знание невозможно...

Фауст. Нет! если б я сказал, то я бы спорил против действительности; всякое знание возможно — ибо возможно первоначальное знание, т. е. знание акта самовоззрения; но как это знание есть знание внутреннее, инстинктивное, не извне, но из собственной сущности души порожденное, — то таковы должны быть и все знания

---

[1] См. Hegel's Encyclopedie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse, § 19 u<nd> § 24. Tübingen <Гегель. Энциклопедия философских наук в кратком очерке, § 19 и § 24. Тюбинген *(нем.)*>, 1827. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

[2] Schelling's System des transcendentalen Idealismus, p. 51 <Шеллинг. Система трансцендентального идеализма, с. 51 *(нем.)*>. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

человека. Оттого я не признаю возможности существования наук, искусственно построенных учеными, я не понимаю науки, которая называлась бы философиею, историею, химиею, физикою... это оторванные, изуродованные части одного стройного организма, одной и той же науки, которая живет в душе человека и которой форма должна разнообразиться, смотря по его философскому органу, или, другими словами, по сущности его духа. В этой науке также должны соединяться все науки, существующие под различными названиями, как в телесном организме соединяются все формы природы, а не одни химические, не одни математические и так далее. Словом, каждый человек должен образовать свою науку из существа своего индивидуального духа. Следственно, изучение не должно состоять в логическом построении тех или других знаний (это роскошь, пособие для памяти — не более, если еще пособие); оно должно состоять в постоянном *интегрировании* духа, в возвышении его,— другими словами, в увеличении его самобытной деятельности. Вопрос о том, до какой степени и каким образом возможно это возвышение, каким образом оно может проливать свет на все неизмеримое царство знания,— этот вопрос важен, и я не могу теперь отвечать на него вполне; укажу только на некоторые отдельные его разрешения[1]. Так, например, для меня совершенно ясно, что эта деятельность не возбудится тем или другим фактом, тем или другим силлогизмом, ибо силлогизмом можно доказать, но не уверить; но что эта деятельность может быть возбуждена, между прочим, путем *эстетическим,* т. е. «посредством непонятного начала, как говорит Шеллинг[2], которое невольно, и даже против воли, соединяет предметы с познанием». Эстетическая деятельность проникает до души не посредством искусственного логического построения мыслей, но *непосредственно;* ее условие есть то особое состояние, которое называется *вдохновением,*— состояние, понятное только тому, кто имеет орган сего состояния, но имеющее необъяснимую привилегию действовать и на тех, у кого этот орган на низшей степени.

---

[1] Дифференцирование в простейшем смысле есть путь от многоугольника к кругу; интегрироваиие — путь от круга к многоугольнику. Фауст недаром употребляет эти выражения: в мистике все чувственное выражается кругом; духовное — единицею, которой проявления: линия и треугольник, играющий столь важную роль в мистических книгах. Отсюда в каббалистике значение числ: 6 и 9, встречающихся постоянно, между прочим, у Сен-Мартена; шесть ⌽ есть торжество единицы над кругом, разрушение чувственного; девять ⚲ торжество чувственного над духовным — разрушение духовного. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

[2] Ibidem, pag. 457. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

Низшие степени предполагают существование высших степеней сего чудного духовного процесса — и Шеллинг...

(*Входят* Вячеслав и Виктор).

Вячеслав. Так! толкуют о Шеллинге! поздравляю вас, господа, учитесь снова, Шеллинг вовсе переменил свою систему...

Фауст (*к Ростиславу*). Не правду ли я говорил, что язык человеческий есть предатель его мысли и что мы друг друга не понимаем? Так Шеллинг вовсе изменил свои мысли, не правда ли? и вы верите этому?

Виктор. Во всех журналах, даже в ваших философских...

Фауст. Знаю! знаю! — есть люди, для которых всякая неудача есть истинное наслаждение: они радуются опечатке в роскошном издании; фальшивой ноте у отличного музыканта; грамматической ошибке у искусного писателя; когда неудачи нет, они, по доброте сердца, ее предполагают, — все-таки слаще. Успокойтесь, господа, великий мыслитель нашего века не переменил своей теории. Вас обманывают слова: слова похожи на морскую зрительную трубу, которая колеблется в руках у стоящего на палубе; в этой трубе есть для глаза некоторое ограниченное поле, но на этом поле предметы меняются беспрестанно, смотря по положению глаза; он видит много предметов, но ни одного явственно; к сожалению, слова наши еще хуже этого оптического инструмента — не на что и опереть их! мысли скользят под фокусом слова! мыслитель сказал одно — для слушателя выходит нечто другое; мыслитель избирает лучшее слово для той же мысли, силится приковать слово к значению мысли нитями других слов — а вы, господа, думаете, что он переменил и самую мысль! оптический обман! оптический обман!

Вячеслав. Это очень утешительно для самолюбия господ философов, но еще следует доказать...

Фауст. Я даю слово доказать это убеждение, как скоро явятся в свет новые лекции Шеллинга.

Виктор. Ну, а что же знаменитая рукопись? какую еще сказку расскажут нам твои эксцентрические путешественники?

Фауст. Рукопись кончена.

Вячеслав. Как кончена? — Стало быть, это был *пуф!* эти господа брались, кажется, прояснить все тайны мира духовного и вещественного, а дело ограничилось только какими-то идеальными биографиями каких-то чудаков, которые бы спокойно могли пробыть в полной неизвестности без всякого изъяна для человеческой истории.

Фауст. Мне кажется, что мои друзья видели нераз-

рывную, живую связь между всеми этими лицами — идеальными или нет, не в том дело.

Виктор. Признаюсь в моей непроницательности: я этой связи не заметил.

Фауст. Мне она кажется довольно явною: но если вы сомневаетесь в ней, я прочту вам еще несколько листков, которых я не хотел было читать, ибо они не что иное, как жертва систематическому характеру века, которому мало мысли безграничной, неопределенной,— а непременно надобно что-нибудь такое, чтоб можно было ощупать. Так слушайте ж! вот вам систематическое оглавление всей рукописи и даже эпилог к ней.

Фауст читал:

Судилище. Подсудимый! понял ли ты себя? нашел ли ты себя? что сделал ты с своею жизнию?

Пиранези. Я обошел вселенную; я начал с востока, возвратился с запада. Везде я искал самого себя! Я искал себя в пучинах океана, в кристаллах гор первородных, в сиянии солнца — все охватил в мои могучие объятия — и, пораженный собственною моею силою, я забыл о людях и не поделился с ними моею жизнию!

Судилище. Подсудимый! твоя жизнь принадлежала людям, а не тебе!

Экономист. Я отдал душу мою людям; моя жизнь развилась пышным, роскошным цветом — я отдал его людям: люди оборвали, растерзали его — и он исчез прежде, нежели я надышался его упоительным запахом. В горячей любви к ним, я сошел в мрачный кладезь науки, я исчерпал его до изнеможения сил, думая утолить жажду человечества; но предо мною был сосуд данаид! я не наполнил его,— лишь забыл о себе.

Судилище. Подсудимый! жизнь твоя принадлежала тебе, а не людям.

Город без имени. Я много занимался моею жизнию; я расчел ее по математической формуле и, заметив, что всякое высокое чувство, всякая поэзия, всякий энтузиазм, всякая вера не входит в мое уравнение, я принял их за нуль и, чтобы жить спокойно и удобно, увидел необходимость без них обойтись; но отринутое мною чувство сожгло меня самого, и я поздно увидел, что в моем уравнении забыта важная буква...

Судилище. Подсудимый! твоя жизнь принадлежала не тебе, но чувству.

Бетховен. Душа моя жила в громогласных созвучиях чувства; в нем думал я собрать все силы природы и воссоздать душу человека... я изнемог недоговоренным чувством.

Судилище. Подсудимый! жизнь твоя принадлежала тебе, а не чувству.

Импровизатор. Я страстно любил жизнь мою — я хотел и науку, и искусство, и поэзию, и любовь закласть на жертвеннике моей жизни; я лицемерно преклонял колени пред их алтарями — и пламя его опалило меня.

Судилище. Подсудимый! жизнь твоя принадлежала искусству, а не тебе!

Себастиян Бах. Нет! Я не лицемерил моему искусству! В нем я хотел сосредоточить всю жизнь мою, ему я принес в жертву все дарования, данные мне провидением, отдал все семейные радости, все, что веселит последнего простолюдина...

Судилище. Подсудимый! жизнь твоя принадлежала тебе, а не искусству.

Сегелиель. Что это за забавное судилище? Помилуйте, да на что ж это похоже; оно на каждом шагу себе противоречит: то живи для себя, то для искусства, то для себя, то для науки, то для себя, то для людей. Ему просто хочется обманывать нас! — Что ни говори, как ни называй вещи, какое на себя ни надевай платье — все *я* остается *я* и все делается для этого *я*. Не верьте, господа, этому судилищу, оно само не знает, чего от нас требует.

Судилище. Подсудимый! ты укрываешься от меня. Я вижу твои символы — но тебя, тебя я не вижу. Где ты? кто ты? отвечай мне.

Голос в неизмеримой бездне. Для меня нет полного выражения!

ЭПИЛОГ

Ростислав. То есть, эти господа разными окольными дорогами дошли опять до того, с чего начали, то есть до рокового вопроса о значении жизни...

Вячеслав. Нет, они, кажется, по предчувствию, что ли, хотели доказать любимую фаустову мысль о том, что мы не можем выражать своих мыслей и что, говоря, мы друг друга не понимаем...

Фауст. Твои слова могут служить одним из доказательств моей, как ты говоришь, любимой мысли. Я часто обращаюсь к ней, — но, видно, не довольно ясно выражаюсь, несмотря на все мои усилия: и немудрено — я должен для доказательства, что орудие не годится, употреблять то же самое орудие. Это все равно, как бы поверять неверный аршин тем же самым аршином, или голодному питаться своим голодом. Нет, я не говорю, чтоб слова

наши вовсе не годились для выражения мысли,— но утверждаю, что тожество между мыслию и словом простирается лишь до некоторой степени; определить эту степень действительно невозможно посредством слов — ее должно ощутить в себе.

Вячеслав. Так пробуди же во мне это ощущение.

Фауст. Не могу — если оно само в тебе не пробуждается; можно человека навести на это ощущение, указывая на разные психологические, физиологические и физические явления; но произвести это ощущение в другом без собственного его внутреннего процесса — нет возможности; точно так же, как можно человека навести на идею красоты, совершенства, гармонии; но дать ощупать эту идею невозможно, ибо полного выражения этой идеи не найдешь в природе,— она лишь в голове Рафаэля, Моцарта и других людей в этом роде.

Виктор. Если так, то и никакие твои физические явления не могут служить для выражения мысли, а ты когда-то сказал, что в природе буквы постоянные, стереотипные. Уж воля твоя, для меня всего яснее слово или цифра, нежели все эти сравнения и метафоры, которыми ты и твоя рукопись так щедро нас наделяешь.

Фауст. Ты напрасно хочешь обвинить меня в противоречии; действительно, буквы природы постояннее букв человеческих, и вот тому доказательство: в природе дерево всегда ясно и вполне выговаривает свое слово — дерево, под какими бы именами оно ни существовало в языке человеческом; между тем, к уничижению нашей гордости,— нет слова, нами произносимого, которое бы не имело тысячи различных смыслов и не подавало повода к спорам. Дерево было деревом для всякого от начала веков; но вспомни хоть одно слово, выражающее нравственное понятие, которого бы смысл не изменялся почти с каждым годом. Слово «изящество» то ли значило для людей прошлого века, что для людей нынешнего? добродетель язычника — была бы преступлением в наше время; вспомни злоупотребление слов: равенство, свобода, нравственность. Этого мало; несколько саженей земли — и смысл слов переменяется: баранга, вендетта, все роды кровавой мести — в некоторых странах значат: долг, мужество, честь.

Виктор. Я согласен, что эта неопределенность выражений существует в метафизике, но кто в этом виноват? отчего этой неопределенности не существует в точных науках? здесь каждое слово определено, потому что предмет его определен, осязаем.

Фауст. Совершенная правда — и тому доказательство:

например, бесконечность, величины бесконечно великие и бесконечно малые, математическая точка — словом, все те основания, с которых должна бы начинаться математика; в химии рекомендую слова: сродство, катализис, простое тело; не говоря о других науках, где идет дело о живой природе.— Вспомни слова Биша — великого эксперимента-тора, опытного физика, убитого анатомическими опыта-ми, которого кто-то, и не совсем без основания, поставил наряду с Наполеоном. Биша должен был сознаться, что «для тел органических надобно выдумать новый язык, ибо все слова, которые мы переносим из физических наук в животную или растительную экономию, напоминают нам такие понятия, которые вовсе не соответствуют физиоло-гическим явлениям»[1]. Когда мы говорим, мы каждым словом вздымаем прах тысячи смыслов, присвоенных этому слову и веками, и различными странами, и даже отдельными людьми. В природе этого нет, ибо в природе нет воли: она — произведение вечной необходимости; ра-стение цвело за тысячу лет, как оно цветет сегодня. Оттого, когда мы хотим нашему слову дать характер определенный, мы невольно хватаемся за определенную букву природы, как за постоянный символ живой мысли, однородной с нашею мыслию; мы стараемся нашей мысли дать ту прочную одежду, которой сами сотворить не умеем, ибо не умеем направить нашей воли по таким же прочным законам, по которым действует природа.

Виктор. Еще противоречие: не сам ли ты еще недавно силился убедить нас, что произведение природы гораздо ниже произведений человеческих... теперь выхо-дит наоборот...

Фауст. Опять спор в словах! заметь, что я сказал *таким* же, но не *тем* же законам природы; как скоро человек хочет подражать природе,— он всегда ниже ее; но он всегда выше, когда творит своей внутреннею силою; что нужды, что он для своих потребностей пользуется теми удобствами, которые он находит в природе! в парке у богатого владельца есть и хижины, и развалины, и луга, но из этого не следует, чтобы он спал на траве или жил в хижине: у него есть свои чертоги,— и главное дело, чтоб владелец-то был богат сам по себе.

Вячеслав. В чем же может заключаться это богат-ство, или, оставя сравнения, когда же человек может вполне выразить свою мысль?

---

[1] Bichat. Recherches physiologiques sur la vie et la mort ⟨Биша. Физиологические исследования о жизни и смерти *(фр.)*⟩. Paris, 1829, p. 108. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

Фауст. Когда его воля достигла до той степени высоты, где *она уверена в своей искренности.*

Вячеслав. Но чем уверится она в этой искренности?

Фауст. Тем же процессом, которым математик уверяется, что *a* может быть равно *b*, ибо этой аксиомы он не может доказать ничем существующим в природе; в природе человек может найти лишь *сходство*, но *равенства* — никогда; эта идея безусловно существует в человеке...

Виктор. Как? равенства двух предметов не существует в природе? я вижу два листа на дереве: вижу, что они оба зелены, оба остроконечны, оба растут на дереве — и заключаю, что они равны между собою; это равенство прикладываю к другим предметам и так далее...

Фауст. По какому праву? ты не можешь не видеть, что как бы два листа ни были сходны между собою, между ними нет математического равенства, что между ними есть minimum разницы...

Виктор. Согласен.

Фауст. Если ты видишь этот minimum разницы, следственно, сам замечаешь, что есть нечто в предмете, что противоречит идее совершенного равенства; следственно, ты берешь из природы, чего в ней не заметил; и я снова спрашиваю: по какому праву? другими словами: откуда?

Виктор. Посредством отвлечения...

Фауст. Но отвлечение есть процесс, которым мы сжимаем в одну форму тысячи различных свойств предмета; нельзя сжать того, чего нет; если нет в природе совершенного равенства — то неоткуда ему взяться и в твое отвлечение. Ты хочешь сделать верное сокращение какой-нибудь книги; если ты к своему сокращению прибавил мысли, которых нет в книге, — твое сокращение неверно, ты обманываешь и себя и других; так и со всеми так называемыми отвлечениями. Они сжимают несколько частных понятий и прибавляют к ним новое — откуда же взялось оно? Словом, если мы имеем идею равенства, красоты, совершенного добра и проч. т. п. — то они существуют в нас сами собою, безусловно, и мы лишь как мерку прикладываем их к видимым предметам. Это говорил еще Платон, и я не постигаю, как можно до сих пор толковать о деле, столь ясном.

Ростислав. Мы отдалились от вопроса: дело шло — о выражении мыслей. Признаюсь, убеждение Фауста весьма меня беспокоит; оно потрясает все здание наших наук, ибо они все — выражаются словами...

Фауст. Большею частию, — но не все.

Вячеслав. Как не все? но чем же? нельзя ли без загадок...

Фауст. Вопрос: может ли быть наука, не выражаемая словами,— завел бы нас слишком далеко; я пока настаиваю только на том, чтоб мы не слишком доверяли нашим словам и не думали, что наши мысли *вполне* выражаются словами; недаром эта настойчивость пугает Ростислава; дело довольно важное, и от него происходит довольно бед на земле.

Вячеслав. Вольтер уже давным-давно говорил об этом...

Фауст. У Вольтера была сумасбродная и преступная цель, и потому он видел только одну сторону вопроса, одно то, что мог он употребить как оружие против предмета своей ненависти. Между тем, никто так не пользовался двусмысленностию слов, как сам Вольтер; все его мнения завернуты в эту оболочку.— Здесь дело другое; *двусмысленность* слов — большое неудобство; но *бессмысленность* еще важнее, и слов последнего рода гораздо больше в обращении — благодаря, между прочим, и Вольтеру...

Вячеслав. Не слишком ли строго, особливо в отношении к такому человеку, у которого нельзя отнять гениальности...

Фауст. Я знаю существо, у которого еще менее можно отнять права на гениальность...

Вячеслав. Кто же такое...

Фауст. Его называют иногда Луцифером.

Вячеслав. Я не имею чести его знать...

Фауст. Тем хуже; мистики говорят, что он больше всего знаком с теми, которые его не знают...

Вячеслав. Был уговор: без мистицизма.

Фауст. Шутки в сторону, я не знаю никого, кроме этого господина, который мог бы с такою ловкостию пустить по свету, например, следующие бессмысленные слова: *факт, чистый опыт, положительные знания, точные науки* и проч. т. п. Этими словами человечество пробавляется уже не первый век, не присваивая им ровно никакого смысла; например, в воспитании говорят: сделайте милость, без теории, а побольше фактов, фактов; голова дитяти набивается фактами; эти факты толкаются в его юном мозгу без всякой связи; один ребенок глуп,— другой, усиливаясь найти какую-нибудь связь в этом хаосе, сам себе составляет теорию, да какую! — говорят: «дурно учили!» — совершенно согласен. В ученом мире то и дело вы слышите: сделайте милость, без умозрений, а опыт, чистый опыт; между тем, известен

только один совершенно чистый опыт, без малейшей примеси теории и вполне достойный названия опыта: медик лечил портного от горячки; больной, при смерти, просит напоследях покушать ветчины; медик, видя, что уже спасти больного нельзя, соглашается на его желание; больной покушал ветчины — и выздоровел. Медик тщательно внес в свою записную книжку следующее опытное наблюдение: «ветчина — успешное средство от горячки». Через несколько времени тому же медику случилось лечить сапожника также от горячки; опираясь *на опыт*, врач предписал больному ветчину — больной умер; медик, на основании правила: записывать факт как он есть, не примешивая никаких умствований,— прибавил к прежней отметке следующее примечание: «средство полезное лишь для портных, но не для сапожников».— Скажите, не такого ли рода наблюдений требуют эти господа, когда толкуют о *чистом опыте;* если бы *опытный* наблюдатель продолжал собирать свои *опытные* наблюдения — то со временем из них бы составилось то, что называют теперь наукою...

Виктор. Шутка не дело...

Фауст. И дело не шутка, а я думаю, что эти господа просто шутят...

Виктор. Но, помилуй! Можно ли сравнивать всех людей. занимающихся опытами,— с глупцом, который записывал все, что ему кидалось в глаза, без всякого разбора...

Фауст. Извините! разбор уж предполагает какую-нибудь теорию, а как по-вашему теория может быть следствием лишь *чистых опытов*, то мой медик имел полное право внести свое наблюдение в памятную книжку. Я не сравниваю эмпириков с этим медиком,— потому что они, говоря одно, делают другое; каждый из них, вопреки своей теории, имел теорию, так что, действительно, в их устах чистый опыт — есть слово без мысли. Но пойдем далее: часто в слове есть мысль, допустим, даже всем понятная, всем ясная; проходит время, смысл слова изменяется, но слово остается; таково, например, слово: нравственность; высоко было это слово в устах — хоть Конфуция; что сделали из него его потомки? слово осталось — но оно теперь значит у них не иное что, как наружная форма приличия; затем — обман, коварство, разврат всякого рода сделались чем-то посторонним. Любопытна эта страна вообще и важная указка для формалистов. Недаром ею восхищались философы XVIII века; она точь-в-точь приходилась по мерке их разрушительному учению; все в ней высказано, выражено; есть

форма всего; есть форма просвещения, форма военного искусства; даже форма пороха и огнестрельных орудий — но сущность сгнила, и сгнила так, что трехсотмиллионное государство может рухнуться от малейшего европейского натиска[1]. Загляните в историю, в это кладбище фактов — и вы увидите, что значат одни слова, когда смысл их не опирается на внутреннее достоинство человека. Что значат все эти скопища людей, эти домашние раздоры, мятежи — как не спор о словах, не имеющих значения, как, например, хоть форма общественная; не ходя далеко — вспомните о французской революции; люди поднялись против угнетения, против деспотизма, как они его называли,— пролиты реки крови; и наконец сбылись на деле мечты Руссо и Вольтера; люди, к величайшему удовольствию, добились до республиканских форм, а с ними — до Робеспьера и других господ того же разбора, которые, под защитою тех же самых форм, показали на деле, а не на словах, что значит угнетение и варварство. Вот шутки, которые разыгрываются на свете по милости слов! Ими живет царство лжи!

Вячеслав. Прекрасно! но если с одной стороны — ложь, то с противоположной должна быть истина; и потому мне бы очень было любопытно узнать, каким способом человеку можно обойтись без слов. Например, я бы желал знать, чего добились твои приятели, сочинители читанной тобою рукописи, которые подобно тебе были убеждены в вреде этого снадобья. К чему довели их прыжки через язык человеческий?

Фауст. Мои молодые друзья были люди своего времени. Сегодня между бумагами я нашел кстати род заключения к их путешествию; оно недлинно, но довольно замечательно, по точке зрения, до которой дошли мои мечтатели — также жертвы слова! Им принадлежит одна честь: они открыли врага — но победить его было не их дело, и, может быть, и не наше. Слушайте:

«Нас спросят: «Чем же кончилось ваше путешествие?» — Путешествием. Не окончив его, мы состарились тою старостию, которая в XIX веке начинается с колыбели,— страданием. Ничто не спасло нас от него: тщетны были определенная наука одного, неопределенное искусство другого. Тщетно мы измеряли шагами пустыню души человеческой, тщетно с верою мы стонали и плакали в преддверьях ее храмов, тщетно с горькою насмешкою рассматривали их развалины,— безмолвна была пустыня и

[1] Легкая победа англичан над китайцами доказала справедливость этого замечания, написанного еще в 1838 году. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

не раздралась еще завеса святилища! Мы останавливали проходящих, мы вопрошали их о знаменитых вестниках неба, на минуту являвшихся на земле, они указывали нам на невидимые часы веков и отвечали: «страдание! страдание!» Вдали алела заря какого-то непонятного солнца; но вокруг нас веял ветер полуночи, холод проникал до костей, и мы повторяли: «страдание!» Не для нас эта заря, не для нас это солнце! Не согреть ему наше окостенелое сердце! Для нас одно солнце — страдание! — Эти листки опалены его жгучею теплотою!

Было время, когда скептицизм почитался самою ужасною мыслию, которую когда-либо изобретала душа человека; эта мысль убила все в своем веке: и веру, и науку, и искусство; она возмутила народы, как пески морские; она увенчала кипарисным венцом клеветников провидения вместе с светителями мира; она заставила людей искать, как надежной пристани, разрушения, зла и ничтожества. Но есть еще чувство ужаснейшее самого скептицизма,— может быть, более благое в своих последствиях, но зато более мучительное для тех, которые осуждены испытать его.

Скептицизм есть, в некотором смысле, мир своего рода, мир, имеющий свои законы,— словом, мир замкнутый, до некоторой степени мир спокойный.

У скептицизма есть удовлетворенное желание — ничего не желать; исполненная надежда — ничего не надеяться; успокоенная деятельность — ничего не искать; есть и вера — ничему не верить. Но отличительный характер настоящего мгновения — не есть собственно скептицизм, но желание выйти из скептицизма, чему-либо верить, чего-либо надеяться, чего-либо искать — желание ничем не удовлетворяемое и потому мучительное до невыразимости. Куда ни обращает свой грустный взор друг человечества — все опровергнуто, все поругано, все осмеяно: нет жизни в науке, нет святыни в искусстве! что мы говорим, нет мнения, которого бы противное не было подтверждено всеми доказательствами, возможными для человека. Такие несчастные эпохи противоречия оканчиваются тем, что называется синкретизмом, то есть соединением в безобразную систему, вопреки уму, всех самых противоречащих мнений; такие примеры нередки в истории: когда, в последних веках древнего мира, все системы, все мнения были потрясены, тогда просвещеннейшие люди того времени спокойно соединяли самые противоречащие отрывки Аристотеля, Платона и еврейских преданий. В нынешней старой Европе мы видим то же...

Горькое и странное зрелище! Мнение против мнения,

власть против власти, престол против престола, и вокруг сего раздора — убийственное, насмешливое равнодушие! Науки, вместо того чтобы стремиться к тому единству, которое одно может возвратить им их мощную силу, науки раздробились в прах летучий, общая связь их потерялась, нет в них органической жизни; старый Запад, как младенец, видит одни части, одни признаки — общее для него непостижимо и невозможно; частные факты, наблюдения, второстепенные причины — скопляются в безмерном количестве; для чего? с какою целию? — узнать их, не только изучить, не только проверить, было невозможностию уже во времена Лейбница; что ж ныне, — когда скоро изучение незаметного насекомого завладеет названием науки, когда скоро и на нее человек посвятит жизнь свою, забывая все подлунное; ученые отказались от всесоединяющей силы ума человеческого; они еще не наскучили наблюдать, следить за природою, но верят лишь случаю, — от случая ожидают они вдохновения истины, — они молятся случаю. Eventus magister stultorum[1]. Уже в том видят возвышение науки, когда она обращается в ремесло!.. и слово язычника: «Мы ничего не знаем!» глубоко напечатлелось на всех творениях нашего века!.. наука погибает.

В искусстве давно уже истребилось его значение; оно уже не переносится в тот чудесный мир, в котором, бывало, отдыхал человек от грусти здешнего мира; поэт потерял свою силу; он потерял веру в самого себя — и люди уже не верят ему; он сам издевается над своим вдохновением — и лишь этой насмешкою вымаливает внимание толпы... искусство погибает.

Религиозное чувство на Западе? — оно было бы давно уже забыто, если б его внешний язык еще не остался для украшения, как готическая архитектура, или иероглифы на мебелях, или для корыстных видов людей, которые пользуются этим языком, как новизною. Западный храм — политическая арена; его религиозное чувство — условный знак мелких партий. Религиозное чувство погибает!

Погибают три главные деятели общественной жизни! Осмелимся же выговорить слово, которое, может быть, теперь многим покажется странным и через несколько времени — слишком простым: Запад гибнет!

Так! он гибнет! Пока он сбирает свои мелочные сокровища, пока предается своему отчаянию — время бежит, а у времени есть собственная жизнь, отличная от

---

[1] Случай — учитель неразумного (*лат.*).

жизни народов; оно бежит, скоро обгонит старую, одряхлевшую Европу — и, может быть, покроет ее теми же слоями недвижного пепла, которыми покрыты огромные здания народов древней Америки — народов без имени.

Неужли в самом деле такая судьба ожидает это гордое средоточие десяти веков просвещения? Неужли как дым разлетятся изумительные произведения древней науки и древнего искусства? Неужли заглохнут, не распустившись, живые растения, посеянные гениями-просветителями?

Иногда, в счастливые мгновения, кажется, само провидение возбуждает в человеке уснувшее чувство веры и любви к науке и искусству; иногда долго, вдалеке от бурь мира, хранит оно народ, долженствующий показать снова путь, с которого совратилось человечество, и занять первое место между народами. Но один новый, один невинный народ достоин сего великого подвига; в нем одном, или посредством его, еще возможно зарождение нового света, обнимающего все сферы ума и общественной жизни[1].

Когда азийские царства, которых имена, как грозные привидения, являются нам на страницах истории, в кровавой борьбе спорили о первенстве мира, — свет истины тихо возрастал в пустыне евреев; когда науки и искусство Египта погасли в разврате, — Греция обновила их силу в своих объятиях; когда дух отчаяния заразил все общественные стихии гордого Рима, — христиане, этот народ народов, спасли человечество от погибели; когда в конце средних веков ослабевшая деятельность духа готова была поглотить сама себя, — новые части света дали новую пищу и новые силы ослабевшему старцу и продлили его искусственную жизнь.

О, верьте! будет призванный из народа юного, свежего, непричастного преступлениям старого мира! Будет достойный взлелеять в душе своей высокую тайну и восставить светильник на свешницу, и путники изумятся, каким образом разрешение задачи было так близко, так ясно — и так долго скрывалось от глаз человека.

Где же ныне шестая часть света, определённая провидением на великий подвиг? Где ныне народ, хранящий в себе тайну спасения мира? Где сей призванный... где он? Куда увлекло нас высокое чувство народной гордости? Не этим ли языком говорили все народы, вступавшие на

[1] Внимательный читатель заметит, что в этих строках вся теория *славянофилизма*, появившегося во 2-й половине текущего столетия. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

поприще жизни? Они также мечтали видеть в себе разрешение всех тайн человека, зародыш и залог блаженства вселенной!

Что, если?.. страшная мысль! но позабудем о ней! полководец, готовясь на смертный бой, не говорит о погибели! он вспоминает предания мудрых, заблуждения неудачных.

Много царств улеглось на широкой груди орла русского! В годину страха и смерти один русский меч рассек узел, связывавший трепетную Европу,— и блеск русского меча доныне грозно светится посреди мрачного хаоса старого мира... Все явления природы суть символы одно другому: Европа назвала русского *избавителем!* в этом имени таится другое, еще высшее звание, которого могущество должно проникнуть все сферы общественной жизни: не одно *тело* должны спасти мы — но и *душу* Европы!

Мы поставлены на рубеже двух миров: протекшего и будущего; мы новы и свежи; мы непричастны преступлениям старой Европы; пред нами разыгрывается ее странная, таинственная драма, которой разгадка, может быть, таится в глубине русского духа; мы — только свидетели; мы равнодушны, ибо уже привыкли к этому странному зрелищу; мы беспристрастны, ибо часто можем предугадать развязку, ибо часто узнаем пародию вместе с трагедиею... Нет, недаром провидение водит нас на эти сатурналии, как некогда спартанцы водили своих юношей смотреть на опьянелых варваров!

Велико наше звание и труден подвиг! Всё должны оживить мы! Наш дух вписать в историю ума человеческого, как имя наше вписано на скрижалях победы. Другая, высшая победа — победа науки, искусства и веры — ожидает нас на развалинах дряхлой Европы. Увы! может быть, не нашему поколению принадлежит это великое дело! Мы еще слишком близки к зрелищу, которое было пред нашими глазами!.. Мы еще надеялись, мы еще ожидали прекрасного от Европы! На нашей одежде еще остались знаки праха, ею возмущенного. Мы еще разделяем ее страдания! Мы еще не уединились в свою самобытность. Мы струна не настроенная — мы еще не поняли того звука, который мы должны занимать во всеобщей гармонии[1]. Все эти страдания — удел века или удел человечества? мы еще не знаем! Несчастные, мы даже готовы верить, что таков удел человечества! Страш-

---

[1] Теперь с этим, может быть, другие славянофилы не согласятся,— но *тогда* сомнение еще дозволялось. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

ная, ледяная мысль! она преследует нас, она проникла в кровь нашу, она растет, она мужает вместе с нами! мы заражены! один гроб исцелит нашу заразу.

Тебя, новое поколение, тебя ждет новое солнце, тебя! — а ты не поймешь наших страданий! ты не поймешь нашего века противоречий! ты не поймешь этого столпотворения, в котором смешались все понятия и каждое слово получило противоположное себе значение! ты не поймешь, как мы жили без верований, как мы жили одним страданием! ты будешь смеяться над нами! — Не презирай нас! мы были скудельным сосудом, который провидение бросило в первое горнило, чтоб очистить грехи отцов наших; для тебя оно сохранило искусный чекан, чтобы возвести тебя на свое пиршество.

Соедини же в себе опытность старца с силою юноши; не щадя сил, выноси сокровища науки из-под колеблющихся развалин Европы — и, вперя глаза свои в последние судорожные движения издыхающей, углубись внутрь себя! в себе, в собственном чувстве ищи вдохновения, изведи в мир свою собственную, непрививную деятельность, и в святом триединстве веры, науки и искусства ты найдешь то спокойствие, о котором молились отцы твои. Девятнадцатый век принадлежит России!»

— Если бы их устами, да мед пить, — сказал Ростислав.

— Разумеется, — возразил Вячеслав, — но согласитесь, господа, что за пафос!..

— Фразы и фразы, вот и все! — произнес Виктор диктаторским тоном.

— Согласен, что фразы, — отвечал Фауст, — но мои покойники жили в веке фраз, — тогда не говорили иначе; нынче те же фразы, только с претензией на краткость, на сжатость; сделались ли они оттого яснее? — Бог знает. Со времени Бентама фразы мало-помалу все сжимались и наконец обратились в одну гласную букву: *я*. Что может быть короче? но едва ли фраза в этом виде сделалась яснее десятка бентамовых томов, где она выражена на каждой странице длинными периодами. — Я, признаюсь, люблю фразы; в фразах человек иногда забудет свое ремесло актера и проговорится от души, а что проговаривается от души, то бывает иногда истиной, хотя часто сам говорящий того не заметил.

Виктор. Да что ж истинного в филиппике твоих покойников? в самом деле что ли Запад погибает? что за вздор! Напротив, когда, в какую эпоху он был так богат силами и средствами жизни, как в нынешнюю? Все в нем движется: железные дороги пересекают его из края в

край; промышленность дошла до чудесного; война сделалась невозможностию; личная безопасность ограждена; школы размножаются; тюрьмы смягчаются; науки идут исполинскими шагами; съезды ученых делают малейшее открытие достоянием всей Европы; а сила, вещественная сила такова, что весь мир преклоняется пред Западом. Где же признаки падения, погибели?

Фауст. Я бы на это мог тебе отвечать словами натуралистов, политиков, медиков — о том, что высшее развитие сил какого бы то ни было организма есть *начало* его *конца*; но я лучше хочу согласиться с тобою, что мнение моих друзей о Западе преувеличено; я собственно не вижу в нем признака близкого падения, но потому только, что не вижу и того высшего развития сил, о котором ты говоришь; подождем аэростата — и тогда увидим. Касательно оценки текущего времени я буду несколько невежливее моих друзей; они характер настоящей эпохи назвали *синкретизмом*, я осмелюсь сказать, что ее характер просто — *ложь*, какой еще не бывало в прежней истории мира.

Виктор. Нечего церемониться; Шлецер прежде тебя сказал в детской книжке, «что род человеческий еще вообще очень глуп»[1].

Вячеслав. То есть, Шлецеру этими словами хотелось сказать: «как я умен» или «я один умен».

Ростислав. Это тайный смысл каждого слова, произносимого человеком...

Вячеслав. Оттого и Фауст уверен, что он один в свете искренен...

Фауст. Нет, к сожалению, я еще далек от этой уверенности, я еще не имею на нее права, ибо считаю эту уверенность высшим благом, которое может быть доступно человеку. Ложь столькими покровами охватывает его с первой минуты рождения, что борьба с нею поглощает все его силы. Эти покровы кровяными жилами приросли к человеческому организму. Часто, с плачем и воплем срывая их с своей внутренности, после долгих, неизмеримых страданий, истомленный, обессиленный — думаешь, что достигнул до сердцевины души своей, — ничего не бывало! там новый покров, кровавый, безобразный, пятнающий чистоту воли, и... снова начинается та же работа. У меня притязание на одну привилегию: я бы *хотел* не обманывать и не обманываться; но, еще раз, не знаю, имею ли я на нее право!

Вячеслав. Успокойся. Эту привилегию ты разделяешь со всем родом человеческим...

[1] Шлецерова история для детей, кн. 2. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

Фауст. Полно, так ли? всегда человек обманывал себя и обманывал других, но лишь в наше время он достигнул до такого совершенства, что *желает быть обманутым*.

Виктор. В наше время? Напротив! Когда, в какую эпоху действительность, очевидность, правда были в таком ходу, как ныне? Уж теперь ничего не выиграешь поверхностными соображениями, аналогиями, приблизительными наблюдениями: ныне требуют точности, цифр, фактов — они одни обращают на себя внимание...

Фауст. То есть, соскучив толковать, как бы поправить свое зрение и вычистить очки,— больные оттолкнули от себя это досадное, беспокойное подозрение и без околичностей решили, что их зрение совершенно здорово и очки совершенно чисты; оттого один видит предметы зелеными, другой красными, пока не придет третий и не станет уверять, что предметы ни зеленые, ни красные, а синие. За ними приходит человек, который или тщательно соберет все эти показания, так, просто для справки, или заключит, что в предмете соединено все вместе: и зеленое и красное и синее; тот и другой в полном убеждении, что из собрания многих лжей может, наконец, составиться истина, точно так же, как физики прошедшего века доказывали, что солнечный свет состоит из всех грубых цветов, им порождаемых. В этом я и вижу беду; нет опаснее сумасшедшего, который вовсе не подозревает, что он сумасшедший. Нет опаснее обманщика, который имеет вид откровенного человека.

Виктор. Но где же эти обманы? и преимущественно в нашем веке?

Фауст. Повторяю: не только люди обманывают друг друга, но даже знают, что они обмануты.

Вячеслав. По крайней мере, в этом знании ты не отказываешь нашему веку?

Фауст. В том беда, а не шутка. [Мы нашли искусство обманывать и, что еще страннее, обманываться — сознательно.] Было время, когда, если человек оскорблен другим, то они подерутся и убьют друг друга очень просто. Теперь, в наш век, просвещенные люди точно так же оскорбляют друг друга, точно так же дерутся и точно так же убивают, но с прибавкой: один почитает другого подлецом, но, вызывая на поединок, уверяет в своем искреннем *почтении* и *преданности*. Было время, когда человек напивался вином и опиумом — не зная их гибельного влияния на здоровье; теперь человек это очень хорошо знает и, однако, напивается тем и другим. Древний грек или римлянин верил или не верил оракулу, Палладе, Зевсу; теперь мы знаем, что оракул лжет, а

все-таки ему верим. Девять на десять так называемых римских католиков не верят ни в непогрешительность папы, ни в добросовестность иезуитов, и десять на десять готовы хоть на ножи за то и другое. Мы так свыклись с ложью, что эти явления кажутся нам делом отнюдь не странным. Не угодно ли посмотреть их братцев и сестриц на земном шаре. Например, хоть в представительных государствах,—не говорим о других,—только и речи, что о воле народа, о всеобщем желании; но все знают, что это желание только нескольких спекуляторов; говорят: общее благо — все знают, что дело идет о выгоде нескольких купцов или, если угодно, акционерских и других компаний. Куда бежит эта толпа народа? — выбирать себе законодателей — кого-то выберут? успокойтесь, это все знают — того, за кого больше заплачено. Что это за скопище? говорят о злоупотреблениях, о необходимости новых мер... о гибели отечества,—толпа волнуется вокруг ораторов... ничего! это врачи без больных и адвокаты без процессов, им нечем жить, а вот заварится кровавая каша, то, может быть, и им достанется ложка: это и сами ораторы и все слушатели знают. Куда идут эти почтенные мужи? в далекие страны, для просвещения полудиких. Какой подвиг самоотвержения! ничего не бывало; дело в том, чтобы сбыть бумажные чулки несколькими дюжинами больше,—это все знают, и сами миссионеры. Вот произносится вечная обоюдная клятва, страшное дело! — ничего, все знают, что при совершении брачного обряда с намерением упущено то, без чего брак, при случае, может почесться небывалым. Мирный судья захватил в таверне несколько человек, все спокойны, ибо все знают, что свидетели при деле сродни судье и получат за явку узаконенную плату и что только из того были все хлопоты; где-то говорят горячо о необходимости поддержать хлебную промышленность, какие факты! какие доводы! — но все знают, что дело идет лишь о пользе нескольких монополистов, вокруг которых соседи умирают с голода; философ с кафедры обещается открыть всю истину, но все знают, что он ее не знает и не скажет, а между тем его слушают; в гостиной являются чета супругов, братья, члены семейства и говорят друг про друга величайшие нежности, но и они и все знают, что они друг друга терпеть не могут и дожидаются, как сказал Пушкин:

Когда же черт возьмет тебя?

Журналист до истощения сил уверяет в своем беспристрастии, но все читатели очень хорошо знают, что во

вчерашнем заседании акционерской компании журналу определено быть того мнения, а не другого[1]. Человек, вынесенный невежественною толпою на первое место страны, говорит этой толпе невероятные комплименты — все знают, что это неправда, все знают, что он так говорит потому только, что иначе ему бы не усидеть, но однако слушают с удовольствием. Один мой знакомый говорил в шутку: «что за льстец этот Б++; в глаза льстит без малейшего стыда; но что будешь делать! знаю, что лжет, а приятно!». В этих немногих словах вся характеристика века. Когда необходимость доводит до откровенности, тогда ее нагота прикрывается из благоприличия словами, часто совершенно противоположного значения; один государственный муж выразился так: «наши отцы касались этого вопроса с такою мудрою *терпимостию* (tolerance), что до сих пор он никогда не возмущал общего спокойствия, и я равно никогда не допущу в этом деле нововведений»[2]. К чему относилось это прекрасное слово: терпимость? вы подумаете — к вероисповеданиям или к чему-нибудь подобному. Нет! просто к возмутительному рабству негров и беспощадному самоуправству южных американских плантаторов! — *Терпимость* в этом смысле! образец изобретательности! Неоцененная игра слов! и, к сожалению, не первая и не последняя. Если все это, господа, не *ложь* — то мы понимаем что-то совершенно различное под этим словом.

Виктор. Нет! но ты смешиваешь ложь с словом приличие, которое, конечно, играет важную роль в нашем веке, — и тем лучше — это признак его просвещения...

Вячеслав. Умный человек сказал: лицемерие есть невольная дань уважения, которую порок приносит добродетели[3].

Фауст. Я знаю изречение еще лучше: язык дан человеку на то, чтобы скрывать его мысли...[4]

Виктор. Уж если пошло на цитаты, то я напомню о весьма глубокой мысли, ныне опростонародившейся: toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire — я не знаю, как перевести это по-русски; переводят: *не всякая правда кстати*, но это не то...

Фауст. К счастию, не то! наш девственный язык не

---

[1] Намек на «Times». *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*
[2] Прокламация фан-Бурена 4 марта 1837. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*
[3] Рошфуко. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*
[4] Талейран. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

позволил растлить себя этой развращенною нелепостию;[1] он не дал места ее общему, безусловному смыслу,—наш язык, насильно приняв иноземную гостью, стеснил ее в случайность: *некстати — не в пору,*— и бережно сохранил свое самобытное, врожденное, глубокое, хотя и простое слово: «хлеб-соль ешь, а правду режь». На эту пословицу можно написать целый курс нравственности, которая, разумеется, не войдет в бентамовы рамки; в них место только первой, хлебной половине нашего честного присловья.—Так вот до чего вы дошли, господа эмпирики, господа фактисты, люди положительные! вы спрятали слово ложь под словом приличие, как ребенок голову в подушки, и думаете, что вас не видно! что в слове, когда смысл его уничижает, пугает душу человека? где же ваша любовь к очевидности, к ясности, к фактам, к цифрам? эта любовь только до некоторой степени,— а там — да здравствует ложь! — о! вы правы! спрячьте вашу ложь, закройте ее, закрасьте, замажьте ее,— потому что если кто вам покажет ее лицом к лицу, то вы возненавидите себя за ваше безобразие...

Виктор. Все, что ты говоришь, очень справедливо в некотором смысле...

Фауст. В некотором смысле! еще платьице на *ложь*! рядите, рядите, господа, вашу воспитанницу, или воспитательницу...

Виктор. Да как ни называй, ложь, приличие, дух времени — все равно; дело в том, что при пособии этого снадобья Запад вышел из мрака средних веков, возвысился до той степени, где мы его видим теперь; сделался рассадником изобретений, искусств, наук... главное — цель, а не средства...

Фауст. По крайней мере ты соглашаешься, что рассадник завелся при пособии *синкретического снадобья*, чтобы сказать благоприличнее,— добрый знак! — Цель достигнута, ты говоришь?

Виктор. Достигается...

Фауст. Посмотрим же, чего достигли,— древо по плоду познается. Повторяю, мысли моих покойных друзей о Западе преувеличены,— но... прислушайся к самим западным писателям, приглядись к западным фактам,— не к одному. но ко всем без исключения; прислушайся к крикам отчаяния, которые раздаются в современной литературе...

---

[1] Фауст в своем увлечении забывает, что наш язык принял же в себя выражения: законная взятка, честный доходец,— забывает и всю терминологию крепостного права. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

Виктор. Это ничего не доказывает: как можно ссылаться на показания самых болтливых людей в человеческом роде, на литераторов? им, известно, нужно одно: произвести эффект чем бы то ни было — правдой или неправдой...

Фауст. Так! но нельзя отрицать, что в произведениях литературных, особенно в романе, отражается если не жизнь общественная, то по крайней мере состояние духа пишущих людей, хотя и болтливых, как ты говоришь, но все-таки составляющих цвет общества.

Вячеслав. О! без сомнения,— что ни говори, печать — дело великое, это оселок и весьма верный! Сколько людей считались умными в свете, даже гениями,— казалось, они проглотили всю земную мудрость,— но их личина спадала при первых строках, ими напечатанных; нежданно открывалось, что предполагаемые глубокие мысли не что иное, как пара ребяческих фраз, остроумие — натянутый набор слов, ученость — ниже гимназического курса, а логика — хаос...

Фауст. Я согласен с тобою, но с некоторыми ограничениями... впрочем, это в сторону; я говорил о литературе, как об одном из термометров духовного состояния общества; этот термометр показывает: неодолимую тоску (malaise), господствующую на Западе, отсутствие всякого общего верования, надежду без упования, отрицание без всякого утверждения. Посмотрим на другие термометры.— Виктор упоминал о чудесах промышленности нашего века. Запад есть мир мануфактурный; Кетле был невольно приведен своими добросовестными статистическими таблицами до следующих заключений: 1-е, что число преступлений гораздо значительнее в промышленных, нежели в земледельческих местностях;[1] 2-е, что нищета гораздо сильнее в странах мануфактурных, нежели где-либо, ибо малейшее политическое обстоятельство, малейший застой в сбыте повергает тысячи людей в нищету и приводит их к преступлениям[2]. Современная промышленность действительно производит чудеса: на фабриках, как вам известно, употребляют большое число детей ниже одиннадцатилетнего возраста, даже до шести лет, по самой простой причине, потому что им платить дешевле; как фабричную машину невыгодно останавливать на ночь, ибо время — капитал, то на фабриках работают днем и ночью; каждая партия одиннадцать часов

[1] Quetelet. Sur l'Homme, ou Essai de Physique sociale. Bruxelles, 1836, t. 1, p. 215. ⟨Кетле. О человеке, или Опыт социальной физики. Брюссель, 1836, т. 1, с. 215⟩. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

[2] Ibidem, t. II, p. 211. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

в сутки; к концу работы бедные дети до того утомляются, что не могут держаться на ногах, падают от усталости и засыпают так, что их можно разбудить только бичом; честные промышленники, чтобы помочь этому неудобству, сделали чудное изобретение: они выдумали сапоги из жести, которые мешают бедным детям — даже падать от усталости...

Виктор. Это частный случай, который ничего не доказывает...

Фауст. Имей терпение хоть пробежать парламентские исследования с 1832 по 1834 год и другие документы[1], то ли ты найдешь там? — везде один ответ: десятилетние дети на работе по одиннадцати часов в сутки; усталость до утомления; распухнувшие ноги; спинная болезнь; недостаток сна, от которого всегдашнее полусонное состояние;[2] наконец, что всего важнее — невозможность какого-либо воспитания, какого-либо образования, тем менее нравственного, ибо после одиннадцатичасовой работы нет времени для школы; а если бы и нашлось это время, то физическое и нравственное состояние детей таково, что ученье для них бесполезно; комиссары парламента открыли, что большая часть фабричных работников не умеют ни читать, ни писать — и прежде времени поражены старческою немощью; это уж не сказка, а официальное дело.

Виктор. Однако же доктор Юр доказал, что самое пребывание на фабрике способствует образованию работников...

Фауст. Я помню это место — это такой пуф, что его нельзя читать без смеха и без сожаления. Многоученый доктор Юр, горячий поборник бумажных мотков, хватается за все, чтоб защитить предмет своего обожания: он говорит о необходимости для работника смотреть на термометр, который будто бы «вместе с гигрометром открывает ему тайны природы, закрытые другим людям; он каждый день имеет случай, — продолжает филантроп-мануфактурист, — наблюдать расширение твердых тел, происходящее от возвышения температуры, на огромных паровых трубах, нагревающих комнаты... получать сведения в практической механике из самой прядильной маши-

---

[1] Factories inquiry. First report; second report; supplementary report ‹Исследование о фабриках. Отчеты 1-й, 2-й, дополнительный *(англ.)*›, 1832—1834, 4 v. in-folio. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

[2] Кажется, это полусонное состояние очень удобно для фабрик. Новейшие газеты наполнены описанием *снотворного* состава, которым западные фабриканты усмиряют детей слишком резвых. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

ны...»[1]. Вот образец положительности! мануфактурный философ полагает, что можно знания ввернуть в голову человека, как винт в стену, без всякого предварительного приготовления, которое бы могло развить умственные понятия человека до той степени, где отдельные знания делаются ему доступными...

Виктор. Но ты должен согласиться, что ежедневное обращение с машинами, с термометром не может несколько не развить умственных способностей человека...

Фауст. Так: если он гений; пред другими же целый век будет вертеться колесо и висеть термометр — и они ничего не поймут ни в том, ни в другом. Тысячи людей смотрели, как паром поднимается крышка с чайника,— но одного Уатса это наблюдение привело к паровой машине. Англичанин Гельс (Hales), один из знаменитейших химических ремесленников семнадцатого века, даже изобрел снаряд для собирания газов; он их, так сказать, щупал руками,— но не узнал их, принимал их за один и тот же воздух с некоторыми примесями. Для гения не нужно школы; но все *не гении* не могут обойтись, по крайней мере, без первоначального воспитания. Да и все это мечта! стоит взглянуть на прядильную мануфактуру! ты знаешь, есть ли возможность тому, кто должен ежеминутно смотреть за сотнями обрывающихся ниток,— производить наблюдения над термометром и углубляться в механику? уже не говорю о тех несчастных, которых единственное занятие в продолжение полусуток — ползать на четвереньках под машиною и подбирать хлопки,— ибо в этом состоит вся работа детей; каким образом они в это время занимаются термометрическими и гигрометрическими наблюдениями — это известно одному доктору Юру! Впрочем, кажется, глубокое размышление над винтами и колесами самопрядильни не открыли и самому доктору Юру тайн природы, довольно известных другим смертным; на замечание одного умного лондонского врача, который без церемонии сказал, что *ночная* работа — гибель для здоровья и особенно в детском возрасте препятствует правильному развитию тела, доктор Юр насмешливо и с чувством оскорбленного достоинства доказывает медицинскому факультету, что машины сильно освещены газом и, следственно, ночная работа не может быть вредна детям...

Ростислав. Неужели ты не шутишь?

---

[1] «Philosophie des manufactures», par Andrew Ure, 2 vol. in-12°, Bruxelles; traduit sous yeux de l'auteur; ch. 1, p. 36 et sqq. ⟨«Философия фабрик (мануфактур)», Эндрью Юра, 2 тт. в 12°, Брюссель; переведено под наблюдением автора; гл. I, с. 36 и след. *(фр.)*⟩. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

Фауст. Загляни во вторую главу второго тома «Философии мануфактур»;[1] этот ответ показывает, что доктору Юру вовсе не известно одно из самых простых положений физиологии о влиянии ночи на организм животных. Только мануфактурному философу дозволено такое невероятное, непростительное невежество — зато доктор Юр человек положительный и считается авторитетом в прядильном и вообще мануфактурном мире...

Ростислав. Хоть упоминает ли он о нравственном образовании несчастных детей на фабриках?..

Фауст. Он вообще очень хвалит фабричное нравственное воспитание, чему я нашел у него и доказательство: «если главный работник на шерстяной фабрике,— говорит он[2],— человек трезвый и порядочный, то он не имеет нужды мучить (harasser) своих маленьких помощников... но если он предан горячим напиткам или вспыльчив, то поступает с ними тирански... когда он, возвращаясь из трактира, запоздает, то, чтоб нагнать время, пускает машину с такою быстротою, что его помощники не успевают ему помогать... тогда он немилосердно бьет их длинным катком (billy rollet)...» — чем не воспитание? бедные дети в полной власти у взрослого пьяного негодяя — но ведь это лишь в продолжение одиннадцати часов в день! Впрочем, доктор Юр не шутя уверяет, что это случается только на шерстяных фабриках, но отнюдь не на бумажных[3], и надеется, что новые усовершенствования на шерстяных фабриках устранят эту маленькую неприятность.

Виктор. Но ты берешь только случайности...

Фауст. Эти случайности на всех фабриках Запада...

Виктор. Ты указываешь лишь на одну сторону...

Фауст. Тебе угодно другую; вот она: Карл Дюпень торжественно объявил с парламентской трибуны, что «на 10 000 рекрут в мануфактурных департаментах Франции представляется 8900 больных и уродов, а в земледельческих лишь 4000»[4].

Виктор. Это все темная сторона; должно брать в расчет и силу обстоятельств, как, например, огромную производительность Запада, которая, естественно, понижает цены на фабричные произведения и заставляет производить дешевле и в меньшее время; оттого все эти

---

[1] Ibidem, pag. 149.
[2] Ibidem, t. I, p. 13.
[3] Там же.
[4] См. газеты тридцатых годов.

ночные работы, употребление детей, утомление... без того большая часть фабрикантов бы разорились...

Фауст. Я не вижу нужды в этой непомерной производительности...

Виктор. Помилуй! ты хочешь ограничить свободу промышленности...

Фауст. Я не вижу нужды в этой беспредельной свободе...

Виктор. Но без нее не будет соревнования...

Фауст. Я не вижу нужды в этом так называемом соревновании... как? люди алчные к выгоде стараются всеми силами потопить один другого, чтобы сбыть свое изделье, и для того жертвуют всеми человеческими чувствами, счастием, нравственностию, здоровьем целых поколений,—и потому только, что Адаму Смиту вздумалось назвать эту проделку соревнованием, свободою промышленности—люди не смеют и прикоснуться к этой святыне? О, ложь бесстыдная, позорная!

Виктор. Я согласен, что настоящее состояние западной промышленности представляет много странного и печального,—но не в ней одной заключается Запад. Вспомни, что Запад—колыбель нашего просвещения, что на Запад ходят учиться, что Запад истинный храм наук...

Фауст. Обширный вопрос! об нем можно говорить до завтрашней ночи! Чтоб не распространяться вдаль—я спрошу только: какие именно науки подвинулись в этом храме? Я вижу движение на Западе, вижу безмерную трату сил, вижу множество приемов полезных и бесполезных—им не худо учиться; думать, что новая наука далеко оставила за собою древнюю,—это вопрос другой; новая наука увеличила ль хоть на волос благоденствие человека? это вопрос третий.

Виктор. Послушай: отрицать просвещение Запада—дело невозможное; ты этого не докажешь...

Фауст. Я не отрицаю его и даже признаю, что нам еще многому остается учиться на Западе, но я хотел бы привести это просвещение в настоящую оценку. Успехи в политической экономии и общественном благоустройстве мы уже видели и видим каждый день; дело дошло до того, что один добрый чудак предложил перевернуть весь общественный быт и испытать, не лучше ли будет, вместо обуздания страстей, дать им полный разгул и еще подстрекать их; а этот чудак был человек неглупый; нелепость, до которой дошел он, доказывает, что уже нет выхода из того круга, в который забрела западная наука. В науках физических приложений много, но что именно принадлежит новому веку... сомнительно.

Виктор. Мысль приписывать все изобретения древним очень стара, о ней написаны сотни книг...

Фауст. Стало быть, в ней есть нечто справедливое; вам известно мое убеждение: я не могу поверить, чтобы наука могла подвинуться далеко, когда ученые ее тянут в разные стороны! В этом путешествии они могут наткнуться на новое, но только наткнуться; старики, кажется, тянули в одну сторону — и оттого повозка шла проворнее...

Виктор и Вячеслав. Доказательства! Доказательства!

Фауст. Вы знаете книгу, над которой я теперь тружусь; ее цель — напомнить о позабытых знаниях, — нечто вроде сочинения Панциролля «De rebus deperditis»;[1] но мимоходом она, неожиданно для меня самого, доказала, что все наши физические знания были известны, во-первых, алхимикам, магам и другим людям этого разбора, далее в элевзинском храме, а еще далее у жрецов египетских. Ограничусь теперь только некоторыми намеками. Когда мы достоверно знаем, что тот или другой предмет существовал в данное время, то мы должны заключить, что существовали и средства произвести его; видя деревянный дом, мы заключаем, что брусы были деревьями, что они вырублены железом, что железо было выковано, что железо добыто из руды, что руда была разработана, и так далее. Все важнейшие химические соединения, без которых наша наука не могла бы сдвинуться с места, достались нам от алхимиков: алкоголь, металлы, важнейшие кислоты, щелочи, соли; их существование необходимо предполагает знания по крайней мере столь же обширные, как в наше время, если бы даже самые процессы и снаряды и не были подробно описаны; для меня это ясно, как дважды два — четыре.

Виктор. Сохранилась история одного открытия, которое может служить разгадкою, каким образом могли быть сделаны многие другие, без пособия особенных знаний. Финикийские купцы без всякой химии, а случайно открыли стекло, раскладывая огонь на берегу для своего обеда.

Фауст. Плиний сохранил эту сказку вместе со многими другими. По его словам, «торговцы употребили вместо столов для обеда куски *нитра*[2], находившегося на их корабле; нитр, подверженный действию огня вместе с береговым песком, полился прозрачными струями, и

---

[1] «О потерянных вещах» *(лат.)*.

[2] Glebas nitri, — Plinii Hist⟨oria⟩ natur⟨alis⟩, lib⟨er⟩ ⟨Плиний. Естественная история, книга (лат.)⟩ XXXVI, с. 65, — селитра? поташ? натр? *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

таково было происхождение стекла». Дело в том, что этого никогда не могло случиться, не во гнев Плинию: стекло при столь малом жаре и на открытом месте никак не могло образоваться — и по самой простой причине: для плавки стекла необходима температура не костра, но плавильной печи; что ни говори, а существование стекла в древности указывает на огромные предварительные знания, которые одни могли довести до фабрикации стекла; открытию состава стекла, открытию пропорции веществ, в него входящих, должны были бы, судя по-нашему, предшествовать тысячи опытов; да не забудем и эластического, вовсе нам непонятного стекла, о котором ясно говорит Плиний и, кажется, Светоний...

Вячеслав. Возвышать древних, чтобы унизить новейших — на это была мода и прошла!..

Фауст. Я не утверждаю, что все возможные открытия принадлежат древним; но нельзя забыть, например, предание о Нуме Помпилии, ученике пифагорейцев, который будто бы посредством таинственных обрядов сводил гром на землю; название Юпитера Елицием, то есть притягивателем;[1] рассказ Тита Ливия[2] о Тулле Гостилии, который, подражая Нуме и забыв нечто в обряде, был поражен молнией, — рассказ, напоминающий в точности смерть Рикмана посреди опытов над громоотводом, описанную Ломоносовым; нельзя забыть и обстоятельства, которыми сопровождались египетские инициации и которыми объясняются слова Эсхила:[3] «одна Минерва знает, где хранятся громы»; бальзамирование, описанное Геродотом, показывает, что египтянам был известен креозот, до которого мы едва добрались после многолетних усилий; отдаленность времени, истребление и искажение письменных памятников препятствуют в сем случае дать осязать истину; но я утверждаю, по крайней мере, что мы не двинулись ни на шаг в знании природы со времени бедственного направления наук, произведенного Бэконом Веруламским, а еще более его последователями. Кто будет иметь терпение прочесть творения алхимиков, тот легко убедится в истине этого странного с первого раза

---

[1] Eliciunt coelo te. Jupiter. unde minores Nunc quoque te celebrant, Eliciumque vocant ⟨Вызывают тебя с неба, Юпитер, а потому младшие (смертные) теперь также тебя часто чествуют и называют Элицием (Молниеносным) *(лат.)* — говорит Овидий — lib. 3, v. 328. Jupiter Elicius — ab eliciendo sive extrahendo <Юпитер Элиций — от вызывания или вытягивания *(лат.)*>. См. Дютана.

[2] Lib. I, c. 20. Ср. также: Plinii, lib. I, c. 53, de fulminis evocandis <о вызывании молнии *(лат.)*>.

[3] В последней части трилогии об Оресте: «Эвмениды».

утверждения; все нынешние химические знания находятся не только в Алберте Великом, Рогере Баконе, Раймонде Луллии, Василии Валентине, Парацельзии и в других чудных людях сего разряда, но эти знания были столько разработаны, что встречаются и в алхимиках меньшей величины. Ты найдешь, например, в «Космополите»[1] опыт замораживания воды посредством серной кислоты, что предполагает существование снарядов, предполагающих в свою очередь обширную опытность. Азот был известен Рогеру Бакону; даже в книге под именем Артефия[2] замечается знание свойства газов; не только у Василия Валентина, но и у Гильдебранда[3] описаны металлы с такою подробностию, которой не встретишь и во многих новейших сочинениях; важность анализа органических веществ чувствовал Генрих Кунрат...[4]

Вячеслав. Сделай милость, пощади... что за имена? что могли знать такие варвары?

Фауст. Я нарочно указал на таких, которые и в свое время не пользовались особенною знаменитостию, а между тем мы с трудом доходим и до их знаний...

Виктор. Но предоставь хотя что-либо нашему времени: например, хоть знание того, что вода не есть первоначальная стихия, как были уверены древние, несмотря на всю их мудрость...

Фауст. Это также одна из сказок, которою тешит нас наше экспериментальное самолюбие; древние никогда не принимали воду за простое тело, по крайней мере со времен Платона, который в «Тимее» именно говорит, что «вода *разделяется* посредством огня и производит огненное тело или два воздухообразных тела»,—не ясно ли здесь означены: кислород и водород, открытием которых мы так гордимся? Для меня нет сомнения, что под наименованиями стихий—огня, воздуха, воды и земли—у

---

[1] В новейшем 1723 г. переводе: «Cosmopolite ou Nouvelle lumière chymique» («Космополит, или Новый химический свет» *(фр.)*), p. 26.

[2] Artephii antiquissimi philosophy de arte occulta atque lapide philosophorum liber secretus, in-4° <Тайная книга об оккультном искусстве и философском камне, древнейшего философа Артефия, 4° *(лат.)*>, 1612. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

[3] «Magiae naturalis». P. II. Hortus deliciarum, durch Wolfgangum Hildebrandum, 1625, in-4° <О натуральной магии». Ч. II. Сад радостей, Вольфганга Гильдебранда *(лат., нем.)*, 1625, 4°>. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

[4] «Amphiteatrum sapientiae eternae solius verae», Lipsiae, 1602, in-folio («Амфитеатр вечной мудрости, единственно истинной», Лейпциг, 1602, ин-фолио *(лат.)*). *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

древних скрывались понятия, соответствующие нашим четырем простым телам: кислороду, азоту, водороду и углероду;[1] на это можно привести сотни доказательств: стоит вспомнить об элеатиках, не говоря уже о пифагорейцах! Когда новейшие химики доказывают, что все органические тела образуются из газов, составляющих воздух,—я снимаю шляпу и кланяюсь весьма старому знакомому, современнику Анаксимена. Не надобно забывать также, что все главнейшие газы были известны алхимику Фан-Гельмонту и что даже слово *газ* принадлежит ему...

Виктор. По крайней мере сила пара...

Фауст. Ее употреблял *практически* Гиерон Александрийский за 120 лет до Р. Х.; ее предлагал Бласко Карлу V-му; между этими двумя эпохами о ней говорил, как знаешь, и Рогер Бакон,—теперь все это ясно выведено на справку...

Виктор. По крайней мере аэростаты...

Фауст. Были известны тому же чудному Бакону,—а один из алхимиков даже весьма подробно описал аэростат за сто лет до Монгольфьера и предлагал его устроить точно так, как *догадались* его устраивать весьма недавно, то есть из меди[2]. Смотри, вот и изображение: и шары и лодка и паруса; у этих варваров, как говорит Виктор, есть

---

[1] Вот сие любопытное, доныне едва ли замеченное место у Платона, по переводу Аста: «Terra quidem concurrens cum igne dissoluta ab ejus acie fertur, sive in ipso igne soluta fuerit (металл?), sive in aëris (окисел?), sive in aquae mole (соли?), dum concurrentes forte ejus partes rursusque inter sa ipsae copulatae terra evadant:neque enim in aliam umquam speciem transeant. Aqua autem ab igne vel etiam ab aëre divisa potest fieri composita *unum ignis corpus et duo aëris*. De aëris vero particulis ex una parte dissoluta duo existent corpora ignis». Plat. op., t. 5. p. 197. Ed. As. 1822. ⟨«Когда земля встречается с огнем и бывает развеяна его остротой, она стремительно несется, рассеиваясь либо в самом огне, либо в толще воздуха или воды, если ей придется там оказаться, покуда ее частицы, повстречавшись друг с другом, не соединятся сызнова, чтобы она опять стала землей: ведь она не может принять иную форму. Напротив, вода, дробимая огнем или воздухом, позволяет образоваться одному телу огня и двум воздушным телам, равно как и осколки одной рассеченной части воздуха могут породить из себя два тела огня. Соч. Платона, т. 5, с. 197. Изд. Аста, 1822 *(лат.)*⟩. Осмелюсь заметить, что δὲ в словах: δὺο δὲ αερος может значить: *или*, славянское *же*, несмотря на μεν. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

[2] Francesco Lana. Prodromo all'arte maestra. Brescia, 1670, in-folio, cap. 6, p. 52-61: «Fabricare una Nave, che camini sostentata sopra l'aria a remi et a vele, quale si dimostra poter riuscire in prattica» ⟨Франческо Лана. Введение в искусство мастерства. Брешия, 1670, ин-фолио, гл. 6, с. 52—61: «Сделать корабль, который мог бы двигаться по воздуху, с веслом и парусом, и который мог быть практически завершен» *(ит.)*⟩. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

сокровища непочатые, нетронутые, до иных мы доходим случайно, до других боимся прикоснуться, остальных не знаем... Все эти дивы были произведение не кропотливой чувственной экспериментации, но такого взгляда на природу, который нам и не снится в том мышином горизонте, в который мы попали благодаря Бэкону Веруламскому.

Вячеслав. Я не знаю, зачем особенно обвинять Бэкона; если экспериментальное направление и дошло до злоупотребления, то в этом скорее можно обвинить последователей Бэкона: Локка. Кондильяка и других.

Виктор. А я так не вижу, что общего между открытием той или другой кислоты и теми или другими метафизическими идеями?..

Фауст. В храме философии, как в вышнем судилище, определяются те задачи, которые в данную эпоху разрабатываются в низших слоях человеческой деятельности.— Нельзя не заметить явного параллелизма между самыми отвлеченными метафизическими положениями века и движением прикладных наук, которые образуют все общественную, семейственную и индивидуальную жизнь человека в том веке. Так, например, довольно любопытно, что постепенное раздробление естественных знаний, или, лучше сказать, их измельчение,— другими словами, их оремесление,— по-моему, их постепенное падение — соответствует именно той бедственной эпохе, когда философия, поскользнувшись в Бэконе, перешла через Локка и опустилась до Кондильяка, несмотря на все противодействие великого Лейбница, т. е. со второй половины XVII века до начала XIX; с этой минуты, как бы каким-то колдовством, не появляются более те основные открытия, образовавшие огромный арсенал физических знаний, которым доныне мы пользуемся, неблагодарно подсмеиваясь над стариками; на сцену выходят одни ремесленные приложения того, что уже прежде было открыто. Что касается до Бэкона, то, вероятно, он сам не ожидал, до какой нелепости дойдут его последователи; он нападал на экспериментальную методу толпы своего времени, «слепую и бессмысленную», как он называл ее; он требовал, чтобы опыты были производимы в некотором порядке и с некоторою методою; но на Бэконе лежит тяжкая ответственность за то, что он приучил исследователей останавливаться на *случайных*, *второстепенных* причинах, оставляя в стороне *внутреннюю сущность* явлений; он произнес эти несчастные слова, этот драгоценный клейнод ученого мира в продолжение двух веков, ныне разменяв-

шийся на мелкую монету: «Лучшее из всех доказательств есть без сомнения опыт,— но такой опыт, где обращают внимание лишь на факт, находящийся перед глазами...»; и далее: «Должно, собрав множество фактов разного рода, извлекать из них познание причин и начал...»[1]

Виктор. Но что же делали твои алхимики? разве также не угорали возле своих печей, также не собирали факты? если даже египетские храмы были не иное что, как физические лаборатории, то, вероятно, и там следовали Бэконову правилу...

Фауст. С тою разницею, что древние, а равно большая часть алхимиков знали, куда они идут; материальный опыт был для них последнею ступенькою в изыскании истины; со времени бэконовского направления люди начинают с этой ступеньки и идут, что говорится — напропалую, сами не зная куда и зачем... Оттого алхимики открыли так, между делом, все то, без чего мы теперь пошевельнуться не можем,— а мы — лишь винты, да колеса для бумажных колпаков...

Виктор. Все так! допустим, что все нынешние знания были известны и древним и средним векам, что мы подбираем только крохи с их роскошного стола,— но дело в том, что этот стол был *для немногих*, и для весьма немногих, тогда как теперь наука — словно общий стол в богатой гостинице, приходи, кто хочет...

Фауст. С этим я согласен, хотя замечу, что двери в этой гостинице не довольно широки, и стол не всякому по деньгам. Действительно, в древнем и среднем мире наука была тайною, известною лишь жрецам или адептам; и доныне существуют тайны в разных технических производствах — по очень простой причине: по корыстолюбию изобретателей; ты знаешь, сколько времени (с начала 18-го века) состав синьки был тайною, хотя им производили значительную торговлю; лишь в конце 18-го века Шель и Бертолет обнародовали состав водородо-синеродной кислоты; для стариков эта тайна была необходимостию; они понимали странную надпись в храме Изиды: «не открывай тайны под страхом наказания персиком» — и знали, почему персиковое дерево посвящено было богу молчания,— что между прочим показывает, что древние знали прежде нас и водородо-синеродную кислоту[2]. Пла-

---

[1] «Nov⟨um⟩ Org⟨anum⟩» («Новый органон» *(лат.)*), l. I, c. 70. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

[2] Acide prussique; известно, что этот ужасный яд можно добыть и из персиковых косточек, к счастию с большим трудом во всяком случае. (См.: Hoefer, «Hist⟨oire⟩ d⟨e⟩ l⟨a⟩ Chim⟨ie⟩ ⟨Хэфер. «История химии» *(фр.)*⟩). *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

тон беспрестанно останавливается и оговаривается, касаясь предметов, которые ему были известны как *посвященному*; необходимость этой тайны так была важна в средние века, что Рогер Бакон, самый откровенный из алхимистов, назвав селитру и серу, входящие в состав пороха, скрывает слово «уголь» под весьма темной анаграммой: luru vopo vir can utriet (читают: carbonum pulvere),— наконец, почти в наше время некто в Лондоне, объявивший намерение открыть тайну составления золота, был найден убитым в своей комнате[1]. Но чем теснее был кружок этих людей, тем удивительнее, что они без всех наших пособий, книг, словарей, снарядов, журналов, съездов открыли прежде нас все наши открытия...

Вячеслав. Я так не вижу тут ничего чудного: алхимики искали вздора: философского камня,— а случайно набрели на разные открытия...

Фауст. Знаешь ли, что надобно для того, чтобы случайно что-нибудь найти?

Вячеслав. Ряд опытов...

Фауст. И *глаза*... в обширном смысле этого слова!.. иначе мы будем походить на работника, образующегося по системе доктора Юра.

Виктор. Что ни говори, но невозможно, чтобы эти тысячи специальных опытов, которые ныне производятся тысячами людей во всех краях мира, по всем отраслям естествознания, не довели бы, наконец, до открытия настоящей теории природы...

Фауст. И тому доказательство: метеорология; ее явления у всех перед глазами, наблюдения сего рода возможны ежедневно, ежечасно... и до чего дошла она? до отрицательного ответа?— Метеорологи могут доказать только одно: что все бывшие доныне объяснения (выведенные из прямых опытов) ложны и что мы, в настоящем состоянии науки, не можем объяснить даже образования снега, града, дождя, направления ветра и проч. ...[2] За метеорологиею и все другие науки, при настоящем направ-

---

[1] См.: «Geschichte der Alchemie», von Schmieder, Halle, 1832. Hoefer, ibidem («История алхимии» Шмидера, Халле, 1832. Хэфер, там же *(нем., лат.)*). *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

[2] Пулье, Кемтц, Араго. Эта книга — не ученая диссертация: подводить на каждом шагу цитаты значило бы обременять ее излишним балластом: и без того здесь много ссылок, хотя автор ограничивался лишь совершенно необходимыми. Для тех читателей, которые поверят автору — цитаты не нужны; для других — он впоследствии может открыть целый арсенал цитат, на которых основаны указания, в сей книге содержащиеся. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

лении, тянутся к тому же результату. Не помню, кто-то заметил весьма справедливо, что эти господа похожи на физиолога, который бы выпустил из человека всю кровь до капли, чтоб лучше объяснить ему состав и действие крови. От безверия в возможность общих начал, от навыка довольствоваться второстепенными, случайными причинами, от непривычки к высшему движению духа произошли два зла: первое зло — уверенность, что всякое ощущение души тогда только действительно существует, когда может быть выражено словами; таким образом, то, что не подходит под ту или другую материальную форму, названо мечтою; эта уверенность так сильна, что ее не могут поколебать ежедневные явления, ее видимо отрицающие. Кто не толкует о *медицинском глазе* (coup d'oeil médicinal)? Спросите у медика, обладающего сим даром: как он напал прямо на причину болезни? почему он предписал именно такой, а не другой способ лечения? — и часто вы приведете самого ученого медика в затруднение. В одном Китае требуют, чтобы врач непременно приискал болезнь своего пациента в официальных медицинских книгах и лечил бы в точности по описанию, — я нахожу это весьма логическим: если все может быть выражено словами, то следует только следовать этим словам, и дело в шляпе; ведь было же время, когда думали, что посредством пиитики и реторики можно человека научить поэзии! Парижская Академия еще недавно требовала, чтобы ей дали ощупать действие животного магнетизма; кто восстает против таких требований, тот идет против логики. — Другое зло: гибельная *специальность*, которая ныне почитается единственным путем к знанию, — и обращает человека в камер-обскуру, вечно наведенную на один и тот же предмет; целые годы она отражает его без всякого сознания, зачем и для чего и в какой связи этот предмет с другими? — еще до сих пор есть люди, которые уверены, что чудеса английской промышленности происходят оттого, что там если человек делает винт, то делает его целую жизнь и ничего, кроме этого винта, в мире не знает. Для этих господ *сосредоточенность внимания* — эта высшая духовная сила, могущая втянуть в свою сферу всю природу и доступная лишь высшему духу, — есть не иное что, как машинка, которая колотит целые годы по одному и тому же месту. От этих двух зол *раздор* и *разрозненность* в науке и в жизни; от них — анархия, споры нескончаемые и труды бессвязные; от них бессилие человека пред природой. Коснитесь какого угодно предмета, самого отвлеченного или самого простого житейского; соберите ответы людей *специальных* — этих кандидатов в

немогузнайки, как говорил Суворов; этот повальный обыск может быть довольно любопытен:

«Скажите мне, сделайте милость, химический состав тех или других веществ, употребляемых в пищу, какое может иметь влияние на организм человека и, следственно, на один из источников общественного богатства?» — Извините, это не по моей части; я занимаюсь лишь финансовою наукою.

«Скажите, нельзя ли объяснить некоторые исторические происшествия влиянием химического состава веществ, в разные времена употреблявшихся в пищу человеком?» — Извините, я не могу развлекаться изучением истории — я химик.

«Скажите, действительно ли изящные искусства и в особенности музыка имеют такое сильное влияние на смягчение нравов — и какой именно род музыки?» — Помилуйте, ведь музыка так, забава, игрушка — когда мне ею заниматься? — я юрист.

«Скажите, не может ли нынешняя ваша постоянно страстная, или блистательная музыка нарушить равновесие нравственных стихий, от которых зависит устройство общества?» — Извините, этот вопрос от меня слишком далек — я играю на скрипке.

«Не можете ли мне объяснить значение обрядов, которые наблюдались в древности жрецами Цибелы или Земли?» — Извините, филология до меня не касается — я агроном.

«Скажите, нет ли между древними процессами земледелия таких опытов, которые ныне забыты и которые бы не худо было повторить?» — Извините, я не сельский хозяин, — я филолог.

«Не знаете ли, чему приписать особенное размножение и часто появление тех или других насекомых в том или другом году? — не замечено ли в истории каких-нибудь периодов в этих явлениях? не осталось ли об этом какого-либо хоть темного предания в климатерических годах, о которых толковали астрологи?» — извините, я космологиею вообще не занимаюсь — я рассматриваю мошек в микроскоп и, признаюсь, не без успеха, — я открыл с десяток совершенно новых пород.

«Скажите, не заметили ль вы отношения между уклонениями магнитной стрелки и необыкновенным урожаем того или другого растения или особенною смертностию между животными?» — Извините, я не могу входить в такие частности — я посвятил себя чисто магнетическим наблюдениям.

«Скажите, милостивый государь, до какой степени распространение теорий *за* и *против* врожденных идей в платоновом смысле может иметь влияние на административные меры в том или другом государстве?» — Какой странный вопрос! он слишком далек от меня — я чиновник, бюрократ.

«А вы, милостивый государь, не можете ли мне сказать, до какой степени гармоническое построение души человеческой должно быть принимаемо в соображение при полицейском устройстве города?» — Это, кажется, принадлежит к камеральным наукам, а я преподаю логику и реторику.

«Скажите, нет ли возможности по наружным формам растения определить его внутренние свойства, как писал об этом Раймонд Луллий, — например, то или другое его врачебное свойство?» — Это собственно было бы медицинский предмет, я же занимаюсь только ботанической классификациею, а Раймонда Луллия мне не удавалось читать — я не библиоман.

«Не заметили ль вы аналогии в наружных формах растений, имеющих одинаковое врачебное действие? — нельзя ли при пособии этого явления составить более правильную, более постоянную систему растительного царства и на основании такой системы прямо искать еще не открытого растения, или в данном растении — того или другого вещества, а не наудачу?» — Это бы очень усилило наши средства, и пример тому хинина, которую гораздо удобнее употреблять, нежели самую хину; что же касается до аналогии, о которой вы говорите, то ее нельзя не заметить; так, например, большая часть ядовитых растений имеют нечто общее в своей физиономии; я не могу однако ж взяться за разработку этого предмета: это дело ботаников, а я — практический медик.

«Скажите по крайней мере, что такое жинсенк, это странное растение, которое в Китае продается на вес золота и которому приписывают такую чудную силу?» — Я могу вам сказать: это — Panax quinquefolium, из семейства диоспирей; какие же свойства этого растения, о том спросите у химиков, а я — ботаник.

«Скажите, какой состав этого странного растения, какое его действие на организм и как его употребляют?» — Всего вернее, что оно состоит из кислорода, водорода, углерода и, может быть, азота; какое же его действие, спросите у ориенталистов или у путешественников.

«Вы, милостивый государь, один из немногих людей, которые долго жили в Китае, вы человек образованный,

скажите, что такое это растение и как его употребляют?» — Слыхал я об нем, что его несколько родов, из которых один очень обыкновенный и не производит никакого действия, но другой очень редкий — или как я сам видел, действительно спасает самых трудных больных. Какое различие между этими родами и в каких случаях употребляют тот или другой, я не мог этого изучить — потому что не занимаюсь естественными науками: я лингвист и ориенталист.

«Милостивый государь, вы так хорошо пишете,— чтобы вам написать книгу человеческим языком, которая бы сделала для всякого привлекательными и доступными физические знания».— Что делать? это не мой предмет! я занимаюсь только изящною литературою.

«Вы, милостивый государь, вы так глубоко изучили физику и естественную историю,— что бы вам исправить варварскую физическую номенклатуру, которая отталкивает читателей и делает лучшие физические сочинения непонятными для всякого не физика».— Что делать? это не мой предмет! я не литератор.

«Я слышал, милостивый государь, что вы напечатали вашу книгу о дифференциальном и интегральном исчислении; говорят, что если вникнуть в ваши формулы, то в них найдется объяснение почти всех физических, химических, этнографических явлений! как я рад, что вы наконец напечатали вашу книгу!» — Что пользы! ее едва ли прочтут десять человек,— а поймут едва ли трое в целом мире.

«А вы, милостивый государь,— вы, который по существу вашей науки должны иметь обо всем сведения, скажите, отчего разбрелись все ученые в разные стороны и каждый говорит языком, которого другой не понимает? отчего мы всё изучили, всё описали и — почти ничего не знаем?» — Извините, это не мой предмет; я только собираю факты — я статистик!..

Вячеслав. Будет! Будет! если ты намерен собирать все недомолвки ученого мира, то можешь проговорить до скончания века...

Фауст. Я ищу: не сольются ли где-нибудь эти капельки крови, которые так усердно выпускаются этими господами изо всех жил природы, каждый из своей?

Виктор. Успокойся! они начинают сливаться: например, утверждено тожество электричества, гальванизма, магнетизма...

Фауст. Пора! об этом Шеллинг говорил уже лет 30 тому... что ж далее?..

Виктор. Тебе бы все хотелось философского камня! этим, к сожалению, наш век угодить тебе не может... точно так же, как ни магией, ни каббалой, ни астрологией...

Фауст. Спроси у Берцелия, Дюма, Распайля и у других химиков, принимают ли они наверное металлы за простые тела и станут ли они теперь смеяться над тем, кто бы стал отыскивать не философский камень—нет! как можно в XIX-м веке! нет! а *радикал металлов,*—то есть именно то, чего искали алхимики!—правда, они называли предмет своих исканий очень странными именами: меркурием, квинтессенциею, девственной землею,—что совершенно непростительно с их стороны.—Скажу вам, господа, маленький секрет, только держите его про себя,—а не то скажут, что я, не в шутку, занимаюсь алхимиею. В новейшей химии есть одно несчастное простое тело, называемое азотом; это вещество служит очистительным козлищем для химических грехов; когда химик не знает, что он такое нашел,—тогда это *не знаю* он называет или *потерей,* или *азотом,* смотря по обстоятельствам; азот в наше время, несмотря на то, что об нем говорят беспрестанно, есть вещество совершенно отрицательное: если химикам попадется газ, который не имеет свойств ни одного из известных им газов,—то его называют азотом. Вот вам мой секрет: мне сдается, что азот не только был известен алхимикам, но что даже он для них был—*сложное тело.* Когда в этом убедятся и наши химики, тогда останется один шаг до металлического газа—или так называемого ныне, с ужимкою,—*радикала металлов.* Теперь я могу сказать, как некогда алхимики в конце загадочной страницы: «Сын мой! я открыл тебе важную тайну!».—Все это хорошо,—только вот что худо: когда это совершится, то, боюсь, люди точно так же будут смеяться над нашими атомами, исомерией, каталитическою силою, может быть, даже над нашими окислами, окисями, недокисями, перекисями и другими изящными именами,—точно так же, как мы смеемся над меркурием, зеленым и красным драконом алхимиков...

Вячеслав. Разумеется, науки совершенствуются—и как знать, где они остановятся...

Фауст. Обман слов—по крайней мере, в нашем веке. Я вижу в нем одно: мы трудились, трудились—и опять дошли до того же, что до нас было известно. По-моему: незачем было ходить так далеко...

Виктор. По крайней мере мы оставим нашим потомкам богатые материалы, опыты, сделанные при пособии

таких снарядов, об утонченности которых наши предшественники не могли иметь никакого понятия...

Фауст. Не знаю, к чему послужила выставка этих прекрасных, выполированных игрушек, которые называются физическими снарядами?.. У Архимеда для определения плотности тел был очень незавидный снаряд — вода; у Галилея для открытия законов движения маятника — снарядом была люстра, висевшая в церкви; для Ньютона, говорят,— яблоко...

Вячеслав. Но хоть из милости оставь что-нибудь нашему времени. Неужли все ученые, трудившиеся в продолжение целого столетия с половиною, не стоют ни малейшего внимания?..

Фауст. О, нет! я этого не говорю! как не уважать ученых! как не уважать трудов и страданий немногих высоких деятелей, ощутивших в себе необходимость единства науки и не понятых современниками! Как, даже в низшей сфере деятелей, не изумляться тому мужеству, с которым они часто приносят в жертву науке и труд, и спокойствие жизни, и самую жизнь! Ученый для меня то же, что воин; я даже собираюсь написать прелюбопытную книгу: «О мужестве ученых», начиная с смиренного антиквария или филолога, который каждый день, мало-помалу, впивает в себя все зародыши болезней, грозящих его затворнической жизни,— до химика, который, несмотря на всю свою опытность, никогда не может поручиться, что он выйдет живой из лаборатории; начиная от Плиния-старшего, убитого в сражении с волканом, до Рикмана, застреленного громовым отводом, Дюлона, потерявшего глаз в борьбе с хлором, Парана Дюшателе, проводившего недели по колени в сточных ямах, заражавших весь город, до Александра Гумбольдта, спускавшегося в рудники, чтоб испытать на себе действие асфикции, прикладывавшего себе шпанские мухи для гальванических опытов, до всех жертв плавиковой, гидрокиануровой кислоты... и уверяю вас, что никого не забуду. Но чем более я уважаю труды ученых, тем более — еще раз — скорблю об этой безмерной и напрасной трате раздробленных сил, которая замечается теперь на Западе; тем более скорблю, что наука более столетия все упрямее бредет по трудной, тернистой дороге и доходит лишь до мелких ремесленных приложений, которые, при другом пути, пришли бы сами собою,— или до простого механического записывания фактов, без цели, почти без надежды, подобно метеорологии... скорблю, что мы еще не вышли из пеленок восемнадцатого века, что еще не сбросили с себя постыдного ига энциклопедистов и материалистов, что общая,

живая связь наук потерялась и что истинное начало знания все более и более забывается...

Вячеслав. По крайней мере ты не будешь отвергать успехов истории в наше время, потому что без нее ты сам бы не мог сделать шага в твоей атаке против нашего века...

Фауст. История! история еще не существует.

Виктор. Позволь хоть в этом усомниться! когда, в каком веке более обращалось внимания на историю? когда исторические сокровища подвергались такой усиленной разработке?

Фауст. И все-таки история как наука не существует! Главное условие всякой науки: знать свое будущее, т. е. знать, чем бы она могла быть, если бы она достигла своей цели. Химия, физика, медицина, несмотря на все их настоящее несовершенство, знают, чем они могут быть,— следственно, к чему они идут,— история и этого не знает: подобно ботанике, метеорологии, статистике, она накладывает камень на камень, не зная, какое выйдет здание, свод или пирамида, или просто развалина, да еще и выйдет ли что-нибудь.

Вячеслав. Ты смешиваешь историю с хронологиею, с летописью... время летописей прошло; какой историк со времен Вольтерова «Опыта о нравах народных» («Essai sur les moeurs») не старается соединять исторические факты так, чтоб сделать возможными общие выводы?

Фауст. Правда! потребность одной общей, живой теории ощущается, с каждым днем более и более, лучшими умами века везде: в истории, как и в других науках; но с историею случилось то же, что с метеорологиею. Она очень подробно описала, что молния есть электрическая искра, сопровождаемая громом; с другой стороны, опытом найдено расстояние, пробегаемое звуком; из этих фактов сделаны весьма основательные выводы: что чем дальше гроза, чем больше проходит времени между появлением молнии и звуком грома, тем человеку безопаснее; эта теория обратилась в аксиому; под нее стали подводить все встречавшиеся явления; добрые люди, учившиеся наукам, и до сих пор считают по пульсу время, пробегающее между молниею и громом, и с уверенностию объявляют удивленному простолюдину, что гроза от него на столько-то верст! Прекрасно! чего лучше! вот что значит верное наблюдение фактов и теория, не на мечтах, а на фактах основанная! Но вот что очень огорчило господ опытных теоретиков: представились другие факты, а именно — люди, животные, здания

были поражены грозою без малейшей молнии и без грома! что делать с опытною теориею? она вся вверх дном! «Ничего!—сказали наблюдатели,—мы приобщим эти факты к другим, противоречащим—вот и все, а для утешения теоретиков приищем какое-нибудь название для этих досадных фактов, назовем их хоть возвратным ударом (choc de retour)!».—Та же теория на основании цифр и статистических выводов объявила, что грозы чаще бывают в жарких странах, нежели в холодных, и очень тщательно объяснила этот закон посредством электрической жидкости; но, к несчастию, к статистическим таблицам последовало небольшое дополнение, а именно, что в Лиме, Перу и Каире почти не бывает гроз,—тогда как в Ямайке от ноября до апреля грозы бывают ежедневно[1]. Вероятно, последняя страна имеет привилегию на электрическую жидкость, в которой отказано первым.—В истории, и особенно в так называемой философической истории, точно та же история.—Ничего бы не могло быть любопытнее собрания исторических выводов о причинах происшествий и оценки исторических лиц; один говорит: такая-то страна уцелела, потому что, несмотря на неблагоприятные обстоятельства, решилась удержать свою народность; другой: такая-то страна погибла, потому что, несмотря на те же самые обстоятельства, хотела удержаться. Такой-то полководец, несмотря на все увещания, поторопился и оттого потерял сражение; а такой-то, в тех же обстоятельствах, несмотря на все увещания, не захотел медлить и выиграл сражение. Варвары напали на римлян, но должны были уступить их воинской дисциплине; варвары напали на римлян—и распалась Римская империя, несмотря на ее воинскую дисциплину.—Иоанн Гусс погиб, потому что, полагаясь на охранительное письмо, отдался в руки непримиримым врагам своим; Лютер восторжествовал, потому что, несмотря на пример Гусса, пошел прямо в средину непримиримых врагов своих. Вот уроки этого так называемого училища народов—истории. Спроси ее о чем хочешь: на все она даст ответ, вместе утвердительный и отрицательный; нет нелепости, которой бы нельзя подкрепить указаниями на *нелицемерные скрижали* истории, и чем они нелицемернее, тем удобнее гнутся под всякие выводы. Отчего это странное, безобразное явление? все от одной причины: оттого, что историки, как метеорологи, думали возможным останавливаться на второстепенных причинах; дума-

---

[1] См. Кемтца «Метеорологию». (*Примеч. В. Ф. Одоевского*)

ли, что ряд фактов может их привести к какой-либо общей формуле! — И что ж мы замечаем в настоящую минуту: историки, видя постоянно, что от одних и тех же причин проистекают совершенно противоположные следствия,— решились снова проситься в летописцы. Я нахожу это весьма логическим! сливайте, сливайте, господа, разные лекарства в одну и ту же стклянку — может быть, что-нибудь и выйдет!

Виктор. Нападая на противоположные выводы из одинаких происшествий, ты забыл, что необходимо принимать в расчет разные обстоятельства, как, например, географическое положение, климат...

Фауст. Англия немножко побольше Исландии и почти в одинаких физических обстоятельствах — отчего такая разница в судьбе этих двух островов?.. климат? отчего англичане, переселившиеся в Северную Америку, не сделались индейцами, а индейцы англичанами? отчего евреи, цыгане не приняли нравов всех тех климатов, где они находились и находятся?

Виктор. Причина простая: народный характер, дух времени...

Фауст. Ты произнес два важные слова, только одного я не понимаю, на другое потребую объяснения. Что такое, например, дух времени? я это слово встречаю очень часто, но определения его еще не видал нигде.

Виктор. Определить это слово трудно, но смысл его довольно понятен; под духом времени разумеют отличительный характер всех действий человечества в данную эпоху, общее направление умов к тому или другому предмету, к тому или другому образу мнений, общее убеждение,— наконец, нечто соответствующее возрасту отдельного человека, нечто необходимое, неизбежное...

Фауст. Кажется, ты определил довольно верно; но вот вопрос: откуда берется это общее направление, это общее убеждение? зависит ли оно от одной какой-либо мощной причины, или от нескольких разных начал? Если дух времени происходит от одного начала, то он должен производить одно общее убеждение, исключающее все другие убеждения; если дух времени проистекает от различных начал, тогда убеждение, им производимое, не может быть общим, ибо оно разделится на несколько разных убеждений, из которых каждое будет иметь притязание на первенство, и тогда: прощай необходимость. Возьмем частный пример: какой, например, по-твоему, характер настоящего века?..

Виктор. Промышленный, положительный, это ясно как дважды два — четыре.

Фауст. Хорошо; вот необходимое призвание нашего века, не так ли? мы во всем ищем положительной, осязаемой пользы, не так ли?

Виктор. Без сомнения.

Фауст. Если так, то объясни мне, сделай милость, каким образом музыка существует в нашем веке? в нашей положительной эпохе она совершенная невозможность, нелепость! всякое другое искусство имеет хотя отдаленную пользу; поэзия нашла себе уголок в так называемых дидактической и анакреонтической поэзии; посредством стихов можно научить, например, хоть как нитки мотать; Делиль написал руководство для садовников; не помню кто — поэму о переплетном деле; живопись напоминает вещественные предметы и годится для изображения машин, домов, местностей и других полезных предметов; архитектура — и говорить нечего. Но музыка? музыка решительно не может доставить никакой пользы! как же она уцелела в нашем веке, где на каждом шаге вопрос: а к чему это полезно? другими словами: а к какой денежной операции это пригодно? — Если бы люди имели несчастие быть вполне логическими, они бы должны были выбросить музыку за окошко, как старую рухлядь. Человек, который, слушая музыку, сказал: Sonate! que me veux-tu?[1] — был человек весьма логический, ибо действительно посредством музыки нельзя себе выпросить даже стакана воды. Как втерлось это бесполезное искусство в наше воспитание? отчего почтенному фабриканту хочется, чтоб дочь его бренчала на фортепьянах? зачем он на музыкальные уроки и на инструменты тратит деньги, которые бы могли быть употреблены на более полезные предметы?

Виктор. Утешься, причина такого мотовства очевидна: тщеславие и больше ничего!

Фауст. Согласен! музыка действительно втерлась в новейшее общество в одном из его маскарадных платьев, под покровительством тщеславия, но почему наше тщеславие подружилось именно с музыкой? почему, например, не с кухней? что было бы гораздо легче и гораздо полезнее? Тут случилось нечто довольно странное и любопытное. Почтенному фабриканту, заставлявшему свою дочь играть блистательные вариации на di tanti palpiti[2], никак не приходило в голову, что несколько

---

[1] Соната! чего ты от меня хочешь? *(фр.)*
[2] Ради стольких волнений *(ит.)*.

пустых филантропов, занимающихся исправительною системою, наткнулись на факт, вполне непонятный: они заметили, что лишь те из преступников склонны к исправлению, в которых оказывается расположение к музыке[1]. Что за странный термометр!

Виктор. Уж воля твоя — я никак не могу понять, какое может быть отношение между руладами и нравственными поступками человека.

Фауст. Да, подлинно странно! а между тем это факт, un fait acquis à la science[2], как говорят французы. Тут невольно подумаешь о чьем-то вмешательстве в мире действий человеческих; музыка, повторяю, втерлась в этот мир вопреки духу времени! Ты видишь, я признаю существование этого духа, но даю ему другой смысл, который, может быть, не понравится утилитаристам. По-моему, дух времени — в вечной борьбе с внутренним чувством человека; этот дух был принужден принять в свои недра противную ему музыку, покоряясь какому-то темному чувству человека, которое бессознательно угадало высокий смысл этого искусства...

Вячеслав. Я очень рад этому открытию; вперед, когда в концерте какая-нибудь певица или signor Castratto затянет: «di tanti palpiti», — я закричу: «молчание, господа, — это курс нравственности!»

Фауст. Твоя насмешка кстати, но ты ошибся целью — и попал не в музыку, а в дух времени. Этому духу очень бы хотелось переиначить на свой лад ненавистное ему искусство; для этого он двинул музыку на ту разгульную дорогу, где она теперь шатается со стороны на сторону. Гимнам, выражающим внутреннего человека, — материальный дух времени придал характер контраданса, унизил его выражением небывалых страстей, выражением духовной лжи, облепил бедное искусство блеском, руладами, трелями, всякою мишурою, чтоб люди не узнали его, не открыли его глубокого смысла! Вся так называемая бравурная музыка, вся новая концертная музыка — следствие этого направления; еще шаг, и божественное искусство обратилось бы просто в фиглярство, — темный дух времени уж близок был к торжеству, но ошибся: музыка так сильна своею силою, что фиглярство в ней недолговечно! Случилась странность: все, что музыканты писали в угождение духу времени, для насто-

---

[1] См.: Appert. «De bagnes et prisons», 3 vol., in 8° ⟨Аппер. «О каторге и тюрьмах», 3 т., 8° *(фр.)*⟩, и многие другие книги по сей части. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

[2] Научно достоверный факт *(фр.)*.

ящей минуты, для эффекта, ветшает, надоедает и забывается. Кто захочет теперь слушать нежности Плейеля и рулады времен Чимарозо? Россиниевский блеск уже погас! от Россини осталось лишь несколько мелодий, проникнутых искренним чувством; все, что было им писано по заказу, для той или другой ноты певца, для той или другой публики, исчезает из людской памяти; певцы умерли, формы устарели. Беллини, который на сотни сажен ниже Россини, еще живет, потому что еще не успел надоесть и потому что в его оперы закрались две-три искренние мелодии. Фиглярство концертное надоело до чрезвычайности: все внимание концертистов обращено на то, чтоб удивить публику чем-либо новым: скрипка просится в фортепьяны, фортепьянам до смерти хочется петь, флейта добивается до pizzicato[1],— люди собираются, слушают, удивляются и — по темному, бессознательному чувству зевают; завтра все забыто: и зевота и музыка; не пройдет четверти столетия — и вопрос: «что вы думаете об операх Пачини, Беллини?» будет так же странен, как теперь вопрос: «что вы думаете об операх Галуппи, Караффа?» — хотя последний даже наш современник. А между тем живет старый Бах! живет дивный Моцарт! Напрасно дух времени шепчет людям в уши: «не слушайте этой музыки! эта музыка не веселая и не нежная! в ней нет ни контраданса, ни галопа; скажу вам слово еще страшнее: эта музыка ученая!». Благоговение к великим художникам не прекращается; по-прежнему их музыка приводит в восторг, по их музыке учатся, их творения разрабатываются учеными комментаторами, как «Илиада» Гомера, как «Комедия» Данте[2]. Не анахронизм ли это в нашем веке? Вникнув в одно это странное явление (а их тысячи), мы вправе спросить; «так называемый дух времени не есть ли соединение противоречий?»

Вячеслав. Ты привел в пример один наш век...

Фауст. Ты заметишь эти противоречия в каждом

---

[1] Пиццикато, музыкальный термин. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

[2] См. сотни томов о Себастияне Бахе и о Моцарте, и в особенности о последнем сочинение нашего соотечественника, Улыбышева, превосходящее все до него писанные книги о сем предмете и глубиною мыслей, и знанием дела, и ученостию, и горячею любовию к искусству: «Vie de Mozart», 3 vol., in-8° ⟨«Жизнь Моцарта», 3 т., 8° *(фр.)*⟩. Наши журналы едва упомянули об этой замечательной книге. [К сожалению, впоследствии ⟨написанная⟩ тем же самым сочинителем книга о Бетховене — ниже всякой критики] *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

веке: романтизм в веке древнего классицизма[1], реформацию в веке папизма... примеры без конца.—Что значат эти противоречащие явления? можно ли согласить их с тем понятием, которое обыкновенно составляют о духе времени? есть ли он действительно необходимая форма деятельности человеческой? нет ли другого, более сильного деятеля во всех исторических явлениях?

Виктор. Я уже упомянул о народном характере...

Фауст. Это выражение я несколько понимаю,—но не знаю, в обыкновенном ли смысле.

Вячеслав. Определение этого слова очень просто: характер народа есть собрание его отличий от других народов...

Фауст. Очень ясно! Иван не Кирила, а Кирила не Иван; остается решить безделицу: что такое Иван и что такое Кирила?

Вячеслав. Этого никогда нельзя решить...

Фауст. Не знаю...

Виктор. Попытайся...

Вячеслав. A la preuve, monsieur le detracteur! à la preuve![2]

Фауст. Вы меня ставите, господа, в презатруднительное положение... вы не знаете, как трудно вывести на свет мысль, которую почитаешь новою! какими окольными путями надобно идти, со скольких сторон обходить, сколько протверживать задов, с каким прискорбием разрушать все, что может препятствовать ее существованию... В настоящем состоянии умов для объяснения всякой мысли надобно начинать с азбуки, ибо люди гоняются за одними выводами, тогда как все дело—в основании; а между тем, часто эта мысль состоит из четырех слов,—что еще хуже, иногда эта мысль совсем не новая, она уже сидит в голове современников,—а приходится бить молотом по черепам, чтобы выпустить заклепанную затворницу; что еще хуже, у иных треснут черепа, а они этого и не заметят!

---

[1] Шевырев в своей «Теории поэзии» (Москва, 1836, с. 108, 109) сделал весьма остроумное, новое и глубокое замечание, которое показывает древний мир совсем с другой точки зрения, нежели с которой мы привыкли на него смотреть. Он нашел, «что примеры, которые выбирает Лонгин в своем сочинении из писателей языческих, все отличаются особенною возвышенностию *мысли,* и не столько во вкусе древнем, сколько в нашем романтическом... сих-то мыслей, более близких нашему духу, нашему христианскому стремлению, ищет Лонгин в писателях языческих и открывает в них сторону совершенно новую и нам родную». В самой книге Шевырева это мнение подкреплено неопровержимыми указаниями. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

[2] Докажите, господин хулитель! Докажите! *(фр.)*

Виктор. О! о! господин смиренный философ! какая самонадеянность...

Фауст. Нет! человек, который пестуется с мыслию, похож на попечительную матушку, у которой дочери на возрасте; их пора выдать замуж, а для того надобно их вывозить в свет, для того принарядить, подчас их похвалить, подчас побранить их сверстниц — одно худо: часто, несмотря на все материнские попечения...

Вячеслав. Невесты не находят женихов — смотри, чтобы и твоей милой дочери век не остаться в девках.

Виктор. К делу! к делу! без отговорок! нельзя безнаказанно обвинять целую эпоху в сумасшествии, не показав, что такое не сумасшествие?

Фауст. Без шуток, господа, я в большом затруднении, ибо также принадлежу к нашему веку — и потому одно сумасшествие, может быть, должен буду заменить другим. Мы все похожи на людей, которые пришли в огромную библиотеку: кто читает одну книгу, кто другую, кто смотрит только на переплет... заговорили, каждый говорит о своей книге,— как понять друг друга? с чего начать, чтобы понять друг друга? Если бы мы все читали одну и ту же книгу, тогда бы разговор был возможен,— всякий бы понял, с чего надобно начинать и о чем говорить. Дать вам прежде прочесть *мою* книгу — невозможно! — в ней сорок томов, напечатанных мелким, мучительным шрифтом! — читать ее — терзание невыносимое, невыразимое; листы в ней перемешаны, вырваны мукою отчаяния,— и что всего досаднее, книга далеко не кончена,— многое еще в ней осталось неполным, загадочным... нет! я не могу вам дать прочесть мою книгу,— вы ее отбросите с нетерпением; начну с одной из *ваших* книг.— Вы знаете, господа, что, по мнению многих людей, миру человеческому недостает многих наук; например, не знаю, кто-то сказал, что на Западе недостает одной весьма важной науки: «как топить печи!» — что совершенно справедливо. Вы знаете также, что в нашем веке аналитическая метода в большом ходу; я не понимаю, как никто до сих пор не догадался приложить к истории того же способа исследований, какой, например, употребляют химики при разложении органических тел; сначала доходят они до ближайших начал тела, каковы, например, кислоты, соли и проч., наконец до самых отдаленных его стихий, каковы, например, четыре основные газа; первые различны в каждом органическом теле, вторые — равно принадлежат всем органическим телам. Для этого рода исторических исследований можно было бы образовать прекрасную науку, с каким-нибудь звучным названием,

например *аналитической этнографии.* Эта наука была бы в отношении к истории тем же, что химическое разложение и химическое соединение в отношении к простому механическому раздроблению и механическому смешению тел; а вы знаете, какое различие между ними: вы раздробили камень; каждая частица камня остается камнем и ничего нового вам не открывает; наоборот, вы можете собрать все эти частицы вместе, и будет лишь собрание частиц камня — не более; напротив, вы разложили тело химически и находите, что оно состоит из элементов, которых бы вовсе нельзя было предполагать по наружному виду тела; вы соединяете эти элементы химически и получаете снова разложенное тело, по наружному виду не похожее на свои элементы. Кто может догадаться, смотря на жидкую воду, что она состоит из двух воздухов или газов! кто, смотря на воздухообразные кислород и водород, догадается без пособия химии, что их соединение образует воду? — Недаром собственно химия в таком ходу в нашем веке! дух времени — правда — вздымает вокруг нее технологический сор и заставляет ее жить в этой удушливой атмосфере; но, может быть, несмотря на то, физическая химия все-таки мало-помалу приближается к своей сокровенной цели: навести ученых на химию высшего размера.— Она, подобно разным отраслям деятельности человеческой, хотя и находится под гнетом темного духа времени, но уже по существу своему должна заниматься внутренними, сокрытыми элементами природы и потому невольно вырывается из-под узды материалистов и *испытует глубину*.— Почему знать! может быть, историки посредством *аналитической этнографии* дойдут до некоторых из тех же результатов, до которых дошли химики в физическом мире; откроют взаимное сродство некоторых элементов, взаимное противодействие других, способ уничтожать или мирить сие противодействие; откроют ненароком тот чудный химический закон, по которому элементы тел соединяются в определенных пропорциях и в прогрессии простых чисел, как один и один, один и два и так далее; может быть, наткнутся на то, что химики с отчаяния называли каталитическою силою, т. е. превращение одного тела в другое посредством присутствия третьего, без явного химического соединения; может быть, также убедятся они, что в историческом производстве должно употреблять необходимо реактивы *чистые*, без всякой примеси, под страхом наказания фальшивыми результатами; даже приблизятся, может быть, и к основным элементам. Конечною, идеальною целию аналитической

этнографии было бы — *восстановить историю,* т. е., открыв анализисом основные элементы народа, по сим элементам систематически построить его историю; тогда, может быть, история получила бы некоторую достоверность, некоторое значение, имела бы право на название науки, тогда как до сих пор она только весьма скучный роман, исполненный прежалких и неожиданных катастроф, остающихся без всякой развязки, и где автор беспрестанно забывает о своем герое, известном под названием человека. Может быть, и в химии и в этнографии удобнее было бы поступить наоборот, т. е. начать прямо с основных элементов и бодро проследить все их разветвление...

Виктор. Мечта! откуда взять прямо эти основные элементы; кто уверит тебя, что они — основные, а не другие?..

Фауст. В этом должно увериться — *опытом...*

Виктор. Победа, победа, господа! наш идеалист сам нечувствительно дошел до того, против чего восставал, дошел до необходимости опыта, эмпиризма... в том и дело, друг: какими окольными путями ни обходи знание, все дойдешь до его единственного исходного пункта, т. е. до чувственного опыта...

Фауст. Я никогда не отвергал необходимости опыта вообще и важности чувственных опытов. Хорошо, если человек может увериться в истине всеми теми органами, которые ему для сего даны провидением, — даже рукою. Весь вопрос в том: все ли эти органы мы употребляем? давно уже говорят, что одно телесное чувство служит поверкою для другого: зрение поверяется осязанием, слух поверяется зрением; говорят также в школах, что впечатления внешних чувств поверяются душою, — но это выражение остается обыкновенно необъяснимым и для слушателей, и для профессора. Как происходит эта вторая поверка? — действительно ли происходит эта поверка? — принимаем ли при ней все те предосторожности, которые считаем необходимыми для правильного действия внешних чувств? Чтоб рассмотреть предмет, мы стараемся прежде всего удалить все те предметы, которые могут находиться между им и глазом; чтоб расслушать звук, мы стараемся не слыхать всех посторонних звуков; мы бережно закупориваем аромат, чтоб он не смешался с другими запахами. И несмотря на многочисленные наши опыты сего рода, мы никогда не можем поручиться, что не ощутили один предмет вместо другого. Нечто подобное должно происходить и в психическом ощущении; чистое психическое воззрение так же трудно, как чистый чувственный опыт.

В том и другом случае мы слишком развлечены многоразличными ощущениями, и нам почти невозможно уединить наше внимание; мы должны принимать большие предосторожности для того, чтобы думать *своею* мыслию, чтобы удалить все посторонние, чужие, приобретенные, наследственные мысли, которые являются между нами и предметом.— Я нашел лишь одно описание любопытного опыта в сем роде: «Хотите ли испытать, как эта машина вертится?—говорит один весьма замечательный писатель.— Удалитесь куда-нибудь в темный угол, чтоб вам, если можно, ничего не видеть и не слышать; старайтесь прогнать от себя все мысли,— или, лучше сказать, прогонять; потому что легко и разом этого сделать нельзя без особенной силы воли: вы увидите, какие разнообразные и непредвиденные группы мыслей начнут представляться вам; пред вами будут являться неожиданно, негаданно какие-то призраки волшебного фонаря. Тогда вы узнаете и то, как трудно отвлекаться от идей; только не надобно спешить опытом и не кончить его в 5 или 10 минут»[1]. Таких опытов над *трезвением* мысли еще весьма мало; немногие из них описаны, и то в таких книгах, где их обыкновенно не ищут; а весьма любопытны эти опыты! Всего неудобнее для приложений в сем случае то, что сего рода опыты и выводы из них может делать каждый лишь *про себя;* есть что-то ребяческое в обыкновенных требованиях: показать, дать ощутить такой опыт, как в требованиях: дать ощупать магнетическую силу человека; ибо здесь *снаряд в самом испытателе,*—его степень знания зависит от его привычки обращаться с своим снарядом,— а вообще можно ссылаться в подтверждение своих слов лишь на такие опыты, которые производил и сам слушатель; это очевидно. Следственно, пока кто сам не произвел такого психологического опыта, который бы уверил его в возможности видеть мимо чувств, свободным, полным прозрением духа, тот не должен ни отрицать сей возможности, ибо это было бы несправедливо, ни требовать, чтобы ему передали эту возможность, ибо такая передача—вне самого существа и условий опыта. Должно однако же заметить, что мы натыкаемся довольно часто на некоторые намеки из таких опытов, намеки, которые бы должны были сделать нас более осторожными при отрицании выводов сей психологической экспериментации; так, по некоторым намекам, мы уверяемся в

---

[1] См.: «Исповедь, или Собрание рассуждений доктора Ястребцева». СПб., 1841, с. 232 и 233. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

существовании некоторого чутья в организмах, хотя ощупать его не можем; мы замечаем, например, что вредная организму пища часто производит в нем отвращение, никакими наблюдениями не объяснимое; что значит эта темная наклонность вкуса, которая встречается у беременных женщин, часто странная и всегда верная? что значит это невольное содрогание, которое ощущает человек, проходя по полю самой законной битвы, при виде казни самого закоренелого преступника? Великое дело понять свой инстинкт и чувствовать свой разум! в этом, может быть, вся задача человечества. Пока эта задача не для всех разрешена, пойдем отыскивать те указки, которые какая-то добрая нянюшка дала в руки нам, рассеянным, ветреным детям, чтобы мы реже принимали одно слово за другое. Одна из таких указок называется у людей творчеством, вдохновением, если угодно, поэзиею. При помощи этой указки род человеческий, хотя и не силен в азбуке, но выучил много весьма важных слов, например — что человек и человеческое общество есть *живой организм.* Удивительно, как люди не пошли далее при пособии этого слова, которое недаром вылетело из светлого мира поэзии и ярко блеснуло в темном мире науки; оно, кажется, может объяснить по крайней мере несколько отдельных вопросов, как быстрое прохождение планеты мимо солнца может служить для определения его диаметра.

Под организмом, кажется, понимают обыкновенно несколько начал, или стихий, действующих с определенною целию; удовольствуемся хоть этим определением, как мы довольствуемся определениями слова металл, хотя для него и ни одного нет верного. Некоторые обстоятельства, сопровождающие существование организма, нам довольно известны; например, мы знаем, что очень часто начала, образующие один организм, были бы смертию для другого; часто растение, питающееся одними началами, умирает от присоединения к нему других, а растение, умирающее в некоторых обстоятельствах, вдруг оживает от новых средств питания; наконец, знаем также, что растение часто изменяется, возвышается в своей организации от прививки к нему стихий другого растения или оттого, что одно посажено возле или после другого; знаем, что болезнь семян может перейти в самые растения, от которых произойдут семена еще более зараженные; что, наоборот, искусным уходом можно постепенно истребить эту заразу и возвысить организацию растения; знаем, что если растение не находит средств для возобновления его начальных элементов, то чахнет и мало-помалу погибает,

и что, следственно, для организма необходимо полное развитие его элементов, иначе — полнота жизни; знаем также, что пищу организма можно отравить минеральным или растительным ядом. Рассматривая высшие организмы, каков, например, организм человека, мы уверяемся, что он, подвергаясь необходимому закону эпох, например возрасту, сохраняет однако же волю промотать, исказить свои жизненные силы или укрепить и возвысить их; видим, наконец, что во всех сих организмах есть какой-то таинственный будильник, который напоминает им о необходимости питать свои элементы; оттого растение тянется цветком к солнцу, корнями жадно ищет земляной влаги; животное посредством голода узнает о необходимости усвоить себе некоторое количество азота, — довольно сложная и важная операция, о которой животное часто не имеет полного сознания, а одно темное ощущение. Как королларий ко всем этим наблюдениям, мы замечаем, что если бы растение или животное дожидалось, пока Дюма, Буссенго или Либих доказали ему, каким образом добывается азот, карбон, и почему им и тот и другой необходимы, — то и растение и животное умерли бы с голода, все-таки не достигнув до чистого, осязаемого опыта. Вот, господа, вся новость, которую я хотел вам сообщить. Как видите, эта новость совсем не нова и не странна; вы ее можете найти в любой химии, натуральной истории, физиологии... потому что в мире, как в доброй самопрядильной фабрике, одно колесо цепляется за другое; вольно же доктору Юру стоять перед машиною и не видеть смысла этого сцепления!

Я вам рекомендую, господа, во-первых, запастись добрыми, хорошо вытертыми, ахроматическими очками, при употреблении которых предметы не помрачаются земными, радужными, фантастическими красками, и во-вторых — читать две книги: одна из них называется *Природой* — она напечатана довольно четким шрифтом и на языке довольно понятном; другая — *Человек* — рукописная тетрадь, написана на языке мало известном и тем более трудном, что еще не составлено для него ни словаря, ни грамматики. Эти книги в связи между собою, и одна объясняет другую: однако же когда вы в состоянии читать вторую книгу, тогда обойдетесь и без первой, но первая поможет вам прочесть вторую. Для развлечения можете читать другие книжки, будто бы написанные о первых двух книгах; но только остерегитесь: читайте не строки, а между строками, там много найдете любопытного при пособии очков, о которых я настаиваю. Там вы найдете, что действительно человек есть организм, состав-

ленный из элементов, требующих места и времени для своего развития; если соединяются два человека дружбою ли, любовью ли, то образуется новый организм, в котором элементы отдельных организмов согранчиваются (модифируются), как согранчиваются кислоты соединением с щелочами; если к организму супружества присоединяется третий организм, тогда снова происходит новое воздействие между составными элементами, и так далее, до целого общества, которое в свою очередь есть новый организм, составленный из других организмов; вы найдете, что в каждом организме, какой бы он ни был, есть общие элементы, всем организмам в различной степени принадлежащие, и частные элементы, образовавшиеся из первых и принадлежащие тому или другому организму и составляющие характеристическое отличие каждого.

Мои химические операции довели меня до четырех основных элементов, общих всем человеческим организмам; может быть, их больше или меньше; это зависит от искусства химика; но я пока довольствуюсь ими, как атомистическая химия довольствуется шестью десятками так называемых простых тел. По-моему, эти четыре элемента называются очень просто: потребностию истины, любви, благоговения и силы, или власти. Эти элементы — общечеловеческие; от их различных соединений, от первенства одного над другим, от застоя того или другого происходят все различные ближайшие элементы. Должна быть определенная пропорция между сими элементами, но она может быть известна лишь некоторым алхимикам; впрочем, для практики довольно и приблизительных вычислений. Не удивляйтесь, что иногда эти элементы производят действия, по-видимому, весьма противоположные, — это оптический обман! Один знаменитый химик, много занимавшийся органическими разложениями, по имени Боссюэт, сказал: «Если мы будем пристально всматриваться в то, что происходит внутри нас, то найдем, что все наши страсти зависят от любви, которая их все обнимает и возбуждает. Самая ненависть к одному предмету происходит лишь от любви к другому; так, например, я чувствую отвращение к одному предмету потому только, что он препятствует обладать предметом, к которому чувствую любовь»[1].

Иногда один элемент развивается на счет других и, вышедши из определенной пропорции, не умиряется дру-

[1] Bossuet. «Connaissance de Dieu et de soi-même», ch. 1 («Боссюэ. «Познание бога и самого себя», гл. 1 *(фр.)*). *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

гими; так, например, дышать одним оживляющим кислородом очень приятно, но он умерщвляет так же, как и удушающий азот; в воздухе же они соединены в такой пропорции, что вредное свойство каждого согграничено другим. В человеческом организме, например, чувство силы—может обратиться в полную беззаботность и беспечность или в удовлетворение одним вещественным вожделениям; потребность полной истины—может привести к поверхностному энциклопедицизму или ко всеотвергающему скептицизму; чувство дружества—довести до расточительности и проч., тому подобное. Во всех таких случаях организм страждет, как растение без воды или слишком политое. Человеку дана привилегия творить особый мир, где он может соединять основные элементы в какой хочет пропорции, даже в их настоящем естественном равновесии; этот мир называется искусством, поэзиею; важный мир, ибо в нем человек может найти символы того, что совершается, или должно бы совершаться внутри и вокруг его; но зодчие этого мира часто вносят и в него ту несоразмерность между стихиями, которою они сами страждут, не замечая того; другие же счастливцы строят сей мир так же бессознательно, как и первые, и неожиданно в сем мире отражается та гармония, которая звучит в душе самих зодчих; древность выразила этот замечательный акт человеческой деятельности именем Амфиона.

Как бы то ни было, когда не существует равновесия и гармонии между элементами,—организм страждет; и таков педантизм в этом законе, что ничто не спасает от сего страдания: ни развитие воли, ни дар творчества, ни сверхъестественное знание,—будь он страною, обладающею всеми средствами силы, называйся он Бетховеном, Бахом,—организм страждет, ибо не *выполнил полноты* жизни. Роскошный кактус, захваченный морозом, достигает иногда до степени душистого цветка,—но потом мгновенно погибает.

Тут происходит часто другое замечательное явление: организм, смыкаясь в своих элементах, знает их одних и потому никак не может понять возможности другого элементного соединения, часто стихии одного народного организма так отдалены от стихий другого, что один никак не может понять жизни другого, ибо каждый видит лишь в своих элементах условие жизни. Так западные писатели пишут историю человечества, но понимают под этим словом лишь то, что вокруг них, забывая иногда о безделице: например, о девятой части земного шара и о сотне миллионов людей; когда же доходят до славянского

мира, то готовы доказать, что он не существует, ибо он не подходит под ту форму, которая образовалась из западных элементов. Если бы рыбы умели писать, то они наверно бы доказали, и очень ясно, что птицы никак не должны существовать, ибо не могут плавать в воде. Случается и наоборот.

Был на сем свете великий естествоиспытатель, по имени Петр Великий; ему достался на долю организм чудный, достойный его духа. Глубоко вникнул Великий в строение этого чудного мира; он нашел в нем размеры огромные, силы исполинские, крепкие, закаленные зубчатые колеса, прочные упоры, быстрые шестерни — но этой огромной системе сил недоставало маятника; оттого мощные элементы этого мира доходили до действий, противоположных существу их; чувство силы — тянулось к совершенной беспечности, поглотившей племена азийские; многосторонность духа, выражавшаяся дивною восприимчивостию и сродная чувству истины, не находила себе пищи и вяла в бездействии; еще несколько веков этих мгновений в жизни народа — и мощный мир изнурил бы себя собственной своею мощью. Великий знаток природы и человека не отчаялся; он видел в своем народе действие иных стихий, почти потерявшихся между другими народами: чувство любви и единства, укрепленное вековою борьбою с враждебными силами; видел чувство благоговения и веры, освятившее вековые страдания; оставалось лишь обуздать чрезмерное, возбудить заснувшее. И великий мудрец привил к своему народу те второстепенные западные стихии, которых ему недоставало: он умирил чувство разгульного мужества — строением; народный эгоизм, замкнутый в сфере своих поверий, — расширил зрелищем западной жизни; восприимчивости — дал питательную науку. Прививка была сильна; протекли времена, чуждые стихии усвоились, умирили первобытных — и новая, горячая кровь полилась в широких жилах исполина; все чувства его пришли в деятельность; напружились дебелые мышицы; он вспомнил все неясные мечты своего младенчества, все, до того непонятные ему, внушения высшей силы; он откинул одни, дал тело другим, — вздохнул вольно дыханием жизни, поднял над Западом свою мощную главу, опустил на него свои светлые, непорочные очи и задумался глубокою думою.

Запад, погруженный в мир своих стихий, тщательно разрабатывал его, забывая о существовании других миров. Чудна была его работа и породила дела дивные; Запад произвел все, что могли произвесть его стихии, — но

не более; в беспокойной, ускоренной деятельности он дал развитие одной и задушил другие. Потерялось равновесие, и внутренняя болезнь Запада отразилась в смутах толпы и в темном, беспредметном недовольстве высших его деятелей. Чувство самосохранения дошло до щепетливого эгоизма и враждебной предусмотрительности против ближнего; потребность истины — исказилась в грубых требованиях осязания и мелочных подробностях; занятый вещественными условиями вещественной жизни, Запад изобретает себе законы, не отыскивая в себе их корня; в мир науки и искусства перенеслись не стихии души, но стихии тела; потерялось чувство любви, чувство единства, даже чувство силы, ибо исчезла надежда на будущее; в материальном опьянении Запад прядает на кладбище мыслей своих великих мыслителей — и топчет в грязь тех из них, которые сильным и святым словом хотели бы заклясть его безумие.

Чтобы достигнуть полного гармонического развития основных, общечеловеческих стихий,— Западу, несмотря на всю величину его, недостало другого Петра, который бы привил ему свежие, могучие соки славянского Востока!

Между тем, что не совершилось рукой человека, то совершается течением времен.— Недаром человек, увлеченный, по-видимому, мгновенным прибытком, усовершает способы сообщения; недаром люди теснятся друг к другу, как низшие животные, чуя опасность. Чует Запад приближение славянского духа, пугается его, как наши предки пугались Запада. Неохотно замкнутый организм принимает в себя чуждые ему стихии, хотя они бы должны были поддержать бытие его,— а между тем он тянется к ним невольно и бессознательно, как растение к солнцу.

Не бойтесь, братья по человечеству! Нет разрушительных стихий в славянском Востоке — узнайте его, и вы в том уверитесь; вы найдете у нас частию ваши же силы, сохраненные и умноженные, вы найдете и наши собственные силы, вам неизвестные, и которые не оскудеют от раздела с вами. Вы найдете у нас зрелище новое и для вас доселе неразгаданное: вы найдете историческую жизнь, родившуюся не в междоусобной борьбе между властию и народом, но свободно, естественно развившуюся чувством любви и единства, вы найдете законы, изобретенные не среди волнения страстей и не для удовлетворения минутной потребности, не занесенные чужеземцами, но медленно, веками поднявшиеся из недр родимой земли; вы найдете верование в возможность счастия не одного

большого числа, но в счастие *всех* и *каждого;* вы найдете даже в меньших братьях наших то чувство общественного единения, которого тщетно ищете, взрывая прах веков и вопрошая символы будущего; вы поймете, отчего ваш папизм клонится к протестантизму, а протестантизм к папизму, т. е. каждый к своему отрицанию, и вы поймете, отчего лучшие ваши умы, углубляясь в сокровищницу души человеческой, нежданно для самих себя выносят из оной те верования, которые издавна сияют на славянских скрижалях, им неведомых;[1] вы изумитесь, что существует народ, который начал свою литературную жизнь, чем другие кончают,—сатирою, т. е. строгим судом над самим собою, отвергающим всякое лицеприятие к народному эгоизму; вы изумитесь, узнав, что есть народ, которого поэты, посредством поэтического магизма, угадали историю прежде истории—и нашли в душе своей те краски, которые на Западе черпаются из медленной, давней разработки веков исторических;[2] вы изумитесь, узнав, что существует народ, понимающий музыкальную гармонию естественно, без материального изучения; вы изумитесь, узнав, что не все мелодические дороги истоптаны и что художник, порожденный славянским духом, один из членов триумвирата[3], сохраняющего святыни развращенного, униженного, опозоренного на Западе искусства, нашел путь свежий, непочатый; наконец, вы уверитесь, что существует народ, которого естественное влечение—та

---

[1] Баадер, Кёниг, Баланш, Шеллинг. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

[2] Стихия *всеобщности* или, лучше сказать, *всеобнимаемости* произвела в нашем ученом развитии черту довольно замечательную: везде поэтическому взгляду в истории предшествовали ученые изыскания; у нас, напротив, поэтическое *проницание* предупредило реальную разработку; «История» Карамзина навела на изучение исторических памятников, до сих пор еще не конченное; Пушкин (в «Борисе Годунове») разгадал характер русского летописца,—хотя наши летописи не прошли сквозь вековую историческую критику, а самые летописцы еще какой-то миф в историческом отношении; Хомяков (в «Димитрии Самозванце») глубоко проникнул в характер еще труднейший: в характер древней русской женщины—матери; Лажечников (в «Басурмане») воспроизвел характер и того труднейший: древней русской девушки; между тем, значение женщины в русском обществе до Петра Великого остается совершенною загадкой в *ученом смысле.* Теперь следите за этими характерами в исторических памятниках, только что появляющихся в свет, и вас поразит верность этих призраков, вызванных магическою деятельностью поэтов.—Нельзя не подивиться, как люди, ударившиеся в ультраславянизм, до сих пор не обратили внимания на это замечательное явление. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

[3] Мендельзон-Бартольди, Берлиоз, Глинка. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

всеобъемлющая многосторонность духа, которую вы тщетно стараетесь возбудить искусственными средствами; вы уверитесь, что существует народ, которого самые льды и снега, вас столько устрашающие, заставляют невольно углубляться внутрь, а извне побеждать враждебную природу; вы преклоните колено перед неизвестным вам человеком, который был и поэтом, и химиком, и грамматиком, и металлургом, прежде Франклина низвел гром на землю — и писал историю, наблюдал течение звезд — и рисовал мозаики стеклом, им отлитым,— и в каждой отрасли подвинул далеко науку; вы преклоните колено пред Ломоносовым, этим самородным представителем многосторонней славянской мысли, когда узнаете, что он, наравне с Лейбницом, с Гете, с Карусом, открыл в глубине своего духа ту таинственную методу, которая изучает не разорванные члены природы, но все ее части в совокупности, и гармонически втягивает в себя все разнообразные знания. Тогда вы поверите своей темной надежде о *полноте жизни,* поверите приближению той эпохи, когда будет *одна наука* и *один учитель,* и с восторгом произнесете слова, не замеченные вами в одной старой книге: «человек есть стройная молитва земли!».

Фауст замолчал. «Все хорошо,— сказал Виктор,— но что ж нам между тем остается делать?»

— Ждать гостей и встретить их с хлебом и солью.

Вячеслав. А потом надеть учительский колпак и рассадить гостей по скамьям...

Фауст. Нет, господа, для этого вам еще надобно выйти из состояния брожения, которое осталось от прививки; подождать той минуты, когда гармонически улягутся все стихии, вас образующие, когда вы, подобно Ломоносову, будете черпать изо всех чаш, забыв, которая своя, которая чужая; эта минута недалека.— А между тем не худо приготовиться к принятию дорогих гостей — наших старых учителей; прибрать горницу, наполнить ее всем нужным для жизни, чтобы ни в чем не было недостатка, и самим принарядиться и тщательно позаботиться о своих меньших братьях, например хотя передать им в руки науку, чтоб они не зевали по сторонам; не худо подчас и бичом сатиры, по примеру предков, стегнуть мышей, которые забираются в дом, не спросясь хозяина; вообще своего не чуждаться, чужого не бояться, а пуще всего: хорошенько протереть собственные наши очки и помнить, что вся штука не в одной оправе, а также, что и лучшее стекло негодно, когда его затянет плесенью.

Вячеслав. Все, что я могу сказать,— c'est qu'il y a quelque chose à faire...[1]

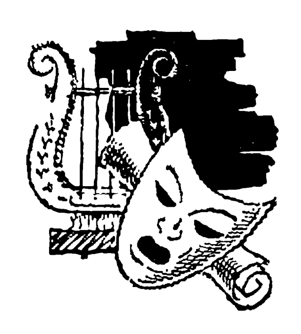
Виктор. Я подожду парового аэростата, чтобы посмотреть тогда, что будет с Западом...

Ростислав. А у меня так не выходит из головы мысль сочинителей рукописи: «Девятнадцатый век принадлежит России!».

---

[1] Это — что нужно что-то делать (*фр.*).


СТАТЬИ





О НАПАДЕНИЯХ ПЕТЕРБУРГСКИХ ЖУРНАЛОВ НА РУССКОГО ПОЭТА ПУШКИНА[1]

С некоторого времени у журналистов вошло в обыкновение не обращать внимания на статьи, помещаемые в «Северной пчеле». Мы не можем одобрить этого равнодушия. Не должно позабывать, что сколь ни мало влияния производилось «Северною пчелою» на публику,— «Северная пчела» есть *единственная* в России политико-литературная газета, что «Северная пчела» есть *единственный* в России *ежедневный* листок, что статья, которая бы осталась незамеченною в книжке, сама бросается в глаза, когда напечатана на листке, что эту статью прочтет и человек, выписывающий «Северную пчелу» лишь для политических известий, прочтет невольно и литератор, потому что она попадется ему под руку.

Правда, с некоторого времени «Северная пчела» обленилась, уверенная в равнодушии своих читателей—не литераторов, полагаясь на свою *единственность* в нашей журналистике. Изможденная справедливыми упреками других изданий, она живет простою корректурною жизнию, но иногда исподтишка является на сцену ее тактика, и в каком-нибудь углу листа пропалзывает статейка, которую нельзя читать без негодования и которую не должно оставлять без ответа.

Такова, между прочим, статья, помещенная в «Северной пчеле» по поводу перевода «Полтавы» Пуш-

---

[1] Статья эта написана в 1836 ⟨году⟩; но в то время ее негде было напечатать, потому что в Петербурге не было литературных изданий, кроме тех, против которых она направлена. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

кина, статья, которую можно назвать сокращением всего того, что «Северная пчела», «Сын отечества» и «Библиотека для чтения», под разными видами, с некоторого времени стараются втолковать своим читателям[1].

Здесь для людей, не следовавших за литературною тактикою некоторых журналов, надобно войти в некоторые объяснения.

Было время, когда Пушкин, беззаботный, беспечный, бросал свой драгоценный бисер на всяком перекрестке; сметливые люди его подымали, хвастались им, продавали и наживались; ремесло было прибыльно, стоило надоесть поэту и пустить в воздух несколько фраз о своем бескорыстии, о любви к наукам и к литературе. Поэт верил на слово, потому что имел похвальное обыкновение даже не заглядывать в те статьи, которые помещались рядом с его произведениями.— Тогда все литературные промышленники стояли на коленях пред поэтом, курили пред ним фимиам похвалы заслуженной и незаслуженной,— тогда, если кто-либо, истинно благоговеющий пред поэтом, осмеливался сказать, что он несогласен с тем или другим мнением Пушкина — о тогда! тогда горящие уголья сыпались на главу некстати откровенного рецензента. Поэт вспоминает об этом времени в «Евгении Онегине»:

Прочел из наших кой-кого,
Не отвергая ничего:
И альманахи, и журналы,
Где поученья нам твердят,
Где нынче так меня бранят,
А где такие мадригалы
Себе встречал я иногда!
E sempre bene, господа!

Но есть время всему. Пушкин возмужал, Пушкин понял свое значение в русской литературе, понял вес, который имя его придавало изданиям, удостоиваемым его произведений; он посмотрел вокруг себя и был поражен печальною картиною нашей литературной расправы,— ее площадною бранью, ее коммерческим направлением, и имя Пушкина исчезло на многих, многих изданиях! Что

---

[1] Относится к статье *П. М—скаго* о переводе «Полтавы» на малоросс. язык Е. П. Гребенки. «Северная пчела», 1836, № 162. «Мечты и вдохновения свои он погасил срочными статьями и журнальною полемикою, князь мысли стал рабом толпы; орел спустился с облаков для того, чтобы крылом своим ворочать тяжелые колеса мельницы!» Вот что говорилось о Пушкине! *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

было делать тогда литературным негоциянтам? Некоторое время они продолжали свои похвалы, думая своим фимиамом умилостивить поэта. Но все было тщетно! Пушкин не удостоивал их ни крупицею с роскошного стола своего, и негоциянты, зная что в их руках находится исключительное право литературной жизни и смерти, решились испытать, нельзя ли им обойтиться без Пушкина. И замолкли похвалы поэту. Замолкли когда же? Когда Пушкин издал «Полтаву» и «Бориса Годунова», два произведения, доставившие ему прочное, неоспоримое право на звание первого поэта России! Об них почти никто не сказал ни слова, и это одно молчание говорит больше, нежели все наши так называемые разборы и критики.

Между тем новая гроза готовилась против поэта. Он не мог быть равнодушным зрителем нашей литературной анархии,—и несчастные промышленники открыли или думали открыть в «Литературной газете», в «Московском вестнике» некоторые статьи, носившие на себе печать той силы, той проницательности, того уменья в немногих словах заковывать много мыслей, которые доступны только Пушкину, и, наконец, той неумолимой насмешки, которая не прощала ни одной торговой мысли, которая на лилипутов накладывала печать неизгладимую и которой многие из рыцарей-промышленников, против воли, одолжены бессмертием.

Что было делать? Тяжел гнев поэта! Тяжело признаться пред подписчиками, что Пушкин не участвует в том или другом издании, что он даже явно обнаруживает свое негодование против людей, захвативших в свои руки литературную монополию! Придумано другое: нельзя ли доказать, что Пушкин начал ослабевать, то есть именно с той минуты, как он перестал принимать участие в журналах этих господ? Доказать это было довольно трудно: «Полтава», «Борис Годунов», несметное множество мелких произведений, как драгоценные перлы, катались по всем концам святой Руси. Нельзя ли читателей приучить к этой мысли, намекая об ней стороною, с видом участия, сожаления?.. Над этим похвальным делом трудились многие, трудились прилежно и долго.

В статье «Северной пчелы», подавшей повод к нашим замечаниям, эта мысль выражена очень просто и ясно; там осмеливаются говорить прямо, что Пушкин свергнут с престола (detroné),—кем? неужели «Северной пчелою»? Нет! это уже слишком!.. как? Пушкин, эта радость России, наша народная слава, Пушкин, которого стихи знает наизусть и поет вся Россия, которого всякое

произведение есть важное событие в нашей литературе, которого читает ребенок на коленях матери и ученый в кабинете,— Пушкин, один человек, на которого сама «Северная пчела» с гордостию укажет на вопрос иностранца о нашей литературе, Пушкин разжалован из поэтов «Северною пчелою»? — Кого же, господа, скажите, бога для, вы сыскали на его место: творца Выжигиных, Александра Анфимовича Орлова или барона Брамбеуса?[1] — Но негодование полное, невольно возбуждаемое во всяком русском сердце при таком известии, исчезает, когда вы дойдете до причины, приведенной «Северной пчелою» такому несчастию. Знаете ли, отчего Пушкин перестал быть поэтом? Рецензент, пишущий под вдохновением «Северной пчелы», в своей младенческой душе отыскал лишь следующую причину: «Пушкин уже больше не поэт, потому что издает журнал».

Было бы смешно возражать на такое обвинение, было бы обидно для читателей, если бы мы стали вспоминать, что Карамзин и Жуковский, Шиллер и Гете были журналистами; мы оставим в покое невинность рецензента «Северной пчелы», но обратимся к его учителям или к тем людям, которые лучше должны понимать: отчего Пушкин издает то, что вы называете журналом[2].

Многим было неприятно это известие; некто до того простер свою проницательность, что разбранил «Совре-

---

[1] Псевдоним Сенковского, принадлежавшего тогда к партии «Северной пчелы». Размолвка между друзьями и соотчичами последовала позже.

[2] Враги Пушкина называли беспрестанно «Современник» *журналом* — неспроста; здесь было указание цензуре на то, что Пушкин делает нечто недозволенное, ибо «Современник» был разрешен ему как *сборник*, а не как *журнал*. В настоящее время все эти проделки непонятны, но тогда могли иметь весьма важное и неприятное для издателя значение. Тогдашняя «Северная пчела», вообще весьма теперь любопытная, вся наполнена такими штучками. Поляки крепко стояли друг за друга. Вновь появившаяся в недавнее время странная мысль о превосходстве какого-то польского шляхетского просвещения над русским постоянно проводилась уже тогда в разных видах. Тогдашняя цензура не обратила на это внимания, и издания вроде «Северной пчелы» считались тогда самыми благонамеренными. Такой взгляд цензуры давал этим изданиям возможность сколь возможно чернить все русское, и в особенности писателей, не принадлежавших к польской партии. Недаром поляков воспитывали иезуиты. Дерзость и ослепление простирались до того, что было предпринято издание *нового* словаря русского языка, где вводились в примеры полонизмы и варваризмы Сенковского. Первый выпуск с введением был отпечатан и пущен в публику. Такая штучка никого не удивила. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

менник» прежде его появления и написал целую статью о програме этого *журнала,* когда этой программы не существовало. Все это понятно; но скажите откровенно, кто виноват в этом? Кто виноват, если Пушкин принужден был издать особою книгою свое собрание отдельных статей о разных предметах? — Не кажется ли вам это горьким упреком?[1]

Если кто-нибудь в нашей литературе имеет право на *голос,* то это, без сомнения, Пушкин. Все дает ему это право, и его поэтический талант, и проницательность его взгляда, и его начитанность, далеко превышающая лексиконные познания большей части из наших журналистов, — ибо Пушкин не останавливался на своем пути, господа, как то случается часто с нашими литераторами: он, как Гете и Шиллер, умеет читать, трудиться и думать; он — поэт в стихах и бенедиктинец в своем кабинете; ни одно из таинств науки им не забыто, и — счастливец! — он умеет освещать обширную массу познаний своим поэтическим ясновидением! — Ему ли не иметь голоса в нашей литературе?

Но где бы он нашел место для своего голоса? Укажите? Не там ли, где каждая ошибка великого человека принимается как подарок, с восхищением? Или там, где посредственность, преклоняющаяся пред литературными монополистами, возносится до небес, а имена Шеллингов, Шампольонов и Гаммеров произносятся лишь для насмешки? Или там, где попираются ногами все живые, все возвышающие душу человека мысли, и где на их место ставится вялый, безмысленный скептицизм, даже не поддерживаемый поэтическим юмором? — Или там, где в продолжение целого года не найдешь ни одной строчки, над которою бы можно было остановиться? Или где нравы лучшего образованного общества осмеиваются людьми, которые не бывали и в передней? Или там, где, кажется, существует постоянный заговор против всякой бескорыстной мысли, против каждого благодетельного открытия? Или там, где не знающие русского языка хотят ввести для него свои законы и объявляют себя *переправщиками* всей русской и иностранной литературы? Или там, где пышные похвалы суть следствия домашней сделки для продажи собственных произведений? Или там, где творец «Выжигина» ставится наряду с Вальтером

---

[1] В «Северной пчеле» (1836 г., № 127—129) был помещен крайне неблагоприятный разбор 1-й кн. «Современника»; разбирал Булгарин. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

Скоттом? Или там, где путешествие на Медвежий остров ставится наряду с «Фаустом» и выше «Манфреда»?[1]

Такое ли направление Пушкин должен поддерживать своим именем? Тщетные замыслы! Они не удадутся — плачьте и рвитесь, преследуйте поэта каменьями: они обратятся на вас же...— Ни одна строка Пушкина не освятит страниц, на которых печатается во всеуслышание то, что противно его литературной и ученой совести.— Да что вам и нужды до этого; печатайте, издавайте, никто вам не мешает; вы имеете свой круг читателей, людей, которые вам удивляются, свои алтари, довольствуйтесь ими — книга Пушкина не отобьет у вас читателей: он не искусен в книжной торговле, это не его дело; — его дело: показать хоть потомству изданием своего,— даже <хоть бы> дурного журнала,— что он не участвовал в той гнусной монополии, в которой для многих заключается литература. Этот долг на него налагается его званием поэта, его званием первого русского писателя.

Переходя от частного случая к общему состоянию нашей литературы, нельзя не пожалеть и не подивиться, по какой причине никто другой из известных наших литераторов, пользующихся всеобщим уважением, кото-

---

[1] Здесь идет речь о нелепых и невежественных статьях Сенковского, которым Булгарин писал самые восторженные похвалы и сравнивал Сенковского с Гете и Байроном. Булгарина же ставили в ряд с Вальтер Скоттом. Сенковский, плохо зная русский язык и беспрестанно употребляя полонизмы, хотел уверить, что он открыл новые законы русского языка. За это, однако ж, ему досталось от Н. И. Греча, который хотя и был одним из издателей «Северной пчелы», но держал себя поодаль от ее литературных дрязгов и далеко не одобрял хвастливой заносчивости поляков, захвативших тогда в руки почти все журналы и пользовавшихся особым покровительством, несмотря на всеобщее негодование. Многие были вполне убеждены, что все погибнет, если у городских застав снимут шлахбаумы (о сем тогда уже шла речь), а равно если будет дозволена политическая газета кому-либо, кроме Булгарина или Сенковского. Невообразимо, сколько было употреблено тонкости для уничтожения «Телеграфа». Один глубокомысленный господин, и не без веса, громко говорил, что лучше монополия в руках людей, с которыми нечего церемониться, чем распространение журналов; а между тем именно в привилегированных журналах и проводилось враждебное России польское направление, которого результаты оказались лишь впоследствии. В одной статье «Библиотеки для чтения» прямо доказывалось, что козаки были не что иное, как хлопы польской шляхты, и это, при неимоверной строгости во всех других отношениях, спокойно пропускалось. Вообще эта эпоха невежественного и вредного польского диктаторства в нашей литературе и журналистике, ныне едва понятная, весьма любопытна и поучительна. Она ждет своего историка наравне с эпохою Магницкого, Рунича и Фотия. Собственно, для польско-журнальной эпохи материалы готовы — в журналах того времени, начиная с появления «Телеграфа» Полевого и бури, им поднятой в польском гнезде. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

рым их таланты, благонамеренность и образованность давали бы полное право на доверенность читателей, не издают такой *ежедневной* газеты, какова «Северная пчела»? В этом была бы выгода для самой «Северной пчелы»; имея рядом с собою соперника, владеющего *одинаковым* оружием, она была бы осторожнее в своих мнениях, осмотрительнее в выборе статей, и недозрелые, ошибочные, а иногда (кто без греха?) и страстями внушенные суждения о литературных произведениях не сбивали бы с толку простодушных читателей. Когда будет конец этому литературному диктаторству? Потребность читать распространяется с каждым днем более и более, а читать нечего. Вообразите себе литературные мнения человека, который читает одну «Северную пчелу»! Между тем «Северная пчела» есть *единственная* у нас литературная газета. Вообразите себе этот хаос противоречий, самохвальства, пристрастных мнений, незнания самых обыкновенных вещей в науках и искусствах, за который читатели платят ежегодно, может быть, до 200 000 рублей. Если бы «С<еверная> пчела» была даже отличною, ученою газетою, то и тогда для читателей вредно было бы всякой день слушать одного и того же критика, и решительно можно сказать, что до тех пор у нас не будет той благодетельной критики, которую некогда установил в Германии Лессинг, которая очистила дорогу для Шиллера и Гете, которая способствует утверждению ясных понятий в науках и чистого вкуса в искусствах, пока у нас не будет по крайней мере *двух или трех* литературно-критических газет. Кажется, требование не велико. В сем случае укор всех благонамеренных людей падает на всех тех наших умных, ученых и благомыслящих литераторов, которые видят в литературе самобытную цель, а не средство для коммерции.

⟨ПУШКИН⟩

Пушкин! — произнесите это имя в кругу художников, постигающих все величие искусства, в толпе простолюдинов, в толпе людей, которые никогда его сами не читали, но слышали его стихи от других — и это имя везде произведет какое-то электрическое потрясение. Отчего его кончина была семейною скорбию для целой России, отчего милость царская сиротам поэта была подарком для всякого русского сердца; нетленным алмазом в нетленном венце русского государя? — Что сделал Пушкин? изобрел ли он молотильню, новые берда для суконной фабрики, или другое новое средство для обогащения, доставил ли вам какие удобства в вещественной жизни? Нет, рука поэта оставляла другим делателям подвиги на сем поприще — отчего же имя его нам родное, более народное, возбуждает больше сочувствия, нежели все делатели на других поприщах, теснее соединенных с житейскими выгодами каждого из нас.

Я не буду отвечать на эти вопросы. В царских чертогах есть многоценная картина Рафаэля, она не велика, холста на нее употреблено мало, несколько гранов краски и только — но эта картина куплена огромной ценою, — но эта картина приковывает ваши взоры, она вносит в душу ряд высоких неизъяснимых ощущений, она разверзает в самой глубине души мир, до того не достижимый простолюдину, при взгляде на нее утихают порочные страсти, невольное благоговение как бы неистощимым пламенем облекает все чувства души, вы невольно чувствуете в сердце стремление к добру, в уме рождается ряд высоких мыслей, которые отвлекают вас от жизненной грязи, от мелочей жизни, от душной земли, разверзают в душе

новое, до того для вас непонятное небо. Как и отчего производят это магическое действие кусок полотна, пиитическое произведение, гармония музыкальной трубы — того не перескажет вам человеческое слово; это одна из тех тайн, на которой останавливается естествоиспытатель при виде жизни, зарождающейся в зерне растения, при виде силы, которая в человеческом организме соединяет все разнородные, противоположные друг другу стихии. Тщетны же усилия тех, которые хотят на человеческий язык перевести жизнь поэта, остановить каждое мгновение его жизни, дать ему форму, найти ее значение, как тщетны доныне все усилия естествоиспытателей заметить минуту, когда появляется первый отросток из прозябающего зерна.

Однажды, пред тою картиною, о которой мы говорили, остановилась толпа любопытных. Из толпы раздавались восклицания: прекрасно, превосходно, божественно! Один между зрителями рассказывал о времени, когда написана картина, о *манере* Рафаэля в этом периоде его художественной жизни, о размере картины, о гравюрах, с нее сделанных, о красках, которые употреблял живописец, о том, что было об ней писано, кому она принадлежала, за сколько куплена, даже, кажется, о том, сколько пошло на нее холста. Некоторые слушали его с вниманием, но большая часть не внимала ему, иные даже досадовали на рассказчика, зачем он прозаическою речью нарушает их безмятежное, сладкое созерцание. Другой стоял в отдалении от картины, устремив на нее свои взоры: спрашивали его мнения — он молчал и не сводил глаз с картины — в этом состоял весь ответ его.

Так бывает со всеми великими произведениями искусства, так бывает с величайшим произведением естественного художества — поэтом. Есть люди, которые любят разбирать по частям жизнь художника, отгадывать, зачем он избрал тот или другой предмет, зачем он не избрал такой именно, — но большее число мало обращают внимания на эти обстоятельства, сводящие поэта на степень обыкновенного человека, они безотчетно любуются великим художником, ибо он говорит им тем языком, которого нельзя передать словами, он беседует с теми силами, которые углублены в безднах души, которые человек иногда сам в себе не ощущает, но которых поэт ему должен высказать, чтобы он их понял. Те, которые знакомы с сими глубинами, в этом случае поступают подобно толпе, они благоговеют и безмолвствуют.

Много писали о Пушкине, но еще больше читали его; много желчи, слабоумие и легкомыслие и коварство

примешивали в сосуд его славы — но обратитесь к кому б то ни было — одно имя Пушкина, и произведен ряд высоких ощущений, в которых не одно чувство народной гордости, но и чувство поэзии; спросите того же самого человека отдать вам отчет в действии, производимом на вас его произведениями, он в ответ вам скажет лишь одно слово: «прекрасно!» — слово глубокое, когда вылетает из глубины сердца.

Это сочувствие, этот род безотчетного обожания, производимые в людях художником или поэтом, есть явление важное, и чем безотчетнее это чувство, тем предмет его должен быть возвышеннее; это род религиозного акта, совершаемого душою в своем неприступном святилище. Вы легко отдадите себе отчет в назначении, в употреблении ремесленного произведения, домашней утвари, над растением вы уже задумаетесь, человека уже растолковать себе не умеете, что же найдете сказать о высшем произведении высшего на земле события — о художественном деле?

[illegible] оценять художников сделалось привычкою [illegible]; целые книги написаны о том, чтобы [illegible] почему изящное в таком-то произведении [illegible]. Не вижу большой пользы в таких [illegible]. Кто не открыл в душе своей тех объятий, которые [illegible] художественного поцелуя — для того эти [illegible] понятны. Собирать ошибки, заблуждения поэта есть [illegible] педантизм; думать, что можно кому-либо писать по образцу поэта, — есть ребячество, в которое могли впасть лишь французы. Куда привело их изучение великих образцов? l'étude des grands maîtres? К тому, что всякая девственная сила уже невозможна на этом языке, в его растленных буквах не вмещается никакая высокая мысль и сказанная на этом языке кажется пустою фразою.

Пред великим художником важно и полезно лишь одно чувство: благоговение? Приступайте к нему с сердцем девственным, — не мудрствуя лукаво. Не дерзайте у него спрашивать, почему он так сделал, а не иначе. Спросите об этом у самого себя? и если можете отвечать на сей вопрос, то благодарите бога, что он открыл вам важную тайну своего творения. — Такого рода чувство в особенности полезно для вас самих, ибо оно возводит вашу душу на высшую степень; оно полезно и для ваших читателей, потому что силою сочувствия может также возвысить и их душу не по словам вашим, — но по собственному ее процессу, которому вы дали только закваску.

В споре за Бахчисарайский фонтан, с одной стороны,

⟨был⟩ холодный скептицизм, с другой,—горячее, неподдельное чувство; первый не мог уронить пиитического произведения по той же причине, почему скептицизм не может заглушить веры, последнее не могло защитить творение по той же причине, почему скептицизм не опровергаем, ибо не имеет ничего существенного.

Знаю, как озлобят эти слова виновников в сем так называемом ими падении Пушкина, но мы уже потомство, а потомство чинит суд правый и каждому воздает по делам его.

ЗАПИСКИ ДЛЯ МОЕГО ПРАПРАВНУКА О РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

ПОСВЯЩЕНИЕ

Часто, в те грустные минуты, когда, теряя веру в самого себя, упрекаешь себя в излишней деятельности, или, теряя веру в других, упрекаешь себя в недеятельности, когда бумага вертится под пером и мысли беспрестанно переходят от одного предмета к другому с неуловимою быстротою, ты являешься передо мною с своим вопрошающим взором, с своею насмешливою улыбкою. Ты спрашиваешь меня: что́ такое была наша литература? и где была наша литература? Ты перебираешь наши критики, истории, даже, если угодно, чтения о словесности, думаешь найти в них историю этой литературы, находишь в них сотни имен с разного рода эпитетами и еще раз спрашиваешь: что́ же такое наша литература? и, к досаде моей, прибавляешь обидный вопрос: была ли у нас литература?

Ты не понимаешь нас, мой милый праправнук,— не мудрено: мы сами себя не понимаем.

Но делать нечего! Чтоб удовлетворить твоему любопытству, я оставляю тебе все, что мне в разные времена приходило в голову при этом странном вопросе: «Есть ли у нас литература? и где наша литература?» Тетрадь мою читай с почтением, которым ты обязан твоему прапрадедушке; не смейся,— мы и без тебя довольно над собою посмеялись,— и не принимай моих мыслей за общее мнение. Так думал твой прапрадедушка, вот и все; ошибался он или нет,— это ты узнаешь лучше нашего.

Плакун Горемыкин, титулярный советник в отставке.

Мне бы очень хотелось узнать достоверно: неужли до сих пор существуют добродушные люди, которые в самом деле, не притворяясь, думают, что критика служит к очищению вкуса, к направлению авторов, и проч. и проч. В Европе еще спорят о сущности изящного,— у нас еще и не спорят; там нет еще порядочной эстетики,— у нас еще, между теориями, даже порядочной азбуки; а между тем критика существует и там и здесь; да еще какая критика! в старинном смысле, как применение законов изящного к произведениям, как судилище вкуса, как оценка дарований... Но, сказать правду, нигде так не смешна эта критика, как в нашей так называемой русской литературе. Действительно, можно ли удержаться от смеха, читая в бóльшей части наших так называемых журналов наших так называемых критиков, которые с важностию обращаются к так называемым читателям и уверяют их, что такая-то книга не заслуживает их просвещенного внимания? можно ли удержаться от смеха, читая, как автор книги оскорбляется таким суждением и простодушно спрашивает: «Неужли критики пишутся для удовлетворения мелочной зависти, а не для указания недостатков?»...

Если бы мой голос мог раздаться во все концы мира, я сказал бы европейским критикам: «Пока чувство изящного не будет переведено на язык разума, пока не будет выражено словами — воздержитесь!» Я сказал бы так называемым нашим критикам: «Пока мы, и особенно вы, порядочно не поучились — воздержитесь!»

Прошу тебя, мой любезный праправнук, не почитать слов моих просто насмешкою над моими собратиями по письмоводству (иначе не знаю, как назвать нашу литературу) и не относить моих слов к тем немногим исключениям из общего правила, которые сделали бы честь всякой литературе, но которые не составляют литературы.

Отлагая всякое чувство патриотизма в сторону, я думаю, что нет ни одной литературы интереснее русской, и вот почему: кто не знает знаменитого произведения Рафаэля — «Афинской школы»? но, может быть, немногие неживописцы обращали внимание на предуготовительные очерки (études) сей картины; это отдельные, несвязные группы, иногда подражание Перуджино, иногда антикам; здесь фигура наклонена, там поднята; здесь свернута, там развернута драпировка; здесь на одном туловище нарисованы три разные головы, там еще не окончена и половина фигуры,— словом, это попытки прекрасные, но которые были б нам непонятны, если бы мы не знали развившейся

из них картины. Что, если бы кто взялся разбирать картину прежде, нежели она была написана? стал бы называть некоторые из сих очерков совершеннейшим произведением художества, про другие говорить, что они показывают совершенное отсутствие таланта?..

В таком положении находится наша литература; она любопытна как приготовление к какой-то русской, до сих пор нам непонятной литературе,— непонятной тем более, что Россия юна, свежа, когда все вокруг ее устарело и одряхло. Мы новые люди посреди старого века; мы вчера родились, хотя и знаем все, что было до нашего рождения; мы дети с опытностию старца, но все дети: явление небывалое в летописях мира, которое делает невозможными все исторические исчисления и решительно сбивает с толка всех европейских умников, принимавшихся судить нас по другим! Что же делать, господа! Мы ни на кого не похожи и для нас нет данных, по которым бы, как в математическом уравнении, можно было определить наше неизвестное. Россия живет еще в героическом веке; ее рапсоды еще не являлись. Мы еще предметы для поэзии, а не поэты. В такую историческую минуту народа — трудно судить о его литературе, ибо литература есть последняя степень развития народа: это духовное завещание, которое оставляет народ, приближающийся ко гробу, чтоб не совсем исчезнуть с лица земли.

От этого ныне у нас нет и быть не может людей, исключительно посвящающих себя искусству. Да и когда нам? нам некогда! Оттого у нас считается литератором тот, кто напишет пару стихов, пару романов, переведет водевиль или хорошо переводит газетные известия — точно так же, как в наших деревнях, кто умеет читать по складам, называется грамотным. Что в старых землях умеет сделать всякий образованный человек, то у нас оценивается как произведение художника; тысяча первый английский турист, тысяча первый доцент, разъезжающий по провинциям для чтения того, чего набрался у других, был бы у нас не только литератором, но еще известным литератором, и, чего доброго, претендовал бы на диктаторство в нашей литературе! Есть люди, которые пишут даже краткие и пространные истории нашей литературы, как будто она имеет какой-нибудь характер, какую-нибудь самобытность и как будто все, что мы можем назвать литературою, не суть занятия в свободное время двух-трех человек с талантом. Мы смеемся над Клапротом, который написал грамматику лезгинцев и кабардинцев,— пошлите туда некоторых из наших журналистов, они и там отыщут для себя место в истории литературы.

Исторический период, в котором мы находимся, производит еще особенную черту в нашей литературе: *подражание*. Наш народный характер, наша государственная жизнь, место, занимаемое нами на земном шаре,—все это так огромно, так полно силы и поэзии, что не может вместиться в литературу; оттого мы пропускаем себя мимо и глядим лишь на других. Это скромное чувство подражания так далеко у нас простерлось, что иностранцы принялись уверять, будто бы мы лишены всякого творчества. Некоторые, хотя немногие произведения нашего времени дойдут и до тебя, мой любезный праправнук, и тогда ты увидишь несправедливость этого осуждения. Нет! мы не лишены творчества; оно, напротив, сильнее у нас, нежели у других народов, но оно в зародыше; нашей литературе (за немногими исключениями), как я сказал выше, недостает отличительного характера, физиономии. Ты узнаешь немецкую страницу по глубокомыслию, английскую по юмору, французскую по остроумию — по каким признакам ты угадаешь русскую страницу?.. Ты улыбаешься, любезный праправнук, потому что ты видишь в русской странице соединение всего того, что разменено для других народов на мелкую монету; ты видишь ясно, что наше мнимое подражание было только школою, вышедши из которой, мы перегнали учителей. Но это видишь ты, а не мы; для нас многие, весьма многие русские страницы богаты лишь отрицательными признаками.

От этого нет у нас сочувствия между жизнию и литературою; литературные вопросы, распри, открытия — все это не касается до нелитераторов; даже иной и литератор разделяется на две половины, из которых одна смеется над другою; что делается в литературе, того не знают в свете. Что делается в свете, о том не знает литература; в гостиной постыдишься сказать ту мысль, от которой поутру вспрыгнешь на стуле; гостиное происшествие, которое, развиваясь, может изменить все светские условия, сокрыто от литератора; к чему он приготовляется ежедневно, того избегает в свете; что пишется в наших книгах, то в книгах и остается; между наукою и жизнию, между литературою и жизнию, между поэзиею и жизнию — целая бездна. И каждая половина развилась своим особым образом и получила свои законы, свои условия, свой язык, и между тем обе живут вместе, как два расстроенные инструмента у глухих музыкантов — знай играют! Оттого и слышится такая чудная гармония, что хоть вон беги. Подите, растолкуйте им, что литература и жизнь, как в порядочном доме кабинет и гостиная — две

необходимые вещи в бытии человечества, что одна не может быть без другой; отделить совершенно литературу от его жизни и его жизнь от литературы все равно что в дождливую ночь вынести фонарь без свечи или свечу без фонаря. Поставьте, господа, свечку в фонарь! Покройте, господа, фонарем свечку!.. Нечего насмехаться над теми, которые бы хотели навести мост над бездною! Ведь мы приближаемся — знаете к чему? Мы приближаемся к исторической древности; мы приближаемся к ней по той же причине, почему поэт в минуту сильнейшего развития своей организации находит в душе своей чувства младенца! А воскресите Платона: скажите, что он не должен выезжать на площадь или ораторствовать у Латы,— он засмеется, как наши потомки будут смеяться над нашею двуличневою жизнию, как мы смеемся над теми веками, когда ученые запирались в монастыри, когда ученые почитали за стыд писать на другом языке, кроме латинского... Впрочем, далеко еще до этого времени — далеко! и этому есть преважная причина: наши гостиные — род Китая. Говорят, в этом чудном царстве этикет так хорошо устроен, что богдыхан не может сделать никакого ни в чем улучшения потому только, что все минуты его жизни заранее рассчитаны по церемониалу. В наших гостиных существует подобный церемониал: он состоит не в том только, как думают наши описатели нравов, чтоб беспрестанно кланяться, шаркать, ощипываться, доказывать, что вы не человек, а франт,— нет, существует другой церемониал, для меня, по крайней мере, самый тягостный и который я почитаю главным препятствием совершенствования гостиных,— это обязанность говорить беспрерывно и только о некотором известном числе предметов; далее этого круга не смейте выходить — вас не поймут. Ничто на свете не может сравниться с этим терзанием. Вы огорчены, в голове у вас бродит поэтическое видение, на вас просто нашел столбняк,— нет нужды! вы должны говорить; вы должны выжать разговор из кенкета, из партии виста, из листа бумаги, не более... Тут будь хоть Гете или Гумбольдт — не вытерпишь, изговоришься и скажешь плоскость; и самому стыдно, и совестно, и досадно, а еще растягиваешь ее, вертишь ее во все стороны, как червяка под микроскопом, и все говоришь, говоришь... Этот проклятый церемониал забежал к нам из французских гостиных; французу хорошо — у него разговор вещь совершенно посторонняя, внешняя, как вязальный чулок; у него все под руками: и спицы, и нитки, и петли; заведет механику в языке, и пойдет работа, говорит об одном, думает о другом, спрашивает одно,

отвечает другое. Такая механика не по нашему духу; мы полу-азиатцы, мы понимаем наслаждение в продолжение нескольких часов сидеть друг против друга, курить трубку и не говорить лучше ни слова, нежели нести всякий вздор о предметах, которые вас не занимают.

А что же делает литература, чтоб приблизиться к обществу? О, многое! Во-первых, у нас есть нравоописатели, которых не пускают и в переднюю; они очень любят нападать на высшее общество У нас есть критики, которые ждут не дождутся чего-нибудь оригинального в литературе, чтоб унизить, уронить произведение, которое не похоже на другие; вообще отличительный характер наших так называемых критиков и сатириков — попадать редко и метить всегда мимо. Наша литература тянется вровень с землею, а они жалуются, что наши авторы заносятся слишком высоко; мы кое-как, с грехом пополам щечимся вокруг словарей — а нам ставят в упрек излишнюю ученость; два, три человека зашептали о шеллинговой, о гегелевой философии; иные проговорили слово об агрономии,— а у нас уже пишут повести, комедии, в которых выводятся на сцену философы, агрономы-нововводители, как будто бы это было характерною чертою в нашем обществе! Между тем в обществе действительно делается характеристическою чертою совершенное равнодушие к русской поэзии, к русскому театру, к движению русской науки; вместе с произведениями иноземцев вносятся к нам мысли, чуждые нашему духу, и бесчувствие в цветном, красивом наряде, и болтовня народов-стариков, отживших свой век и потерявших всю веру в достоинство человека. Здесь толкуют о пустом фельетоне французского журналиста и не имеют понятия о тех добрых людях, которые стараются у нас подкопать всякое честное литературное предприятие; там читают все, от Виктора Гюго до Поля де Кока, и не читали ни Лажечникова, ни Вельтмана; там спорят о танцовщицах и не видали Щепкина, Каратыгина! И вся эта чужеземная смесь тянет книзу и топит эту бесценную проницательность, смышленость и сметливость, которыми провидение свыше одарило русского человека, приготовляя его быть первым человеком в мире науки и искусства... Эти черты остаются для наших сатириков неприкосновенными, а если и попадают в их книги, то в таком превратном и жалком виде, что общество и не знает, о чем идет дело!

Впрочем, виновато ли общество? С некоторого времени некоторые имена, некоторые литературные происшествия — все в каком-то тумане стало доходить до обще-

ства. Но чем мы щеголяем пред ним?.. О! ты не поверишь, мой любезный праправнук.

Лучшие из наших литераторов благородно приносили в жертву службе свою литературную жизнь, свою литературную славу, свои минуты вдохновения; словом, все счастие своего бытия. Это благородное самопожертвование отдалило их от той деятельности, которою живет литература народа. Ты знаешь, что у подножия всякой старой литературы есть особый класс промышленников, которые для простолюдинов меняют на мелочь чужие мысли; они пользуются всякими случайностями общественной жизни, пишут книги на случай или сшивают из старых чужих лоскутьев, продают их,—и более своей торговли ни о чем не заботятся; этих промышленников в Европе никто не знает; имена их потеряны в истории литературы, и они не умеют даже произносить своего имени. С нашей же литературой случилось то же, что с домом Крылова:

Хозяева еще в него не вобрались,
А мыши уж давным-давно в нем завелись.

На месте истинных литераторов у нас, как будто в старой литературе, явились литературные поставщики, и, на безлюдье, с претензиями на литераторство. Чего вам угодно? Роман — сейчас изготовим; историю — сейчас выкроим; драму — сейчас сошьем. Только не спрашивайте у нас ни литературного призвания, ни таланта, ни учености; а книги есть. Другие поставщики, а иногда они же сами пишут об этих книгах, хвалят их; у них есть и журналы, и критики, и партии,—все, что угодно, как будто в настоящей литературе; даже имена некоторых из сих господ получают какую-то странную известность. Когда я смотрю на эту чудовищную, противоестественную литературу, то, кажется, вижу собрание ящиков в книжных переплетах: тут есть и история, и роман, и драма; посмотришь внутри — один сор... Между тем, эта литература живет своею противоестественною жизнию. Когда обществу вздумается наклониться и спросить: да где же литераторы? — поставщики очень смело выставляют свои головы и отвечают: «мы за них». Общество присматривается, замечает на месте литературы лишь промысел, лишь желание нажиться деньгами — и одна часть общества проходит мимо с отвращением, другая верит этим господам и за фальшивую монету платит настоящими деньгами,— а этим проказникам только то и надо!

Но это бы еще хорошо: пускай наживаются! вот что

дурно: при бо́льшем развитии народной жизни некоторые люди сделались вполне литераторами, и с полным правом на это почетное звание. Они принялись за дело, им по праву принадлежащее; но поставщики испугались: что, если литераторы отобьют у них хлеб? куда им деваться? на что они способны? нельзя ли удержаться на своем теплом местечке? как это сделать? нас знают — давай кричать, давай чернить честных людей, давай унижать их таланты! Подымается крик, гам, изводятся на свет разные маленькие гадости — общество удивляется и спрашивает: «неужели так кричат литераторы?» и снова проходит с отвращением; оно не может отличить голос честный от торгового; оно не в силах понять, кого должно поддержать на этом базаре; оно не знает того, что, поддержав честную сторону, оно навек уничтожит все выдумки литературной поставки! По естественному отвращению оно желает лучше не быть зрителем этой бесславной борьбы — и часто, часто благородное предприятие погибает только оттого, что негодяи закидывают его грязью!..

Все это тебе кажется смешно и странно, любезный праправнук! Счастливец!..

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

Химики и другие естествоиспытатели имеют обыкновение вести журнал при своих опытах; в такой журнал они вносят все замеченное ими в продолжение явления, иногда подробно, иногда одним только указанием. Естественно, в сих замечаниях встречаются неполнота, ошибки, противоречия, но в том и польза сих заметок, ибо едва ли ошибки и заблуждения не столь же подвинули вперед науку, сколь и удачные опыты; часто в ошибке, в противоречии заключается прозрение в такую глубину, которой не досягает правильный, по-видимому, опыт; без заблуждений алхимиков не существовала бы химия; Ломоносов справедливо заметил, что неосторожность Рихмана, приблизившегося во время грозы к громоотводу, была прямым опытом, доказавшим тожество между молнией и электричеством; слишком неудачный опыт привел Дюлона к открытию странного тела, известного под названием хлористого азота, которому, кажется, суждено играть некогда важную роль в химических приложениях. Каждый из нас ежедневно и невольно производит подобные опыты над своею душою — при собственном ли ее на себя воздействовании, при встрече ли с внешними предметами. Вот журнал, веденный в продолжение многочисленных психологических процессов; может быть, он когда-нибудь пригодится на что-либо будущему духоиспытателю.

Есть слова, которые мы часто употребляем, не обращая внимания на их глубокое значение; мы говорим: «Это противно *внутреннему* чувству, этим возмущается *человечество,* этому *сердце* отказывается верить». Какое *чувство* породило эти выражения? Оно не есть следствие рассуждений, не есть следствие воспитания,— одним сло-

вом, не есть следствие разума. Вы видите казнь преступника; разум убеждает вас, что она необходима, но было бы противно внутреннему чувству не скорбеть о нем. Разум уверяет вас, что вы должны умерщвлять своего противника в пылу сражения,— но спросите самого храброго воина, что ощущает он, проходя по полю битвы после сражения? Ведь эти раны были необходимы, эти страдания суть необходимое следствие правой битвы, отчего же его сердце трепещет, отчего дрожь проходит по его телу, отчего *его человечество возмущается?* Отчего иногда, как самое *сердце* ваше поражено какой-либо страстью, и *рассудок* уверяет вас, что вы можете предаться ей безопасно, но еще какое-то внутреннее чувство вас удерживает?

Говорят: следствие понятий, полученных при воспитании. У индийского владельца родятся дети, они каждый день видят, что негры не люди, что их можно сечь ежеминутно; они привыкли к этому, но вдруг в одном из детей возбуждается жалость к сим несчастным. Откуда взялось это чувство?

Следственно, есть в человеке нечто такое, что не подходит ни под одно из школьных подразделений души, что не есть ни совесть, ни сердце, ни страсть, ни рассудок и что мы назовем условно, не зная лучшего выражения, *нравственным инстинктом,* однако же не в смысле Гутчесона.

В сем нравственном инстинкте, кажется, лежит основание всех наших знаний и чувствований; он отнюдь не одинаков у всех людей; всякий имеет его в разной степени; ближайшие степени понимают друг друга, отдаленные не понимают; мы нашими знаниями и действиями должны бы развить это чувство, но мы не замечаем его в чаду внешних предметов; мы следуем указаниям страстей, расчетов, систем. К сему чувству должен обращаться ученый, а тем более поэт; ученый, обращающийся к сему чувству, поэтизирует науку, поэт делается предвещателем. Может быть, если бы люди, сбросив с себя оковы всех своих мнений, предались сему нравственному инстинкту, тогда бы они, как разные звуки, могли составить общую гармонию; может быть, оттого тщетно мы хотим построить наши Науки, Искусство, Общество, что не хотим знать этого естественного камертона. Может быть, человек знал его и удалился от него или, лучше сказать, развивая другие свои способности, оставил нравственный инстинкт в забытии. Может быть, так и надлежало: может быть, существует порядок, в коем постепенно должны были развиваться силы человека; до времен

И. Христа инстинкт был совершенно забыт; его появление современно земному странствованию спасителя. Сие направление отразилось в изменении древних кровожадных и преступных систем, в возвышении искусства музыки на степень духовную и предпочтительно пред пластическими искусствами. (Различие между музыкой древней и новой. Различие в понятиях о древней языческой и христианской добродетели.)

Нравственный инстинкт требует развития, как всякая другая сила человека; удивляются, отчего поэзия ныне ослабевает в действии своем на общество? Но есть ли у нас особое воспитание для поэтов? Общество образует чиновников, воинов, правоведов, ремесленников — но для поэта нет воспитания. Душа его не сохраняется в той независимой чистоте, которая может нас довести до высшего развития нравственного инстинкта; есть такие ощущения в душе человека, которые действуют на всю душу симпатически и как бы отнимают у нее одну или две из сфер ее деятельности, как капля опиума, принятая в желудок, дает превратное действие мозговым органам. Человек, однажды заразившийся известною болезнию, сохраняет ее на всю жизнь и даже передает детям. Высокую мысль имел Шиллер, представив в Жанне д'Арк силу пророчества, исчезающую от одного земного взгляда. Где же поэту у нас прожить безгрешно? Где он может достигнуть до своей самобытности? Поэтический дух в нем действует; но, не проницая до самого себя, поэт выражает чувства, возбужденные в нем природою, возбужденные выражением чувства других людей, *себя*, этого святилища человечества, он не выражает. Вместо звания действователя он носит звание восприниматели. Его поэтический дух преломляется о все, его окружающее, и мы видим одни косвенные лучи его. Недаром у многих народов поэты составляли особенную касту или соединяли свое звание со званием жрецов.

Человеку должно знать не одно прошедшее, забывая о настоящем; равным образом ему не должно знать одного будущего, забывая о настоящем. Знание и сообразование с одним прошедшим ввергает человека в летаргию; знание и сообразование с одним будущим ведет к беспредметной деятельности и, следственно, вредной, ибо вред в некотором смысле есть не что иное, как следствие деятельности, направленной к цели, отдаленной от настоящего момента.

Представитель прошедшего есть наука, представитель будущего — поэзия; представитель настоящего — безотчетное верование. Без сего ощущения человек не решился бы сделать ни шага, ни вымолвить слова; оно действует независимо от его воли, иногда в одежде науки или поэзии, но оно одно дает значение и характер науке и поэзии данной эпохи. Посему одна из главных причин каждого действия человека есть такое ощущение, которое ему вовсе не понятно. Это ощущение соединяет для него прошедшее и будущее в один момент, который однако же не есть ни прошедшее, ни будущее. Из сего открывается необходимость для человека сознавать себя в настоящую минуту, знать свой возраст и положение — и по сему образовать для себя свою науку и свое искусство. Тогда, когда каждый индивидуум будет знать звук, который он должен издавать в общей гармонии, тогда только будет гармония. Разумеется, наука может быть пиитическою, т. е. предугадывать будущее, поэзия может быть ученою, т. е. восстанавливать прошедшее (Шекспир, Данте); но верование всегда останется представительницею текущего времени; может быть, лишь сим путем человек может постигнуть *сигнатуру* того момента, в котором находится человечество в системе миров, где есть свои времена года, свои весна, лето и осень.

В Хили (Memorial Encyclopedique, 1834, № 2) открыли следы города, носящего признаки образованности, не могшей существовать между туземцами. Вопрос, какие были это народы? — может быть, не столько любопытен, сколько следующий: как потерялась образованность этого народа, потерялась так, что даже не осталось ни одного памятника, который бы о нем свидетельствовал? Может быть, на этот вопрос можно отвечать только представив себе, что бы случилось (и что может случиться) с Европой, если бы только одна наука, одно образование разума завладело ею. Спрашивается: неужели во время падения этих народов не являлись люди, одаренные силою духа, могшие остановить их над пропастью. Были, но или голос их проповедовал в пустыне, или, оскорбленные всем виденным, они углублялись в самих себя, оставляя людей их собственной участи, или, наконец, измученные тщетным борением, умирали, не дойдя до половины пути жизни, так что им почти физически невозможен был этот преступный воздух для дыхания. Горе тому народу, где рано умирают люди высокого духа и живут долго нечестивцы! Это термометр, который показывает падение народа. Пророки умолкают!

Одно материальное просвещение, образование одного рассудка, одного расчета, без всякого внимания к инстинктуальному, невольному побуждению сердца, словом, одна наука без чувства религиозной любви может достигнуть высшей степени развития. Но, развившись в одном эгоистическом направлении, беспрестанно удовлетворяя потребностям человека, предупреждая все его физические желания, она растлит его; плоть победит дух (сего-то и боится религия); мало-помалу погружаясь в телесные наслаждения, человек забудет о том, что произвело их; пройдет напрасно время, в которое бы человек должен был двинуться далее; но в природе не даром летит это время; природа, покорная (без свободной воли) вышним судьбам, совершит путь свой и вдруг явится человеку с новыми, неожиданными им силами, пересилит его и погребет его под развалинами его старого обветшалого здания! Такова причина погибели стольких познаний, которыми древние превышали новейших. Так будет и с нами, если религиозное чувство бескорыстной любви не соединится с нашим просвещением.

Так погибла мудрость народов безымянных, мудрость индийская, египетская, греческая, римская! Тщетно мы берем себе в образец мудрость древних. Очарование, произведенное древними рукописями в средние века, много остановило успехи человечества; оно заставило его жить умом прошедшего вместо того, чтобы жить умом будущего. Против сей-то тщеславной мудрости восставало христианство, сию-то мудрость неверие XVIII века противопоставило христианству. Едва ли и XIX веку суждено освободиться от оков прошедшего, от его детского платья, в котором связаны все его движения. Если со вниманием рассмотреть все несчастья нынешнего общества, то найдем, что основанием каждого из них есть какая-нибудь мысль древней мудрости, от ветхости времени опростонародившаяся. Если перенести героев древних во всей их полноте в наше время, они были бы величайшими злодеями, а наши преступники были бы героями древности.

Предметы истины, сказал некто, имеющие цель естественную, в продолжение времени совершенствуются, а не искажаются, и чем более для них прошло времени, тем с большею силою должны развиваться их красота, величие и простота — или, лучше сказать, тем ближе они должны находиться к чистым и живым законам той первой идеи, которую должны выражать все существа, каждое на своей степени. С этой-то точки зрения должно

смотреть на науки и искусства, дабы видеть, которые из них на прямом пути, которые совратились.

Посмотрим же, какие знания могли быть у древних; я говорю не о тех знаниях, о которых сведения сохранились для нас в отрывках греков и римлян, но о тех, о которых воспоминание сохранилось в так называемых баснословных преданиях древности.

Уже давно истребилось мнение, что иносказания были выдумкой стихотворцев; иные думали в них видеть оболочку искусства, земледелия (Курт Жебелин); иные ближе были к истине, отыскивая в иносказаниях сокровеннейшие тайны физической части вселенной (Пернетти и другие герметические философы). Но все эти объяснения противны законам ума человеческого. Возможно ли высшими предметами прикрывать низшие? Брать божество, человека для прикрытия посева грубых семян или[1] метаморфоза минералов. Мы всегда облекаем лишь самые отвлеченные понятия в чувственную оболочку для того, чтобы их сделать осязаемыми,— мы духовному придаем вещественный образ: так должно было быть и в древних иносказаниях, сохранившихся у всех народов, разделенных далекими пространствами и между тем всегда в главных положениях сходных между собою.

Что всего яснее видим мы в сих иносказаниях? Божество, снисходящее в человека, человека, возвышенного до степени божества,— словом, необычайную, непонятную нам силу человека. Здесь титаны, воюющие с небом; здесь Сатурн, отец богов, царствующий на земле; Прометей, похищающий божественный огонь; каким образом могли бы войти в голову человека все эти иносказания о подобной силе человека, если бы действительные предания не скрывались под ними? С ослаблением инстинктуальной силы усиливалась рациональная. Пока не укрепилась сия последняя, человечество жило произведениями своей инстинктуальной силы; знание о сатурновом кольце прежде телескопа, эластическое стекло — суть остатки сих инстинктуальных знаний; велики были они, и в сем смысле древние знали больше нашего. Ослабевая постепенно, инстинкт исчез совершенно в конце древнего мира, и рассудок, оставленный самому себе, мог произвести лишь *синкретизм;* дальше сего он не мог идти; род бы человеческий погиб, как погибли безымянные народы, если бы в то же время не возбудился новый инстинкт человека. Тогда инстинкт был привит к грубому произведению природы, теперь — к человеку, развившемуся во

---

[1] В подлиннике: «их».

внешность силою собственной воли, тогда к сомнамбулу, ныне к бодрствующему. Раннее прядение шелка из паутины шелковых червей в восточной Азии предполагает высокую образованность, там некогда существовавшую. Вообразите себе все ступени, которые должно было пройти для того, чтобы заметить этих червей, уметь их воспитывать, приуготовлять кокон, потом вообразить, что их паутина может образоваться в нить. Это остаток, свидетельствующий о многоразличных знаниях.

Есть лета в жизни человека, в продолжение которых он живет, что говорится, наудалую, делает, что ему на ум взбредет, не спит по ночам, предается всем порывам страстей, не брежет ни о своем спокойствии, ни о здоровье — и между тем все ему сходит с рук; он и здоров, и бодр; желудок его варит, он деятелен, даже как будто и все дела его ему лучше удаются, по крайней мере он все потери переносит с большой беззаботностью; такой человек живет настоящим и не думает о будущем, и так может он прожить лет до 30-ти или до 40-ка, смотря по его организации. С 5-м десятком здоровье его начинает расстраиваться, деятельность и бодрость его уменьшаются, уменьшается с тем вместе и вера в самого себя — и оттого перестают для него удачи. В это время он должен жить уже искусственной жизнью, он не может уже приобретать здоровья, но, пользуясь своею прежнею опытностью, лишь поддерживает его; его друзья, помнившие его прежнюю силу и потому верившие в него, один за другим умирают — ему надобно одному лавировать между скалами жизни; сокровище знаний сделается ему недоступным, а может, он только вспоминает о них; если же он в продолжение своего возвышающегося периода расстроил свое тело и душу, наполнил тело семенами болезней, душу растлил до вещества, сердца не облагородил терпимостью и любовью к людям — грехи его скопляются над ним, как грозная туча, вянет его ум, терзается тело, скучает сердце — и он или быстрее погибает, или незаметно доходит до последней степени унижения.

То же бывает и с народом — если во время своего возвышающегося периода он презрел просвещение, если его сердце не проникнуто истинною религиею и погрязло в неверии, суеверии, фанатизме; если вместо того, чтобы все минуты силы своей употребить на собрание сокровищ ума, на победу над окружающею его природою, он провел время силы в бесплодных прениях и интригах честолюбия, если, увлеченный блеском славы, он презрел святую

христианскую любовь к человечеству, его грехи скопляются над ним в грозную тучу; наступит время бессилия; не приготовленный прежнею жизнью, развращенный самолюбием, изржавленный невежеством, он ничего не будет в силах противопоставить другим, свежим народам, выступающим на поприще жизни, ничего противу сил природы, ежеминутно готовых разразить человека, не постигнувшего ея таинства, народ слабеет, дряхлеет—и незначащий удар стирает его с лица земли.

Причина падения народов не в одних политических происшествиях, но в нем самом, в том роде жизни, который он сам для себя избрал.

В человеческом организме осталось как бы воспоминание о его инстинктуальной жизни: младенец, едва родившийся, бросается на материнскую грудь; мы имеем сны, предчувствия, симпатию и антипатию; мы совершаем разные действия невольно, по причинам, нам не известным. Долго было непонятно, отчего простолюдин, желая придать себе храбрости, заносит руку за ухо, отчего мы, желая что-либо вспомнить, трем себе лоб. Галлевы замечания об органах до некоторой степени пояснили эти странные и непонятные явления; невольное чувство, которое заставляло нас смотреть с участием на больного, держать его руки, голову,—обратилось в магнетизм, в действительное лекарство; то, что делалось инстинктуально, то теперь делается с сознанием; так должно быть во всех отраслях знания; мы должны объяснить себе все явления инстинктуальные, все, что мы знаем посредством инстинкта, обратить в знание ума, и все знания ума поверить инстинктом.

Первая вера человека (не в религиозном смысле) была безотчетное верование в свой инстинкт; для сего состояния почти нет выражения в нынешней эпохе человечества, ибо такое состояние должно было иметь и свою особую форму, как каждый народ имеет свой язык,—подобное сему состояние замечается в сомнамбулах. В сей эпохе человечества оно должно было иметь и суждение, но которое сограничивалось (модифицировалось) общим состоянием, как звук сограничивается характером той гаммы, в которой вы его взяли. Сии минуты прошли для человечества, как проходит состояние сомнамбула: от его состояния ему не остается воспоминаний, так и в человечестве от того времени не осталось памятников, человек должен в поте лица отыскивать то, что он понимал инстинктом.

Инстинктуальное чувство может развиваться в человеке и теперь посредством уединения, размышления, повторения одних и тех же предметов, однообразия оных; как, например, жизнь в одной и той же комнате может более или менее развивать это чувство, которого низшее явление есть сомнамбулизм с его разными подразделениями. Жители гор, самою природой уединенные от мира, например горные шотландцы, нежели приморские, имеющие всегда однообразный предмет перед глазами, имеют более склонности к магнетическим явлениям. Помавание руками при магнетических манипуляциях, круговращательное движение, в которое приводят себя танцующие квакеры, дервиши, дабы прийти в восторженное состояние, наши обыкновенные сновидения — все это имеет одно основание: уединить человека от окружающих его предметов. так сказать, утушить его чувства, привести их в опьянение, дабы дать полную силу внутреннему чувству. Таким образом, ныне сии две силы, хотя существуют вместе, но так разделены, что для разума инстинкт есть бред, для инстинкта разум есть нечто вещественное, грубое, земное.

Это явление, во всей простоте своей замечаемое в словах сомнамбулов о людях, находящихся в бдении, и людей в бдении о сомнамбулах, в бесконечных формах повторяется во всем. Все споры между людьми имеют начало в этом основном раздоре.

Подобие того, что было с человечеством, мы видим вокруг себя в природе; это цепь бесконечных действий и противодействий; это пульс, бьющийся во всей природе, начиная от души человека до последней пылинки. Каждое действие возбуждает противодействие тогда, когда достигло полноты своей. Но посреди сих огромных биений пульса в человеке и в природе происходят малые биения, или действия и противодействия; таковы в человеке физические отправления, голод, жажда, извержение; в природе явления метеорологические. Сии делятся еще на меньшие реакции — и так до бесконечности! Удивляются, что в новое время так часты биения пульса; они были и в древности, но время стерло следы их, оставя только признаки биения больших циклов.

В младенце нынешнем не может развиться инстинктуальное знание до совершенства, ибо мы живем в век изысканий; общим характером периода сограничивается характер каждого неделимого. Но все заметна инстинктуальная сила в младенце, и это доказывается тем, что дети скорее взрослых (изыскательная эпоха неделимого совпа-

дает с изыскательною эпохою общего для всего человечества периода) подвергаются магнетическому состоянию.

Ребенок редко ошибается. Его ум и сердце еще не испорчены.

Могли быть два периода образования: 1-е у жрецов, 2-е в человечестве. Оно могло достигнуть у первых до высшей степени совершенства, но человечество должно было начинать снова; может быть, мы и не дошли до той точки, на которой остановились древние мистерии, которые сами собою должны были прекратиться, когда познания стали выходить из святилища.

Говорили, что зло есть отсутствие добра, как холод— отсутствие тепла; но если вы, отнимая теплоту у тела, делаете его холодным, то это означает, что холод не есть нечто несуществующее, но, напротив, естественное состояние тела.

Весьма недавно некоторые мыслители осмеливались по какому-то невольному движению, и движению безотчетному, недоказанному, сказать, что цель науки есть сама наука, а вещественная польза есть ее второстепенное следствие; доныне цель науки находят лишь в последнем; так думали и при восстановлении наук и в варварские веки после Р. Хр.—и действительно, наука в нынешнем ее состоянии может иметь целью лишь вещественную пользу; значение высшей пользы ей придано произвольно, оно должно совершиться лишь в будущем. В этом нынешнем значении мы и понимаем слово наука.

Кислота и щелочь суть символы действия и воздействия в истории—по соединению переходящие одно в другое таким образом, что в жидкости уже есть щелочь, а она оказывает еще кислотное действие.

Что понимают под словом *дух времени?* Новые мысли вырастают из организации человечества, как разные части растения из семени; все дерево заключается в семени, но может развиться только со временем; естественное развитие той или иной мысли в организме есть, кажется, то, что называют *духом* времени. Выражение весьма замечательное,—к сожалению, искаженное страстями.

Высоко, трогательно раскаяние грешника; но еще возвышеннее смирение великого человека, который после совершения великого дела упрекает себя, зачем не совершил большего.

То, что теперь книгопечатание и письмена, то в древности должно было быть простое изустное сообщение мыслей. Против сего рода выражений должны были существовать такие же обвинения, как против письмен и против книгопечатания.

Сказать, что существуют пределы для духа человеческого, может только тот, для кого не существует этих пределов.

Лишь тот имеет право сказать, что многое не дано знать человеку, кто все знает.

Утверждающие, что должно заниматься одними опытными, непосредственно полезными знаниями, и в доказательство приводящие в пример различные открытия, имевшие огромное влияние на судьбу человечества, забывают, что собственно ни одно открытие не сделано опытными знаниями и не могло быть сделано ими. Лишь умозрительно осматривая царство науки и искусства, можно видеть, где и чего недостает ему, и обратить на то внимание, ибо в этом и состоит открытие. Эмпирик, переходя от песчинки к песчинке без всякой общей мысли, может сделать открытие лишь в сфере песчинок,—и наоборот, чем больше сфера, тем обширнее открытие.

Нападают на веру в какую-либо систему за то, что она отклоняет ум от другого рода изысканий; но разве не часто бесплодны изыскания без системы, изыскания на случай? 100 на 1 вероятности, что человек скорее найдет истину, руководствуясь какою-либо мыслию, нежели блуждающий наудачу, самая ложная карта—уже пособие для мореходца; она может навести его и на мели—это правда, но все вероятнее, что ему легче ее поправить и найти на истинный путь, нежели тому, кому нечего исправлять, для кого невозможно поверить предполага-

емое, повторить найденное; и действительно, все открытия одолжены своим началом людям, привыкшим к умозрению; мысль, брошенная на землю великим мыслителем, поднималась ремесленником, который из нее обтачивал себе новое пособие.

Чудная понятливость русского народа, возвышенная умозрительными науками, могла бы произвести чудеса.

Напрасно думают, что умозрительные знания не нужны в практической жизни и что одни эмпирические знания для сего пригодны. Когда между XVIII-м—XIX-м веком химики открыли сродство между телами, то посредством трудных и продолжительных опытов составили таблицы сего сродства, на основании сих таблиц были заведены фабрики, но на практике открылось противное; процессы на фабриках не соответствовали таблицам, выведенным из точных опытов, и большая часть из фабрик упали; долго не понимали причин этого явления, пока наконец не открылось, что степень сродства тел не есть постоянная, но изменяющаяся различными обстоятельствами. Если бы химики, составлявшие таблицы сии, обратили внимание на Платоновы мысли, чисто умозрительные, то, может быть, пришло бы им в голову, что не одна частная сила действует в каком-либо явлении, но общая, не покоряющаяся частным, не имели бы такого доверия к частным опытам, не основали бы на них фабрик, и фабрики бы не упали, к стыду науки.

Все умозрительные системы суть произведения инстинктуальной силы, или самопобуждения, все эмпирические—разума. Совершеннейшая система (о чем недавно догадались) должна быть соединением того и другого; такая система есть высшая философия и вместе высшая поэзия; она в настоящую эпоху еще недостижима; но мы имеем в ней нужду—и оттого поэзия так успокаивает дух наш, оттого поэзия, как говорят, миротворительница; она есть предвестник того состояния человечества, когда все недоразумения и споры прекратятся и человечество перестанет *достигать* и начнет пользоваться достигнутым. Совершенствование не бесконечно, но бесконечны наслаждения совершенства.

Умозрительные системы почти всегда религиозны, эмпирические никогда.

Можно неверующим дать, так сказать, ощупать возможность соединения духовного с вещественным посредством следующего соображения: мысль моя бесконечна, неудержима, в одно мгновение пробегает далекие пространства и века — эта самая мысль сжимается в слово, наконец в писаную речь, которая есть вещество, занимающее пространство, и может быть истреблена.

Причина, отчего науки задерживаются ныне на такой жалкой и безжизненной точке, зависит, может быть, от того, что эмпирики решительно не хотят признать никакой системы в природе, никакого числового порядка; для них природа — ряд бессвязных цифр: 3, 1, 5, 4 и т. д. Напротив, умозрители ищут везде симметрии и разлагают всю природу в геометрическую пропорцию, как 1, 2, 4, 8. Но существенный порядок в природе, как основные числа математики, есть, может быть, прогрессия арифметическая, и предметы различаются между собою как 1, 2, 3, 4, 5, 6 и проч. Может быть, тем и увлекательны умозрительные теории в своих началах, что первые два члена в обеих прогрессиях одинаковы; за их пределом начинается раздор между теориею и природой.

Отчего мы не можем произвести ни одного органического вещества? Не оттого ли, что, развертывая все свои силы, оставляем в бездействии ту, которая дает жизнь? Это явление однозначительно со всеми человеческими действиями: составляют общества механически, без жизни, пишут безжизненные творения. Высшая органическая сила забыта — сей недостаток замечается во всем. Эта сила истинна, проста, находится в глубине души; кто не проникал в сию глубину, тот производит механически, а механически можно сделать только автомата.

Какого добра ожидать от нашей нравственности, когда с младенчества в сказках, баснях, прописях учат нас во всем держаться средины, рассчитывая каждый свой шаг, не доверять никому, кроме своего рассудка, удаляться от всего, что не принято всеми, не предпринимать ничего без положительной, так называемой полезной цели.

Бывало, люди говорили: это противно религии, это противно законам и проч.; теперь говорят просто: это *неприлично*. Если бы в старину кто, защищая свое

домашнее неустройство, вздумал сослаться на всеми уважаемый авторитет, ему бы тогда возражали тем, что он или неверно цитирует, или что он не понимает авторитета. Теперь ему просто скажут, что его сравнение *неприлично*. Чувство приличия, неизвестное древним, сделалось ныне действительною стихией в общественной жизни человечества. Сие чувство, с одной стороны, показывает глубокий скептицизм нашего века, с другой, что есть однако же нечто, чему мы верим, т. е. что уважаем, не отдавая себе отчета. Может быть, самый скептицизм не есть ли приуготовление, зародыш новых начал. Может быть, если бы развить это *чувство приличия*, т. е. перевести его на определенный язык, мы бы составили ряд предметов *верования* нашего века. Любопытно было бы тогда исследовать, какой новый скептицизм восстановит человечество против сих новых начал, ибо характер всякого начала в минуту своего развития, в минуту своего перевода на язык обыкновенный возбуждает противодействие. Это испытали все языческие религии; их опаснейшая оппозиция начиналась всегда в веках, ознаменованных их полным могуществом.

Напрасно иные боятся дурных мыслей; всего чаще общество больно не этим недугом, но отсутствием всяких мыслей и особенно чувств.

Всего чаще приходится встречать в обществе следующее заблуждение: человека обвиняют, вы его защищаете, на вас нападают, как на защитника преступлений, когда вы только защитник обвиняемого.

В народах замечается два направления: одно христианское, или живое, движущееся, другое языческое, или варварское, неподвижное. Язычество, или варварство, может быть на всех степенях народного образования: отличительный признак варварства, или язычества,— это жертвы, приносимые ежедневно физическим нуждам человека; отличительный признак христианства — это жертвы, приносимые духовным потребностям человека. Дикий убивает человека для того, чтобы его съесть; рыцарь средних веков грабит своего соседа, чтобы воспользоваться его имением; удельный князь уничижает царственную власть перед пятой баскака; англичанин заставляет ребенка работать 20 часов в сутки для своей

наживы; француз разрушает древнее здание, чтобы обратить его в фабрику (Курье в своих памфлетах хвалит такое превращение); Сумарика, первый мексиканский епископ, сжигает большую часть мексиканских рукописей, с которыми мы потеряли надежду понять древность сего любопытного народа. Все это одно и то же варварство на разных степенях образования.

В мире физическом царствуют внутренние законы природы, в мире нравственном—хотение человека. Оттого цель человечества в своих произведениях достигнет той же неизменяемости, которая замечается в природе.

Может быть, изобретение букв в самом деле есть вредное изобретение для человека, или, как думал один древний писатель, человек с тех пор начал забывать мысли, как вверил их знакам. Но это могло быть справедливо лишь до книгопечатания; действительно, ныне автор не имеет времени воспользоваться мыслями, которые он сам произвел, напитаться ими, как пчелы медом, ими производимым; едва он вверил их бумаге, как забыл о них—в голове его рождаются новые; но зато первые уже действуют не на одного и того же человека, но на целые круги людей, и в каждом они могут получить особенное развитие и породить новые наблюдения и открытия.

Во всех отраслях произведений ума человеческого есть произведения *центральные,* которые знать необходимо всякому образующему себя человеку; это сочинения, в которых вы найдете зародыши всех после бывших открытий; таковы в разных отраслях человеческой деятельности Гете, Биша, Гердер, Шеллинг и проч. Кто их прочел со вниманием, тот, верно, сам невольно вывел из них множество новых, светлых мыслей; потом, встречая их в других писателях, он удивлялся, находя в них свои мысли, тогда как и его и их мысли были только *продолжения* мыслей-зародышей. Может быть, возможно предсказывать, какие и в каком порядке и у кого такие-то мысли разовьют такой-то ряд суждений. Это бы должно быть истинною целию журналов.

Доказательством тому, что ни одна человеческая мысль, достигшая до крайней степени своего развития, не может не сделаться нелепостью, могут служить глубокие слова Сократа: «Я знаю только то, что ничего не знаю». В наше время вывели из сего весьма точное заключение: «Если человек ничего не может знать,—говорят,—то ему лучше ничего не хотеть знать и ничему не учиться». Так мысль ученейшего и деятельнейшего человека своего времени сделалась оружием для невежества и праздности.

Может быть, нашлась бы возможность к составлению языка, понятного всем народам, в приложении математических форм к явлениям духа человеческого. Нельзя ли все стихии языка разложить по степеням коренным и производным? Так, например, местоимения «Я, ТЫ, ОН» могли бы быть выражены цифрами 1, 2, 3; «МЫ, ВЫ, ОНИ»—1+1, 2+2, 3+3. Нечетные числа могли бы выражать духовную сторону, четные физическую, разные изменения единицы выражать разные формы бытия, разные изменения десятков—разные формы действия; каждое из сих изменений могло бы также иметь приличную степень и потому также выражаться числом. Но для сего надлежало бы привести в совершенную, в *безусловную* систему все знания человечества; такой системы еще не существует.

Недалеко время, когда науки и искусство должны изменить свое значение. Рано или поздно *опыт* заставит человека отказаться от убеждения того странного фантома, которому дали название разума, рассудка и так далее; человек начинает замечать, что по несовершенству слова силлогизм есть не что иное, как умерщвление мысли; человек уже не в состоянии играть в ту игрушку, которая занимала древних софистов и схоластиков; он чувствует, что за силлогизмом существует нечто другое, что силлогизм не удовлетворяет души человеческой, не наполняет ее. Мы обманываем себя, когда думаем, что какое-либо доказательство вывели одним рассудком; при решении задачи на нас необходимо действовало и самопроизвольное побуждение; недостаточность языка человеческого способствует сему обману. Самые строгие доказательства науки производят на человека действие лишь тогда, когда душа его придет в сочувствие с душою сочинителя; тогда только выражения его будут понятны читателю, ибо невыразимое в сочинителе найдет свое дополнение в читателе, читатель сам договорит недосказанное сочините-

лем. Но произвести сие чувство может одна поэзия; следственно, в наш век наука должна быть поэтическою.

Но под каким условием поэзия, или искусство, могут существовать в наше время? Человек не верит и поэзии; вымысла для него недостаточно; «Илиада» ему скучна; он требует от поэзии того, что не находит в науке,—существенности, словом, науки; ныне поэзия, чтобы достигнуть своей цели—пробудить сочувствие в душе человека, должна встречать человека у порога его дома, заговорить с ним о его домашних горестях, о средствах поправить семейные обстоятельства, о том, что его окружает,—словом, о его индивидуальном счастии; для сего поэт должен знать все подробности человеческой жизни, начиная от познаний ума до последней физической нужды!

Словом, поэзия должна быть ученою, обнимать целый мир не в умозрении только, но в действительности: это инстинктуально понимают поэты нашего времени; они чувствуют, что в наше время поэт-невежда невозможен. Наше время есть приуготовление к новой форме души человеческой, где поэзия с наукой сольются в едино.

Человек должен окончить тем, чем он начал; он должен свои прежние инстинктуальные познания найти рациональным образом; словом, ум возвысить до инстинкта.

Религия производит то чувство, которого не может произвести ни наука, ни искусство и которое есть необходимое условие обеих: *смирение;* наука порождает гордость; гордость, самоуверенность необходима для науки; искусство презирает мир, что также необходимо для искусства: но если человек совершенно доволен собою, он не пойдет далее; надобно, чтобы на верхней ступени науки и искусства человек был еще недоволен собою—смирялся, тогда только ему возможны новые успехи.

Жиамбатиста Жиойа сделал глубокомысленное замечание, сказавши, что никакое действие для человека невозможно без соединения трех условий: il sapere, il volere, il potere, т. е. для всякого действия человека необходимо *знать, хотеть* и *мочь.*

Но мы не можем знать, не изучая природы; мы не можем ни знать, ни хотеть предмета, если в душе нашей

не предсуществует его значения, его сродства с нашей душой, устремляющих к нему наше знание; мы не можем ни знать, ни хотеть, ни мочь, т. е. иметь силу, если мы не верим нашему знанию, нашему хотению, нашей силе. Так тесно соединены сии три элемента.

Когда сии элементы не в соразмерности, общество страждет, как страждет несоразмерный организм животного.

Замечено, что всегда рождение бывает пропорционально со смертностью; таким образом, в годы повальных болезней число рождающихся увеличивается и, что всего страннее, самое число свадеб; природа силится удержать равновесие в своих произведениях и как бы нашептывает человеку: «Множься, множься»,— голос, который человек принимает за собственное побуждение. Мы знаем между тем, что чем многочисленнее порода, тем ниже ее значение в природе, тем слабее она, тем недолговечнее, что, например, в растительном царстве в годы больших урожаев плоды бывают менее душисты, мельче, менее сочны. Как будто вся производительная сила природы разделяет с человеком свойство, производя много, т. е. с поспешностью, производить хуже. Известно, чем совершеннее животное, тем долее оно развивается и что количество бывает всегда на счет качества. Так должно происходить и при рождении людей. Следственно, чем больше болезней между людьми, тем впоследствии не только самые люди недолговечнее, но самое напряжение природы вознаграждать свою потерю должно увеличивать их *худобу* в нравственном и в физическом отношении; так просвещение, столь тесно соединенное с народным здравием, имеет и с сей стороны влияние на самую нравственность людей.

Всякая система требует доверенности; в системе синтетической вы должны доверять точности общих формул, их безусловности: в системе аналитической вы должны верить, что все частные явления исчислены, что сочинитель верно доходит до общих формул, что еще труднее. В системе синтетико-аналитической соединяются то и другое. При начале учения необходима доверенность к системе: в то мгновение, когда человек достигает высшей степени своего развития, т. е. начинает сам из глубины души своей развивать свой образ воззрения на предметы, необходимо знание, т. е. такое воззрение на предметы, где человек смотрит своими глазами, действует собственной деятельностью, погруженный в самого себя, такое знание есть соединение науки с искусством, укрепленных верова-

нием; сии три стихии связно находятся в душе человека, и в каждом действии нашей души мы замечаем это соединение: мы не можем изучить предмета, если бы не верили в его существование; мы бы не могли изучить его, если бы не могли его себе выразить хотя приблизительно — и, что важнее всего, если бы прототип сего предмета не находился в душе нашей.

Когда умолкнут похвалы языческой мудрости и добродетели! У греков и римлян подкидывание и убийство младенцев в известных случаях не только дозволено, но даже предписано законом. Cicer<onis>«De leg‹ibus›». L. III. c. 8. Svet<oni'> *in Oct. c. 65. Senec<ae>* LV c. 33.

Вскоре после того, как Деви открыл свою предохранительную лампу для рудников каменного угля, работники так привыкли к безопасности, ею доставляемой, что в случае темноты отворяли ее, и тогда, разумеется, бывали взрывы; замечено даже, что взрывы стали случаться чаще, нежели до употребления лампы, ибо прежде взрывы бывали случайные, но ныне работники безопасно входили, когда рудники и были наполнены водоуглеродным газом, а выходили только тогда, когда пламень лампы, расширяясь, был близок к тому, чтоб раскалить железную проволоку. Явление замечательное в психологическом отношении; оно показывает, что одной вещественной науки недостаточно для предохранения человека от природы.

Различные вещества, находящиеся в земле, в ее произведениях, в ее атмосфере, разлагают стихийные вещества человеческого тела и, следственно, химически с ним соединяясь, нейтрализуются и превращаются в новые средние вещества. Ясно, что чем менее людей, тем сильнее на них действуют атмосферные вещества, где более — там слабее, ибо оные разделяются на большее число и скорее нейтрализуются, следственно, делаются безвреднее; наоборот: сие число людей должно иметь свои границы, ибо, например, в спертом воздухе уже не одни атмосферные тела, а стихии самого человека действуют на нас, и человек вредит человеку. Из сего бы можно вывести новые понятия о народонаселении.

Удивительно, как *опыт,* который многими еще так высоко ценится, не научил своих защитников, что со времен потопа не было собственно ни одного совершенно

чистого, ни совершенно верного опыта, что все важнейшие открытия сделаны вследствие неверных опытов: Колумб открыл Америку, отыскивая на основании опытов того времени Индию; химик Рихтер открыл важный закон *пресыщаемости,* опираясь в своих вычислениях на такое химическое соединение, которого вовсе не существует.

Выражение относится к мысли и чувству, как дробь к единице; выражение никогда не может вполне достигнуть целости чувства или мысли. Мы по выражению не узнаем мысль, но только *угадываем* ее, дополняя собственным чувством то, чего недостает выражению; на этом основывается так называемая симпатия между автором и читателем. Между искусствами существует такое дополнение, которое не имеет определенного образа, которое имеет способность применяться ко всякому выражению, и это дополнение есть музыка; отсюда ее чудное действие в театре и пр. Из сего можно заключить, что музыка есть истинное выражение внутреннего чувства нашего и ближайшее к нему, нежели очертание и слово.

Одна мысль, одно слово, как искра, может зародить в голове целый поэтический план, часто совершенно отдаленный от своего первого зародыша. Редко это происходит мгновенно; закинутая, в душе мысль лежит долго, зреет незаметно для вас самих и вдруг, совсем неожиданно, является почти во всей полноте пред вами; иногда, преследуя развитие сей мысли, вы дойдете до какой-либо мысли или даже слова, прочитанного или слышанного, и отдаленного от вашей мысли бесчисленными рядами, проходящими сквозь разные миры.

Многие писатели, желая расцветить, оживить свое произведение, кидаются в метафоры; от сего происходит только бомбаст. Естественно, человек употребляет метафору, когда для новых мыслей и чувств у него недостает выражений; желая как-нибудь дать тело своему внутреннему ощущению, он собирает разные предметы природы по закону сродства ее с духом человеческим. От сего у народов мало просвещенных и особенно у находящихся на первой точке просвещения, т. е. когда человека поражают новые мысли, но он еще не отдал себе в них отчета, язык всегда метафорический. Наоборот, много метафор и у людей, желающих выразить мысль новую, девственную;

чем глубже и, следственно, чем яснее эта мысль, тем труднее ее выразить. В обоих случаях недостаточен язык обыкновенный.

Часто сетуют на сочинителя за то, что его сочинение не довольно понятно; но есть творение, которое всех других непостижимее,—вселенная.

Мы часто думаем, что во сне видим большие нелепости; при большем внимании нельзя не заметить, что сии нелепости суть большею частью лишь несообразности с нашими обыкновенными понятиями; так, например, часто во сне представляются соединения предметов, по-видимому, невозможные, но имеющие некоторое основание. Я видел однажды некоторое существо, которое было соединением смерти, темноты и минорного аккорда; по пробуждении выразить словами возможность этого соединения нельзя, но во сне оно было понятно и имело имя. Следственно, есть возможность для совершенно других понятий, какие мы имеем в здешней жизни, и есть для сих понятий язык, нам не известный. Существуют соединения предметов, совершенно отличные от тех, кои мы знали, и если они представляются нам хотя в одной из форм нашего бытия, например во сне, то след⟨ственно⟩ они в нас существуют, след⟨ственно⟩ мы можем открыть их, и при внимательном наблюдении они бы должны были пролить совсем другой свет на природу. Жаль, что мы не замечаем сих представлений сна: они во сне должны продолжаться беспрерывно; жаль, что мы не изучаем законов того особого мира, в который мы переходим во время сна: мы забываем сию особую форму нашего бытия и из представлений сна помним только то, что ближе к миру нашего бодрствования.

Нет предмета, который бы мы знали во всех подробностях; мы знаем некоторые его признаки; по сим признакам мы даем ему имя, или, лучше сказать, тем или другим словом мы выражаем лишь те или другие свойства предмета, его части, но не весь предмет. Это равно относится как к предметам природы, так и к предметам, находящимся в душе нашей. Следственно, наш язык неполон или неверен, и мы обманываем самих себя, когда предмету даем имя,—его имя нам неизвестно.

Фантастическая сказка есть произведение воображения в похмелье. Море по колено; язык развязывается, все чувства, хранившиеся на дне души: старые и новые, зрелые и недозрелые—бьют пеною наружу. Можно человека угадать по одной фантастической сказке. Что же подумать о такой, например, мысли, что было бы вредно, если бы порок уничтожился на свете, что если бы не было воров, то надсмотрщики и тюремщики умерли бы с голода; не было бы злых—судьям бы нечего делать, и проч. т. п.

Новые идеи могут приходить в голову только тому, кто привык беспрестанно углубляться в самого себя, беспрестанно представать пред собственное свое судилище и оценять все малейшие свои поступки, все обстоятельства жизни, все невольные свои побуждения; в сии минуты внезапно раскрываются пред ним новые миры идей. Такие открытия может делать всякий, и образованный и невежда, с тою разницею, что сей последний откроет чаще то, что уже до него было открыто, но ему не известно. Следственно, и по сей причине необходимо образование поэту, т. е. ему необходимо знать то, что другие знали, хоть для того, чтобы от известных идей шагнуть к новым; сим может быть разрешен вопрос, нужно ли образование поэту.

В жизни народа, как в жизни человека, существуют периоды энергии—это всем известно; но от воли человека зависит воспользоваться сими мгновениями силы или убить их в сладострастии и пороках; когда сие время пройдет, тогда тщетны все усилия, дабы произвесть, что было бы легким в минуты энергии.

Человек когда-то потерял весьма блистательную одежду; он должен возвратить ее; может, для сего он переходит несколько степеней жизни; может быть, чего не достиг он в одной степени, то должен отыскивать в другой до тех пор, пока не дойдет до прежнего совершенства; тех метаморфоз, которые мы называем жизнью, может быть бесчисленное множество; это мгновения одной общей жизни—мгновения более долгие или более краткие, смотря по той степени совершенства, до которой достиг он;

так что, может быть, если человек усвоил себе такие-то познания, развил в себе такие-то чувства, то он должен умереть, ибо истощил уже здешнюю жизнь в той сфере, которая ему предназначена.

Но поелику человек состоит из духа и души, то для достижения высшей степени потребно возвышение обоих: первого — познаниями, второй — любовью. Эстетическое образование есть нечто отдельное; это символическое прообразование той отдаленно-будущей жизни, которая будет полным соединением знания с любовью, соединение, которое было когда-то в человеке и потом разрознилось.

Минуты магического соединения науки, искусства и религии в жизни народов бывают всегда ознаменованы появлением великих произведений поэзии; для сих минут трудно, может быть невозможно отыскать математическую формулу, как то думали сен-симонисты. Это члены прогрессии, которые проходят, может быть, чрез все планеты солнечной системы; нам досталось несколько членов — и наше дело не столько отыскивать их последование, сколько угадать число каждого; но математик по нескольким членам прогрессии узнает их общее последование[1].

Дым, вьющийся из труб и носящийся над городом, прекрасная, поэтическая картина, но еще лучше, когда дыма не видно, когда хитростию искусства он весь обратился в горючий материал. Прекрасна деятельность народа, обращенная на внешнюю славу, но еще лучше, когда она обращена на внутреннее совершенствование.

Поэтическое произведение есть явление высочайшей гордости человеческого духа: человек присваивает себе право творить. Поэтический грех не есть грех общечеловеческий; он совершен вне мира и потому прощен быть не

---

[1] Достойно замечания, что планеты находятся от солнца в расстоянии, которое может быть выражено прогрессией 0, 3, 6, 12, 24, 48 и так далее, в которой каждый член множится на 2. Эта гармоническая прогрессия подала повод Кеплеру угадать, что между Марсом и Юпитером должна быть еще планета, что впоследствии оправдалось.

может. Дурной поэт никогда не может исправиться, ни возбудить сострадания, подобно человеку просто несчастному и даже преступному.

Существенное различие между эпопеею и драмою может быть определено таким образом: в драме поэт совершенно отделен от действующих лиц; каждое из них должно существовать самобытно; характер каждого должен составлять особый мир, резко отличный от мира других характеров; в эпопее поэт—рассказчик; действующие лица характеризуются его собственным характером, нам интересны не столько сами лица, сколько то, как понимал их поэт; мы привлечены его точкою зрения, тогда как в драме мы сами становимся на сию точку. Это различие основывается на самой природе человека: мы или видим сами, или нам рассказывают; в первом случае мы скептики, мы судим сами; для рассказа же необходима вера в рассказчика. Сим, может быть, можно объяснить, отчего в религиозные эпохи являются наиболее эпопеи; в скептические—драмы. Вальтер Скотт, явившийся в конце скептической эпохи, придал своим романам характер драматический. Вольтеру, не христианину, не удалась эпопея, как и всему его веку. Заря религиозного характера нашего века явилась в эпопеях Байрона. Из сего можно вывести необходимость заставлять каждое лицо в драме говорить особенным характеристическим языком—требование не столь важное в эпопее, несмотря на то, что драматические места ее должны подвергаться общему характеру драмы, поскольку они входят в эпопею.

Театр есть тот же мир, но мир поэтический, который приходит нам в голову в эти минуты сомнамбулизма, когда все нам нравится, все представляется в поэтическом образе, как при действии опиума; это, как и вся поэзия, есть вещественное представление нашего инстинктуального чувства; оттого здесь, возносясь в самую средину организма всеобщей жизни, мы услаждаемся видом самых страданий, мы силимся в поэзии представить то, что мы только понимаем в инстинктуальном чувстве,—общую гармонию; от сего—всеобщая страсть к театру. С этим падают все нелепые вопросы о пользе и вреде поэзии и театра.

На вопрос, каким образом поэзия должна соединяться с общественной жизнью, отвечать можно: «Сия связь столь таинственна, что ее нельзя выразить словами, как связь души с телом, как чутье американца; надобно быть американцем, чтобы понять это». Фориэль рассказывает про молодого грека, который, будучи нелюбим своею матерью, хотел оставить отчизну — и на расставаньи после обычного общего мириолога семейства запел импровизированную песню, в которой описал свое семейственное несчастье и разлуку с родиной: это так тронуло его мать, что она бросилась в его объятья и возвратила ему всю свою нежность. Вообразите себе теперь чиновника, который, отправляясь в дальний город на службу, запевает мириолог,— это будет смешно. В каждом народе, в каждых нравах поэзия должна сливаться с жизнью особенным образом, которого нельзя вычислить заранее.

Век поэзии миновался для прежних предметов поэтических; ныне никакой истинный талант не решится прославлять, а если и решится, то не успеет, торжество или битву сил материальных между собою, как например троян и греков; даже Наполеон, как олицетворение воина,— невозможен. Ныне предметом поэмы может быть лишь герой, побеждающий или сражающийся духовною силою.

Напыщенный, нарумяненный XVII век любил идиллическую поэзию, нежных пастушков и пастушек. Век грубого терроризма гонялся за придворным утонченным волокитством; наш коммерческий век — век расчета и сомнения — требует в литературе кровавых страстей и фанатизма. «Лукреция Боргиа» на сцене — и газеты, такие, которые наполняются известиями, например, о том, каким образом однажды поутру банкир Ротшильд, завертывая пакет, засунул куда-то сверток ассигнаций,— эти явления отвечают друг другу, они не могли случиться в разные века.

Поэт непременно должен заниматься естественными науками, иначе он обживется в своем идеальном мире и примется находить и в нем несовершенства по врожденной человеку привычке, врожденной ему для удобнейшего преследования природы. Но, поблуждавши несколько времени между разными гадостями материи в этом темном вертепе, наполненном мертвыми костями, оторванными

жилами, гнилыми, сожженными трупами, который называют естественными науками, и побесившись вместе с другими, зачем он тут ничего не видит, с наслаждением он обращается в свою родную, идеальную страну, где все так просто, так понятно, так ясно!

Не мудрено, что Байрон возбудил столько негодования в опытной, расчетливой Англии. Он оскорбил все, что в ней почитается неприкосновенным, находясь в самом святилище. Аристократ, богатый — он осмелился быть поэтом, не довольствоваться обыкновенной и денежною жизнью; деньги, которые могли быть употреблены на выгодный оборот, истратить на поэтическое предприятие для Греции. Он знал все тайны эгоистической английской жизни, мог ими пользоваться — и презирал их. Велико было его преступление, и нельзя было его наказать ни аристократическою насмешкою, ни равнодушием богатого. Если бы Байрон сохранил еще семейственные связи, тогда бы злоба против него еще более увеличилась. Его ненависть к людям происходила от того, что он в коварном лицемере-торгаше видел человека. Этим объясняется странное противоречие между его поэтическим чувством, даже между желанием славы и его отвращением от людей.

Некто справедливо заметил, что смех в искусстве не требует просвещения, но слезы предполагают некоторую степень образования; оттого народная трагедия не могла ужиться в Риме, оттого в самой комедии благородный, тонкий Теренций не возбуждал участия, какое возбуждал Плавт своими площадными шутками. Достойно замечания, что русский простолюдин, несмотря на толки иностранцев о низкой степени его образования, больше любит трагедии, нежели комедии: так оригинальна организация этого народа. Что у древних греков было следствием, так сказать, роскоши образования, то в русском народе родилось естественно, поднялось из земли.

Пусть много недостатков иноземцы находят в русском народе, но им нельзя не согласиться, что есть нечто великое даже в его недостатках; например, мы любим бесполезное, тогда как другие корпят над расчетами пользы; мы метим кинуть тысячи для минуты, прожить жизнь в один день — это дурно в меркантильном отноше-

нии, но показывает нашу поэтическую организацию: мы еще юноши, а что было бы с юношею, если бы он с ранних пор предался страсти банкира!

Respectability[1] — у англичан значит 20 000 ф(унтов) стерлингов; не во гнев нашим порицателям, у нас с большим основанием называют почтенным человеком статского советника.

В Англии застой, во Франции беспрестанный нервический припадок. Во Франции совершенное отсутствие поэзии или разлад ее с религией и разлад религии с наукою. В Англии существуют и религия, и поэзия, и наука, но каждое существует отдельно, они не проникают друг друга; оттого в англичанах такое коммерческое отвращение ко всему поэтическому в жизни, нечто вроде известного канцелярского отвращения к тому же. Очень любопытны просьбы в парламент о соблюдении воскресенья, просьбы богатых купцов... боящихся, чтобы маленькие купцы по воскресеньям не переманили покупщиков. (См. Бульвера об Англии.)

Ничто так не смиряет гордости человеческой, как мысль, что в XIX веке в землях христианских существуют люди, которых общество питает, воспитывает, образует, приготовляет к ремеслу, необходимому для существования общества, как-то: движение торговли, промышленности, банкирские обороты и проч. т. п. — и что имя этого ремесла в простейшем его значении есть *желудок*. Надобно же было сверх того, как будто для насмешки над благороднейшими чувствованиями человека, какому-то господину написать большую книгу под названием Economie politique chrétienne[2], в которой он очень ясно доказал, что один говорит одно, другой — другое, что же до него самого касается, то он ничего не говорит. А предмет любопытный!

Замечено, что на сумасшедших весьма действует — голые ли стены их окружают или с прекрасными пейзажами, слышат ли они музыку или нет, окружены ли они

---

[1] Порядочность, почтенность *(англ.)*.
[2] «Христианская политическая экономия» *(фр.)*.

удобствами жизни или нет. Если на них действует все изящное, то таким же образом оно должно действовать и на всех, хотя и медленнее. Что в сумасшедших совершается явно, то в остальных людях скрытно; местоположение, постройка дома, звуки музыки—все это физически должно действовать на организацию человека и человечить ее, уничтожать ее скотские свойства.

Люди, которые не хотят, чтобы русские учились, и с сожалением вспоминают о невежестве предков, похожи на Жан-Жака, который хотел людей привести в натуральное состояние—ходить на четвереньках.

Поэт Софокл был pontifex и военачальник, товарищ Перикла и Фукидида, он защищал родину во время войны, управлял ею во время мира, служил ей как первосвященник, прославлял ее как поэт—это был золотой век Греции.

Понятно до некоторой степени, каким образом может исчезнуть с лица земли народ, по-видимому, носящий все признаки образованности, однако же не довольно просвещенный, т. е. не довольно богатый знаниями. Это может произойти: а) от недостатка знаний вообще; так, например, до открытия громоотводов здания могли быть жертвою пламени; сколько человек жизнию должны заплатить за ошибки медицины в стране, где анатомия почитается грехом. Известны разрушительные действия водяных столбов; известно также, что удачный выстрел из пушки уничтожает в одно мгновение сего страшного посетителя; вообразим себе страну, где порох не известен или где не известна физическая теория водяных столбов, или где суеверие воспрепятствует выстрелами встречать этого гостя,—и целые города могут быть разрушены, стерты с лица земли одним водяным столбом; оставшиеся жители обратятся в первобытное состояние, т. е. принуждены будут заботиться лишь о первых потребностях жизни; тут, разумеется, воспитание детей сделается невозможным—и, вопреки естественному ходу вещей, дети сделаются менее опытны отцов, их дети еще менее—ясно, что наконец их потомки могут дойти до совершенно дикого состояния. б) Оттого, что соседи опередят в образованности. Таков, например, Китай, где, несмотря на все признаки образованности, науки остановились, и

который, несмотря на свою наружную силу, легко может быть завоеван какою-нибудь европейскою артиллерийскою ротою, несмотря на своих *тигров,* обязанных хотя на четвереньках подсекать ноги у неприятельской конницы. Даже здесь не может спасти усовершенствование одного военного искусства, ибо все науки связаны между собою. Для усовершенствования военного искусства необходимы усовершенствования химии и механики; для усовершенствования мореплавания необходимо сверх того усовершенствование астрономии и математики вообще. Но усовершенствование математики вообще, астрономии, химии, механики невозможно без усовершенствования философии, а кто исчислит все, что нужно было для того, чтобы образовать Коперника, Лейбница и Ньютона? Им нужны были и богословие, и философия собственно, и естественные науки, и искусства.

Замечено, что два и несколько вместе живущих людей мало-помалу делаются друг на друга похожими не только по духу, но и по телу; не только привычки их становятся одинакими, но во многих корпорациях заметно нечто общее даже в чертах лица. Как происходит история этого превращения? Дух одного человека действует на дух другого; они взаимно согранивают (модифицируют) друг друга; в течение 7 лет, как известно, не остается в человеке ни одной части прежних органов; новые органы рождаются уже под влиянием сего нового изменения духа; чрез несколько времени, когда физические органы привыкнут образоваться под одним и тем же направлением, они в свою очередь действуют на дух точно так же, как удар в голову производит действие на ту или другую способность человека.

Древняя музыка и ее чудные действия суть остаток еще древнейшей — первобытного, естественного языка человеческого. Он был известен человеку инстинктуально — теперь он должен дойти до него *образовательным* способом.

Сочинитель романа «The last man»[1] думал описать последнюю эпоху мира — и описал только ту, которая началась через несколько лет после самого сочинителя.

[1] «Последний человек» *(англ.).*

Это значит, что он чувствовал уже в себе те начала, которые должны были развиться не в нем, а в последовавших за ним людях. Вообще редкие могут найти выражение для отдаленного будущего, но я уверен, что всякий человек, который, освободив себя от всех предрассудков, от всех мнений, в его минуту господствующих, и отсекая все мысли и чувства, порождаемые в нем привычкою, воспитанием, обстоятельствами жизни, его собственными и чужими страстями, предается внутреннему, свободному влечению души своей,—тот в последовательном ряду своих мыслей найдет непременно те мысли и чувства, которые будут господствовать в близкую от него эпоху.

Мысли развиваются из постепенной организации человеческого духа, как плодовитые почки на дереве; иногда сии мысли противоположны; для жизни нужна борьба этих мыслей; люди, почитая их за свое произведение, называют их истинными законами природы, и человечество борется, умирает за них; между тем для жизни нужна была только одна борьба этих мыслей, а совсем не торжество той или другой: ей нужно было здесь определить какую-то отдельную цифру для уравнения, которое разрешается, может быть, в Сатурне. Оттого обыкновенно ни одно мнение решительно не торжествует, но торжествует только среднее между ними. И оттого вместе с тем такая сила и ревность в человеке для защиты того или другого мнения; ибо это суть мнения не его, и ему для защиты их дается не его сила.

Все убеждает нас в том, что человек должен жизнию, развившейся из него самого, дополнять жизнь естественную. Замечено, что люди жарких климатов живут менее обитающих в холодном, но, напротив, первые, переселяясь в страну холодную, а вторые в теплую (разумеется, когда еще в них жизненные силы не ослабли), бывают долговечнее; это весьма понятно. Природа человеку, родящемуся в жарком климате, как и другим своим произведениям, дает большую жизненную силу, дабы он мог воспротивиться разрушающим стихиям сего климата; в холодном климате сия сила как бы сжимается, не тратится столь быстро, и что человек теряет в наслаждениях, сих ступеньках к смерти, то выигрывает в продолжении своего существования. Напротив, человек холодного климата, перенесенный в жаркий, противится своею сохраненною организациею разрушительному жаркому

климату, и он, если силою ума может воспротивиться обольстительным наслаждениям знойного пояса, то выигрывает выгоду, противоположную выгоде человека жаркого климата,—он быстроту жизненного огня останавливает холодом, другой же холод своей крови утишает окружающим его жаром; первый слабую свою организацию укрепляет холодом, второй крепость своей организации противопоставляет разрушению.

Я не понимаю правила тех людей, которые позволяют себе делать немного зла с целию из оного произвести добро. Долг христианина и внутреннее побуждение человека—делать добро, не входя в расчеты, что от него произойти может. Ссылаются на врачей, которые отсекают больной член для того, чтобы сохранить все тело! Но разве медицина не ошибается? А медицина легче для понятия человека, нежели многоразличные общественные отношения, с коими мы имеем дело в продолжение нашего существования. Мы ни в каком случае не можем отвечать, что сделанное нами зло может обратиться в добро; это значит мешаться в судьбы Предвечного; мы можем знать только то, что сделанное добро все остается добром, хотя бы от него и произошли худые следствия. Сии следствия уже не в воле человека, он не виноват в них. Но чем оправдает себя человек, сделавший зло с добрым намерением и произведший новое зло? Находились же люди, которые хотели оправдать Робеспьера тем, что погибель тысячи людей он считал средством для будущего благоденствия своего отечества! Произведение человека ограниченно; одно чувство в нем не ограничено провидением—это любовь к человечеству.

Восстают против приличий, но они хранят общество; это сухая корка гнилого плода; распадись она—воздух заразится. Снимите корку от этих людей; испытайте их сделать открытыми, явными!

Гиббон сделал великое зло, пленясь наружным блеском Рима; он не заметил глубокого развращения нравов до Р. Х., величия и добродетелей христианства пред добродетелями язычества.

Когда было предложено употреблять в химических формулах указатели (например, SO^3), тогда возражали, что это будет неприятно математикам. Об этом спорили 10

лет — и убедились в необходимости сих формул только тогда, когда нашлись такие соединения, которых иначе нельзя было выразить.

Полезно бы предложить призы за лучшие предложения по следующим предметам:

1. Собрать все самые сильные возражения, которые когда-либо были сделаны против открытий, ныне признанных за истину, каковы, например, обращение земли вокруг солнца, электричество, кровообращение, паровые машины, прививание оспы, оксиген и проч., и проч.

2. Собрать исторические известия об всех открытиях, приписываемых случаю, и показать, что ни одно из них не могло бы случиться, если бы не было приготовлено или возбуждено усовершенствованием наук.

3. Собрать такие же известия о всех открытиях, получивших свое начало в теоретических положениях и ныне обратившихся в приложения к необходимым ежедневным потребностям.

Достойно замечания, что сильный никогда не может постигнуть, до какой степени может дойти подлость души слабого; от этого происходит то, что сильный часто обижается; другими словами, он не предполагает в слабом возможность или желание оскорбить его, а между тем слабый в сильном едва предполагает человека и потому, по своему мнению, никогда не может довольно унизиться.

Согласимся, пожалуй, с Бентамом и при всяком происшествии будем спрашивать самих себя, на что оно может быть полезно, но в следующем порядке:

1-е, человечеству,
2-е, родине,
3-е, кругу друзей или семейству,
4-е, самим себе.

Начинать эту прогрессию наизворот есть источник всех зол, которые окружают человека с колыбели. Что только полезно самим нам, то, отражаясь о семейство, о родину, о человечество, непременно возвратится к самому человеку в виде бедствия.

Мыслить не значит жить, ибо мысль есть следствие жизни. Действовать не значит жить, ибо действие есть следствие мысли.

Нет жизни без глубокого чувства; нет сего чувства без любви; нет любви без сего чувства.

В свете есть много пожертвований, которых мы не замечаем. Так, измученные продолжительною работою, мы прибегаем к возбуждающим средствам, или заставляем желудок спешить пищеварением, т. е., как сказал один врач, мы бьем усталую лошадь; лошадь везет в первую минуту скорее, но это на счет ее сил, на счет ее жизни. Так каждый день мы погоняем свои усталые силы, и в будущем из нашей усталости составляется огромный капитал с процентами, который вычитается из нашей жизни и которым мы могли бы воспользоваться, если бы захотели вести жизнь менее деятельную.



⟨ПИСЬМО А. А. КРАЕВСКОМУ⟩

Скажите, кто это меня так горячо любит и так досадно, так жестоко не понял? Тем досаднее и тем грустнее, что любит! Стало, он любит не меня, а мой фантом. Тем грустнее, что признает во мне талант, ибо с вышины падать больнее. Если бы мне сказали: ты начинаешь выписываться, твой талант потерял свежесть — я бы, может быть, не согласился на правах архиепископа Гренадского, но мне бы не было так грустно; мне говорят: ты падаешь, потому что мало-помалу миришься с пошлостью жизни и оттого, что дал в себе место скептицизму, миришься потому, что твоя филиппика принимает вид повести, сомневаешься потому, что не веришь в данное направление разума человеческого! Вы, господа, требуя в каждом деле разумного сознания, вы находитесь под влиянием странного оптического обмана, вам кажется, что вы требуете разумного сознания, а в самом деле вы хотите, чтобы вам верили на слово. Ваш criterium разум всего человечества; но как постигли вы его направление? Не чем другим, как вашим собственным разумом! Следственно, ваши слова «верь разуму человечества» значат «верь моему разуму!» — и, что бы вы ни делали, каким бы именем вы ни называли ваш criterium, в той сфере, где вы находитесь, вы всегда придете к этому заключению. А знаете ли, что значит это заключение? Верь моему разуму, следственно мой разум совершенен, следственно я — бог, т. е. вы другою дорогою, но дошли до одинакого заключения с римскими императорами, которые ставили себе статуи и заставляли им поклоняться. Этот роковой ход разума человеческого предвидела Библия в словах «не сотвори себе кумира!».

Все мы чувствуем необходимость одной безусловной истины, которая осветила бы весь путь, нами проходимый, но спорим о том, где она и как искать ее. Не называйте же скептиком того, кто ищет лучшего способа найти ее и испытывает для сей цели разные снаряды, как бы странны они ни казались. Скептицизм есть полное бездействие, и его должно отличать от желания дойти до самого дна: медик не знает, какое дать лекарство, это незнание имеет следствием то, что он не пропишет никакого рецепта,—вот скептицизм; медик прописал лекарство, но, возвратясь домой, спрашивает себя: то ли он прописал, нет ли чего более лучшего,—делает опыты, вопрошает опыты других—это не скептицизм, но то благородное недовольство, которое есть залог всякого движения вперед. Пирогов прежде, нежели отрежет руку у живого, каждый раз предварительно отрежет ту же руку у десятка трупов—скептицизм ли это?

Я не могу принять за criterium разума человеческого: во-первых, потому, что он неуловим—он агломерат, составленный из частных разумов; идеализация его кем бы то ни было всегда будет произведением индивидуальным, следственно не имеющим характера истины безусловной, всеобъемлющей; во-вторых, потому, что он еще не уничтожил страдания на земле; говорить, что страдание есть необходимость, значит противоречить тому началу, которое в нашей душе произвело возможность вообразить существование *нестрадания,* откуда взялось оно? в третьих, потому, что разум человеческий, как продолжение природы, должен (по аналогии) также быть несовершенным, как несовершенна природа, основывающая жизнь каждого существа на страдании или уничтожении другого. Все эти и многие другие наблюдения заставляют меня искать другого критериума.

Форма—дело второстепенное; она изменилась у меня по упреку Пушкина о том, что в моих прежних произведениях слишком видна моя личность; я стараюсь быть более пластическим—вот и все; но заключать отсюда о примирении с пошлостью жизни—мысль неосновательная; я был всегда верен моему убеждению, и никто не знает, каких усилий, какой борьбы мне стоит, чтоб доходить до дна моих убеждений, отстранять все, навеянное вседневной жизнию, и быть или по крайней мере стараться быть вполне откровенным.

Если бы кто, судя обо мне, не кладя моих мыслей на прокрустово ложе, применил их к собственной моей теории и с этой точки зрения посмотрел на них, то, может быть, много странного перестало бы быть странным и,

может быть, тогда бы заметили, что, например, наблюдения над связью мысли и выражения принадлежат к области, доныне еще никем не тронутой и в которой, может быть, разгадка всей жизни человека. Впрочем, я сам виноват во многом; у меня много недосказанного — и по трудности предмета и с намерением заставить читателя самого подумать, принудить самого употребить свой снаряд, ибо тогда только истина для него может сделаться живою.

Наконец,— называйте это суеверием, чем вам угодно,— но я знаю по опыту, что невозможно приказать себе писать то или другое, так или иначе; мысль мне является нежданно, самопроизвольно и, наконец, начинает мучить меня, разрастаясь беспрестанно в материальную форму,— этот момент психологического процесса я хотел выразить в Пиранези, и потому он первый акт в моей психологической драме; тогда я пишу; но вы понимаете, что в таком моменте должны соединяться все силы души в полной своей самобытности: и убеждения, и верования, и стремления — все должно быть свободно и истекать из внутренности души; здесь веришь чему веришь, убежден — в чем убежден, и нет места ничьему чужому убеждению; здесь а=а.

Требовать, чтобы человек принудил себя быть убежденным,— есть процесс психологически невозможный.

Терпимость, господа, терпимость! — пока мы ходим с завязанными глазами. Она пригодится некогда и для вас, ибо, помяните мое слово, если вы и не приблизитесь к моим убеждениям, то все-таки перемените те, которые теперь вами овладели; невозможно, чтобы вы наконец не заметили вашего оптического обмана.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Самое затруднительное для писателя дело: говорить о самом себе. Тут напрасны все оговорки и все возможные риторические предосторожности; его непременно обвинят или в самолюбии, или, что еще хуже, в ложном смирении; нет определенной черты между тем и другим, или, по крайней мере, трудно отыскать ее. Остается последовать примеру Сервантеса, который начал одну из своих книг следующими словами: «Я знаю, любезный читатель, что тебе нет никакой нужды читать мое предисловие, но мне очень нужно, чтобы ты прочел его».— Такое откровенное объяснение, кажется, мирит все противоречия.

Мои сочинения в первый раз были собраны и изданы в 1844 году. Как известно, в течение двух-трех лет их уже не было в книжной торговле, и скоро они сделались библиографическою редкостию. Меня часто спрашивали: отчего я не приступаю к новому изданию? отчего я не пишу, или, по крайней мере, ничего не печатаю? и проч. т. п. Спрашивать у сочинителя о таких *домашних* обстоятельствах почти то же, что спрашивать у мусульманина о здоровье его жены. Но хорошо, когда дело ограничивается одними вопросами; худо, когда появляются ответы,— помимо настоящего ответчика; хорошо и то, когда эти ответы только нелепы; худо, когда подчас эти ответы не сообразны ни с вашим взглядом на вещи, ни ... с вашими правилами.

Покусившийся хоть раз, как говорилось в старину, *предать* себя тиснению,— с той самой минуты становится публичной собственностью, которую всякий может *трактовать,* как ему угодно. Но этот *трактамент* не только

дает право публичному человеку, но даже налагает на него обязанность когда-нибудь публично же и объясниться.

Дело очень простое: в 1845 году я намерен был предпринять новое издание моих сочинений, исправить их, пополнить и проч. т. п., как бывает в подобных случаях. Но в начале следующего года (1846) на меня пало одно дело; друзья мои знают — какое (говорить о нем для публики было бы еще рано); они также хорошо знают, какого рода занятий и какой упорной борьбы оно требовало. Этому делу, в течение девяти лет, я принес в жертву все, что я мог принести: труд и любовь; эти девять лет поглотили мою литературную деятельность всю без остатка. Признаюсь, я об этом не жалею; но, естественно, не могу быть равнодушен, если другие о том жалеют.

Затем, не легко,— всякий это знает,— после долгого отсутствия, воротясь на прежнее пепелище, связать настоящее с давнопрошедшим, концы с концами. В эту минуту некоторое раздумье неизбежно.

Между тем, пока я был *на стороне*, добрые люди воспользовались тем, что моя книга сделалась библиографическою редкостию, и втихомолку принялись таскать из нее, что кому пришлось по его художеству; иные — на основании литературного обычая, т. е. заимствовались с большою тонкостию и с разными прикрытиями, иные с меньшими церемониями просто вставляли в мои сочинения другие имена действующих лиц, изменяли время и место действия и выдавали за свое; нашлись и такие, которые без дальних околичностей брали, например, мою повесть всю целиком, называли ее, например, биографиею и подписывали под нею свое имя. Таких курьезных произведений довольно бродит по свету.— Я долго не протестовал против подобных *заимствований*, частию потому, что я просто не знал о многих из них, а частию потому, что мне казался довольно забавным этот особый род нового издания моих сочинений. Лишь в 1859-м году я счел нужным предостеречь некоторых господ о возможном следствии их бесцеремонных проделок[1].

Есть, наконец, люди, которые к ремеслу невинного

---

[1] В ... «СПб. ведомостей». При сем случае я не могу не выразить моей благодарности гг. издателям..., которые в ...«Ведомостей» обличили один из таких подлогов, без чего, может быть, я его бы и не заметил. В таких случаях все добросовестные литераторы должны помогать друг другу — здесь дело общей литературной безопасности. Какое бы дитя ни было, оно мое; нет ничего утешительного видеть, что его уродуют. Такими поступками, независимо от их житейского значения, оскорбляется художественное чувство, лучшее достояние всякого писателя. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

заимствования присоединяют и другое: приписывать известному лицу, называя его по имени, нелепости собственного изделия, даже обставляя их рачительно, во избежание всякого сомнения, вводными знаками. Такую проделку позволило себе одно издание..., о котором не позволю себе теперь говорить, ибо оно прекратилось; да и сам издатель, человек, имевший довольно странное понятие о житейских условиях, но человек не без дарований, уже не существует. De mortuis seu bene, seu nihil[1].

Итак, участь моей книги была следующая: из нее таскали, взятое уродовали, и на нее клепали; а для большинства поверить эти проделки было не на чем.

Сопряжение всех этих причин, имеющих важное значение для человека, свято сознающего права и обязанности литератора, заставило меня приступить к новому изданию моих сочинений.

Я полагал в них много исправить, многое переделать, но вскоре убедился, что такое дело — невозможно. Семнадцать лет — есть почти половина деятельной жизни. В такой период времени многое передумалось, многое забылось, многое наплыло вновь — нет возможности попасть в тот лад, с которого начал; камертон изменился; и внутренняя жизнь и внешняя среда — другие; всякая переделка будет не живым органическим произведением, но механическою приставкою. И сверх того: *наши* ли — наши мысли даже в минуту их зарождения? Не суть ли они в нас живая химическая переработка начал внешних и разносложных: духа эпохи вообще и среды, в которой мы живем, впечатлений детства, беседы с современниками, исторических событий,— словом, всего, что нас окружает?.. Трудно отделиться от семьи, от народа — еще труднее; от человечества — вовсе невозможно; каждый человек волею или неволею — его представитель, особливо человек пишущий; большой или малый талант — все равно; между ним и человечеством установляется электрический ток,— слабый или сильный, смотря по представителю,— но беспрерывный, неумолимый. С этой точки зрения человеческое слово, при его проявлении в данном народе и в известный момент, есть исторический факт, более или менее важный, но уже не принадлежащий так называемому сочинителю; если в нем это слово тогда неудачно выговорилось, если он не сознал определительно своего представительства, то виноват он сам и должен нести за то ответственность; после договаривать уже

---

[1] О мертвых или хорошо, или ничего (*лат.)*.

поздно: стрелка двинулась на часах мира, два раза рождения не бывает.

Эта книга является в том самом виде, как она была издана в 1844 году; я позволил себе исправить лишь некоторые, слишком явные промахи (не все!), пополнить вольные и невольные пропуски, ввести некоторые статьи, при первом издании забытые, некоторые новые, и, наконец, присоединить особо примечания, которые, сколько мне кажется, могут иметь некоторое историческое значение. Dixi[1].

P. S. Публика такое существо, с которым никогда нельзя вдоволь наговориться. Особенно эта невольная болтливость является после долгой жизни, в продолжение которой накопилось на голову дюжины с две всякой напраслины. Оправдать себя от напраслины есть право всякого,—но для публичного человека, литератора, такое оправдание есть даже обязанность. Меня вообще обвиняют в каком-то энциклопедизме, хотя я никогда еще не мог хорошенько выразуметь: что это за зверь? Это слово можно понимать в разных смыслах: если человек хватается то за то, то за другое, так, зря, на авось, когда его деятельность разорвана и чрез нее не прошло живой, органической связи—должно ли называть его энциклопедистом?—Наоборот, если одно дело вырастает из другого органическим путем, как из корня вырастает лист, из листа цветок, из цветка плод,—будет ли такая история также энциклопедизмом?—В первом, что бы ни говорили, я не грешен; я *хватаюсь* за весьма немногое,—но, правда, *придерживаюсь* за все,—что попадается под руку. Этому искусству научила меня жизнь; рассказ об этом процессе, может быть, не останется без пользы для нового поколения.—Моя юность протекла в ту эпоху, когда метафизика была такою же общею атмосферою, как ныне политические науки. Мы верили в возможность такой абсолютной теории, посредством которой возможно было бы строить (мы говорили—конструировать) все явления природы, точно так, как теперь верят возможности такой социальной формы, которая бы вполне удовлетворяла всем потребностям человека; может быть, и действительно, и такая теория, и такая форма и будут когда-нибудь найдены, но ab posse ad esse consequentia non valet[2].—Как бы то ни было, но тогда вся природа, вся жизнь человека

---

[1] Сказано *(лат.)*.

[2] Из возможного еще не следует действительное *(лат.)*.

казалась нам довольно ясною, и мы немножко свысока посматривали на физиков, на химиков, на утилитаристов, которые рылись в *грубой материи.* Из естественных наук лишь одна нам казалась достойною внимания любомудра — анатомия, как наука человека, и в особенности анатомия мозга. Мы принялись за анатомию практически, под руководством знаменитого Лодера, у которого многие из нас были любимыми учениками. Не один *кадавер* мы искрошали, но анатомия естественно натолкнула нас на физиологию, науку тогда только что начинавшуюся, и которой первый плодовитый зародыш появился, должно признаться, у Шеллинга, впоследствии у Окена и Каруса. Но в физиологии естественно встретились нам на каждом шагу вопросы, не объяснимые без физики и химии; да и многие места в Шеллинге (особенно в его Weltseele[1]) были темны без естественных знаний; вот каким образом гордые метафизики, даже для того, чтобы остаться верными своему званию, были приведены к необходимости завестись колбами, реципиентами и тому подобными снадобьями, нужными для — грубой материи.

В собственном смысле именно Шеллинг, может быть, неожиданно для него самого, был истинным творцом положительного направления в нашем веке, по крайней мере в Германии и в России. В этих землях лишь по милости Шеллинга и Гете мы сделались поснисходительней к французской и английской науке, о которой прежде, как о грубом *эмпиризме,* мы и слышать не хотели.

Как видите, эти разнообразные занятия не были безотчетным энциклопедизмом, но стройно примыкали к нашим прежним работам. Я оценил вполне важность этой разносторонности знаний, когда, по обстоятельствам жизни, мне пришлось заниматься детьми. Дети — были лучшими моими учителями, и за то до сих пор сохранил <я> к ним глубокую привязанность и благодарность.— Дети показали мне всю скудость моей науки. Стоило поговорить с ними несколько дней сряду — вызвать их вопросы, чтобы увериться, как часто мы вовсе не знаем того, чему, как нам кажется, мы выучились превосходно. Это наблюдение поразило меня и заставило глубже вникнуть в разные отрасли наук, которыми, казалось, я обладал вполне. Это наблюдение убедило меня в новости тогда неожиданной, а именно, как искусственно, как произвольно, как ложно деление человеческих знаний на так называемые науки. В обширном каталоге наук, собственно, нет ни одной, которая бы давала нам определительное

[1] Мировой душе *(нем.).*

понятие о *цельности* предмета; возьмите человека, животное, растение, малейшую пылинку; науки разорвали их на части: кому досталось их химическое значение, кому идеальное, кому математическое и пр., и эти искусственно разорванные члены названы специальностями; говорят, что у нас были когда-то, в незапамятные времена, профессоры первого тома, второго; для того, чтобы составить цельное понятие о каждом из сих предметов, необходимо собрать их все разорванные части, доставшиеся на долю разным наукам; для свежего, не испорченного никакою схоластикою детского ума нет отдельно ни физики, ни химии, ни астрономии, ни грамматики, ни истории и пр. и пр. Ребенок не будет вас слушать, если вы заговорите самым систематическим путем отдельно об анатомии лошади, о механизме ее мускулов, о химическом превращении сена в кровь и тело, о лошади как движущей силе, о лошади как эстетическом предмете,—дитя—отъявленный энциклопедист; подавайте ему лошадь всю, как она есть,не дробя предмета искусственно, но представляя его в живой цельности,—в том вся задача педагогии, доныне нерешенная. Чтобы удовлетворить этому строгому, неумолимому требованию, мало отрывочных, так сказать, литературных, или неправильно называемых *общих* знаний, а надобно, как говорят французы, mettre la main à la pâte[1], и только тогда можно говорить с детьми языком для них понятным. Вот вся разгадка моего мнимого энциклопедизма,—который, может быть, невольно отразился в моих сочинениях; но здесь не моя вина,—здесь вина века, в который мы живем, и который если не нашел, то, по крайней мере, ищет воссоединения всех раздробленных частей знания. Если с таким самоотвержением нисходить в подробности, творить особые науки под названием: энтомология, ихтиология, то лишь для того, чтобы найти точку соединения между венами и артериями человеческого разумения. Пока еще не образовалась наука общечеловеческая, необходимо, чтобы каждый человек, отбросив схоластические пеленки, образовал для себя, для круга своей деятельности, соразмерно пространству своего разумения, свою особую науку, науку безыменную, которую нельзя подвести ни под какую условную рубрику. Об этой науке—признаюсь—я позаботился; кто мне эту заботу поставит в укор, тому я не дам другого ответа, кроме: «mea culpa!»[2]

---

[1] Опустить руку в тесто *(фр.)*.
[2] Моя вина! *(лат.)*

ПРИМЕЧАНИЕ К «РУССКИМ НОЧАМ»

Habent sua fata libelli![1] — пишущему и вообще действующему человеку не мудрено провиниться разными образами: между прочим, например, выдать свою мысль за чужую, или, как на грех, чужую за свою. Но часто — как с Софьей Павловной:

Бывает хуже — с рук сойдет,

а вдруг, бог весть по каким сближениям, вас начинают обвинять или оправдывать именно в том, в чем вы ни душой, ни телом не виноваты. — Многие находили, иные в похвалу, другие в осуждение, что в «Русских ночах» я старался подражать Гофману. Это обвинение меня не слишком тревожит; еще не было на свете сочинителя от мала до велика, в котором бы волею или неволею не отозвались чужая мысль, чужое слово, чужой прием и проч. т. п.; это неизбежно уже по гармонической связи, естественно существующей между людьми всех эпох и всех народов; никакая мысль не родится без участия в этом зарождении другой предшествующей мысли, своей или чужой; иначе сочинитель должен бы отказаться от способности принимать впечатление прочитанного или виденного, т. е. отказаться от права чувствовать и, след<ственно>, жить. Разумеется, я не обижаюсь нисколько, когда сравнивают меня с Гофманом, — а, напротив, принимаю это сравнение за учтивость, ибо Гофман всегда останется *в своем роде* человеком гениальным, как Сервантес, как Стерн; и в моих словах нет преувеличения, если слово гениальность однозначительно с изобретатель-

[1] Книги имеют свою судьбу *(лат.)*.

ностию; Гофман же изобрел особого рода чудесное; знаю, что в наш век анализа и сомнения довольно опасно говорить о чудесном, но между тем этот элемент существует и поныне в искусстве; например, Вагнер — тоже человек без всякого сомнения гениальный[1] — убежден, что опера почти невозможна без этого странного элемента, и музыканту нельзя не согласиться с таким убеждением; Гофман нашел единственную нить, посредством которой этот элемент может быть в наше время проведен в словесное искусство; его чудесное всегда имеет две стороны: одну чисто фантастическую, другую — действительную; так что гордый читатель XIX-го века нисколько не приглашается верить безусловно в чудесное происшествие, ему рассказываемое; в обстановке рассказа выставляется все то, чем это самое происшествие может быть объяснено весьма просто, — таким образом, и волки сыты и овцы целы;[2] естественная наклонность человека к чудесному удовлетворена, а вместе с тем не оскорбляется и пытливый дух анализа; помирить эти два противоположные элемента было делом истинного таланта.

А между тем я не подражал Гофману. Знаю, что самая форма «Русских ночей» напоминает форму Гофманова сочинения «Serapien's Brüder»[3]. Также разговор между друзьями, также в разговор введены отдельные рассказы. Но дело в том, что в эпоху, когда мне задумались «Русские ночи», т. е. в двадцатых годах, «Serapien's Brüder» мне вовсе не были известны; кажется, тогда эта книга и не существовала в наших книжных лавках; единственное сочинение Гофмана, тогда мною прочитанное, было «Майорат», с которым у меня нигде, кажется, нет ни малейшего сходства.

Не только мой исходный пункт был другой, но и диалогическая форма пришла ко мне иным путем; частию по логическому выводу, частию по природному настроению духа, мне всегда казалось, что в новейших драматических сочинениях для театра или для чтения недостает того элемента, которого представителем у древних был — *хор,* и в котором большею частию выражались понятия самих зрителей. Действительно, странно высидеть перед сценою несколько часов, видеть людей говорящих, дей-

---

[1] К числу доказательств гениальности Вагнера я причисляю падение его «Тангейзера» в Париже, где процветают «Плоермель» Мейербера и даже так называемые оперы Верди, которые в музыке занимают то же место, что в живописи китайские картины, шитые шелком и мишурою. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

[2] В подлиннике ошибочно: «и волки целы и овцы сыты».

[3] «Серапионовы братья» *(нем.).*

ствующих — и не иметь права вымолвить своего слова, видеть, как на сцене обманывают, клевещут, грабят, убивают — и смотреть на все это безмолвно, склавши руки. Замкнутая объективность новейшего театра требует с нашей стороны особого жестокосердия; чувство, которое не позволяет нам оставаться равнодушными при виде таких происшествий в действительности, это прекрасное чувство явно оскорблено, и я совершенно понимаю Дон-Кихота, когда он с обнаженным мечом бросается на мавров кукольного театра, и того чудака наших театров, который, сидя в креслах, не мог утерпеть, чтобы не вмешаться в разговор актеров. Такими зрителями должен бы дорожить драматический писатель; они, без сомнения, одни вполне сочувствуют пиесе. Хор — в древнем театре давал хоть некоторый простор этому естественному влечению человека принимать личное участие в том, что пред ним происходит.— Конечно, перенести целиком древнюю форму хора в нашу новую драму есть дело невозможное, что доказывается и бывшими в этом роде попытками; но должен быть способ ввести в нашу немилосердую драму хоть какого-нибудь адвоката со стороны зрителей, или, лучше сказать, адвоката господствующих в тот момент времени понятий, словом то, что древние наши учители в деле искусства считали необходимою принадлежностию драмы.— Стоит *найти*. А найти необходимо, в наш век более нежели когда-нибудь; selfgovernment[1] ныне проникает во все движения мысли и чувства; а selfgovernment никак не ладится с этою браминскою неподвижностию, которая требуется от зрителя новейшею драмою; путь узок, как волос, как путь мусульманский, ведущий в жилище гурий; с одной стороны грозит лиризм и резонерство; с другой — холодная объективность. Может быть, когда-либо желаемая цель достигнется сопряжением двух разных драм, представленных в одно и то же время, между коими проведется, так сказать, нравственная связь, где одна будет служить дополнением другой,— словом, говоря философскими терминами, где *идея* представится не только с *объективной*, но и с *субъективной* стороны, следственно выразится *вполне*, следственно вполне удовлетворит нашему эстетическому чувству. Эта задача еще не решена; решить ее тем или другим путем, решить удачно — дело таланта; но задача существует.

Возвращаюсь к моему собственному защищению; касаясь психологического факта, оно может быть будет не без интереса для читателя.— В эпоху, о которой я говорю,

[1] Самоуправление, самообладание *(англ.)*.

я учился по-гречески и читал Платона, руководствуясь в трудных местах русским или, точнее сказать, славянорусским переводом Пахомова, который в нашей словесности то же, что Амиотов перевод Плутарха во французской. Платон произвел на меня глубокое впечатление, до сих пор сохранившееся, как всякое сильное впечатление юности. В Платоне я находил не один философский интерес; в его разговорах судьба той или другой *идеи* возбуждала во мне почти то же участие, что судьба того или другого человека в драме или в поэме; даже, в эту эпоху, судьба гомеровых героев гораздо менее интересовала меня; вообще ни Ахиллес, ни Одиссей тогда не привлекали моего особого сочувствия.

Продолжительное чтение Платона привело меня к мысли, что если задача жизни еще не решена человечеством, то потому только, что люди не вполне понимают друг друга, что язык наш не передает вполне наших идей, так что слушающий никогда не слышит всего того, что ему говорят, а или больше, или меньше, или влево, или вправо. Отсюда вытекало убеждение в необходимости и даже в *возможности* (!) привести все философские мнения к одному знаменателю. Юношеской самонадеянности представлялось доступным исследовать каждую философскую систему порознь (в виде философского словаря), выразить ее строгими, однажды навсегда принятыми, как в математике, формулами — и потом все эти системы свести в огромную драму, где бы действующими лицами были все философы мира от элеатов до Шеллинга,— или, лучше сказать, их учения,— а предметом, или вернее основным анекдотом, была бы ни более ни менее как *задача человеческой жизни*.

Но в этом деле случилось то, что рассказывает Пушкин о помещике села Горохова, который задумал написать поэму «Рурик», потом нашел нужным ограничиться одою, и кончил — надписью к портрету Рурика.

Мечта первой юности рушилась; труд был не по силам; на один философский словарь, как я понимал его, не достало бы человеческой жизни, а эта работа должна была быть лишь первой ступенькой для дальнейшей главной работы... что говорить далее,— дроби остались с разными знаменателями, как, может быть, и навсегда останутся,— по крайней мере не мне сделать это вычисление.

Но сопряжение всех этих предварительных работ и почти беспрестанная о них мысль невольно отразились во всем, что я писал, и в особенности в «Русских ночах», но в другой обстановке. Вместо Фалеса, Платона и проч. на

сцену явились современные тогда типы: кондилльякист, шеллингианец и, наконец, мистик (Фауст), все трое — *в струе русского духа;* последний (Фауст) подсмеивается над тем и другим направлением, но и сам не высказывает своего решения, может быть, потому, что оно для него так же не существует, как для других,— но который удовлетворяется символизмом; впрочем, к Фаусту я обращусь впоследствии. Чтобы свести эти три направления к определенным точкам, избраны разные лица, которые целою своею жизнию выражали то, что у философов выражалось сжатыми формулами,— так что не словами только, но целою жизнию один отвечал на жизнь другого.

Предмет этой новой,— если угодно,— драмы остался тот же: задача жизни, разумеется, не разрешенная.

Я боюсь наскучить читателю более подробным описанием этих домашних обстоятельств моего сочинения; впрочем, я до сих пор старался ограничиться лишь тем, что собственно относится к психологическому процессу, во мне самом совершившемуся, а всякий психологический процесс как *факт* может, повторяю, иметь свое значение во всяком случае.

Прибавлю еще, что в «Русских ночах» читатель найдет довольно верную картину той умственной деятельности, которой предавалась московская молодежь 20-х и 30-х годов, о чем почти не сохранилось других сведений. Между тем эта эпоха имела свое значение; кипели тысячи вопросов, сомнений, догадок — которые снова, но с большею определенностию возбудились в настоящее время; вопросы чисто философские, экономические, житейские, народные, ныне нас занимающие, занимали людей и тогда, и много, много выговоренного ныне, и прямо, и вкривь, и вкось, даже недавний славянофилизм,— все это уже шевелилось в ту эпоху, как развивающийся зародыш. Новому поколению не худо знать, как понимались эти вопросы поколением, ему предшествовавшим, как и с чем оно боролось и чем страдало; как вырабатывались и хорошие, и плохие материалы, доставшиеся на труд новым деятелям? История человеческой работы принадлежит человечеству.

НЕДОВОЛЬНО[1]

(посв. И. С. Тургеневу)

Брось прохладушки —
неделанного дела много.

Русское присловье

I

В минуту внезапной усталости художник вымолвил слово: «Довольно!» — широкое и... коварное слово. — Для кого довольно? для себя? для других? — Для себя — по какому праву? — Для других — не худо бы их спроситься. А если мы подадим протест... не Юпитеру, не Аполлону — пусть они остаются себе в Ватикане, там они, должно быть, с руки — нет! если мы подадим протест живым людям, хоть самим себе? как! мы дали художнику право нас изучать, разлагать наши духовные силы, высматривать нашу красоту и наше безобразие, особенности нашего быта, нашей природы; взял он у нас родное Русское слово, в своих произведениях приучил нас читать самих себя, — эта привычка нам дорога, и мы нисколько не намерены ее покинуть, — как вдруг ни с того, ни с сего

[1] Всем нашим читателям наверно памятна прекрасная поэтическая фантазия «Довольно!» (см. соч. И. С. Тургенева, т. V, с. 337—350. Изд. 1865 г.), где сочинитель метко схватил те тяжкие минуты в жизни художника, когда, измученный и работою, и людскою неблагодарностию, усталый, обессиленный, он как будто теряет веру в самого себя и в Природе, в жизни ищет оправдания своему недоверию. Мы позволили себе написать род ответа, под первым впечатлением статьи Ивана Сергеевича, и потому нумера в нашей статье соответствуют до некоторой степени таким же нумерам статьи «Довольно». (*Примеч. В. Ф. Одоевского.*)

художник говорит: «будет с вас! довольно!»... нет! так легко с нами он не разделается! своей умною мыслью, своею изящною речью он закабалил себя нам;—нам принадлежит каждая его мысль, каждое чувство, каждое слово; они—наша собственность, и мы не намерены уступить ее даром.

II

Приходит на ум и другое. Да выговорилась ли *суть* этого слова? Здесь не одна ли буквенная оболочка, под которою зародилось другое, новое слово? не впервые буквам обманывать людей вообще, а в особенности художников... Человек роет землю, подумаешь—могила; ничего не бывало! он просто садит дерево. Дерево отцвело, плод свалился, падают пожелтевшие листья—прощай, дерево!.. ничего не бывало; плод осеменил землю, листья прикрыли его,—да прорастет зародыш!

III

— «Довольно»,—потому что все изведано, потому что «все было, было, повторялось, повторяется тысячу раз: и соловей, и заря, и солнце». Что если бы какая чудодейная сила потешила художника и, в угоду ему, ничто бы в мире не повторялось? соловей бы пропел в последний раз, солнце не взошло бы заутра, кисть навсегда бы засохла на палитре, порвалась бы последняя струна, замолк бы человеческий голос, наука выговорила бы свое последнее слово?—что же за тем? мрак, холод, бесконечное безмолвие и ума и чувства... о! тогда человек действительно получил бы право сказать: *довольно!* то есть, дайте мне опять тепла, света, речи, пения соловья, шелеста листов в полумраке леса, дайте мне страдание, дайте простор моему духу, развяжите его деятельность, хотя бы в ней была для меня отрава... словом, воссоздайте неизменяемость законов Природы! Пусть снова возникнут предо мною неразрешенные вопросы, сомнения, пусть солнце будет равно отражаться и в безбрежном море, и в капле утренней росы, повисшей на былии.

IV

В самом ли деле мы когда-нибудь стареемся? этот вопрос подлежит еще большому сомнению. То, что я думал, чувствовал, любил, выстрадал вчера, за 20, за 40

лет,— не состарелось, не прошло бесследно, не умерло, но лишь преобразилось; старая мысль, старое чувство отзывается в новых чувствах; на мое новое слово, как сквозь призму, ложится разноцветный оттенок бывшего... Наконец: неужель художник заперт в художественной сфере? — неужель та могучая, творческая сила, что дана ему при рождении, не должна проникать и за пределы этой сферы? ведь там — приволье большое, раздолье широкое! — «Я сегодня уж слишком заработался,— говорил Питт,— дайте мне другой портфель».— Такие слова может, даже обязан повторить каждый свыше одаренный человек — будь он художник, ученый, служака, промышленник. Даровитая организация — эластична; она не имеет права вкопать свой талант в землю; она должна пустить его в куплю, где бы ни привелось — а работы на земле много, да и работа неотложная, многосторонняя; всех зовет она — и юного и старого; на всех ее хватит, и все ей нужно, и часто именно то, чем господь одаряет художника; без эстетической стихии ничто не спорится; одной механикой и дельной мышеловки не состроить.

V

Правда, после дня настает ночь, после борьбы усталость. Как мягка, как отрадна эта метафизическая постель, которую мы стелим себе, собираясь на покой! как привольно протянуться на ней, убаюкивая себя мечтами о тщете человеческой жизни, о том, что все скоротечно, что все должно когда-нибудь кончиться: и силы ума, и деятельность любви, и чувство истины,— все, все — и биение сердца, и наслаждение искусством, Природою; что всему конец — могила. Не все ли равно, немного позже, немного раньше? — Эти минуты сторожит злейший из врагов человека, хитрейший из льстецов: духовная лень.— «Зачем же и вставать с постели?» — говорит он нам,— и очень логично. «Пусть там встает солнце, если ему так хочется. Что тебе нужды до него? посмотри, на что оно похоже, посмотри, как оно безнравственно равнодушно! оно светит сегодня как вчера, и доброму, и злому, греет и горлинку, и тигра, улыбается и матери с младенцем и звероподобной битве; сними же с него поэтическую личину, погрузись, подобно солнцу, в созерцательное равнодушие,— от него один шаг к полному, нетревожному бездействию...» — и злой дух много напевает нам таких песен. Но, к счастию, против злого духа восстает наш

ангел-хранитель: *любовь!* любовь всеобъемлющая, всечующая, всепрощающая, ищущая делания, ищущая всезнания, как подготовки к своему деланию...

VI

Прочь уныние! прочь метафизические пеленки! не один я в мире, и не безответен я пред моими собратиями—кто бы они ни были: друг, товарищ, любимая женщина, соплеменник, человек с другого полушария.—То, что я творю,—волею или неволею приемлется ими; не умирает сотворенное мною, но живет в других жизнию бесконечною. Мысль, которую я посеял сегодня, взойдет завтра, через год, через тысячу лет; я привел в колебание одну струну, оно не исчезнет, но отзовется в других струнах гармоническим гласовным отданием. Моя жизнь связана с жизнью моих прапрадедов; мое потомство связано с моею жизнию. Неужель что-либо человеческое может быть мне чуждо? Все мы—круговая порука. Архимедовыми вычислениями движутся смелые механизмы нашего века; мысль моего соседа, ученого, переносится электрическим током в другое полушарие; Пифагор измерял струны и вычислял созвучия для Себастиана Баха, Бах работал для Моцарта и Бетховена—Бетховен для... новых деятелей гармонии. Солнечный луч, призванный вчерашнею наукою к ответу о составе солнца, готовит новый мир знаний для будущего человечества, мир нами не угадываемый,—но мы теперь на каждом шагу уже можем прочувствовать то высокое наслаждение, которое ощутят наши дальние потомки благодаря *нашим* трудам. Похорони мы эти труды в могиле созерцательного бездействия, мы похороним и деятельность и наслаждения наших будущих собратий... имеем ли мы право на такое смертоубийство?

VII, VIII, IX, X, XI

Как в мире науки, так и в мире чувства (какое бы оно ни было: сознательное или бессознательное) минуты любви, вдохновения, слово науки, даже просто доброе дело не покидают нас и среди самой горькой душевной тревоги,—но светлою полосою ложатся между наших мрачных мечтаний. Благословим эти минуты, а не проклянем; они не только были, они нам присущи; они живут в самом нашем отрицании.

XII

Да! в самом отрицании! можно отрицать лишь то, что мы познали, что изведали,—иначе мы будем отрицать отрицание. Кто имеет право сказать: *«в последний раз»* и, подобно зверьку, опуститься в глубь и заснуть? Да и во сне будут мерещиться «и солнышко, и травка, и голубые ласковые воды»—и наяву мы невольно будем искать их. Есть в духе человека потребность и думать и чувствовать, как в пчеле-работнице потребность строить ячейку. Для чего, для кого пчела строит ее? для чего наполняет она ее медом, собираемым с опасностью для жизни? может быть, не она воспользуется этой ячейкой, этим медом,— воспользуются другие, ей неизвестные существа, воспользуется царица и ее новое племя... Но как заметил, кажется, Кювье, пчела носит в себе образ ячейки, геометрический призрак;—осуществить этот образ, этот призрак есть непреодолимое призвание пчелы; в исполнении этого призвания, должно быть, вложено особого рода наслаждение,—и без него жизнь пчелы осталась бы неудовлетворенною. Если бы пчелы засыпáли во время своего рабочего периода, прекратилось бы существование ульев,—зародыши умерли бы с голода; уничтожение этой породы, по-видимому, столь незначительных существ, может быть, не обошлось бы даром и остальному миру; может быть, пришлось бы работать над средствами заменить пчелу,—что еще не далось науке.

XIII

Судьба!—что это за дама? откуда она вышла? где живет она? любопытно было бы о том проведать. Пó свету бродит лишь ее имя, вроде того исполинского морского змея, о котором ежегодно писали в газетах, но который еще не потопил ни одного корабля и на днях обратился в смиренного моллюска. Никто еще не подвергался такой напраслине как судьба-невидимка. Про одного шахматного игрока рассказывали, что он играл бы мастерски, но что в шахматах ему не везет, несчастливо играет,—такая, видио, его судьба. Эта шутка похожа на дело. Действительно, игроку несчастье: рассеянность, невнимание, плохое знание игры, и все мы—шахматные игроки почти в том же роде; разумному, ученому игро-

ку — игра открыта; смотря по степени своего знания, он может предвидеть *ходы* жизни, прикрыться, избежать, поразить вбвремя. Все это возможно, но не всеми делается, не по милости какой-то судьбы, а, в бóльшей части случаев, по собственному нехотению. Все люди спят на постелях; у всякого в комнате есть печка; Кондратий Иванович лег в постелю и умер — от угара. Судьба? ничего не бывало! он просто не позаботился посмотреть, как закрыта вьюшка, и положился на судьбу. Во многих московских местностях есть подземные родники; у одного хозяина подмыло дом, и дом повалился. «Вот судьба-то!» — говорили прохожие. Сосед его открыл у себя родники прежде постройки дома и свел их в проточный пруд.— «Какой хорошенький прудок!» — говорили прохожие; — никому не пришло в голову приписать этот прудок судьбе,— а судьба, т. е. местность, была одинакова для обоих соседей. Неужели наука напрасно доказала, что случайности или судьбы не существует — в обыденном смысле этого слова; что все возможные случайности повинуются общим, неизменным законам, которые... стоит изучить. По математическому закону вероятностей, из числа повторений одного и того же случая должно быть несколько отрицательных, или несчастных; но эта вероятность в бóльшей части случаев может быть ограничена волею человека. У двери порог; есть для меня ежедневная вероятность за него зацепиться, упасть и сломить себе шею; но если я дам себе труд не забыть, что тут есть порог, то вероятность споткнуться удалится от меня на бесконечную величину. Но возразят: а грозные, нежданные явления Природы: бури, землетрясения, взрывы?.. к числу этих нежданных явлений некогда причисляли солнечное затмение. Когда и для земли наука выработает такие же данные, какие она добыла в звездных пространствах,— тогда все нежданные явления Природы будут предсказываться в календарях, наравне с восходом и закатом солнца или месяца. Когда дрожания земли будут изучены как дрожания струны или Хладниевы фигуры[1], тогда не станет дело и за снарядом против землетрясений, вроде громоотвода. Наука, кажется, еще далеко не дошла до такого успеха; конечно! но что же из этого следует? — единственно то, что мы еще не кончили нашего урока на земле, что еще не следует нам покидать указку... словом, что недовольно! недовольно!

[1] Сродство Хладниевых линий с линиями землетрясений уже, кажется, было выговорено в науке. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

Дело в том, что все мы больны одною болезнию: *неприложением рук*,— но мы как-то стыдимся этой болезни и находим удобнее сваливать продукты нашей лени на судьбу, благо она безответна. С «самозабвением и самопрезрением» далеко не уйдешь; нужна во всех случаях жизни известная доля самоуверенности: в битве ли с жизнию, в битве ли с собственною мыслию. Надобно уметь прямо смотреть в глаза и другу и недругу, и успеху и неудаче, и делу и безделью. Но скажут: что же за радость жить целый век насторо́же! пожалуй, уподобишься тому чудаку[1], который и в ясную погоду ходил с зонтиком, а на зонтике был приделан громовой отвод,— потому что, рассуждал чудак, были случаи громовых ударов и при безоблачном небе.— Пограничная линия между разумным и смешным весьма тонка и неопределенна, но из этого не следует, чтобы ее не было и чтобы человек был не в силах стать по ту или по сю сторону этой линии. Все зависит от умения обращаться с жизнию, от смысла, который мы придаем ее явлениям. Влияние, производимое на нас нашей деятельностию, вполне подчинено той идее, которую мы к ней присоединяем. Возьмем пример самый простой; что может быть скучнее проверки счетных книг? Человек жалуется: я рожден поэтом, живописцем, музыкантом, а из меня судьба сделала бухгалтера. Заметим мимоходом, что истинное призвание остановить трудно; оно прорвется сквозь все препятствия; много ли было великих людей, изобретателей, художников, которые бы родились на розах? всякому пришлось бороться и с людским равнодушием, и с занятиями, ему несвойственными, нередко в длинные ночи вытачивать самые грубые инструменты для своего изобретения... может быть, в этой борьбе и закалился их дух на великое делание. Обратимся к счетным книгам; неужели остается лишь тосковать при такой работе?— нет! это дело имеет разные значения: один видит за ним лишь жалованье, хлеб для жены и детей, получаемый за честную работу,— и это не дурно; другой, например, фабрикант, землевладелец — оценку своих удач или ошибок; третий — долг гражданский, возможность предотвратить расхищение казны, обличить воровство, подлоги и проч. т. п. Если человек способен присоединить какой-нибудь из этих смыслов к своему делу, то нет следа приходить в отчаяние; судьба человека в руках его.

---

[1] Описанному у Гофмана. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

Слова! слова! но под словами мысль, а всякая мысль есть сила—действует ли она на другую мысль, приводит ли в движение материальные силы. Неужель наука и искусство напрасно проходят по миру?

Вообразим себе, что в одну несчастную минуту собрались бы высшие и низшие деятели нашего времени и, убедившись в тщете жизни человеческой, т. е. в тщете науки и искусства, общим согласием положили: прекратить всякую ученую и художественную деятельность... Чем бы эта попытка кончилась? во-первых, стало бы на сем свете немножко скучнее, а во-вторых,—такой попытке никогда не удаться. И наука и искусство появились бы вновь, но в каком-либо искаженном виде, ибо нельзя убить стихию человеческого организма, столь же важную, как и все другие стихии, не истребив самого организма. Предположим невозможное: метафизики и схоластики добились до того, что всякая новая мысль, всякое ученое открытие, всякое художественное произведение преследуются как уголовное преступление; новые инквизиторы жгут Гуса, терзают Галилея, изгоняют Данта. Безусловный нигилизм торжествует. Что ж далее? Может быть, возвратятся свинцовые века, может быть, на время порвется нить, долженствовавшая связать будущего Гиппарха с будущим Ньютоном, Пифагора с Эйлером, Шекспира с Гете,—но ненадолго; живая электрическая сила соединит порванные концы—и закон природы возьмет свое. Мешайте росту растения—оно все-таки вырастет, хоть искривленное и больное; срежьте—пойдет от корня; вырвите с корнем,—появится другое возле и осеменит запустелую почву.

При берегах и на дне озера находят остатки жизни народов без имени; были люди, не знавшие металлов; за людьми эпохи камня—явились люди меди; за людьми меди—люди железа; столетия, может быть, тысячелетия протекли между этими эпохами. Но камнем выделалась медь, медью выделалось железо, железом изваяна, если, пожалуй, не Венера Милосская[1], то, по крайней мере,

---

[1] Чем были изваяны греческие статуи, еще кажется вопросом: в Помпее (63 г. по Р. Х.) русским ученым Савенко были найдены (около 1819 г.) хирургические инструменты, сделанные еще из какой-то крепкой меди или из бронзы. Так медленно шло человеческое *подвиженье* (прогресс). См. по сему предмету любопытные исследования Г. В. Струве о химическом анализе древних сплавов, в «Известиях Императорского Археолог. Общества» 1866 г., т. VI, вып. 7 и 8, в статье Лерха, с. 172—182. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

Ариадна Даннекера. Человеку, который проводил долгие дни, оттачивая камень камнем же, конечно, не могло придти в голову, что его работа—первый шаг для работы древнегреческого или штутгартского ваятеля, как равно для всего того, что мы теперь делаем из меди и железа. Человеку каменного века простительно было бы горевать о тщете человеческой деятельности и о прочих тому подобных унылых предметах; но мы, проследившие работу человека от каменной эпохи до нашей, мы, сознающие святую связь между наукою, искусством и жизнию, мы, могущие исчислить с достаточной вероятностию ту эпоху, для которой наша будет тем же, чем для нас теперь каменная,—имеем ли право предаваться унынию и взывать к бездействию?

Красота—есть ли дело условное? мне кажется, этот вопрос и существовать не может. Вопрос не в красоте того или другого произведения, а в чувстве красоты, в потребности красоты, а это чувство, эта потребность суть стихии, общие всем людям. Что нужды, что китаец любуется картиной без перспективы или последованием звуков, для нас непонятным,—дело в том, что он любуется, что он находит удовлетворение своей потребности изящного. Не за что обвинять китайца—у него одинаковое с нами право любоваться красотою по-своему; одним с нами законом руководится его чувство,—разница лишь в материальном представлении; его взглядом на искусство умалились ли его права на звание человека?

Не за что слишком досадовать и на червя, который съедает «драгоценнейшие строки Софокла»; того действия, которое производил Софокл на современников и которое отозвалось и на нас, червь не подточит!

Да и откуда, с какого потолка нам упала эта теория безусловной красоты—будто бы ныне исчезающей, будто бы когда-то существовавшей? когда же мы избавимся от Посидонов, Фебов и всех статистов языческого мира? эти формы были и прошли, их место должны занять другие, точно так же, как поколения замещаются одно другим, что нисколько не мешает человечеству существовать и шествовать в даль беспредельную. Искусство достигло ли той степени совершенства, за которою бы оставалась возможность лишь повторения одного и того же? Нет! и далеко нет! оно не достигло даже той степени силы, которой владеет материальная Природа. Отчего солнце есть красота для всех? отчего им возбуждается в нас то поэтическое настроение, которое можно назвать пищей души? обаянию солнца предается равно и химик, разлагающий солнечную атмосферу, и живописец, наблюдающий

за переливами теней и за нежданными бликами, и ребенок, выбежавший на луг. А звездная ночь? она наводит думу и на душу простолюдина, для которого звезды — лишь светлые точки на синеве неба, и на душу астронома, измеряющего их плотность, вес и движение.— Отчего искусство не умеет еще говорить тем общим для всех языком, которым говорят: солнце, звезды и другие явления Природы? отчего Рафаэль, Бах, Гомер, Дант — понятны лишь немногим? — Сколько веков работы еще нужно для того, чтобы искусство заговорило языком для всех доступным? — мы видим, как медленно развивается в толпе не только сознание, но даже наслаждение искусством. Толпе еще нужен не Рафаэль, а размалеванная картинка, не Бах, не Бетховен, а Верди или Варламов, не Дант,— а ходячая пошлость. Но одна ли толпа в том виновата? нет ли в самом искусстве чего-то неполного, недосказанного? не требует ли оно новой, нам даже еще непонятной разработки?

Истощился ли уже источник поэзии, хранящийся в недрах христианского мира? нет! мы еще не нашли ни словесной, ни архитектурной, ни музыкальной формы, которая бы соответствовала этому, все еще *новому* миру; везде у нас еще проглядывает язычество.

Наукой раздвинулась область фантазии, и материал поэзии приумножился таким богатством, какое не могло и войти в голову Юпитера, хотя бы в ней сидела Минерва. Как бледны и ничтожны все декорации Фебовой колесницы с ее Аврорами, Гóрами, Фаэтонами хоть, например, пред страницей Гумбольдта, где говорится о солнечных системах, несущихся в пространстве как пыль, гонимая ветром! Что значит движение бровей Зевеса пред Гершелем, когда он, по его собственному живописному выражению, *вычерпывал* звездные пространства и достигал до звезд, от которых самый свет, на земле не подчиняющийся времени, доходит до нас в течение столетий, тысячелетий, так, что звезда погасла тому уже сто, тысяча лет, а мы еще ее видим. Всякая языческая фантазия (имеющая, не спорю, историческое значение) не бледнеет ли пред этой, поистине поэтической действительностью? Кто же виноват, если поэты не добывают своих сокровищ из новых рудников, не возводят сих сокровищ в художественное создание!.. мы не видим еще и приступа к этой новой художественной деятельности. Следовательно — нечего пока печалиться о Гомерах и Софоклах. Поэзия еще впереди — и в ее мире нет для нас права на отдых и успокоение... недовольно! недовольно!

Еще раз — не погибает ничто, ни в деле науки, ни в деле искусства; проходят, сокрушаются временем их вещественные проявления, но дух их живет и множится. Правда, не без борьбы достается ему эта жизнь, но самая эта борьба, записанная историею, есть для нас назидание и ободрение на дальнейшее подвиженье.— Наука выросла в борьбе, и даже посредством борьбы. Разветвление идей — как разветвление растений. Возле здоровых листьев есть как будто больные; возле цветка лилии есть прицвётник,— пожелтевший сверток, который бы хотелось сорвать и бросить; пред появлением плода вянут красивые лепестки,— но эти, по-видимому, ненужные придатки, эти будто бы уклонения Природы суть охрана развития...

Мы с трудом можем вообразить себе Галилея, окруженного птоломеистами, которые не верят глазам своим, смотря на спутников Юпитера; на осязательное наблюдение Галилея они отвечают: не может быть более семи планет по той существенной причине, что в теле человеческом только семь отверстий: два уха, два глаза, две ноздри и один рот — итого семь. Мы пугаемся этой нелепости,— нам кажется, что в такой бессмысленной атмосфере наука должна была задохнуться; но не подобные ли нелепости заставили Галилея ближе разобрать дело, поверить самого себя, добыть новые данные для доказательства проповеданной им истины,— не говоря уже о самом Птоломее и его невольных заблуждениях, без которых, однако, может быть, не было бы ни Галилея, ни Кеплера, ни Ньютона, ни Гумбольдта,— или, в ущерб общему просвещению, они пришли бы гораздо позже.

Я не буду вспоминать о борьбе, которую должны были вынести Дженнер, Уатс, Фультон и другие великие подвижники человечества,— не буду вспоминать о том, что систему Линнея, как ныне Дарвина, обвиняли... в безнравственности! вся эта история слишком известна. Я бы желал указать на борьбу, которая, по самому своему предмету, доныне еще мало доступна большинству читающей публики, доселе представляет для науки много вопросов, и, между тем, имела решительное влияние на нечто к каждому из нас весьма близкое,— на здоровье. Появилось в мире открытие, с которым пал авторитет древних: наука осмелилась обратиться к положительным, собственным наблюдениям. Здесь первая страница новой физиологии. Я говорю об обращении крови, о великом по сему предмету труде Гарвея, давшем новый, неожиданный толчок анатомии XVII века, толчок, продолжающийся и

поныне. В медицине царствовала тогда относительно крови теория Галена, основанная на неверно сделанном опыте знаменитого пергамского врача,— чего до Гарвея никто не осмеливался и подозревать, не только высказать, на основании того, что «magister dixit»[1]. Гарвею приходилось бороться с идеальною анатомиею, с заветным учением о естественных, жизненных и животных духах, игравшим столь важную роль во всех тогдашних ученых объяснениях[2], и на Гарвея восстали не только знаменитейшие, но и ученейшие врачи того времени[3]. Нельзя и теперь равнодушно читать историю этой ожесточенной борьбы из-за такого, ныне простого и ясного, органического явления. В подобных борьбах — история всякой науки, всякого открытия, всякого смелого исследования. Начинается с отрицания,— за ним идут насмешки, когда не преследование, а потом: «на что это нужно? можно и без того обойтиться!» — Венки, пьедесталы и статуи прибрегаются лишь для могилы.

Мы указали на пример Гарвея не без умысла; эта история во многих отношениях и назидательна, и отрадна, несмотря на ее грустную обстановку. По ожесточенным нападкам на Гарвея можно бы подумать, что он провозгласил нечто нежданное, неслыханное; но Гарвею принадлежит лишь честь введения этого предмета в науку,

---

[1] Учитель сказал *(лат.)*.

[2] Даже Малебранш (1660—1715) объяснял действие вина тем, что оно состоит из ду́хов, весьма своевольных, тонких и беспокойных. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

[3] История между 1598 и 1657 г. сохранила имена противников Гарвея: Примирозия, Паризания, Племпия, Фоллия, имена ныне забытые, но тогда гремевшие. Мольер в «Malade imaginaire» («Мнимом больном») в лице Диафориуса воспроизводит тип противников Гарвея, но в числе их был и Гассенди, ум светлый, которого исследования и доныне уважаются в науке. Правда, Гарвей нашел себе защитника в Декарте (по-тогдашнему Картезий), но и Декарту досталось от Примирозия, отзывавшегося о великом философе-математике с величайшим презрением. Борьба длилась более 40 лет (с 1619), т. е. до тех пор, пока Малпиги (в 1661) и впоследствии Левенгок не навели микроскоп на лягушечьи жилы и этим осязательным опытом не поддержали теорию Гарвея. Гарвей восторжествовал,— это правда, но каково было Гарвею, когда, с одной стороны, в числе его защитников появились Розенкрейцеры, на основании его теории принялись за переливание крови из животных в людей и уморили несколько человек,— а с другой Примирозий, в порыве бессильного ожесточения, отвечал Гарвею почти так, как говорят теперь Митрофанушки сего мира, когда речь зайдет о свободном труде, о земстве или о гласности и независимости суда: «старики,— говорил Примирозий,— лечили болезни, нисколько не заботясь об обращении крови, на что ж нам это новое учение? и без него можно обойтиться». Я здесь избегаю подробностей; любопытные найдут их в IV томе Шпренгелевой истории медицины, парижского издания 1815 г., с. 85—175. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

честь — приложения к нему рук; обращение крови было замечено прежде Гарвея: это наблюдение встречается, например, в богословской книге Михаила Серве 1553[1], сожженного Кальвином по обычаю старого доброго времени сжигать автора вместе с его книгами — так, чтобы от человека ничего не осталось;[2] но еще в 1300 годах это наблюдение довольно ясно выражено в неконченной поэме «Acerba» сочинения Чекко д'Асколи, который заметил уже соединение артерий с венами и различие их функций; Чекко также был сожжен (в 1327 г. во Флоренции) как маг и астролог[3]. Два раза как будто замирало великое открытие, но в самом деле не замирало, а только зрело в плодоносной почве науки.— Костры действовали покрупнее бедного червя, питающегося древними рукописями; но что же вышло на поверку? — Когда библиограф Пеньо в 1806 году издал словарь сожженных книг[4], Римская канцелярия (конгрегация) воспользовалась этим ученым трудом для пополнения — списка книг, которых чтение под анафемою запрещается латинствующим[5]. В этом курьезном списке красуется и имя Серве, вместе с именами Декарта, Малебранша, Паскаля, Монтескье, Локка, Канта, не говоря уже о новейших (Альфиери, «Notre-

---

1 Шпренгель — т. IV, с. 34.

2 Заглавие этой книги: «Christianismi restitutio». Флуран (Hist⟨oire⟩ de la decouv⟨erte⟩ de la circulat⟨ion⟩ du sang. Paris, 1857, p. 154) имел в руках обожженный экземпляр, хранящийся в Парижской публ. библиотеке, вероятно, вырванный из костра кем-либо из последователей бедного Серве. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

3 С. А. Соболевский сообщил мне драгоценный экземпляр этой поэмы венецейского издания in 4°, 1510, того самого, на которое Либри (Hist. d. mathem., 1838, t. II, p. 195, note 2) указывает как на лучшее; здесь находятся на с. 94 (Libro quarto) следующие стихи (мы сохранили правописание подлинника):

Dal cerebro procedano gli nervi
Nasce dal cuore ciascuna artaria
....
El l'artaria sempre dove vena
Artaria in se adopia ogni via
Per l'una al cuore lo sangue se mena
Per l'altra vacio lo spirito o cuore
....
El sangue pianse move con quiete.

Т. е. (приблизительно) «От мозга идут нервы; от сердца — каждая артерия; артерия всегда там, где вена (соединяются); артерия совокупляет оба пути (?); через один кровь идет к сердцу, через другой... (?) И кровь движется тихо и спокойно». Настоящее имя Чекко — Стабили. *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

4 Dictionnaire des principaux livres, condamnés au feu etc., par Peignot. Paris, 1806, 2 vol. in 8°.

5 Index librorum prohibitorum Gregorii XVI Pont. max. jussu editus. Romae, 1841; Monteregali, 1852, in 12°, p. 13.

Dame» Виктора Гюго, даже исторический словарь Булье); ожидали ль основатели этого списка, что он, в свою очередь, сделается ныне весьма полезным пособием для всякого изучающего историю преступлений латинства?..

Наука как бы не замечает этих мимоходящих явлений, а разве усиливается от этих самых препятствий. Спокойным, ровным, но непрестанным шагом идет она по земле, рассыпая свои милости направо и налево. Зиждительница градов и весей, она поднимается и в чертоги, не обходит и утлой хижины, ни кельи ученого труженика, ни судейской камеры. Всюду она охраняет, живит и укрепляет. И таково свойство ее благодеяний, что они не быстро проходят, как многое в подлунном мире; каждый шаг науки есть новый, деятельный центр, новое солнце, от которого и свет, и тепло, и радуга...

Исчисление все более и более разрастающихся успехов науки обыкновенно прерывается вопросом... так сказать, домашним: а стали ли мы от того счастливее? на этот стародавний вопрос осмелюсь отвечать решительным «да!» с условием: слову *счастье* не придавать фантастического смысла, а видеть в нем, что есть в самом деле, т. е. отсутствие или, по крайней мере, уменьшение страданий. Наука вернее Гомера дает всякому, сколько кто может взять; она не виновата, если большинство людей совсем не доросло или должно подыматься на цыпочки, чтобы достать рукою ее рог изобилия. Но наука, добрая мать, сыплет свои сокровища и на тех, которые еще и не подозревают, что она есть сила сил, а легкомысленно и неблагодарно пользуются ее сокровищами.— Было время, когда ученики Гиппократа и сам Гиппократ бились тщетно с трехдневною лихорадкой и приискивали против нее сотни различных средств, как ныне мы приискиваем их против холеры. Для того, чтобы хина могла придти в Европу — Христофору Колумбу надобно было открыть Америку; математические выкладки Евклидов — построили его корабль и направили путь его. Для того чтобы открыть хинин, химия должна была дойти до открытия алкалоидов. И то же встретим — к какому из ежедневных, даже самых мелочных предметов мы ни прикоснемся. Не счастливее ли мы тех, которые рыдали над друзьями, умиравшими, по-видимому, от ничтожной болезни, и в глазах врачей видели лишь недоумение? разве не возвысилась средняя жизнь в Европе, т. е. не бо́льшее ли число лет мы можем и прожить сами, и видеть живыми дорогих нашему сердцу? разве не счастьем считать возможность в несколько минут перемолвиться с друзьями, с родными, отдаленными от нас огромным пространством?

сколько семейных тревог, сколько душевных терзаний успокоилось мгновенным словом электричества? роскошь быстрого движения, под защитой от бурь и непогоды, удобство изустного сближения между людьми, возможность без больших издержек присутствовать при великих исследованиях, выводах, торжествах науки, наслаждаться далекими от нас произведениями искусства или Природы — не сделалась ли ныне доступнее бо́льшему числу людей? — Но где же в нескольких строках исчислить все добро, разлитое наукою почти во всех пределах земного шара! Дело в том, что с каждым открытием науки одним из страданий человеческих делается меньше — это, кажется, не подвержено сомнению...

Я слышу возражение: а война, говорят мне, а способы истребления людей — добытые у науки же, разве не увеличили массы страданий другого рода, но все-таки страданий?.. возражение сильно,— но однако можно ли обвинять науку? можно ли обвинять огонь за то,— что он хотя и греет и освещает, но с тем вместе и производит пожары? Можно ли обвинять и солнце и оптика, если полоумный наведет зажигательное стекло на стог сена, и стог загорится? — Кто виноват, если данные, выработанные наукою, до сих пор лишь в весьма малой степени входят в государственное, общественное и семейное дело? Мы смеемся над китайцами, мы с ужасом указываем, что они предали смерти европейских пленников. Китайцы спроста или с умысла отвечали: «по нашим, как и по вашим законам, смертоубийство есть преступление, подлежащее уголовной казни. Но вы, европейцы — нелепы, вы наказываете смертоубийцу одинокого,— вы чествуете его, когда он наберет тысячу людей для произведения ряда смертоубийств. Мы не впадаем в такую нелепость».— Можно многое возразить против этой Конфудзиевой диалектики,— хоть, например, праведность и неизбежность обороны от нападающего; но что мы ответим тому, который сказал: любите враги ваша, добро творите ненавидящим вас? — наши общественные науки не только далеко отстали от естественных, но, сказать по правде, находятся еще в младенческом состоянии. Еще ныне невольно думается, что века пройдут до тех пор, когда мы, наконец, выразумеем и сознаем вполне это неземное внушение, и бессильны мы даже вообразить себе семейное, а тем более государственное устройство, где бы это высокое начало могло быть применимо во всем своем пространстве!..

В науке ли причина войны? наука ли подготовляет ее? нет! наука говорит другое: она нещадно колеблет шеде-

стал военных подвигов; она доказывает цифрами, что все многосложные причины переселений, войн, набегов, грабежей, вообще насильственного движения народов, как равно и внутренних переворотов, сводятся к одной, основной и весьма прозаической: к истощению почвы, к потребности приискивать другую, более плодородную,— словом к потребности себя пропитывать. Либих замечает, что если бы человек мог питаться лишь водою и воздухом, тогда бы не существовало ни насилий, ни неустройств, ни поводов к бесправию, ни рабства или возделывания одного человека другим;—но человек зависит от почвы; при первом к ней приступе он глух к словам науки; он рассчитывает на вечную плодородность, не дает себе труда исчислить ее питательных сил, беззаботно расходует их, не возвращая отнятого, в нелепом уповании, что его клочок земли неисчерпаем, что земля сама должна восстановить то, что у ней отнято, что, словом, печка сама должна доставать для себя дрова,—и настает минута, когда почва начинает оскудевать; скоро того, чем прокармливались десять человек, едва достает на одного; более сильный или более хитрый, он заставляет остальных девятерых работать на себя—и зарождается патрициат,—явление, над которым так долго ломали себе голову метафизики. Плодородный Лациум был покорен голодными римлянами. Слава Помпея куплена истреблением морских разбойников, которые мешали подвозу хлеба; Юлий Кесарь водил полки в Испанию, в Египет, чтобы на чужое награбленное добро продовольствовать римлян хлебом,—в том была вся основа его величия и могущества; папский Рим для той же цели извратил человеческую совесть продажею индульгенций; но ничто не спасло его; невежественный, преступный, в надежде на свою чудодейную силу, он окружил Рим бесплодными пустынями—их не утучнили ни потоки крови, ни зола костров, и Рим сделался плодороден лишь на иезуитов и на разбойников.

В одном отношении Мальтус был прав, говоря, что если бы не войны, не моровые поветрия и проч. т. п., то люди бы заели друг друга. Но положительная наука оправдала провидение против Мальтусова кощунства, и слово, ею выговоренное, не пройдет напрасно. Будет время, и оно не далеко, когда силы ума и тела не будут тратиться на взаимноистребление, но на взаимносохранение; данные, выработанные наукою, проникнут во все слои общества,—и вопрос о продовольствии действительно уподобится вопросу о пользовании водою и воздухом.

Конечно, теперь такого рода успех кажется несбыточною мечтою. Но в XVII веке (1663 г.) англичанин Вустер (marquis Worcester)[1] напечатал сотню задач (в числе их и о паровой машине), которых разрешение он считал необходимым для блага человечества; тогда смеялись над этими задачами — они казались вне всякой возможности; по справке в недавнее время оказалось, что бо́льшую часть этих задач уже разрешила наука,— так, между прочим. Если бы теперь сделать подобное собрание неразрешимых задач, то нет сомнения, что потомки наши стали бы удивляться: что тут находили мы трудного, даже невозможного?

Скажу на ушко читателю: многие из самых недоступных задач в государственном вообще, в финансовом и семейном быте близки к своему разрешению. Это разрешение зависит от неизвестного человечка, который где-то, на чердаке, в Европе или Америке, а может быть и в Азии, дотачивает последний гвоздь, нужный ему для снаряда, которым очень легко будет управляться нечто в роде аэростата. Когда этот последний гвоздь будет прилажен,— многое множество вопросов: о войне, о финансах, о торговле, об урожаях и неурожаях — и по другим житейским задачам получат такое благополучное разрешение, которого мы теперь и вообразить себе не можем.

Но опричь этого гвоздя есть много и других недоконченных гвоздиков, которыми следует заняться... следственно, опять та же песня: недовольно! недовольно! <...>

XVIII

<...>Есть на Западе город-памятник,— памятник насилия, грабежа, гнета, всех родов человеческого самоуправства и уничтожения; в древности там ковались цепи на целый мир; но времена переменились; занесло песком следы рабской крови, пролитой на потеху патрициев; на этом песке устроилось новоязыческое капище: здесь иезуитизм открыл свою торговлю; его товар — человеческая совесть; здесь он покупает, продает и променивает веру, правду, свободу совести, словом, все, что есть на земле святого;

[1] Его книга «Century of inventions» — библиографическая редкость. Но недавно, 1865 г., вышла весьма любопытная по этому предмету книга: «The life, times and scientific labours of Marcuis of Worcester by Henry Dirks». Во второй части перепечатана самая «Century of inventions». *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*

здесь дистиллируются тонкие, для всего мира, яды; смрадный туман подымается от треножника преступной лаборатории; в этой душной среде бродят позорные тени; здесь изуверы призывают благословение божие на отравленные кинжалы; здесь иезуиты с шляхтою обмениваются поцелуями; полумертвый командир латинства, в бессильной злобе на нас, вместе с женолюбивым кардиналом канонизирует изверга Кунцевича; из-под кардинальской рясы сыплются мириады лжей, сплетен, иезуитов, иезуиток и стараются облепить славянское племя, разорвать его связи и задушить его.

И в Россию проникает тлетворный туман и... находит Иванушек, Репетиловых, княжен Зизи, Мими...

Неужли на все это мы должны смотреть сложа руки, уныло повторяя: довольно! неужели должна замолкнуть наша сатира, которая испокон века не переставала на Руси выговаривать свое крепкое и умное слово.

Но интриги запада нам не страшны: нам не впервой отправлять к нему свинцовый ответ, который всегда оказывался весьма удовлетворительным. <...>

Но солнце не без пятен и в семье не без урода... Вокруг великого дела, свершающегося в России, стоят Митрофанушки, Простаковы, Скотинины; с досадным изумлением смотрят они на тружеников и думают думу крепкую... Было бы ошибочно предполагать, что Простаковы и Скотинины вымерли и духа их не стало — они все живехоньки, только умылись и принарядились... Митрофанушка съездил в Париж, воротился в пиджаке и гневается на мировых, что заставляют его платить долги портному; Простакова по-прежнему «мастерица толковать законы», зато она в кринолине и с великолепным шиньоном; Скотинин натянул макинтош и жестоко обижается внесением своего имени в список присяжных; Вральман развивает, по Гегелю, теорию олигархического нигилизма, — но они все те же; те же в них полубарские затеи, и те же рассуждения и поползновения; они все ждут, поджидают — (а в сторонке и Правдин) ждут... нового Фонвизина; ждут того, кто мимоходом, на завтраке у предводителя, но так верно подметил разные виды нашего феодального безобразия... Какое безграничное поле для комика! — неужели он скажет: довольно!

Не беда, что мы стареемся... и в последние минуты мы не скажем России, как гладиаторы римскому кесарю: «умирая, мы с тобою раскланиваемся»;[1] но припомним

[1] Morituri te salutant.

хоть нашего славного армейского капитана Никитина[1], как он, замученный повстанцами, издыхая в предсмертных муках, собрал последние силы и смело, пророчески погрозил ослабевшей рукою мятежной шляхте.— Будущее впереди, а между тем, с божиею помощью, даже стоя одною ногою в могиле,— хоть бы нам погрозиться на внешних и внутренних врагов России... авось вразумятся! — Go a head! never mind, help your self! что по-русски переводится: «брось прохладушки, неделанного дела много».

31 декабря 1866 г.

---

[1] Какой превосходный предмет для наших живописцев. Когда же покинут они и Харонов и Меркуриев — или перестанут выбирать самые грязные черты из нашего быта? Сколько высокохудожественных задач в разных сценах после 19 февраля 1861! Кто не знает совсем готовую «картинку» Майкова, начинающуюся словами:

Посмотри: в избе мерцая,
Светит огонек;
Возле девочки-малютки
Собрался кружок;
И с трудом, от слова к слову,
Пальчиком водя,
По печатному читает
Мужичкам дитя.

Сколько материалов в разных эпизодах шляхетского мятежа, в фигурах повстанцев, фанатических шляхтенок, коварных ксендзов, иезуитов, добродушных мужичков... Наконец, почти из вчерашних событий — совещание в Ватикане о канонизации Кунцевича, столь полное комизма; в ином роде — битвы критян, аркадийский монастырь, русские матросы с малютками греками и набор турками ложных депутатов от Крита; отправка турецкого корабля, будто бы для спасения критских семейств; наши сородичи галичане в когтях иезуитов... Неужели все эти разнообразные сцены, доступные и трагической и комической кисти, будут обойдены нашими живописцами — или мы предоставим западным живописцам изображение мнимого геройства шляхтичей и небывалого зверства русских? Было бы стыдно! *(Примеч. В. Ф. Одоевского.)*



ПЕРЕХВАЧЕННЫЕ ПИСЬМА

I

Дома новы, но предрассудки стары.
Порадуйтесь, не истребят
Ни годы их, ни моды, ни пожары.

Грибоедов. «Горе от ума»
(Дейст. 2. Явл. 5.).

Павел Афанасьевич Фамусов к княгине Марье Алексевне, в Петербург. Москва 12 марта 1868 г.

Долгом считаю донести вашему сиятельству, что у нас в Москве все пока обстоит благополучно, и особенно нового пока еще ничего нет. Правда, не переводятся у нас, как всегда, выскочки, которые думают, что они умнее всех

И даже князь Петра.

И несут они разные завиральные идеи, но их не слушают и все идет по-прежнему; новых выдумок не допускаем,—довольно и допущенных. Тяжело нам, матушка княгиня, нечего сказать, приходится стоять за старину.

Смотришь, так и прошмыгнет то железная дорога, то гласный суд, то телеграф, а газеты-то, газеты! Ни на что не похоже, так все и тянут на новый лад, да и вздора, вздора-то в них! Онамедни печатают обо мне, по случаю продажи одного из моих домов,—что же? Вместо Павла

Афанасьевича назвали меня Павлом Агафоновичем; спрашивается: чего же смотрит цензура? Да что! Говорят, что на газеты и цензуры вовсе нет. Вот мы и с праздником; пиши всякий, кто хочет и что хочет во всеуслышанье.

Я доложу вашему сиятельству, с чего это все началось. Были у нас в старину у застав *шлахбаумы,* и для охранения города, и для благоприличия; тогда уже по шлахбауму знаешь, что въезжаешь в город: у заставы поперек бревно; остановишься — подходят; все это так прилично; спрашивают: как ваш чин и ваша фамилия? Записывают и на другой день печатают в газетах: приехал-де в Москву Павел Афанасьевич Фамусов; тем и газеты были занимательны, не чета нынешним; словом, уважение было.

А ныне я въехал в город, мужик въехал — все равно; а о железных дорогах уж и не говорю — просто стыд и срам, т. е. что называется — никакого почета. Кто бы ни был, я ли, мужик ли опоздал, нисколько решпекта не сделают, не подождут ни минуты. Ну на что ж это похоже?

Как теперь помню, тому лет двадцать, заговорили, что хотят шлахбаумы снять; они-де ни на что не нужны; я так руками и всплеснул! Как! Уж и шлахбаумы не нужны! «Помяните мое слово,— я говорил,— быть худу! Сперва шлахбаумы у застав снимут, а там и другие шлахбаумы почнут снимать».

Так и вышло по-моему — недаром чуяло мое сердце. Да и что проку-то? Бывало, никогда по газетам не было слышно ни о воровстве, ни о грабеже; если и бывали какие шалости, так до нас, по крайней мере, не доходили — то было дело полицейских. А сняли шлахбаумы да пустили газеты, так то и дело: того обокрали, того ограбили. Отчего прежде этого не бывало?

Я всегда был охотник читать газеты; на тогдашние «Московские ведомости», не на нынешние, я всегда подписывался; перестал только тогда, как они из тетрадки, к которой мы все привыкли, неизвестно на какой прок вытянулись чуть-чуть не в простыню.— Просил я тогда честью, чтоб для меня печатали нумера особо, в прежнюю величину, обещал лишнее за то приплатить — так нет, не сделали уважения, «Так,— отвечали,— для всех заодно печатают». То-то и грустно, что *для всех заодно;* как будто *для нас* нельзя и исключения сделать!

Племянники получают нынешние-то ведомости, читают

мне иногда на сон грядущий, а лучше бы не читали. Посмотришь, напечатано крупными буквами: «Суд». Там и сенаторы, сановники и другие важные особы, и тот докладывает, и тот защищает; об чем же суд? И слушать-то больно! Мужик у мужика корову украл; вот и почнут разбирать и печатать, точно ли он корову украл, да не его ли была эта корова, да не оболгали ли его — читать смешно. Что тут за разбор между мужиками? Посудите сами. Я полагаю, что это даже и неблагоприлично и не политично.

Этого мало: бывало, денег не случится или лень из комода доставать,— пришел подрядчик, кланяется в землю, просит денег; бывало, скажешь ему: «Убирайся, пока цел,— не до тебя теперь, а будешь еще ходить и ничего не получишь; я ведь не такой-сякой, с меня взятки гладки».— Поохает мужик, да с тем и прочь пойдет, пока сам над ним не смилуешься.

А нынче! Посмотрите-ка: у мужика и речь уж не та: «А если,— говорит,— не платите, так я в суд пойду». В стары годы за такую наглость его бы с крыльца столкнуть,— а нынче нет, как можно! Пальцем не тронь.

Что же выходит? По словам какого-нибудь мужика, за какие-нибудь двадцать пять рублей с гривной меня, Павла Афанасьевича Фамусова, чуть не первого человека в городе, потащат в суд, с подрядчиком на одну доску поставят, да и никакой аттенции; заставят прежде ждать очереди *за решеткой* вместе с другими прочими. Меня, Павла Афанасьевича Фамусова, *посадят,* и подрядчика тоже *посадят.* Мне говорят «вы», и подрядчику говорят «вы». И его заставят встать перед судом, и меня заставят встать, и меня спрашивают, и подрядчика спрашивают. Просишь с судьею на дому объясниться — куда! «Извольте,— скажет,— здесь говорить, что вам нужно...» А там какой-то исполнительный лист, изволь расплачиваться...

Т. е. скажу вашему сиятельству, из рук вон; случись что-нибудь и с вашей особой, и вас на суд потащат. Грустно, матушка княгиня Марья Алексевна,— все такое странное, ненатуральное; так грустно, что и сказать нельзя. Одна надежда, что за ум возьмутся, все это отменится, и опять будет все по-прежнему.

Читаете ли, ваше сиятельство, газетку, которая называется «Весть»? Вот там это все растолковано очень благоразумно; по пальцам разочтено, как судья должен прежде всего и больше всего смотреть, кто из просителей должен перед судом стоять, а кто сидеть, кому

говорить «вы», кому «ты», что хоть по такой-то статье нынче все просители и равны пред судом, но на деле-то не должны быть равны, и что есть разница между Павлом Афанасьевичем Фамусовым и каким-нибудь подрядчиком.

Преразумная газетка, только над нею душеньку и отводишь. Нашел я в ней золотое словцо, которое даже велел Петрушке в календарь на память записать:

«Полагаем, что реформа 19 февраля была, в сущности, таким *налогом*, какого еще не несло никогда ни одно сословие».

«Крестьянину было бы гораздо выгоднее сохранить только усадьбу с огородом и конопляником, который при занятии жены и детей дает 10 р. дохода, а самому *бросить пашню* и идти на заработки» [1].

Кстати о мужиках. Что это такое делается, ума не приложишь! Крепостных уничтожили, этого мало! Давай их образовывать! Мужикам позволяют школы разводить! Для мужиков книжки издают! Да что ж из этого выйдет? Погодя немного они, пожалуй, подумают, что они ученее нас, а и без того уж от грамотных да от ученых житья нет. Я давно говорил:

Ученье — вот чума! Ученость — вот причина,
Что нынче пуще чем когда
Безумных развелось людей, и дел, и мнений...

Да и давал я такой совет:

...уж коли зло пресечь,
Забрать все книги бы да сжечь.

И Кузьма Петрович, и князь Петр Ильич со мною были согласны.

Да слова наши на ветер пошли. *Нынче нас не слушают* — вот что обидно.

Посмотрите-ка, о чем толкуют: выдумали какое-то слово: *народность*. Что оно такое значит — и не поймешь; по-нашему, по-старинному известно, что такое называется народом: мужичье, — больше ничего. Вот об нем-то и вся забота. Необходим-де, говорят, народный, т. е. мужицкий театр! Да кто же из порядочных людей туда поедет? да и на что мужику театр? Было бы ему заведение под елкою, да пожалуй паяцы, да качели, на масленице — с него и

---

[1] «Весть», 1867 г., янв. 4, № 2 и 26 июня, № 72. (*Примеч. В. Ф. Одоевского.*)

будет; да он ничего другого и не желает. Но видите, здесь какой умысел; это, говорят, ему не токма что в забаву, а чтобы возвысить его, *облагородить* — вон оно куда пошло! чтобы он и грамоту разумел, и были бы у него *благородные* утехи — так все на это и бьют... Видимо, хотят мужиков *облагородить*, а нас-то что же, в отставку что ли? Ничего не понимаю.

Однако, при случае, мы также за себя постоим; вот позвольте, ваше сиятельство, потешить вас курьезом. На днях объявляют концерт, и что будет на нем играться народная, т. е. мужицкая опера, Рогнеда там какая-то, о которой никто из нас и не слыхивал; — да еще объявляют, что будут петь о *широкой масленице*, да наигрывать гопака. И статейку об этом изложили, что-де сочинитель музыки такой-сякой, — и настоящий-то русский, и отечественный, и так сказать, в некотором смысле, слава наших дней, что тут какое-то событие и много, много такого, чего бы, кажется, и о Кузьме Петровиче нельзя было написать. Подписал какой-то Тихоныч, должно быть, из вольноотпущенных.

Читают мне эту статейку после обеда; я со смеху помираю, вы изволите знать, что я музыку совсем не люблю, а тут еще какая-то *отечественная, народная;* по-моему, музыка так себе, пустошь, никакого сюжета нет. Вот другое дело, наезжают к нам Фальшолини, Каркалини, Мяулини, — тогда знаешь наверное, что приедут в театр и Кузьма Петрович, и князь Петр Ильич, и Сергей Сергеич, и Амфиса Ниловна, тогда как не ехать! Все своя благородная компания, да и устроено это бывает иначе. Вот на днях Амфиса Ниловна заявила нам, что у ней будет музыкальный вечер для какого-то ее *протеже*, что она хочет покровительствовать искусству, и чтобы мы брали билеты. Для Амфисы Ниловны мы не прочь; берем билеты, приезжаем, смотрим; смазливый такой иностранец играет, не знаю право на чем, кажется на *мышеловке*, — да нам что нужды! Для нас столы расставлены, карты разложены, а вот и прекрасно! засели, болтаем, не церемонясь; музыка-то там гудит, гудит... а мы картами хлоп да хлоп. Скажу вашему сиятельству, чудеснейший вечер провели, давно так весело не было; должно честь отдать Амфисе Ниловне: мастерица распоряжаться.

Но я отбился от материи. Вот извольте видеть, читают мне эту задорную статейку, — и все эдак об отечественном, об высоком... у меня, признаюсь, на уме и один и два. Что, думаю, не следует ли ехать? Ведь нынче — кто их разберет — может, оно так и требуется; а вдруг увидят,

все приехали, а меня-то и нет; пожалуй, заметят; нехорошо — повредить может. Я за советом к Кузьме Петровичу; вот говорю так и так, шумят больно, да и слова-то такие страшные: и отечественное, и родное, и высокое, и нужно нам себя перед другими краями заявить! Не следует ли нам показать, что вот-де мы одни всякое отечественное поддерживаем?

А Кузьма Петрович понахмурился, взял щепотку табаку, да и говорит таково толково: «а зачем нам мужицкую музыку поддерживать? ведь приказа нет,— так что ж нам соваться? пусть и идут те, для кого это написано,— наше дело сторона, да, кажется, и не благоприлично нам ехать масленичные песни да гопаки слушать. Уж были об этом толки: никто не поедет, ни Амфиса Ниловна, ни князь Петр Ильич, ни Сергей Сергеич, ни Хрюмины, ни Тугоуховские».

Так мы на слове и положили, и вышла умора. Сочинитель-то, говорят, всего больше рассчитывал на наши аристократические ложи; вот тут, думал он, и соберется что ни самый клёк. Не тут-то было! две трети, говорят, бельэтажа были пустехоньки. Знай наших! поддержали свое достоинство. Вперед наука! Не зазывай нас мужицкой музыкой, а уж коли хочешь нашего содействия, так подавай нам приличное нашему званию. Много мы потешились над этой проделкой.

Одно нехорошо: что было народа в театре, то указывало на ложи, да на смех нас поднимало. А сочинителю-то и хлопанье, и вызовы, и венки, словно на именинном обеде у Кузьмы Петровича. Вот и извольте рассудить, ваше сиятельство, до какой степени развратилась нравственность публики! Приходят, видят, что нет ни Кузьмы Петровича, ни меня, ни Амфисы Ниловны, ни князя Петра Ильича, могли бы в толк взять, что если нас нет, так, стало быть, нечего и восхищаться;— так нет этого рассуждения; кажется, что, напротив, назло нам, еще сильнее восторгались, верно хотели нам указание сделать, да не на тех напали, никогда не уроним себя.

То одно огорчительно, матушка Марья Алексевна, что все это описывают да печатают; невежество, говорят, дикость, одно чванство пустое, дребедень, а один-то из выскочек не побоялся вот что припечатать: мужик, говорит, все мужик, пешком ли ходит, в карете ли ездит; тут надобно, говорит, другое, такое, сякое, возвышенное. Ну как это позволяют печатать? Да что говорить! Хоть бы писал какой-нибудь Тихоныч, а то из нашей же братьи туда же тянут.

А пора бы всему этому положить конец. Вот вы, матушка, ваше сиятельство, живете вы в Петербурге, видаете важных людей. Что бы им замолвить обо всем этом словечко, учинили бы какое-либо мероприятие! Тем более, что дело выходит наоборот здравому смыслу. Всех бы этих писак взять, да в кутузку, да тем и покончить.

Прекратя все сие, честь имею именоваться вашего сиятельства нижайшим слугою

Павел Фамусов.



КОММЕНТАРИИ



В настоящий двухтомник включены произведения В. Ф. Одоевского, вошедшие в его Собрание сочинений (СПб., 1844, ч. I—III), а также опубликованные при жизни автора в журналах, газетах и альманахах и с тех пор не переиздававшиеся. При этом учитывалась рукописная правка, сделанная автором в начале 1860-х годов при подготовке Собрания сочинений к переизданию [1]. Этот проект нового издания не был осуществлен, и экземпляр Собрания сочинений 1844 года с позднейшими рукописными исправлениями и вставками В. Ф. Одоевского хранится в Отделе рукописей Государственной публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. Там же находятся беловые автографы и оттиски отдельных повестей с позднейшей правкой, также предназначавшиеся для включения во второе издание Собрания сочинений Одоевского. Эти материалы являются источником текста для большей части публикуемых в настоящем издании произведений В. Ф. Одоевского.

В двухтомнике использованы и научные публикации текстов произведений Одоевского, появившиеся в послеоктябрьское время.

В Собрании сочинений 1844 года В. Ф. Одоевский расположил свои повести по циклам; и в данном издании сохраняется такой же принцип построения. Статьи печатаются в хронологическом порядке. Примечания, сделанные Одоевским в статьях и повестях, особо оговорены под строкой:

---

[1] О необходимости учета позднейшей авторской правки при издании произведений В. Ф. Одоевского см. в статье Л. Д. Опульской «Эволюция мировоззрения автора и проблема выбора текста» (Вопросы текстологии. М., Изд-во АН СССР, 1957).

РУССКИЕ НОЧИ

Печатаются по тексту: В. Ф. Одоевский. Русские ночи. Л., «Наука», 1975.

Позднейшие авторские добавления в настоящем издании не выделяются.

<ВВЕДЕНИЕ>

Стр. 33. *...достойными перевода.*— Речь идет о многочисленных переводах повестей Одоевского на немецкий и французский языки.

Фарнгаген фон Энзе Карл Август (1785—1858) — немецкий литератор и переводчик. В 1838 г. Я. М. Неверов встретился в Берлине с Фарнгагеном и писал Одоевскому: «Он в восторге от того, что мог прочесть из ваших вещей» («Русская старина», 1904, № 7, с. 157). Фарнгаген перевел на немецкий язык повесть Одоевского «Сильфида». Ему же, по-видимому, принадлежит и перевод повести «Княжна Мими», о котором Одоевский писал в Берлин Неверову: «Как бы я хотел видеть перевод «Княжны Мими» на немецкий — скажите, где он напечатан» (Отдел письм. источн. Гос. Ист. музея, ф. 372, ед. хр. II, л. 189). Этот перевод появился в берлинском сборнике "Russisches Hundert und Eins"(1836).

НОЧЬ ПЕРВАЯ

Впервые — «Московский наблюдатель», 1836, ч. VI, март, кн. 1, с. 5—15, за подписью «Безгласный».

Стр. 35. *Томас Мур* (1779—1852) — английский поэт-романтик, унаследовавший рукопись мемуаров Байрона, но не сумевший помешать ее уничтожению по требованию семьи поэта.

НОЧЬ ВТОРАЯ

Стр. 39. *Хемницер* Иван Иванович (1745—1784) — поэт-баснописец, чья басня «Метафизический ученик», высмеивающая заумных философов, не раз использовалась для нападок на молодого Одоевского и его друзей-любомудров.

Лавуазье Антуан Лоран (1743—1794) — французский химик, казненный во время революции.

Стр. 40. *Пордеч* (Пордедж Джон; 1625?—1698) — английский мистик, чьи книги переводились на русский язык в XVIII в. русскими масонами. Эти печатные и рукописные переводы имелись в библиотеке Одоевского. Одну из притч Пордеджа Одоевский приводит в своей «таинственной» повести «Косморама».

«Philosophe inconnu» — неизвестный философ *(фр.)*. Имеется в виду Луи Клод де Сен-Мартен (1743—1803), французский философ-идеалист, последователь Я. Беме, Д. Пордеджа и М. Паскуалиса. Его книга «О заблуждениях и истине», переведенная и изданная русскими масонами, оказала большое воздействие на миросозерцание Одоевского,

иногда даже цитировавшего ее в своих романтических повестях (например, в «Орлахской крестьянке»).

Шеллинг Фридрих Вильгельм (1775—1854)—немецкий философ-идеалист, чье учение имело немалое значение для судеб русской науки и искусства в XIX в. (см. об этом мою статью «О бытовании шеллингианских идей в русской литературе».—В кн.: «Контекст—1977». М., «Наука», 1978). Одоевский встречался и беседовал с Шеллингом в Берлине в июне 1842 г. Сделанная русским писателем подробнейшая запись этой беседы опубликована в сб. «Писатель и жизнь», М., 1978, с. 176—178 (публикация М. И. Медового).

Стр. 43. *Martinez de Pasqualis* (1715?—1779)—португальский мистик, учитель Сен-Мартена; основал во Франции секту мартинистов. О Паскуалисе Одоевский беседовал с Шеллингом.

Стр. 44. *Локк* Джон (1632—1704)—английский философ-материалист, чьи идеи казались Одоевскому крайне описательными, поверхностными и недостаточными.

Баумейстер Фридрих Христиан (1708—1785)—немецкий философ.

Дюгальд Жан Батист (1674—1743)—французский учёный-этнограф, специалист по истории Китая.

Стр. 49. *Мальтус* Томас Роберт (1766—1834)—английский политэконом, автор реакционной теории «закона народонаселения», объяснявшей социальную дисгармонию буржуазного мира чрезмерно быстрым ростом человечества. Одоевский постоянно критиковал «бредовые» (Ф. Энгельс) теории Мальтуса и писал: «Есть люди, которые, кажется, осуждены скоплять все заблуждения данного времени или направления, чтобы отделить их от здоровых мыслей эпохи, а все больное схоронить с собою в могиле. Таков был Мальтус» (Б. А. Лезин. Из жизни и литературной деятельности кн. В. Ф. Одоевского, с. 82). Художественная критика мальтузианства содержится в повести «Последнее самоубийство», вошедшей в «Русские ночи».

Смит Адам (1723—1790)—английский философ и политэконом, один из предшественников Мальтуса. «Свобода торговли Адама Смита выродилась в бредовую по своим выводам мальтусовскую теорию народонаселения»,—указывал Ф. Энгельс («К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве», т. I. М., «Искусство», 1967, с. 212).

Брум Генри (1778—1868)—английский политик, известный оратор.

Манцснилл—ядовитое тропическое дерево.

Стр. 50. *Великий поэт*—Гете.

Неумытный—беспристрастный.

Стр. 51. *Иеремиада*—скорбная речь, сетование.

Стр. 52. *Виллис* Томас (1622—1675)—английский медик.

Стр. 53. *Гарвей* Уильям (1578—1657)—английский врач; открыл кровообращение.

Франклин Бенджамин (1706—1790)—американский ученый и государственный деятель.

Фультон Роберт (1765—1815)—американский инженер, создатель первого в мире парохода.

НОЧЬ ТРЕТЬЯ

OPERE DEL CAVALIERE GIAMBATTISTA PIRANESI

Впервые — альманах «Северные цветы на 1832 год». СПб., 1831, с. 47—65.

Стр. 55. *Пиранези* Джованни Баттиста (1720—1778) — итальянский художник и архитектор, автор серии гравюр, изображающих колоссальные, фантастические сооружения. Герой повести Одоевского имеет мало общего с реальным Пиранези.

В первой своей публикации повесть была посвящена А. С. Хомякову, и некоторые черты знаменитого славянофила запечатлены в Пиранези. Современник писал о «Русских ночах»: «...В этой книге князь В. Ф. Одоевский имел в виду Хомякова-сына, то есть известного писателя, когда изображал архитектора Пиранези, сочинявшего пусть очень умные, даже гениальные проекты таких предприятий, как мост через Средиземное море» (Н. Гиляров-Платонов. Из пережитого, т. I. М., 1886, с. 309).

Стр. 56. *Лазарони* — нищий, бродяга (от ит. lazzaroni).

Стр. 57. *Эльзевир* — издания голландской фирмы Эльзевиров (XVII в.), высоко ценимые знатоками-библиофилами.

Жанлис Мадлен Фелисите (1746—1830) — французская писательница, автор сентиментальных романов из жизни светского общества.

Стр. 58. *Альды* — итальянские типографы эпохи Возрождения, издававшие тексты греческих и римских классиков. Издания Альдов отличались высокой полиграфической культурой и тщательностью текстологической работы и комментариев.

Стр. 59. *«Жизнь игрока»* — пьеса французского драматурга Виктора Дюканжа (1783—1833). Роль игрока в первых русских представлениях пьесы исполнял ее переводчик знаменитый трагик и драматург Василий Андреевич *Каратыгин* (1802—1853), ценимый Одоевским как «славный артист» и «человек с умом и огнем» (В. Ф. Одоевский. Музыкально-литературное наследие. М., Музгиз, 1956, с. 496).

Стр. 60. *...Микель-Анджело, поставивший Пантеон на так называемую огромную церковь Св. Петра в Риме...* — Имеется в виду купол античного Пантеона, послуживший прообразом для купола собора св. Петра, возведенного по проекту знаменитого итальянского скульптора и архитектора Микеланджело Буонарроти (1475—1564).

Стр. 61. *...покровителем Микель-Анджело...* — Имеется в виду папа римский Юлий II (1441—1513), при котором началась работа по проектированию и сооружению собора св. Петра.

Стр. 62. *Вечный жид* — еврей Агасфер, персонаж средневековых легенд, осужденный на вечную жизнь и скитания за то, что не позволил Христу отдохнуть на пути к месту распятия. История Агасфера была использована многими писателями, в частности Жуковским и Пушкиным.

Стр. 65. *Гегель.* — Одоевский цитирует так называемую «гимназическую» речь Гегеля в переводе М. А. Бакунина.

Стр. 66. *Шевалье* Мишель (1806—1879) — французский экономист.

НОЧЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Стр. 67. *Галиани* (Гальяни Фердинандо; 1728—1787)—итальянский экономист и писатель.

Сэй Жан Батист (1767—1832)—французский экономист.

Стр. 68. *Битурий*—нож хирурга (от фр. bistouri).

БРИГАДИР.

Впервые—альманах «Новоселье», ч. I. СПб., 1833, с. 501—517. В рукописи другое название—«Русский Пиранези» и дата «1832 г.» В литературе об Одоевском эта повесть не раз сопоставлялась со «Смертью Ивана Ильича» Л. Н. Толстого (см. об этом мою статью «Лев Толстой и В. Ф. Одоевский» в кн.: «Толстой и литература народов Советского Союза», Ереван, 1978).

Стр. 69. Эпиграф—неточная цитата из «Эпитафии» И. И. Дмитриева (1803).

Стр. 70. *Калиостро* Александр (наст. имя—Джузеппе Бальзамо; 1743—1795)—итальянский авантюрист и мистик, живший одно время в России под именем графа Феникса и пользовавшийся покровительством Потемкина.

БАЛ

Впервые—«Новоселье», ч. I, с. 443—448.

Стр. 77. *Донна Анна, Дон Жуан*—персонажи оперы Моцарта «Дон Жуан» (1787).

Отелло—герой одноименной оперы итальянского композитора Д. Россини.

МСТИТЕЛЬ

Отрывок из незавершенной «таинственной» повести «Янтина» (1836).

НАСМЕШКА МЕРТВЕЦА

Впервые—альманах «Денница на 1834 год». М., 1834, с. 218—240.

ЦЕЦИЛИЯ

Цецилия—католическая святая, покровительница музыки.

Стр. 94. Эпиграф взят из переведенного С. П. Шевыревым стихотворения немецкого романтика В.-Г. Вакенродера (1773—1798). Книга Вакенродера «Об искусстве и художниках. Размышления отшельника, любителя изящного», написанная им вместе с Л. Тиком, была переведена в 1826 г. на русский язык любомудрами Шевыревым, Н. А. Мельгуновым и В. П. Титовым, ближайшими друзьями Одоевского.

Впервые — «Современник», 1839, кн. I, с. 97—120.

Читателями Одоевского эта повесть воспринималась как социальная сатира, памфлет, направленный против Соединенных Штатов Америки. США в ту пору привлекали к себе особое внимание русских мыслителей. Интерес к американской демократии и конституции быстро сменился весьма критическим отношением. В статье «Джон Теннер» (1836) Пушкин отметил: «Уважение к сему новому народу и к его уложению, плоду новейшего просвещения, сильно поколебалось. С изумлением увидели демократию в ее отвратительном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве. Все благородное, бескорыстное, все возвышающее душу человеческую — подавленное неумолимым эгоизмом и страстию к довольству...» (Пушкин. Полн. собр. соч., т. XII, с. 104). Позднее философ И. Киреевский писал: «...Казалось, какая блестящая судьба предстояла Соединенным Штатам Америки, построенным на таком разумном основании, после такого великого начала! И что же вышло? Развились одни внешние формы общества и, лишенные внутреннего источника жизни, под наружною механикой задавили человека. Литература Соединенных Штатов, по отчетам самых беспристрастных судей, служит ясным выражением этого состояния» (И. В. Киреевский. Критика и эстетика. М., «Искусство», 1979, с. 184). «Город без имени» в своей главной идее близок к этим высказываниям, но в антиутопии Одоевского критика индивидуалистической буржуазной цивилизации предстает в художественных образах.

Стр. 96. *Гумбольдт* Александр (1769—1859) — немецкий натуралист и путешественник, знакомый Одоевского.

Стр. 97. *Перистиль* — крытая колоннада, примыкающая к стене здания.

Стр. 98. *...один молодой человек...* — Иеремия Бентам (1748—1832) — английский буржуазный философ-моралист, родоначальник теории утилитаризма. Основу морали Бентам видел в стремлении большинства людей к личной пользе, ограничиваемом благоразумием и благополучием отдельной личности. Бентам побывал в России у своего брата, офицера русской службы. Сохранилось письмо английского экономиста к Александру I, где Бентам предлагает царю усовершенствовать российское законодательство. Письмо осталось без ответа. Впоследствии учение Бентама породило теорию «разумного эгоизма», столь популярную в среде буржуазных философов-позитивистов во второй половине XIX в.

Стр. 110. *...есть страна...* — Имеется в виду Америка.

Стр. 111. *Борк* Эдмонд (1729—1797) — английский публицист и общественный деятель.

Стр. 112. *Карус* Карл Густав (1789—1869) — немецкий ученый, последователь Шеллинга.

Уже становится рано.— Цитата из драмы Шекспира «Ромео и Джульетта» (акт 3, сцена 4, слова Капулетти).

Рикардо Дэвид (1772—1823) — английский экономист.

Сисмонди Жан (1773—1842) — швейцарский экономист.

Стр. 113. *Жиойя* (Джойя) Мельхиор (1767—1829) — итальянский экономист.

Стр. 114. *...скажу тебе словами Гоголя...*— В «Ревизоре» городничий говорит: «Ведь вот относительно дороги: говорят, с одной стороны неприятности насчет задержки лошадей, а ведь с другой стороны развлеченье для ума» (д. II, явл. VIII).

НОЧЬ ШЕСТАЯ

Стр. 115. *Карселева лампа* — особой конструкции масляная лампа.

Стр. 116. *Лейбниц* Готфрид Вильгельм (1646—1716) — знаменитый немецкий философ.

ПОСЛЕДНИЙ КВАРТЕТ БЕТХОВЕНА

Впервые — альманах «Северные цветы на 1831 год». СПб., 1830, с. 101—119.

Стр. 118. Эпиграф — сокращенная цитата из «Серапионовых братьев» немецкого писателя Э.-Т.-А. Гофмана (1776—1822).

Стр. 119. *Галль* Франц Иосиф (1758—1828) — австрийский врач и анатом, выдвинувший антинаучную теорию — «френологию», объясняющую особенности психики человека строением его черепа.

Стр. 120. *...я управлял оркестром моей ватерлооской баталии...*— Имеется в виду исполнение симфонической увертюры Бетховена «Победа Веллингтона, или Битва при Виттории» 8 и 12 декабря 1813 г. в зале Венского университета. Дирижировал сам Бетховен.

Вебер Якоб Готфрид (1779—1839) — немецкий композитор и музыкальный критик, издатель журнала «Цецилия».

Стр. 121. *...блаженной памяти Фридерика...*— Существовала легенда, согласно которой Бетховен был незаконным сыном прусского короля Фридриха-Вильгельма II.

...на известную песню гётева Мефистофеля...— Имеется в виду «Песня о блохе». Музыка написана Бетховеном в 1809 г.

...на таинственную мелодию...— песню Миньоны из романа Гете «Ученические годы Вильгельма Мейстера», положенную Бетховеном на музыку в 1809 г.

Стр. 123. *...симфония Эгмонта...*— Музыка к драме Гете «Эгмонт» написана Бетховеном в 1809—1810 гг.

Стр. 125. *Гайдн* Йозеф (1732—1809) — австрийский композитор.

Стр. 126. *Парацельзий*— Парацельс (Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм; 1493—1541) — швейцарский медик и естествоиспытатель. В библиотеке Одоевского был рукописный масонский сборник, в котором содержались и алхимические сочинения Парацельса.

Впервые — альманах «Альциона на 1833 год». СПб., 1833, с. 51—86.

Стр. 126. Эпиграф взят из первой части «Фауста» Гете.

Стр. 127. *Гарпагон* — главное действующее лицо комедии Мольера «Скупой» (1668).

...статуя спартанского тирана... — Граждане древней Спарты воздвигли своему знаменитому законодателю Ликургу храм и статую. Но Одоевского здесь не интересуют конкретные реалии. Он создает поэтический образ, символ сурового спартанского аскетизма и бедности.

Стр. 128. *Сегелиель* — этот персонаж появляется и в незавершенном произведении Одоевского «Сегелиель. Дон Кихот XIX столетия. Сказка для старых детей», драматическом отрывке, напоминающем «Фауста» Гете. Но там Сегелиель превращается в «доброго дьявола», пытается служить людям, вспоминает об импровизаторе Киприяно и терзается его муками бесплодного ясновидения. («Русский архив», 1881, кн. II, с. 477.)

Стр. 130. *...вроде кроватей доктора Грема...* — Скорее всего имеется в виду английский врач-шарлатан Джеймз Грэм (1745—1794), изобретатель «небесной кровати».

Стр. 134. *...фризовую шинель...* — Для людей того времени фризовая шинель была одеждой социальных низов, символом крайней бедности и падения.

«Фрейшюц» («Вольный стрелок») — опера немецкого композитора-романтика К.-М. Вебера (1786—1826).

...алеф...дельта — буквы соответствующих алфавитов.

Стр. 135. *...халдейский полиграф.* — Скорее всего имеется в виду старинная ученая книга.

Стр. 136. *Камер-обскура* — закрытый ящик с отверстием в одной из стенок, позволяющим проецировать на внутреннюю стенку перевернутое изображение светящегося предмета; прообраз фотографического аппарата.

Стр. 137. *...протягивал руку за «Академическим словарем»...* — Имеется в виду толковый «Словарь Академии Российской».

...в пении страдивариусов и амати... — Имеются в виду скрипки, изготовленные итальянскими мастерами из семьи Амати и их знаменитым учеником Антонио Страдивариусом (1643—1737).

Стр. 142. *Рюисдаль* Якоб (1628—1682) — голландский художник.

Дагерротип — прообраз современной фотографии.

Целый город — Помпея.

Картина Брюлова — знаменитое полотно К. П. Брюллова «Последний день Помпеи».

Стр. 143. *Челлини* Бенвенуто (1500—1571) — знаменитый итальянский скульптор эпохи Возрождения, автор автобиографических записок, откуда взято описание отливки статуи.

Стр. 144. *Асимптота* — прямая, к которой бесконечно приближается удаляющаяся в бесконечность точка кривой.

Стр. 145. *«Стрекоза и Муравей»*—басня французского поэта Жана Лафонтена (1621—1695), переложенная на русский язык Крыловым. К этой нелюбимой им басне Одоевский не раз возвращался в своем творчестве, видя в ней формулу просветительского рационализма, не считающегося с поэзией и вдохновением. Недаром в «таинственной» повести «Косморама» Софья говорит, что французская революция произошла от басни «Стрекоза и Муравей».

Стр. 146. *Апофегма*—изречение.

Юр Эндрью (1778—1857) и *Babbe⟨д⟩ж* Чарлз (1792—1871)—английские буржуазные экономисты.

НОЧЬ ВОСЬМАЯ

СЕБАСТИЯН БАХ

Впервые—«Московский наблюдатель», 1835, ч. II, май, кн. 1, с. 55—112. Помечено 1834 годом.

Стр. 148. *...страсбургская колокольня...*—Имеется в виду Страсбургский собор, шедевр средневековой готики.

Стр. 149. *...лук одиссеев...*—Здесь в значении непосильного испытания. В «Одиссее» Гомера Пенелопа предлагает добивающимся ее руки женихам выстрелить из лука ее мужа, но женихи не смогли натянуть лук Одиссея.

Псамметих—имя нескольких фараонов Древнего Египта.

Лафатер Иоганн Каспар (1741—1801)—швейцарский писатель, автор книги «Физиогномика», предложивший определять характер человека по строению черепа и чертам лица.

Стр. 150. *Фридрих* II (1712—1786)—король прусский, разыгрывал роль мецената, окружая себя философами и музыкантами.

...принадлежал к партии гибелинов...—Эта политическая партия поддерживала германских императоров и стремилась к независимости Флоренции.

...гоним гвельфами...—партией сторонников папской власти, изгнавшей Данте из Флоренции.

Гердер Иоганн Готфрид (1744—1803)—немецкий писатель и философ.

Друиды—жрецы древних кельтских племен, совершавшие богослужения в лесах.

Мемнонова статуя—древнеегипетская колоссальная статуя фараона Аменхотепа III близ Фив. Греки считали ее изображением Мемнона, одного из героев Троянской войны. Колосс Мемнона при восходе солнца издавал звук, напоминающий человеческий голос, и греки считали, что это Мемнон приветствует свою мать Эос, богиню утренней зари.

Стр. 151. *Пресбург*—немецкое название Братиславы, столицы Словакии.

...подобно Гайдну и Плейелю...— Считалось, что Гайдн и его ученик Игнаций Плейель (1757—1831) были славянского (хорватского) происхождения.

...на сборнике монаха...— Имеется в виду летопись Нестора.

...Бах есть не имя, а прозвище...— В XVII—XVIII вв. среди музыкантов в городах Тюрингии эта фамилия была настолько распространена, что всех музыкантов называли «die Bache».

Нибур Бартольд Георг (1776—1831)—немецкий историк, отрицавший достоверность римских преданий о Ромуле и Нуме Помпилии.

...троянская война...— Во времена Одоевского многими историками воспринималась как поэтическая легенда. Лишь раскопки немецкого археолога Генриха Шлимана (1822—1890) вернули этому событию историческую достоверность.

...о куньих мордках...— Так именовались особые меховые деньги, имевшие хождение на Руси в XII в.

Стр. 152. *Бах* Иоганн Кристоф (1671—1721)—органист и учитель.

Бюффон Жорж Луи Леклерк (1707—1788)—французский натуралист, автор многотомной «Естественной истории».

...септима ...нона ...—музыкальные интервалы.

Гаффори Франкино (1451—1522)—итальянский музыкальный теоретик.

Вальтер Иоганн Готфрид (1684—1748)—немецкий композитор и органист, друг Баха.

Теорба—старинный струнный инструмент, разновидность лютни.

Соболевский Сергей Александрович (1803—1870)—библиофил и библиограф, друг Пушкина и Одоевского. После смерти Одоевского привел в порядок обширнейший архив своего друга: переплел бумаги, составил описи.

...форшлаг ...триллер...—мелодические украшения в музыкальном произведении.

Стр. 153. *Керль* Иоганн Каспар (1627—1693)—немецкий композитор и органист.

Стр. 154. *Фробергер* Иоганн Якоб (1635—1695), *Фишер* Иоганн (1650—1721), *Пахельбель* Иоганн (1653—1706), *Букстехуде* Дитрих (1637—1707)—немецкие композиторы и органисты, предшественники Баха.

Стр. 156. *Конфирмация*—у лютеран торжественный обряд принятия юношей и девушек в церковную общину.

Стр. 157. *Кранах* Лукас Старший (1472—1553)—немецкий художник. Портрет саксонской принцессы его работы находится в Эрмитаже (Ленинград).

Стр. 162. *Клоц*—семейство немецких скрипичных мастеров.

Штейнер Якоб (1621—1683)—немецкий скрипичный мастер.

Стр. 163. *Монохорд*— однострунный щипковый инструмент.

Стр. 165. *...император...*—Иосиф I (1678—1711), император Священной Римской империи.

Стр. 167. *Алкид*—юный атлет.

Стр. 168. *...мысль... выражение...*— Албрехт почти дословно повторяет мысли философа Сен-Мартена, оказавшего сильнейшее влияние на Одоевского (см.: *Сакулин,* I, 402—403). Ср. знаменитое тютчевское: «Мысль изреченная есть ложь» («Silentium!») и его же мысль о «темном, но родном» языке музыки («Ю. Ф. Абазе»).

В архиве Одоевского сохранился отрывок речи Албрехта, не вошедший в повесть. Там музыка названа «ключом души» и о ней говорится: «...Она нам нравится,—но это сладкое чувство приходит оттого, что в ту минуту музыкальные звуки отлетают в горние селения и прилетают те тайные мысли и чувства, для которых недостаточно языка человека» (ОР ГПБ, ф. 539, оп. 1, пер. № 20, л. 8).

Стр. 169. *...люди назвали невыразимым...*— Скорее всего имеется в виду стихотворение В. А. Жуковского «Невыразимое» (1819), где в полном согласии с речами Албрехта говорится:

Невыразимое подвластно ль выраженью?..
....
И лишь молчание понятно говорит.

Одоевский не раз возвращался к идее «внутреннего языка» в своих размышлениях о русском повествовании, и в его черновиках сохранилась следующая запись: «Все может быть сознаваемо духом человека, но не всякое сознание может быть выражено языком человеческим» (ОР ГПБ, ф. 539, оп. 1, пер. № 20, л. 72).

Стр. 170. *Партиция* (или партита)—род вариаций на хоральную мелодию для органа.

Рейнкен Иоганн Адам (1623—1722)—немецкий композитор и органист.

Стр. 172. *Тальма* Франсуа Жозеф (1763—1826)—знаменитый французский трагик.

Маршан Жан Луи (1669—1732)—французский органист, намеревавшийся в 1717 г. состязаться с Бахом в искусстве игры, но еще до начала состязания признавший свое поражение.

Стр. 176. *Аббат Олива*—вымышленное лицо.

Чести Марко Антонио (1620—1669)—итальянский композитор.

Кариссими Джакомо (1605—1674) и *Кавалли* Франческо (1602—1676)—итальянские композиторы. С их последователей началось, по мнению Одоевского, стремление к внешней сложности и красивости, решительно им отрицавшееся: «Вредны итальянцы тем, что приучают слух и чувство народа к своей условной красоте и ложной выразительности... Искусство тем велико, что мирит с жизнью—но итальянская музыка проходит мимо жизни» («Литературное наследство», т. 22—24, с. 246). См. также его суждения об операх Верди в «Примечании к «Русским ночам» и статьях о музыке.

Стр. 178. *...дельфийская жрица на треножнике...*—Жрицы храма Аполлона в Дельфах прорицали, восседая на золотом треножнике.

Стр. 179. *Гуммель* Иоганн Непомук (1778—1837)—австрийский

композитор, использовавший эту тему баховской фуги в своем ноктюрне F-dur.

Стр. 180. *«Passion's-Musik»*—«Страсти», оратории на евангельский текст. Бах написал «Страсти по Иоанну» (1722—1723), «Страсти по Матфею» (1729) и «Страсти по Марку» (1731, партитура утеряна).

НОЧЬ ДЕВЯТАЯ

Стр. 184. *Кондильяк* Этьенн де (1715—1780)—французский философ.

Стр. 190. *Новые лекции Шеллинга.*—Имеются в виду лекции, читанные философом с 1841 г. в Берлинском университете и посвященные философии мифологии и откровения.

Стр. 191. *Сосуд данаид.*—Согласно греческому мифу дочери царя Даная по приказу отца убили своих мужей в брачную ночь и за это после смерти были обречены вечно наполнять водой бездонную бочку.

ЭПИЛОГ

Стр. 194. *Биша* Мари Франсуа Ксавье (1771—1802)—французский врач.

Стр. 198. *Легкая победа англичан над китайцами*—поражение Китая в первой «опиумной войне» 1840—1842 гг.

Стр. 204. *Шлецер* Август Людвиг (1735—1809)—немецкий историк. Имеется в виду его введение в историю, написанное для детского чтения.

Стр. 207. *Бурен* Мартин ван (1782—1862)—президент США (1837—1841 гг.).

Умный человек—французский писатель Франсуа Ларошфуко (1613—1680), автор «Максим», откуда и взята цитата.

Талейран Шарль Морис (1754—1838)—французский политик, известный своей беспринципностью.

Стр. 209. *Кетле* Адольф (1796—1874)—бельгийский ученый.

Стр. 211. *Уатс* (Джеймс Уатт; 1736—1819)—английский механик, изобретатель паровой машины.

Гельс (Стивен Гейлс; 1677—1761)—английский ученый и механик.

Стр. 212. *Дюпен* Шарль (1784—1873)—французский экономист и статистик.

Стр. 213. *Один добрый чудак*—Шарль Фурье (1772—1837), французский социалист-утопист, предложивший усовершенствовать общественные отношения, управляя страстями людей.

Стр. 214. *Панцироль* Гвидо (1523—1599)—итальянский ученый и писатель.

Элевзинский храм.—Находился близ Афин в городе Элевсине. Там осенью праздновались элевсинии—таинственные мистерии и обряды, в которых могли участвовать лишь посвященные.

Стр. 215. *Плиний* Старший (23—79)—древнеримский писатель и ученый.

Светоний Гай Транквилл (ок. 70—160 гг.)—римский историк.

Нума Помпилий—царь древнего Рима в 715—672 гг. до н. э.

Дютан Луи (1730—1812)—французский ученый.

Ливий Тит (59 г. до н. э.—17 г. н. э.)—римский историк.

Геродот (484—ок. 430 гг. до н. э.)—древнегреческий историк.

Бэкон Френсис (1561—1626)—английский философ, сторонник материалистических идей и опытного научного познания мира.

Стр. 216. *Альберт Великий* (1193—1280), Роджер *Бэкон* (1214—1294), Раймонд *Луллий* (1235—1315)—средневековые философы и алхимики. Под псевдонимом *«Василий Валентин»* печатал свои сочинения немецкий алхимик, живший во второй половине XVI в.

Гильдебранд Вольфганг и *Кунрат* Генрих (XVI—начало XVII в.)—немецкие алхимики.

Стр. 217. *Элеаты* и *пифагорейцы*—последователи древнегреческих идеалистических философских школ.

Анаксимен (VI в. до н. э.)—древнегреческий философ, считавший воздух началом всего сущего.

Фан-Гельмонт Иоганн (1577—1644)—нидерландский врач.

Гиерон Александрийский—древнегреческий механик.

Бласко де Гарай—испанский моряк, служивший германскому императору Карлу V (1500—1558).

Монгольфьер—воздушный шар, запущенный в 1783 г. французами братьями Монгольфье.

Стр. 218. *Лейбниц* Готфрид Вильгельм (1646—1716)—немецкий философ, указывавший на ограниченность опытного познания мира.

Клейнод—сокровище.

Стр. 219. *Ше<е>ль* Карл Вильгельм (1742—1786)—шведский химик.

Бертоле Клод Луи (1748—1822)—французский химик.

Стр. 220. *Пулье* Клод (1790—1868) и *Араго* Доминик Франсуа (1786—1853)—французские ученые.

Кемтц—Кемц Людвиг Фридрих (1801—1867)—немецкий физик, работавший в России.

Стр. 222. *Цибела* (Кибела)—фригийская богиня, «Великая Мать» богов и всего живого, дарующая плодородие. В Древней Греции культ Кибелы слился с культом богини Реи, матери Зевса.

Стр. 223. *Жинсенк*—корень растения женьшень.

Стр. 225. *Берцелий* Иоганн Якоб (1779—1848)—шведский химик.

Дюма Жан (1800—1884)—французский химик.

Распайль Франс Винсент (1794—1878)—французский ученый.

Стр. 226. *Плиний Старший* погиб при извержении Везувия.

Рикман (Рихман) Георг Вильгельм (1711—1753)—немецкий физик, служивший в России, погиб во время опытов; смерть его описана другом его Ломоносовым.

Дюлонг Пьер Луи (1745—1838)—французский химик.

Паран-Дюшателе Алексис Жан Батист (1790—1836)—французский врач.

Стр. 228. *Гусс* Ян (1371—1415), чешский реформатор и борец за независимость, был сожжен по решению церковного собора в Констанце

несмотря на гарантии безопасности, данные ему императором Сигизмундом.

Лютер Мартин (1483—1546)—вождь Реформации в Германии, был спасен немецким рыцарством от ареста и казни.

Стр. 230. *Делиль* Жак (1738—1813)—французский поэт, автор поэмы «Сады».

...di tanti palpiti.—Слова из арии Танкреда, героя одноименной оперы Д. Россини. Для Одоевского, отрицательно относившегося к операм Россини и вообще к итальянской музыке, слова эти стали своего рода символом слащавой пошлости.

Стр. 231. *Контраданс*—танец.

Стр. 232. *Чимарозо* Доменико (1749—1801)—итальянский композитор.

Беллини Винченцо (1801—1835)—итальянский композитор. Его музыка была популярна в России, и М. И. Глинка, знавший композитора, написал на его темы несколько произведений. Но Одоевский относился к музыке Беллини неодобрительно и писал о его лучшей опере «Норма»: «В ней этот сочинитель музыкальных вздохов и нежных кавалетт походит на дитя, которое намазало себе углем усы, взяло в руки деревянную саблю и хочет испугать всех окружающих» (В. Ф. Одоевский. Музыкально-литературное наследие, с. 149).

Пачини Джованни (1796—1867)—итальянский композитор, последователь Беллини и Россини.

Галуппи Бальдассаре (1706—1785)—итальянский композитор, автор комических опер.

Караффа де Колобрано (1787—1872)—итальянский композитор.

Улыбышев Александр Дмитриевич (1794—1858)—русский музыкальный критик и писатель, автор книг о Моцарте и Бетховене.

Стр. 233. *Лонгин* (213—273)—греческий философ, которому приписывался известный эстетический трактат «О возвышенном».

Стр. 239. *Королларий*—завершение, итог.

Буссенго Жан Батист (1802—1887)—французский химик.

Либйх Юстус (1803—1870)—немецкий химик.

Стр. 240. *Боссюэ* Жак Бенинь (1627—1704)—французский оратор и писатель, кардинал.

Стр. 241. *Амфион*—персонаж греческой мифологии, сын Зевса и фиванской царевны Антиопы; обладал божественным даром игры на кифаре, заставлявшей камни укладываться в стены.

Стр. 244. *Баадер* Франц Ксаверий (1765—1841)—немецкий философ и богослов.

Кениг Генрих Иозеф (1790—1869)—немецкий писатель, автор написанной при помощи любомудра Н. А. Мельгунова книги «Литературные картины России» (1837), где дается весьма интересная и проницательная оценка творчества В. Ф. Одоевского.

Бал<л>анш Пьер Симон (1776—1847)—французский философ.

Стр. 245. *«Человек есть стройная молитва земли!»*—Цитата из книги Сен-Мартена «Человек желания» (1790).

СТАТЬИ

О НАПАДЕНИЯХ ПЕТЕРБУРГСКИХ ЖУРНАЛОВ НА РУССКОГО ПОЭТА ПУШКИНА

Впервые — «Русский архив», 1864, № 7, стб. 824—831. Печатается по тексту журнальной публикации.

Одоевский, как писатель пушкинского круга, счел своим долгом защитить великого поэта от журнальных нападок триумвирата его злейших врагов — Булгарина, Полевого и Сенковского. Статья была предложена редакциям журналов «Литературные прибавления к «Русскому инвалиду» и «Московский наблюдатель», но нигде не могла быть напечатана: журналисты боялись наветов влиятельного Булгарина. После гибели Пушкина Одоевский использовал исправленный текст этой статьи в своей рецензии на пятый том посмертного пушкинского «Современника» (см.: «Пушкин. Исследования и материалы», т. I. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1956, с. 313—320, публикация Р. Б. Заборовой), но и рецензия не была тогда опубликована.

Стр. 249. *«Северная пчела»* — петербургская политическая и литературная газета, в 1825—1859 гг. издававшаяся Ф. В. Булгариным. Тираж газеты доходил до 10 000 экземпляров.

Стр. 251. *Некоторые статьи.* — Имеются в виду полемические статьи и памфлеты Пушкина, направленные против Ф. В. Булгарина, Н. И. Греча и Н. А. Полевого.

Стр. 252. *А. А. Орлов* (1791—1840) — поэт и прозаик, автор полулубочных повестей и романов, часть из которых были написаны как продолжение булгаринских романов о Выжигине. Пушкин иронически соединял имена Орлова и Булгарина в своих памфлетах «Торжество дружбы, или Оправданный Александр Анфимович Орлов» и «Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем».

Сенковский Осип-Юлиан Иванович (1800—1858) — ученый, писатель и журналист, издававший журнал «Библиотека для чтения», где печатались вначале и пушкинские произведения. Был известен своей литературной беспринципностью.

Некто — Сенковский, еще до выхода первого тома пушкинского «Современника» обвинивший поэта в намерении полемизировать с «Библиотекой для чтения».

Стр. 253. *Шампольон* Жан Франсуа (1790—1832) — французский ученый-египтолог.

Гаммер-Пургшталь Йозеф фон (1774—1856) — австрийский востоковед и дипломат.

В рукописи статьи к данной фразе сделано следующее, не напечатанное в «Русском архиве» примечание: «Намек на журналы братства, и в особенности на тогдашнюю «Библиотеку для чтения», где ныне уже невероятный и невообразимый шарлатанизм истощал свои силы, в особенности против Шампольона и Гаммера, потому более, что дело было темное, доступное для весьма немногих, а между тем совершалась

воочию басня Крылова о слоне и моське. Под влиянием общего страха, наводимого фалангою дружных журналов, никто не поднимал голоса против шарлатанства; лишь живший тогда в Петербурге французский ориенталист Шармуан, немного понимавший по-русски, осмелился, и то в особой брошюрке и на французском языке, вступиться за Гаммера, говоря о так называемых критиках «Библиотеки для чтения»: «Que c'est gros Jean qui veut demontrer à son curé» (перевод: «Что это грубый Жан, который хочет поучать своего священника», пословица, соответствующая русской: «Яйца курицу не учат»). Но эта брошюрка была прочтена немногими. Н. И. Греч, державшийся поодаль от всех этих дрязгов, также, наконец, не выдержал и неоднократно выводил на свежую воду полонизмы г<осподина> Сенковского и его изумительную претензию свое безграмотство выдавать за новооткрытые им законы русского языка» («Пушкин. Исследования и материалы», т. I, с. 318—319).

Стр. 254. «⟨Ученое⟩ *путешествие на Медвежий остров»* (1833)— повесть Сенковского, высмеивающая концепции Шампольона и Кювье.

Магницкий Михаил Леонтьевич (1778—1844), *Рунич* Дмитрий Павлович (1778—1860), архимандрит *Фотий* (1792—1838)—русские консервативные государственные деятели, известные своими гонениями на профессоров и университеты.

Стр. 255. *Лессинг* Готхольд Эфраим (1729—1781)—немецкий критик.

⟨ПУШКИН⟩

Впервые—сборник «Пушкин. Исследования и материалы», т. I. М.—Л., 1956, с. 333—336 (публикация Р. Б. Заборовой). Написано в конце 30-х годов. Одоевский продолжает здесь спор с хулителями великого русского поэта, начатый в статье «О нападениях петербургских журналов на русского поэта Пушкина».

Стр. 258. *Бахчисарайский фонтан.*—Имеется в виду поэма Пушкина, вышедшая в 1824 г. отдельным изданием с полемическим предисловием П. А. Вяземского и вызвавшая ожесточенные споры между романтиками и поборниками классицизма.

ЗАПИСКИ ДЛЯ МОЕГО ПРАПРАВНУКА О РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Впервые—«Отечественные записки», 1840, т. XIII, с. 5—12. Печатается по тексту журнальной публикации.

Стр. 261. *Пока чувство изящного не будет переведено на язык разума.*—Любимая идея Одоевского-любомудра, высказанная им еще в 20-е годы на страницах «Вестника Европы» и «Московского вестника».

«Афинская школа»—наиболее известная из ватиканских фресок Рафаэля.

Перуджино Пьетро (между 1445 и 1452—1523)—итальянский живописец, учитель Рафаэля.

Стр. 262. *Клапрот* Генрих Юлий (1783—1835)—немецкий ориенталист и путешественник.

Стр. 264. *Кенкет*—масляная лампа.

Стр. 265. *Щечимся*—пользуемся, заимствуем.

Кок Поль де (1793—1871)—французский беллетрист.

Вельтман Александр Фомич (1800—1870)—писатель-романтик.

Щепкин Михаил Семенович (1788—1863)—выдающийся русский актер.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

Впервые—«Современник», 1843, т. XXXII, с. 71—89, 113—128, 309—331. Печатается по тексту: В. Ф. Одоевский. Русские ночи. Л., «Наука», 1975.

Стр. 269. *Гутчесон* Френсис (1694—1747)—английский философ.

Стр. 271. *Хили.*—Так в пушкинскую эпоху произносилось название Чили (см., например, дневник морехода Ф. Матюшкина).

Стр. 273. *Курт Жебелин*—Кур де Жебелен Антуан (1725—1784) и *Пернетти* Жак (1696—1777)—французские ученые.

Герметические философы—алхимики, считавшие себя последователями легендарного мистика и мага Гермеса Трисмегиста, автора так называемых герметических книг («Пэмандры», «Изумрудной таблицы» и др.).

Стр. 282. *Курье* Поль Луи (1772—1825)—французский публицист.

Стр. 286. *Деви* Гемфри (1778—1829)—английский ученый.

Стр. 287. *Рихтер* Иеремия Беньямин (1762—1807)—немецкий химик.

Бомбаст—напыщенность.

Стр. 290. *Кеплер* Иоганн (1571—1630)—немецкий астроном.

Стр. 292. *Фориэль* Клод Шарль (1772—1844)—французский филолог.

Мириолог—погребальная песнь.

«Лукреция Борджа»—драма Виктора Гюго (1802—1885).

Стр. 293. *Теренций* Публий (ок. 195—159 гг. до н. э.) и *Плавт* Тит Макций (ок. 254—184 гг. до н. э.)—римские комедиографы.

Стр. 294. *Бульвер* Литтон Эдвард (1803—1873)—английский писатель.

Стр. 295. *Софокл* (ок. 496—406 гг. до н. э.)—древнегреческий драматург, участник Саламинской битвы.

Перикл (ок. 490—429 гг. до н. э.)—древнегреческий политический деятель.

Фукидид (ок. 460—ок. 396 гг. до н. э.)—древнегреческий историк.

Стр. 296. *«Последний человек»*—утопический роман английской писательницы Мери Шелли (1798—1851).

Стр. 298. *Робеспьер* Максимилиан (1758—1794) — глава якобинцев, один из вождей французской революции.

Гиббон Эдуард (1737—1794) — английский историк.

⟨ПИСЬМО А. А. КРАЕВСКОМУ⟩

Впервые — *Сакулин*, II, с. 450—543. Датируется октябрем 1844 года. Печатается по изданию: В. Ф. Одоевский. Русские ночи. Л., «Наука», 1975.

Краевский Андрей Александрович (1810—1889) — журналист, вместе с Одоевским редактировал журнал «Отечественные записки», где была помещена рецензия Белинского на собрание сочинений Одоевского.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Впервые — «Русские ночи» изд. 1913 года, с. 1—12. Печатается по тексту: В. Ф. Одоевский. Русские ночи. Л., «Наука», 1975. Датируется началом 1860-х годов. Написано в начале 60-х годов для второго издания Собрания сочинений.

Стр. 305. *Одно дело* — в 1846 г. Одоевский принял деятельное участие в организации благотворительного Общества для посещения бедных.

Стр. 306. *Одно издание* — газета славянофилов «Парус», где К. С. Аксаков поместил резкую рецензию на прозу Одоевского.

Стр. 308. *Лодер* Христиан Иванович (1753—1832) — врач и анатом, знакомый Шеллинга.

Кадавер — труп (от *лат.* cadaver)

Окен Лоренц (1799—1851) — немецкий философ, последователь Шеллинга. В эпоху любомудрия молодой Одоевский переводил сочинения Окена, о чем немецкому философу сообщил при встрече М. П. Погодин.

ПРИМЕЧАНИЕ К «РУССКИМ НОЧАМ»

Впервые — «Русские ночи», изд. 1913 г., с. 13—22. Написано в начале 60-х годов. Печатается по тексту: В. Ф. Одоевский. Русские ночи. Л., «Наука», 1975.

Стр. 313. *Пахомов* М. — автор первого русского перевода сочинений Платона, вышедшего в 1780—1785 гг.

Амиотов перевод. — Амио Жак (1513—1593) — французский писатель.

Горохова. — Имеется в виду «История села Горюхина» Пушкина.

Фалес (ок. 625—547 гг. до н. э.) — древнегреческий философ.

НЕДОВОЛЬНО

Впервые — сборник «Беседы в Обществе любителей российской словесности», вып. I. М., 1867, с. 65—84. Статья распространялась и в виде отдельных оттисков-брошюр. Печатается по тексту сборника с сокращениями. Варианты и другие материалы архива Одоевского, посвященные И. С. Тургеневу и его творчеству, опубликованы в статье М. А. Турьян «В. Ф. Одоевский в полемике с И. С. Тургеневым» («Русская литература», 1972, № 1).

И. С. Тургенев опубликовал «Довольно» в своих «Сочинениях» (т.V), изданных в Карлсруэ (Германия). Он работал над этим стихотворением в прозе с 1861 по 1865 год и считал его своей исповедью перед русскими читателями, завершающей писательский путь. «Довольно» вызвало почти единодушное осуждение русской общественности своим пессимизмом и отказом от всякой деятельности. Произведение Тургенева не понравилось Льву Толстому, В. П. Боткину и другим писателям; оно было зло спародировано Достоевским в романе «Бесы» („Merci“). Но лишь Одоевский дал Тургеневу решительный и аргументированный ответ по всем «пунктам» его безысходно грустного лирического этюда. «Недовольно» было прочитано многими, имело общественный резонанс, хотя этой талантливой и глубокой по мыслям публицистической статье и были присущи либеральные иллюзии, идеализация крестьянской и судебной реформ, с особенной отчетливостью высказанные в хвалах «царю-освободителю», либеральному дворянству и новым судам, содержащиеся в «Недовольно».

Очерк писался Одоевским в 1865—1867 годах. 9 марта 1867 года «Недовольно» было прочитано автором Тургеневу: «Прочел ему статью мою — он остался ею очень доволен, хотя и не вполне согласен со мною» («Литературное наследство», т. 22—24, с. 229).

Стр. 317. *Питт* Уильям Младший (1759—1806) — английский государственный деятель.

Стр. 319. *Кювье* Жорж (1769—1832) — французский зоолог.

Стр. 320. *Хладниевы фигуры* образуются скоплениями мелкого песка на поверхности колеблемой упругой пластинки и характеризуют частоту собственных колебаний. Открыты немецким физиком Эрнстом Хладни (1756—1827).

Стр. 321. *Тому чудаку...описанному у Гофмана...* — Имеется в виду тайный советник Кнаррпанти, сатирический персонаж повести Гофмана «Повелитель блох». Одоевский ссылается не на значительно смягченный окончательный текст повести, а на ее более острую и обличительную первую редакцию.

Стр. 322. *Гиппарх* (ок. 180—190 гг.— 125 г. до н. э.) — древнегреческий ученый, один из основоположников астрономии.

Стр. 324. *Гершель* Вильям (1738—1822) — английский астроном.

Стр. 325. *Дженнер* Эдуард (1749—1823) — английский врач, первым начал прививать оспу.

Линней Карл (1707—1778)—шведский естествоиспытатель.

Стр. 326. *Гален* Клавдий (129—201)—древнеримский врач.

Мальбранш Никола (1638—1715)—французский философ-идеалист.

Гассенди Пьер (1592—1655)—французский ученый.

Декарт Рене (1596—1650)—французский философ.

Мальпиги Марчелло (1628—1694)—итальянский биолог и врач, изучал анатомию растений с помощью микроскопа.

Левенгук Антони ван (1632—1723)—голландский натуралист, создатель научной микроскопии.

Розенкрейцеры—члены тайных средневековых обществ, изучавшие магию и алхимию; предшественники масонов.

Стр. 327. *Сервет* Мигель (1511—1553)—испанский врач.

Чекко д'Асколи, Франческо Стабили (1269—1327)—итальянский астроном.

Альфьери Витторио (1749—1803)—итальянский поэт, автор известной автобиографии.

Стр. 328. *Гиппократ* (460—377 гг. до н.э.)—древнегреческий врач.

Стр. 331. *Ворчестер* Эдвард Соммерсет (1601—1667)—английский ученый.

Город-памятник—папский Рим.

Стр. 332. *Кунцевич* Иоанн (Иосафат; 1580—1623)—архиепископ полоцкий, жестокий гонитель православных белорусов; был убит восставшими жителями Витебска и в 1865 г. канонизирован католической церковью.

...на завтраке у предводителя...—Имеется в виду комедия Тургенева «Завтрак у предводителя» (1849).

ПЕРЕХВАЧЕННЫЕ ПИСЬМА

Впервые—московская газета «Современные известия», 1868, 13 апреля. Печатается по тексту газетной публикации. Статья осталась незавершенной.

Стр. 334. *И даже князь Петра.*—Тугоуховского, одного из персонажей «Горя от ума». Далее Одоевский пользуется именами других персонажей грибоедовской комедии. В своих памфлетах писатель следовал также традициям фонвизинской сатиры и в статье «Недовольно» писал: «Было бы ошибочно предполагать, что Простаковы и Скотинины вымерли и духа их не стало—они все живехоньки, только умылись и принарядились».

Стр. 335. *Я всегда был охотник читать газеты...*—В одном из примечаний к повести «Себастиян Бах» Одоевский сообщает «характеристический анекдот» об откликах на перемену формата «Московских ведомостей»: «Один помещик писал из деревни в редакцию: нельзя ли для него одного печатать экземпляры газеты в прежнем формате, обещаясь за то платить вдвое».

Стр. 336. *Аттенции*—внимания.

«Весть»—петербургская газета, издававшаяся в 1863—1870 гг.; выражала взгляды дворян-крепостников.

Стр. 337. *Заведение под елкою*—кабак.

Стр. 338. *На днях объявляют концерт.*—Одоевский имеет в виду собственную статью о предстоящем концерте, в программу которого входили произведения А. Н. Серова. Статья была напечатана в той же газете «Современные известия» 9 марта 1868 г. и подписана псевдонимом «Тихоныч».

Одоевский покровительствовал Серову, пропагандировал его новаторскую музыку, и супруга композитора вспоминала: «С Серовым князь носился, как с приезжей примадонной; тотчас собрал кружок слушателей, и «Юдифь», если я не ошибаюсь, сделала свои первые шаги в Москве именно в салоне В. Ф. Одоевского. Изо всех слушателей он один понял всю суть и все значение этого произведения» (В. С. Серова, Серовы, Александр Николаевич и Валентин Александрович. СПб., «Шиповник», 1914, с. 42).

«Рогнеда»—опера А. Серова, отрывки из которой были исполнены в концерте 10 марта. Одоевский высоко ценил эту оперу Серова.

«Широкая масленица»—сцена из оперы Серова «Вражья сила». *Гопак*—украинская пляска из музыкальной картины Серова «Кузнец Вакула».

Стр. 339. *Один-то из выскочек*—сам Одоевский. Приведенные Фамусовым слова о мужике содержатся в статье Одоевского «Русская или итальянская опера?» (1867).

СОДЕРЖАНИЕ

В. И. Сахаров. О жизни и творениях В. Ф. Одоевского 5

РУССКИЕ НОЧИ

<Введение> 31
Ночь первая 33
Ночь вторая 38
Ночь третья
Opere del Cavaliere Giambattista Piranesi 55
Ночь четвертая 67
Бригадир 69
Бал 76
Мститель 79
Насмешка мертвеца 80
Последнее самоубийство 87
Цецилия 94
Ночь пятая
Город без имени 96
Ночь шестая 115
Последний квартет Бетховена 118
Ночь седьмая
Импровизатор 126
Ночь восьмая
Себастиян Бах 147
Ночь девятая 182
Эпилог 192

СТАТЬИ

О нападениях петербургских журналов на русского поэта Пушкина 249
<Пушкин> 256
Записки для моего праправнука о русской литературе 260
Психологические заметки 268
<Письмо А. А. Краевскому> 301
Предисловие 304
Примечание к «Русским ночам» 310
Недовольно 315
Перехваченные письма 334

Комментарии 343

Одоевский В. Ф.

О-44 Сочинения. В 2-х т. Т. 1. Русские ночи; Статьи. / Вступит. статья, сост. и коммент. В. И. Сахарова.— М.: Худож. лит., 1981.— 365 с.

В настоящий том входят полностью главная книга талантливого русского писателя В. Ф. Одоевского «Русские ночи» и его избранные литературно-критические статьи («О нападениях петербургских журналов на русского поэта Пушкина», «Записки для моего праправнука о русской литературе», «Перехваченные письма» и др.).

О $\frac{70301\text{-}273}{028(01)\text{-}81}$ Без объявл. 4702010100 Р1

ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ

ОДОЕВСКИЙ

Сочинения в двух томах

Том 1

Редактор *Ч. Залилова*

Художественный редактор

Г. Масляненко

Технический редактор

В. Нефедова

Корректор

Г. Володина

ИБ № 1580

Сдано в набор 23.08.79 г. Подписано к печати 8.09.80 г. А09394. Формат 84×108 1/32. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Таймс». Печать высокая. 19,32+1 вкл.=19,372 усл.-печ. л. 21,675+ +0,042=21,717 уч.-изд. л. Тираж 100 000 экз. Заказ 559. Цена 1 р. 70 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, М-54, Валовая, 28.

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

В 1980—1981 годах в серии «Сочинения» выходят книги:

Л. Н. Сейфуллина. Сочинения в двух томах.
А. А. Бестужев-Марлинский. Сочинения в двух томах.
А. А. Фадеев. Сочинения в трех томах.